

Лауреат Премии генерал-губернатора и финалист Букеровской премии

Робертсон Дэвис

Лира Орфея

впервые на русском

PREMIUM

Лира Орфея
Робертсон Дэвис

Аннотация
Робертсон Дэвис. Лира Орфея
I
1
2
3
4
5
6. ЭТАГ в чистилище
II
1
2
3
4
5
6. ЭТАГ в чистилище
III
1
2
3
4. ЭТАГ в чистилище
IV

1
2
3
4
5
6
7. ЭТАГ в чистилище

V

1
2
3
4
5
6
7
8
9. ЭТАГ в чистилище

VI

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11. ЭТАГ в чистилище
VII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11. ЭТАГ в чистилище
VIII
1
2

Аннотация

Робертсон Дэвис — крупнейший канадский писатель, мастер сюжетных хитросплетений и загадок, один из лучших рассказчиков англоязычной литературы. Он попадал в шорт-лист Букера, под конец жизни чуть было не получил Нобелевскую премию, но, даже навеки оставшись в числе кандидатов, завоевал статус мирового классика. Его ставшая началом «канадского прорыва» в мировой литературе «Дептфордская трилогия» («Пятый персонаж», «Мантикора», «Мир чудес») уже хорошо известна российскому читателю, а теперь настал черед и «Корнишской трилогии». Открыли ее «Мятежные ангелы», продолжил роман «Что в костях заложено» (дошедший до букеровского короткого списка), а завершает «Лира Орфея».

Под руководством Артура Корниша и его прекрасной жены Марии Магдалины Феотоки Фонд Корниша решается на небывало амбициозный проект: завершить неоконченную оперу Э. Т. А. Гофмана «Артур Британский, или Великодушный рогоносец». Великая сила

искусства — или заложенных в самом сюжете архетипов — такова, что жизнь Марии, Артура и всех причастных к проекту начинает подражать событиям оперы. А из чистилища за всем этим наблюдает сам Гофман, в свое время написавший: «Лира Орфея открывает двери подземного мира», и наблюдает отнюдь не с праздным интересом…

Робертсон Дэвис
Лира Орфея

Лира Орфея открывает двери подземного мира.

Э. Т. А. Гофман

I

1

Артур, председатель-виртуоз, плавно подводил к концу очередное собрание:

— Все согласны, что эта затея совершенно безумна, абсурдна, может обойтись непредсказуемо дорого и нарушает все законы финансовой осмотрительности? Мы все высказались, в разной форме, но по существу были единодушны: ни один нормальный человек не пожелает связываться с таким проектом. Принимая во внимание основополагающие принципы Фонда Корниша, все это — прекрасные доводы за то, чтобы удовлетворить заявку с дополнением, которое мы сегодня обсуждали, и приступить к осуществлению проекта.

У него и впрямь способности к музыке, подумал Даркур. Он творит каждое собрание, как симфонию. Сначала объявляет тему, потом разрабатывает ее в мажоре и в миноре, тянет, дразнит, терзает, гоняет туда-сюда по закоулкам и наконец, когда это уже становится утомительным, подстегивает нас, мы сливаемся в оживленном финале и под завершающие звучные аккорды благополучно голосуем.

Но некоторые люди не терпят, когда что-нибудь кончается. Холлиеру непременно надо было продолжить спор.

— Даже если по какой-то дикой случайности проект окажется успешным, какая от него будет польза? — спросил он.

— Вы упустили главное, — ответил Артур.

— Я, как директор Фонда Корниша, обязан проявлять осмотрительность.

— Но, дорогой мой Клем, вы — директор особенного фонда с необычными целями. Я прошу вас задействовать воображение, что совсем нехарактерно для фондов. Я прошу вас санкционировать чрезвычайно рискованную затею в надежде на необычайный успех. Вам незачем притворяться бизнесменом. Будьте собой — смело мыслящим ученым-историком.

— Ну, я полагаю, если так подойти к делу…

— Да, я подхожу к нему именно так.

— Но я все же думаю, что мой вопрос имеет смысл. Зачем миру еще одна опера? Их и без того уже много, и в цивилизованном мире на каждый квадратный километр приходится несколько человек, которые пишут новые оперы.

— Но эта опера будет совершенно особенной.

— Почему? Потому что композитор умер, не

дописав ее? Потому что эта девица, Шнак-что-то-там, хочет ее закончить и получить за это ученую степень? Не вижу, что в этом особенного.

— Вы сильно упрощаете наш план…

— И оставляете за кадром самое главное. Вы забыли, что мы собираемся поставить законченную оперу на сцене и показать ее широкой публике, — вмешался Герант Пауэлл, актер, озабоченный своей театральной карьерой. Он был уверен, что постановку оперы поручат ему.

— Думаю, не следует забывать, что все сторонники этого плана чрезвычайно высокого мнения о мисс Шнакенбург. Они намекают, что она — гений, а мы ведь как раз ищем гениев, — сказал Даркур.

— Да, но разве мы хотели заниматься шоу-бизнесом? — спросил Холлиер.

— Почему бы нет? С вашего разрешения, я повторюсь: мы учредили Фонд Корниша на деньги, оставленные человеком, который прекрасно знал и любил искусство и не боялся рисковать. Нам нужно было решить, что это будет за фонд. И мы решили. Он должен способствовать процветанию искусства и гуманитарных наук, а план, который мы рассматриваем, имеет прямое отношение и к искусству, и к гуманитарным наукам.

Мы ведь договорились, что не хотим учреждать еще один фонд, который дает деньги солидным, надежным проектам и отходит в сторону, дожидаясь солидных, надежных результатов. Нынешнее меценатство поражено осторожностью и невмешательством, словно артритом. Давайте поддержим то, что нам нравится, и устроим тарарам. Мы уже сделали реверанс в сторону надежности — заработали имидж добропорядочной скучной организации, поручив Симону написать биографию нашего основателя и благодетеля…

— Спасибо, Артур. Огромное спасибо. Я даже не надеялся, что моя работа получит столь высокую оценку. Видишь, я краснею от смущения.

Симон Даркур прекрасно знал: труд биографа гораздо тяжелее, чем думает Артур. Кроме того, Симон отчетливо помнил, что до сих пор не попросил и не получил ни гроша за проделанную работу. Он, как многие литераторы, был обидчив.

— Симон, извини. Ты наверняка понял, что я хотел сказать.

— Я знаю, что ты, по-твоему, хотел сказать, но книга может оказаться вовсе не такой занудной, как ты думаешь.

— Надеюсь, что нет. Но я, собственно, подво-

дил к тому, что книга обойдется в какие-нибудь несколько тысяч долларов. Мы, конечно, не самый богатый фонд в Канаде, но все равно нам нужно избавиться от кучи денег. Мне хочется сделать что-нибудь эффектное.

— Это ваши деньги и, надо полагать, ваше право решать, что с ними делать. — Холлиер все еще пытался выступать в роли голоса разума.

— Нет, нет и еще раз нет. Это не мои деньги. Это деньги фонда, директора которого — мы все: вы, Клем, и ты, Симон, и ты, Герант, и, конечно, Мария. Я лишь председатель, первый среди равных — раз уж у фонда должен быть председатель. Неужели я вас не убедил? Вы действительно хотите унылой надежности? Кто за надежность и скуку — поднимите руки.

Ни одна рука не поднялась. Но у Холлиера осталось чувство, что ему подставили подножку нечестным риторическим приемом. Герант Пауэлл вообще не любил заседаний и с нетерпением ждал, когда это заседание окончится. Даркур счел, что Артур обошелся с ним высокомерно. Мария прекрасно знала, что Холлиер совершенно прав и что деньги на самом деле принадлежат Артуру, несмотря на все юридические хитросплетения. Она знала также, что сама не имеет никаких

прав на эти деньги, разве что ее слово, как жены Артура, имеет чуть больший вес.

Она совсем недавно вышла замуж за Артура и всем сердцем любила его, но знала: он может быть ужасным тираном, когда ему чего-нибудь хочется. А сейчас ему страстно хотелось быть удачливым, изобретательным, смелым покровителем искусств. Он тиран, думала она. Должно быть, король Артур был именно таким тираном, когда убеждал рыцарей Круглого стола, что он всего лишь первый среди равных.

— Значит, мы все согласны? — продолжал Артур. — Симон, напишешь резолюцию? Не обязательно в отточенной формулировке: мы ее потом причешем. У всех налито? А почему никто ничего не ест? Угощайтесь, перед вами Блюдо изобилия.

Это была шутка, которая, как это бывает с шутками, уже немного приелась. «Блюдо изобилия», большое сложное сооружение из серебра, стояло посреди круглого стола, за которым сидели собравшиеся. От затейливо украшенного центрального основания отходили изогнутые стержни, на концах которых были тарелочки для сухофруктов, орехов и сластей. Жутко уродливая штука, подумала Мария, — несправедливо, так

как ваза была прекрасным образцом подобного рода вещей. Это был свадебный подарок Артуру и Марии от Даркура и Холлиера, и Мария ненавидела вазу, так как знала, что такая дорогая вещь на самом деле не по карману ее бывшим преподавателям. И еще ваза воплощала в себе все, что Марии не нравилось в ее браке, — бессмысленную роскошь, высокомерие богатства, величественную бесполезность. После желания сделать Артура счастливым Мария больше всего на свете хотела стать настоящим ученым. Ей до сих пор казалось, что большие деньги и великая ученость несовместимы. Но Мария была женой Артура, и, раз никто не стал угощаться из вазы, Мария для виду взяла пару орехов.

Пока Даркур трудился над резолюцией, остальные директора фонда не вполне дружелюбно болтали между собой. Артур сильно раскраснелся, и Мария заметила, что у него заплетается язык. Неужели он пьян? Он никогда не пил много. Он взял шоколадку с Блюда изобилия, но, похоже, она оказалась неприятной на вкус — он выплюнул ее в носовой платок.

— Так сойдет? — спросил Даркур. — «Собрание постановило, что фонд решил удовлетворить совместную заявку отделения аспирантуры кафедры

музыковедения и мисс Хюльды Шнакенбург на материальную помощь, которая даст мисс Шнакенбург возможность сформировать и завершить рукописную партитуру, ныне хранящуюся в библиотеке отделения (в числе нотных рукописей, завещанных покойным Фрэнсисом Корнишем), оперы, которую оставил не завершенной по своей смерти в тысяча восемьсот двадцать втором году Эрнст Теодор Амадей Гофман. Работа должна быть выполнена в соответствии с оперными традициями времен Гофмана и для оркестра в соответствующем составе. Проект будет засчитан мисс Шнакенбург как частичное выполнение требований, необходимых для получения степени кандидата музыковедческих наук. Далее собрание постановило, что в случае удовлетворительного выполнения работы опера будет поставлена на сцене и показана публике под названием, которое дал ей сам Гофман, — „Артур Британский“. Ни кафедра музыковедения, ни мисс Шнакенбург еще не извещены о последней части нашего предложения».

— Это будет для них приятный сюрприз, — сказал Артур.

Он пригубил из бокала и тут же поставил его на место, будто напиток показался невкусным.

— Сюрприз, несомненно, — заметил Даркур. — Приятный ли — это вопрос. Кстати, а вы не думаете, что в протокол стоит внести полное название оперы?

— А разве она называется не просто «Артур Британский»? — спросил Герант.

— Нет. Гофман, по тогдашней моде, дал ей двойное название.

— Да, я знаю такие, — сказал Герант. — «Артур Британский, или… что-то еще». Что?

— «Артур Британский, или Великодушный рогоносец», — ответил Даркур.

— В самом деле? — спросил Артур. Его как будто беспокоила горечь во рту. — Ну, я думаю, если нам не нужно полное заглавие, не обязательно его упоминать.

Он снова сплюнул в платок, стараясь, чтобы никто не заметил. Но мог и не стараться, потому что, услышав полное название оперы, никто из собравшихся не взглянул на Артура.

Три других директора фонда смотрели на Марию.

2

Назавтра не успел Симон Даркур сесть за работу, как его оторвал телефонный звонок Марии. Артур был в больнице — у него оказалась свинка, или паротит, как эту болезнь называют врачи. Но врачи не сказали Марии того, что знал Даркур: свинка у взрослого мужчины — это серьезно. Она вызывает болезненное опухание яичек и может причинить непоправимый вред. Артур на несколько недель выбывал из строя. Но он сказал Марии, едва шевеля распухшей челюстью, что работа фонда должна продолжаться, и как можно быстрее, силами Даркура и Марии.

Как это похоже на Артура! У него был в высшей степени развит непревзойденный навык делового человека — перекладывать ответственность на других, уступая при этом лишь жалкие крохи власти. Даркур познакомился с Артуром после смерти своего друга Фрэнсиса Корниша: тот назначил Даркура одним из исполнителей своего завещания. Главным исполнителем, наделенным всей полнотой власти, был Артур. Он сразу показал себя прирожденным лидером. Как многие лидеры, временами он был жестковат,

часто задевал чьи-нибудь чувства, но не из личной неприязни, а просто по недомыслию. Он был председателем совета директоров огромного Корниш-треста; крупные финансовые воротилы восхищались им и доверяли ему. Но вне деловой жизни он хорошо разбирался в искусстве, что для банкира нетипично. Точнее говоря, он любил искусство по-настоящему, а не просто благоволил к нему, как положено руководителю крупной корпорации.

Его намерения доказывало то, что он так стремительно основал Фонд Корниша на деньги, оставленные дядей Фрэнком. Артур хотел стать крупным меценатом — ради забавы и из любви к приключениям. Разумеется, фонд принадлежал ему. Для виду он учредил совет директоров, но кого туда пригласил? Клемента Холлиера, потому что Мария, как бывшая студентка Холлиера, питала к нему особую привязанность. И кем оказался Холлиер? Любителем совать палки в колеса и постоянно рассматривать вопросы с другой стороны; высочайшая репутация ученого-медиевиста не искупала его мрачной несостоятельности как человеческого существа. Еще Артур выбрал в директора Геранта Пауэлла: Пауэлл, восходящая звезда театра, обладал шармом и бурлящим энту-

зиазмом, типичными для людей этой породы. Он с чисто валлийским легкомыслием поддерживал самые экстравагантные начинания Артура. И еще в совет директоров вошла Мария, жена Артура; милая Мария, которую Даркур любил когда-то. Да и до сих пор еще любил — может быть, даже острее теперь, когда ему уже наверняка не грозила взаимность. Теперь он мог трудиться, как раб, на благо своей дамы, романтически упиваясь неразделенным чувством.

Таково было мнение Даркура о коллегах по фонду. Что же он думал о себе?

Миру он был известен как преподобный Симон Даркур, хороший преподаватель греческого языка и авторитетный ученый; он был заместителем декана в колледже Плоурайт, подразделении университета, где готовили магистров и аспирантов. Кое-кто считал его мудрым человеком и приятным собеседником. Но Артур прозвал его «аббат Даркур».

Что такое аббат? Разве не правда, что на протяжении столетий так называли священника, который на самом деле принадлежал к разряду старших слуг? Аббат ел за одним столом с хозяевами, но у него была комнатка при дворцовой библиотеке, где он трудился как личный секре-

тарь, посредник и устроитель всяческих дел. В театре и литературе аббаты плели интриги и забавляли дам. В наше время уже никого не зовут аббатом, но аббаты еще нужны миру, и Даркур чувствовал себя одним из них. Однако его коробило, что Артур так бесцеремонно называет вещи своими именами.

Предположительно в былые дни аббатам платили жалованье. Даркура постоянно глодала мысль, что он не получает ни гроша, хотя выполняет обязанности секретаря фонда и вообще, как он это для себя формулировал, всячески пашет на благо фонда. Но он понимал: пока ему не платят, его независимости ничто не грозит. Независим, как свинья на льду, подумал он, — старые лоялистские онтарийские поговорки часто нежданно-негаданно всплывали у него в голове. Но если он не хочет, чтобы пострадала его университетская работа, придется пахать день и ночь — а он был из тех, кому необходима определенная доля творческого безделья, время на раскачку.

Творческое безделье — не для того, чтобы грезить или спать, но чтобы расставить информацию в голове наилучшим образом. Взять, например, жизнь Фрэнсиса Корниша: Даркур был уже в от-

чаянии. Он набрал массу фактов, потратил кучу денег, чтобы провести лето в Европе и выяснить все, что можно, о жизни Корниша в Англии. Оказалось, что Корниш был кем-то там в английской контрразведке, но контрразведка не торопилась об этом рассказывать. Конечно, Фрэнсис сыграл важную роль в возвращении награбленных картин законным владельцам (насколько их удавалось установить). Но тут крылось что-то еще, и Даркуру никак не удавалось выяснить, что именно. Перед началом Второй мировой войны Фрэнсис чем-то занимался в Баварии: чем глубже Даркур копал, тем сильнее уверялся, что тут-то и зарыта собака, но ему никак не удавалось посадить эту собаку на цепь. В жизни Фрэнсиса Корниша зияла огромная дыра длиной лет в десять, и Даркуру нужно было ее заполнить. Один след (возможно, горячий) вел в Нью-Йорк, но как выкроить время для поездки и кто оплатит расходы? Даркуру уже надоело тратить деньги (по его меркам немалые) на добывание материала для книги, к которой Артур относился с явным пренебрежением. Даркур твердо решил написать хорошую книгу, насколько это в его силах, но он работал над ней уже год и чувствовал, что им откровенно пользуются.

Но почему он не мог взять и обрисовать положение, потребовать платы за свою работу, объяснить, что эта книга уже обошлась ему в большую сумму, чем он когда-либо надеется за нее получить? Потому что не хотел выставить себя в таком свете перед Марией.

Он знал, что ведет себя как дурак, притом жалкий. Любому человеку было бы неприятно сознавать, что он — жалкий дурак, секретарь подставного совета директоров, обремененный тяжелейшей задачей.

А теперь, значит, у Артура свинка! Любовь к ближнему требовала, чтобы Даркур испытывал подобающее случаю сожаление. Но непокорный бес, которого Даркуру так и не удалось в себе придушить, радовался при мысли, что у Артура яйца распухнут, как два грейпфрута, и будут зверски болеть.

Злободневные заботы неумолимо требовали внимания. Даркур потратил какое-то время на административные обязанности заместителя декана, побеседовал со студентом, у которого были «личные проблемы» (из-за девушки, разумеется), провел семинар по греческому языку Нового Завета и съел питательный, но скучный обед в столовой колледжа. Затем Даркур направился

к зданию, которое остальному университету казалось неприлично роскошным, — здесь располагалось отделение аспирантуры кафедры музыковедения.

Кабинет заведующего кафедрой был красив — современной красотой. Он приходился на угол здания, и две стены были полностью стеклянные: по замыслу архитектора они должны были открывать владельцу кабинета прекрасный вид на парк, простирающийся вокруг. К сожалению, стены также открывали проходящим мимо студентам прекрасный вид на заведующего, погруженного в работу — или, может быть, в творческое безделье. Поэтому завкафедрой прикрыл окна тяжелыми занавесями, так что в кабинете было темновато. Кабинет был большой; письменный стол завкафедрой казался меньше из-за соседства с роялем, клавикордами (завкафедрой специализировался на барочной музыке) и гравированными портретами музыкантов восемнадцатого века на стенах.

Уинтерсен, завкафедрой, был рад, что мисс Хюльда Шнакенбург получит деньги и в поддержку своей работы, и на проживание. Он разоткровенничался:

— Надеюсь, это решит сразу несколько проблем.

Эта девушка — я буду звать ее Шнак, ее все так зовут, и она вроде бы не возражает — чрезвычайно талантлива. Я бы сказал, что большего таланта на этой кафедре не припомню ни я сам, ни мои коллеги. Через нас проходят толпы студентов, из которых многие станут прекрасными исполнителями, а иные достигнут подлинного мастерства. Но Шнак — нечто гораздо более редкое: возможно, что она — истинно талантливый композитор. Но если она будет продолжать в том же духе, то рано или поздно это доведет ее до беды и, может быть, вообще погубит!

— Эксцентричность гения? — спросил Даркур.

— Нет, если вы имеете в виду живописные выходки и склонность изливать душу. В Шнак нет ничего живописного. Сколько лет я завкафедрой — и ни разу не встречал таких грязных, грубых сопляков с омерзительными манерами. А я всякого повидал, можете мне поверить. Что же касается души — боюсь, если вы употребите это слово в присутствии Шнак, она вас ударит.

— А что ее гложет?

— Не знаю. Никто не знает. Она происходит из образцово посредственной семьи. Родители совершенно заурядны. Отец работает часовщиком в большом ювелирном магазине. Тусклый,

серый — как будто родился с лупой в глазу. Мать — прискорбный ноль. Единственное, что их выделяет, — принадлежность к какой-то ультраконсервативной лютеранской секте. Они не переставая твердят, что дали дочери хорошее христианское воспитание. И кого же они вырастили? Анорексичку-неудачницу, которая не моет голову, да и вообще ничего не моет, огрызается на преподавателей и постоянно кусает кормящую руку. Но девица талантлива, и мы думаем, что ее талант — настоящий, большой, не однодневка. Сейчас она осваивает разные новейшие течения в музыке. Компьютерная музыка и алеаторика для нее уже пройденный этап.

— Тогда зачем ей работать над этими набросками Гофмана? Они кажутся чем-то совершенно устарелым.

— Это и нас всех интересует. Зачем ей нырять в прошлое на полторы сотни с лишком лет и доделывать незаконченную работу человека, которого обычно считают одаренным дилетантом? О да, Гофман написал несколько опер, и они были поставлены при его жизни, но, насколько мне известно, они весьма заурядны. В музыке он составил себе репутацию критика; он умно хвалил Бетховена раньше, чем кто-либо другой.

Шуман был о Гофмане очень высокого мнения, а Берлиоз его презирал — это в своем роде похвала наоборот. Гофман вдохновил множество людей гораздо талантливей его самого. Я бы все же назвал его литератором.

— А разве это плохо? Впрочем, я знаю его лишь по одной опере — ну знаете, «Сказки Гофмана» Оффенбаха. Офранцуженный вариант трех его сюжетов.

— По странному совпадению, это тоже незаконченная работа; Гиро составил оперу из нот Оффенбаха после его смерти. Я ее не люблю.

— Конечно, вы специалист. А я простой оперный любитель, и мне она понравилась. Хотя она не везде продумана: в ней есть нечто ускользающее от большинства оперных режиссеров.

— Думаю, лишь сама Шнак может объяснить, зачем ей эта работа. Но мы, преподаватели, довольны, так как этот проект хорошо укладывается в картину наших музыковедческих исследований и мы сможем присвоить Шнак ученое звание. Оно ей понадобится. С ее характером, ей жизненно необходимо набрать побольше солидных званий и дипломов.

— Вы хотите увести ее прочь от ультрамодерновой музыки?

— Нет-нет, я ничего не имею против современной музыки. Но для работы, которая будет засчитана как диссертация, нужно что-то более осязаемое. Может быть, работая над оперой, Шнак остепенится и хоть немного очеловечится.

Даркур решил, что сейчас самое время ознакомить завкафедрой с намерениями Фонда Корниша поставить новую оперу на театральной сцене.

— Боже! Они это всерьез?

— Да.

— А они вообще понимают, на что идут? Их затея может кончиться провалом, невиданным в истории оперного театра, — а это не пустые слова, скажу я вам. Я знаю, что Шнак не подведет, но материал может оказаться неблагодарным. Вы понимаете, о чем я: работа над оркестровкой, реорганизацией и прочим — это все косметическая хирургия, а ее возможности небезграничны. То, что поддержит фонд, и то, что можно создать на фундаменте, заложенном Гофманом, не обязательно привлечет публику.

— Фонд проголосовал в поддержку этого проекта. Вы же знаете, что эксцентричными бывают не только творцы; этим страдают и меценаты.

— Вы хотите сказать, что такова чья-то при-

хоть?

— Я ничего не говорил. Как секретарь фонда я сообщаю вам о его решении. Совет директоров фонда ознакомился со всеми факторами риска и все же готов вложить в этот проект существенные деньги.

— Да уж придется. Они хотя бы представляют, во что может обойтись полноразмерная постановка совершенно новой, никому не известной оперы?

— Они готовы вступить в игру. Но вам, конечно, придется следить, чтобы Шнак отработала эти деньги на совесть — в той мере, в какой у нее есть совесть.

— Они с ума сошли! Но я не намерен перечить чужой щедрости. Раз уж так легли карты, Шнак понадобится руководство на высочайшем возможном уровне. Авторитетнейший музыковед. Композитор не из последних. Дирижер, имевший дело с оперой.

— Три научных руководителя?

— Нет, всего один, точнее одна, если мы сможем ее заполучить. Но с вашими деньгами, надеюсь, я ее уломаю.

Он так и не сказал, кого имел в виду.

3

Когда Артур заболел, Мария всю неделю не могла работать.

Обычно она была очень занята. Замужество на время оторвало ее от научной работы, но сейчас Мария вновь засела за диссертацию о Рабле. Правда, теперь ей, замужней женщине, эта работа казалась чуть менее срочной — но Мария не согласилась бы, что менее важной. Кроме диссертации, у Марии было множество дел, связанных с Фондом Корниша. Даркур думал, что тащит тяжелый воз, но и Мария несла свое бремя. Именно она первой читала все заявления о материальной помощи — утомительная, нудная работа. Кажется, все заявители хотели одного и того же — написать книгу, напечатать книгу, отредактировать рукопись, выставить свои картины, выступить с концертом или просто получить деньги, чтобы, как они неизменно выражались, «выиграть время» на воплощение этих проектов. Многие были вполне достойны поддержки, но совершенно не укладывались в концепцию фонда, каким его видел Артур. Марии приходилось писать вежливые письма каждому

заявителю в отдельности с советом обратиться куда-либо еще. Попадались, конечно, и мечтатели с размахом: один хотел запрудить и вычерпать Темзу, чтобы найти фундамент шекспировского «Глобуса»; другой намеревался установить полномасштабный фландрский карильон[1] в столице каждой из канадских провинций и учредить должность карильонера. Третьему нужна была материальная поддержка для написания серии картин, демонстрирующих, что многие великие полководцы были ниже среднего роста. Четвертый желал поднять из-под арктического льда какие-то недостоверно опознанные обломки кораблекрушения. Этих приходилось отваживать вежливо, но твердо. Относительно приемлемые случаи, а их было много, Мария обсуждала с Даркуром. Немногие предложения, которые могли понравиться Артуру, выуживались из общей массы и раздавались для ознакомления всем

[1] Примечания: 1

Карильон (*фр.* carillon) — 1) механический музыкальный инструмент, посредством часового механизма заставляющий ряд колоколов исполнять какую-либо мелодию; 2) колокольный многоголосный музыкальный инструмент западноевропейского происхождения, на котором играет карильонер. В XV–XVI вв. распространился на всем христианском Западе (Бельгия, Голландия). Ранее устанавливался на зданиях городских ратуш и церковных колокольнях, ныне стал помещаться и на отдельных, специально отстроенных архитектурных сооружениях башенного типа для использования его в качестве самостоятельного концертного инструмента.

участникам Круглого стола.

Круглый стол был еще одной шуткой, которая не нравилась Марии. Конечно, совет директоров фонда собирался за круглым столом — красивым, старинным. Вероятно, лет двести-триста назад он служил «арендным столом»[2] в кабинете какого-нибудь управляющего имением. В квартире Корнишей этот стол лучше всего подходил для заседаний фонда. Поскольку за столом председательствовал Артур, Геранту Пауэллу пришла в голову шутливая ассоциация с легендами о короле Артуре. Герант много знал об артуровских легендах, хоть Мария и подозревала, что эти знания окрашены его живой фантазией. Именно Пауэлл настаивал, что решение Артура вести фонд по непроторенной дороге, руководствуясь чутьем, пропитано подлинным духом артуровских легенд. Пауэлл заклинал прочих директоров «бросаться в чащу леса там, где она всего гуще» и настойчиво повторял: *«là où ils la voient plus expresse»*[3] (он утверждал, что это на

[2] Примечания: 2

Арендный стол — круглый стол, поддерживаемый широким деревянным основанием, в который вделаны ящички с названиями дней недели. Ящички служили примитивной картотекой для сбора арендной платы и хранения хозяйственных документов.

[3] Примечания: 3

Там, где они видят это наиболее явно *(фр.)*.

средневековом французском). Марии не нравилась театральная аффектированность Пауэлла. Мария всю жизнь избегала аффектированности иного рода и, как истинный ученый, не доверяла слишком много знающим людям, не принадлежащим к миру науки (дилетантам, как называют их в ученом мире). Знания должны быть уделом тех, кто обращается с ними профессионально.

Иногда Мария спрашивала себя: неужели она вышла за Артура, чтобы заниматься такой бумажной работой? Но тут же отмахивалась от этого вопроса. Сейчас нужно выполнять именно эту работу, и Мария будет выполнять ее, как того, по-видимому, требует ее брак. Брак — это игра для взрослых, и правила ее у каждой пары свои.

Конечно, она как жена очень богатого человека могла стать «светской львицей». Но что это значило в такой стране, как Канада? Светская жизнь в ее старом понимании — визиты, чаепития, ужины, уик-энды, костюмированные балы — уже не существовала. Женщины, которым не приходилось работать, посвящали себя добрым делам. С живописью и музыкой связана масса утомительной нетворческой работы, которую профессионалы любезно передоверяют богатым добровольцам. Есть еще великая лестница сострадания, на кото-

рой общество располагает различные болезни в соответствии с их социальным престижем. Светские дамы трудятся на благо увечных, хромых, слепых,[4] больных раком, паралитиков, прочих калек и, конечно, страдальцев, пораженных новой модной хворью, СПИДом. И еще жертв общественного неустройства: избиваемых жен, избиваемых детей, изнасилованных девушек. Их как будто прибавилось за последнее время, а может быть, их крик о помощи стал лучше слышен. Подлинно светская дама демонстрирует неравнодушие к язвам общества и терпеливо продвигается вверх по лестнице сострадания, лавируя в сетях различных комитетов, советов, должностей вице-президента, президента и бывшего президента, губернаторских комиссий по расследованию. Порой многолетний труд светской дамы увенчивается орденом Канады. Время от времени светская дама и ее муж съедают неимоверно дорогой ужин в обществе равных им по положению людей, но ни в коем случае не для удовольствия. Это делается для сбора денег на какое-либо достойное дело или на «исследования». Сто лет назад деньги точно так же собирали на

---

[4] Примечания: 4
Лк. 14:21.

поддержку заморских миссий. Обладание богатством влечет за собой ответственность, и горе богачу, который попытается ее избежать. Все это весьма достойная работа, но веселья в ней мало.

У Марии была вполне уважительная причина не крутить ступальное колесо благотворительности: Мария была научным сотрудником и занималась научной работой и таким образом оправдывала свое место на корабле общества. Но раз Артур серьезно заболел, Мария точно знала, что ей делать: она должна поддерживать мужа всеми доступными ей способами.

Она проводила у постели Артура все время, какое позволял распорядок больницы, и щебетала под молчание мужа. Он очень страдал, так как у него опухла не только челюсть; доктора называли это орхитом, и каждый день, когда медсестры не было поблизости, Мария приподнимала простыню и горевала над чудовищно разбухшими яичками. Опухоль причиняла Артуру сильную боль в паху и животе. Мария впервые увидела мужа больным, и от этого зрелища он стал ей по-новому дорог. Когда она была не с ним, она думала о нем — так много, что не могла работать.

Но мир не испытывает пиетета к подобным чувствам. Марии нанесли визит, который ее

сильно встревожил. Она сидела у себя в красивом кабинете — впервые в жизни у нее появился собственный отдельный рабочий кабинет, и она обставила его красиво, даже, может быть, чересчур. Вошла экономка-португалка и сказала, что с Марией хочет поговорить какой-то мужчина.

— О чем?

— Он не захотел мне сказать. Он говорит, что вы его знаете.

— Кто это, Нина?

— Ночной консьерж. Тот, который сидит в вестибюле с пяти вечера до двенадцати ночи.

— Если это связано с домом, пусть он обратится к мистеру Калдеру в конторе Корниш-треста.

— Он говорит, что по личному вопросу.

— Черт! Ну ладно, пусть войдет.

Мария не узнала вошедшего мужчину. Если не обращать внимания на униформу консьержа, он мог оказаться кем угодно. Он был маленький, не очень приятный с виду, все время как-то ежился, и Мария его сразу невзлюбила.

— Спасибо, что приняли меня, миссис Корниш.

— Простите, я не знаю вашего имени.

— Уолли. Я Уолли, ночной консьерж.

— А фамилия?

— Кроттель. Уолли Кроттель. Моя фамилия вам

ничего не скажет.

— Зачем вы хотели меня повидать?

— Ну, не буду ходить вокруг да около. Я пришел насчет книги маво папки.

— Ваш отец подавал заявление в фонд по поводу книги?

— Нет. Он помер. Вы его знали. И книгу знаете. Маво папку звали Джон Парлабейн.

Джон Парлабейн покончил с собой чуть больше года назад и тем самым ускорил ухаживание и женитьбу Артура Корниша. Но, глядя на Кротеля, Мария не находила в нем черт покойного Парлабейна — мощного костяка, большой головы, злокозненного ума, который светился в глазах и неминуемо привлекал к себе внимание. Мария слишком хорошо знала покойного Парлабейна и понимала, что нужно быть настороже. Парлабейн — англиканский монах-расстрига, полицейский осведомитель, торговец наркотиками, нахлебник человека, неприятнее которого Мария в своей жизни не встречала. Парлабейн, который вторгся в ее отношения с научным руководителем, — когда-то Мария надеялась, что этот научный руководитель, Клемент Холлиер, станет ее возлюбленным. Когда Парлабейн убил своего мерзкого господина и сам покончил с

собой, Мария решила, что избавилась от него навсегда. Она забыла слова Холлиера, который предупреждал: «Ничего не кончилось, пока все не кончилось». Книга Парлабейна! Здесь нужна была тонкая хитрость, а Мария боялась, что ей такой хитрости недостает.

— Я никогда не слышала, что у Парлабейна были дети.

— Об этом мало кто знает. Все из-за моей мамки. Ради мамки это держали в тайне.

— Вашу матушку звали миссис Кроттель?

— Нет, миссис Уистлкрафт. Она была супругой Огдена Уистлкрафта, великого поэта. Вы наверняка про него слыхали. Он уже давненько помер. Надо сказать, он хорошо ко мне относился, для приемного-то отца. Но не хотел дать мне свою фамилию. Понимаете? Не хотел, чтобы кругом него околачивались ненастоящие Уистлкрафты. Не от истинного семени, как он говорил. Потому меня вырастили под мамкиной девичьей фамилией — Кроттель. Как будто я ихний племянник. Сирота-племянник.

— И вы думаете, что вашим отцом был Парлабейн.

— Я знаю. Мамка проговорилась. Перед тем как помереть, она мне сказала, что с Парлабейном с

одним изо всех мужиков у нее бывал первоклассный организм. Я, конечно, извиняюсь за такое, но это ее подлинные слова. Она была очень эмансипированная и много говорила про организм. Уистлкрафту, видать, организм никак не давался. Наверно, у поэтов кишка тонка.

— Понимаю. Но о чем вы хотели со мной поговорить?

— О книге. Книге маво папки. Он написал большую, важную книгу и поручил ее вам, когда скончался.

— Джон Парлабейн оставил мне и профессору Холлиеру большой объем материала. И письмо оставил, когда покончил с собой.

— Да, но когда он отдавал богу душу, то наверняка не знал, что у него есть натуральный наследник. Я то есть.

— Послушайте, мистер Кроттель. Я вам сразу скажу, что Джон Парлабейн создал огромный, весьма несвязный философский труд. Чтобы хоть как-то оживить книгу, он добавил биографического материала. Но писателя из него не вышло. Эту книгу прочитали несколько знающих людей — точнее, прочитали, сколько смогли, — и сказали, что она не годится для публикации.

— Слишком откровенная, а?

— Не думаю. Скорее, слишком бессвязная и скучная.

— Ой-ёй-ёй, миссис Корниш, мой папка был мозговитый человек. Не говорите мне, что он написал скучную книгу.

— Именно это я вам и говорю.

— А я слыхал, что в ней было много всякого про разных важных людей, правительство, все такое — про ихние похождения в юности, и они не хотели, чтобы это стало всем известно.

— Я ничего подобного не помню.

— Это вы так говорите. Не хочу вас обижать, но, может, это заговор. Я слыхал, что много кто хотел эту книгу напечатать.

— Ее видели несколько издателей и решили, что она им не подходит.

— Жареные факты, э?

— Нет, просто издатели решили, что книги из этого не выйдет.

— У вас есть их письма, чтобы это доказать?

— Мистер Кроттель, ваша настойчивость неуместна. Слушайте меня: человек, которого вы безо всяких доказательств называете своим отцом, оставил машинописную копию книги непосредственно профессору Холлиеру и мне. И у меня есть его письмо, где об этом говорится.

Мы должны были распорядиться книгой по собственному усмотрению, и мы ею распорядились. Больше говорить не о чем.

— Я хочу видеть эту книгу.

— Это невозможно.

— Тогда мне придется принять меры.

— Какие меры?

— Законные! Я имел дело с законом и знаю свои права. Я наследник. Вы думаете, что крепко сидите, а это, может, вовсе и не так.

— Конечно, вы можете прибегнуть к закону, если считаете нужным. Но если вы надеетесь заработать на этой книге, то я могу сразу сказать, что вас ждет разочарование. Простите, наш разговор окончен.

— Хорошо. Будь по-вашему. Мой законный представитель с вами свяжется.

Кажется, Мария победила. Артур всегда говорил: если тебе угрожают законом, соглашайся, пусть подают в суд. Такие разговоры — как правило, блеф.

Но Мария была неспокойна. Когда вечером пришел Даркур, она приветствовала его давней фразой:

— Парлабейн вернулся.

Эхо слов, которые — с разной степенью огор-

чения — повторяли многие люди два года назад, когда Джон Парлабейн в монашеской рясе вернулся в университет. Многие помнили его, многие слыхали легенды о нем: блестяще одаренный философ, он задолго до того покинул университет в результате неблаговидной истории — старой и вечно новой — и некоторое время болтался по свету, хитроумно сея раздоры и нарушая закон. Он сбежал из английского монашеского ордена Священной миссии, и орден, судя по всему, не горел желанием заполучить его обратно. После бегства он всплыл в колледже Святого Иоанна и Святого Духа (неофициально именуемом Душок). Примерно через год он покончил с собой, оставив записку, в которой со смаком признавался в убийстве профессора Эркхарта Макварриша (чудовищно тщеславного человека с очень странными сексуальными вкусами). Мария, Даркур, Холлиер и многие другие надеялись, что Парлабейн окончательно отошел в историю. Но Мария не устояла перед искушением — открыть новую главу этой истории подлинно театральным жестом.

Даркур выказал подобающие случаю удивление и расстройство. Когда Мария объяснила, в чем дело, он заметно успокоился.

— Решение простое, — заметил он. — Отдай ему

рукопись книги. Она тебе не нужна. Пускай он сам убедится, что с ней ничего нельзя сделать.

— Не выйдет.

— Почему?

— У меня ее нет.

— Что ты с ней сделала?

— Выбросила.

Вот теперь Даркур по-настоящему ужаснулся.

— Что ты сделала?! — взревел он.

— Я думала, она уже никому не нужна. И бросила ее в мусоропровод.

— Мария! И ты еще называешь себя ученым! Ты что, забыла первую заповедь ученого: *никогда ни при каких обстоятельствах ничего не выбрасывать?*

— Зачем она мне нужна была?

— Вот теперь ты знаешь зачем! Ты сама связала себя по рукам и ногам и предала в руки этому человеку. Как ты теперь докажешь, что книга ничего не стоила?

— Если он пойдет в суд? Можно будет вызвать кого-нибудь из тех издателей. Они скажут, что книга никуда не годилась.

— Ну да, ну да. Могу себе представить. «Скажите, пожалуйста, мистер Баллантайн, когда вы читали эту книгу?» — «А? Нет, я не читаю книги

сам. Я отдал ее одному из своих редакторов». — «Прекрасно. И вам предоставили письменный отчет?» — «Нет. В этом не было необходимости. Редактор лишь просмотрела книгу и сказала, что это безнадежно. Как я и подозревал. Я, конечно, и сам заглянул в книгу, но мельком». — «Благодарю вас, мистер Баллантайн. Как видите, господин судья и господа заседатели, нет доказательств, что книга подверглась серьезному профессиональному рассмотрению. Разве шедевры жанра, именуемого *le roman philosophe,*[5] можно оценить по достоинству при столь беглом знакомстве?» Каждого из твоих свидетелей-издателей будут по очереди вызывать для дачи показаний, и каждый раз тебе придется выслушивать один и тот же диалог. Адвокат Кроттеля может утверждать что угодно относительно книги: что это шедевр философской мысли, что это ядовитое обличение разврата в высших эшелонах власти. Абсолютно что угодно. Он скажет, что вы с Холлиером завидовали научным способностям Парлабейна и не дали ходу его книге под тем предлогом, что Парлабейн — сознавшийся убийца. Адвокат споет арию про Жана Жене, гениального писателя

---

[5] Примечания: 5
Философский роман *(фр.).*

и преступника, и завяжет его вместе с Парлабейном розовыми бантиками. Мария, ты влипла по самые уши.

— От твоих разговоров мало толку. Что нам делать? Может, как-то избавиться от Кроттеля? Уволить его?

— Глупая! Ты что, не знаешь — наша удивительно подробная Хартия прав и свобод запрещает увольнять кого бы то ни было, особенно если этот человек отравляет тебе жизнь. Да адвокаты Кроттеля тебя распнут. Слушай, дитя мое, тебе нужно посоветоваться с самым лучшим законником, причем как можно быстрее.

— А где нам его искать?

— Пожалуйста, не говори «нам». Я не имею никакого отношения к этой передряге.

— Но ты же мой друг!

— Быть твоим другом — тяжелый труд.

— Понятно. Друг до первого дождя.

— Не капризничай. Конечно, я с тобой. Но должен же я излить душу. Между прочим, мне и без этой истории хватает забот — с этой проклятой оперой, которую затеял Артур. Она меня с ума сведет! Знаешь чего?

— Нет, что?

— Мы откусили слишком много и теперь не

успеем разжевать. Мы обещали поддержать Шнак в работе над оперой. Я еще не встречался со Шнак лицом к лицу, но успел наслушаться всяких ужасов. И конечно, я решил посмотреть, что там в этих гофмановских бумагах. С этого надо было начинать, но Артур бросился вперед очертя голову. Так что я посмотрел. И знаешь чего?

— Послушай, что ты меня все время спрашиваешь, знаю ли я чего? Это очень неграмотно и недостойно тебя. Ну-ну, не обижайся. Так что?

— Сущая ерунда. В бумагах нет либретто. Там есть всего несколько слов, примерно описывающих текст, который должен соответствовать музыке. Вот.

— И что же?

— А то, что нам придется найти либретто. Или сочинить. Либретто в манере начала девятнадцатого века. И откуда мы его возьмем?

Мария решила, что пора доставать виски. Они с Даркуром предавались унынию и изливали свои беды глубоко за полночь. Мария выпила только одну рюмку, а Даркур — несколько. Ей пришлось вывести его на улицу и запихать в такси. К счастью, полночь уже минула и ночной консьерж сменился с поста.

4

Симон Даркур плохо спал и проснулся с похмельем. Он стал ругать себя — гораздо суровей, чем это делал бы мирянин. Без сомнения, он слишком много пьет. Он отказывался называть это алкогольной зависимостью, как диктует современная социология. Он сказал себе, что становится пьяницей, а пьяница-священник — самый отвратительный вид пьяниц.

Оправдания? Да, конечно, он мог бы найти кучу оправданий. Фонд Корниша и святого до бутылки доведет. Вот ведь туполобая компашка подобралась! Причем во главе с Корнишем, которого финансовый мир считает таким идеалом осмотрительности. Но какие бы ни были у Даркура оправдания, он не должен стать пьяницей.

Эта история с якобы сыном Парлабейна может попортить много крови. Даркур кое-как проглотил завтрак — насильно заставляя себя именно потому, что пьяницы обычно не завтракают, — и позвонил знакомому частному детективу, который был ему кое-чем обязан. Симон мытьем и катаньем дотащил его способного сына до получения степени бакалавра. У детектива были

очень полезные связи. Потом Симон поговорил по телефону с Уинтерсеном, завкафедрой музыковедения, не подчеркивая своего беспокойства из-за отсутствующего либретто, но пытаясь осторожно выяснить, что знает об этом Уинтерсен. Завкафедрой не волновался. Возможно, соответствующие бумаги попали в другое место или были внесены в каталог под другим именем — скорее всего, под именем либреттиста, которым, по-видимому, был Джеймс Робинсон Планше. Ни завкафедрой, ни Даркур никогда не слыхали о Планше, но они кружили по рингу в привычной для ученых манере — каждый пытался выяснить, что знает другой. От их возни в воздух поднялось облако незнания, которое, что опять-таки характерно для ученых, их успокоило. Они договорились о времени встречи Даркура с мисс Хюльдой Шнакенбург.

Когда это время настало, Даркур и завкафедрой прохлаждались в многооконном кабинете минут двадцать.

— Сами теперь видите, — сказал Уинтерсен. — Ни от кого другого я бы ничего подобного не потерпел. Но как я вам говорил, Шнак — особый случай.

Особо неприятный, подумал Даркур. Наконец

дверь открылась, Шнак вошла и села, не дожидаясь ни приветствия, ни приглашения.

— Она сказала, что вы хотите меня видеть.

— Не я, Шнак, а профессор Даркур. Он представляет Фонд Корниша.

Шнак ничего не сказала, лишь полоснула Даркура взглядом — возможно, злобным. Ее вид не так выбивался из привычного ряда, как ожидал Даркур, но, несомненно, в кабинете завкафедрой она являла собой необычное зрелище. Дело было даже не в неряшливой и давно не стиранной одежде: многие студентки по модной идеологии того времени из принципа ходили в затрапезном и грязном. Немытость Шнак была не протестом против чего-либо, а настоящей грязью. Шнак выглядела чудовищно антисанитарной, больной и слегка сумасшедшей. Грязные волосы сосульками свисали на острую крысиную мордочку. Глаза почти закрылись — Шнак подозрительно щурилась, и от этого у нее на лице появились морщины в самых неожиданных местах, морщины, какие в наше время нечасто увидишь даже у древних старух. Грязный свитер когда-то принадлежал мужчине; на локтях вязка протерлась и распустилась. Свитер дополняли грязные джинсы — опять-таки грязные не модной грязью

бунтарской юности, в которой есть определенное кокетство. Джинсы Шнак были грязны по-настоящему, до омерзения: в паху расплывалось большое желтое пятно. Довершали картину поношенные кроссовки без шнурков, на босу ногу. Девушка была очень грязна, но не агрессивно грязна — не как обыватель, желающий своим видом сделать некое заявление. В ней не было ничего поражающего взгляд. Если можно так выразиться, она выделялась именно своей непримечательностью: встретив ее на улице, Даркур, скорее всего, не обратил бы внимания. Но, увидев, на кого фонд собирается поставить большие деньги, Даркур похолодел:

— Мисс Шнакенбург! Надо полагать, мистер Уинтерсен сказал вам, что Фонд Корниша обдумывает возможность представить на сцене обработанную вами оперу Гофмана?

— Зовите меня Шнак. Да. Психованная затея, но деньги ихние.

Голос был сухой, сварливый.

— Верно. Но вы понимаете, что ее невозможно будет осуществить без полного сотрудничества с вашей стороны?

— Угу.

— И фонд может на вас рассчитывать?

— Наверно.

— Директорам фонда потребуется более полная уверенность. Вы ведь все еще несовершеннолетняя?

— Не-а. Мне девятнадцать.

— Вы молоды для работы над диссертацией. Я думаю, что мне следует поговорить с вашими родителями.

— Без толку.

— Почему?

— Они ни хрена в этом не смыслят.

— В музыке? Я говорю об ответственности. Нам нужна какая-то гарантия, что вы выполните свои обязательства. Я хочу получить согласие ваших родителей.

— Они думают, музыкант — это тот, кто играет на органе в церкви.

— Но они согласятся на наш проект, как вы думаете?

— Откуда мне знать? Я только за себя отвечаю. Но если им пообещать денег, они, скорее всего, за них ухватятся.

— Мы собираемся выделить грант, который покроет все ваши расходы — на жизнь, на обучение, все, что может потребоваться. Вы примерно представляете, какая сумма вам понадобится?

— Я могу жить, не тратя ничего. Или завести какие-нибудь дорогие привычки.

— Нет, мисс Шнакенбург, этого вы не можете. Мы будем тщательно следить за расходами. По всей вероятности, я буду сам их контролировать, и при малейшем намеке на упомянутые вами дорогие привычки наше сотрудничество закончится.

— Шнак, вы же сказали мне, что оставили все эти глупости, — вмешался Уинтерсен.

— Да. В общем, оставила. У меня темперамент неподходящий.

— Рад слышать, — заметил Даркур. — Скажите — мне просто интересно, — вы бы стали работать над этим проектом, над оперой, если бы вам не дали гранта?

— Да.

— Но насколько я понимаю, вас интересуют самые современные направления в музыке. Откуда эта страсть к началу девятнадцатого века?

— Ну не знаю, оно меня вроде как зацепило. Все эти чудики.

— Ну хорошо, а что бы вы делали, если бы вам не дали гранта?

— Какую-нибудь работу. Все равно что.

Даркуру надоело ее равнодушие.

— Вы бы стали, например, играть на пианино в борделе?

Шнак слегка оживилась — впервые за всю беседу. Она расхохоталась — сухим, пыльным смехом:

— Проф, вы в каком году живете? Теперь в борделях нету пианино. Сплошной хай-фай и электроника. И девочки то же самое. Сходите как-нибудь, освежите память.

Важнейшее умение для преподавателя — не показывать студентам, что их оскорбления тебя задели. Надо выждать и сквитаться с ними, когда настанет удачный момент. Даркур продолжал невозмутимым, шелковым тоном:

— Мы хотим, чтобы у вас было время для работы над оперой, чтобы вы не беспокоились о заработке. Но вы все учли? Например, в этих бумагах нет ничего похожего на либретто.

— Это меня не колышет. Кто-нибудь пускай его найдет. Мое дело — музыка, и только музыка.

— А вам достаточно будет этих нот? Я не специалист, но, думаю, для завершения оперы на основе одних набросков и грубых планов нужна потрясающая страсть к своему делу.

— Вы — думаете?

— Да, я думаю. Позвольте вам напомнить, что

решение еще не принято. Если ваши родители вас не поддержат, если вы так равнодушны к деньгам и той пользе, которую они могут принести вашей работе, мы ни в коем случае не будем вам навязываться.

Тут вмешался Уинтерсен:

— Слушайте, Шнак, не будьте дурой. Это невероятный шанс для вас. Вы ведь хотите стать композитором? Вы мне сами говорили.

— Угу.

— Тогда советую понять вот что: Фонд Корниша и наша кафедра предлагают вам редчайший шанс, огромную ступень в карьере, способ привлечь к себе необходимое внимание. Многие великие музыканты прошлого отдали бы десять лет жизни за такую возможность. Еще раз повторю: не будьте дурой.

— Херня.

Даркур решил, что настало время для рассчитанной вспышки гнева:

— Знаете что, Шнак! Не смейте со мной так разговаривать. Помните, что даже Моцарту прилетало по заднице, когда он вел себя невежливо. Решайте. Нужна вам помощь или нет?

— Угу.

— Не угукайте. Нужна или нет?

— Да, нужна.

— Нет, я жду волшебного слова. Ну же, Шнак, — вы наверняка его слыхали когда-нибудь, ну хоть в далеком прошлом.

— Ну… пожалуйста.

— Вот это уже больше похоже на дело. И впредь продолжайте в том же духе. Я вам сообщу о нашем решении.

Когда Шнак ушла, завкафедрой не скрыл своей радости.

— Какое наслаждение! — сказал он. — Я уже давно хотел с ней так поговорить, но вы же знаете, нам нужно соблюдать осторожность со студентами: того и гляди накатают жалобу в попечительский совет. Но деньги все еще дают кое-какую власть. Где вы научились укрощать диких зверей?

— В молодости поработал на паре неблагополучных приходов. Шнак вовсе не так крута, как пытается нам внушить. Она недоедает, да и ест в основном всякую дрянь. Надо полагать, она когда-то принимала наркотики, а сейчас — я не удивлюсь, если она пьет. Но что-то симпатичное в ней есть. Если она гений, то это гений в полном соответствии с великой традицией романтизма.

— Я надеюсь.

— Думаю, Гофману она бы понравилась.

— Я мало знаю о Гофмане. Это не моя эпоха.

— Он весьма соответствует великой традиции романтиков. Он как писатель был одним из вдохновителей немецкого романтизма. Но в великой традиции романтиков есть аспекты, без которых в наше время лучше обойтись. Шнак придется это усвоить.

— А от Гофмана она этому научится? Он совсем не тот учитель, которого я бы для нее выбрал.

— А кого бы вы выбрали? Удалось вам заполучить того научного руководителя, которого вы хотели?

— Я буду завтра звонить ей за границу. Я постараюсь быть как можно более убедительным, а это может занять некоторое время. Надеюсь, счет за телефон я могу отправить вам?

Судя по этим словам, у завкафедрой был большой опыт работы с различными фондами.

5

Даркур знал, что вымученное у Шнак «пожалуйста» — лишь временная победа. Он на миг заставил непослушного ребенка слушаться, но это ничего не значило. Его сильно беспокоила вся история с «Артуром Британским».

Несмотря на все свои роптания, Даркур был верным другом и не хотел, чтобы первый же меценатский проект Фонда Корниша позорно провалился. Новости о грандиозной затее Артура непременно просочатся на свет — не через директоров фонда, а через самого Артура. Конечно, он не собирается выдавать информацию прессе, но самые худшие утечки информации — непреднамеренные. Артур брал на себя очень много: он открыто собирался сделать нечто такое, чего другие канадские фонды не делали; он отворачивался от традиционных объектов благотворительности и общепризнанно достойных дел. Если он потерпит неудачу, то раздастся даже не хор, а восьмиголосная оратория на слова «Мы же говорили» в исполнении благомыслящих граждан. Артур, совершенно не по-канадски, намеревался вложить большие суммы денег в

зыбкую идею, призрак. Страна, жаждущая определенности, не простит ему этого. И не важно, что деньги, которые он раздает, его собственные: в эпоху, когда любые траты скрупулезно рассматриваются и безжалостно критикуются, любой намек на то, что частное лицо легкомысленно тратит большие суммы по своему усмотрению, приведет в ярость критиков, которые сами не занимаются благотворительностью, но точно знают, как это надо делать.

Почему Даркур так беспокоился за Артура? Он не хотел, чтобы на Марию обрушился град общественного порицания и критики. Даркур все еще любил Марию и с благодарностью вспоминал, как она отвергла его ухаживания и взамен предложила дружбу. Он все еще страдал от свойственного влюбленным убеждения, что любимое существо можно и нужно уберегать от всяческих превратностей судьбы. В мире, где каждый должен получить свою порцию шишек, Даркур желал уберечь от них Марию. Если Артур желает встать к позорному столбу, Мария, как верная жена, добровольно встанет с ним рядом. Что тут поделаешь?

Человек, склонный к романтическому аспекту религии, не может полностью изжить суеверия,

как бы ни притворялся, что они ему ненавистны. Даркур хотел получить подтверждение, что все хорошо, или недвусмысленное предупреждение, что дело плохо. Где можно это сделать? Он знал. Он решил посоветоваться с матерью Марии, зная, что Мария будет решительно против, — она пыталась освободиться от всего, что символизировала ее мать.

Пока что у нее не очень получалось.

Мария видела себя в первую очередь ученым, преданным науке, а не женой богача и не замечательной красавицей, чья красота провоцирует разные далекие от науки происшествия. Мария хотела обрести новую мать — Мать Кормящую, альма-матер, университет. Она не сомневалась, что ученость, научная работа помогут ей подняться над цыганской половиной своей крови и отвергнуть столь ненавистное цыганское наследство. Но мать стояла у нее на пути, как огромный камень.

Мать, мадам Лаутаро (после смерти мужа она вернулась к своей девичьей фамилии), занималась весьма уважаемым ремеслом лютьера, врачевателя больных скрипок, виолончелей, альтов и контрабасов; это была семейная профессия, о чем свидетельствовала фамилия семьи.

Но, помимо этого, мать работала вместе со своим братом Ерко, человеком многих подозрительных талантов. Ерко не находил ничего особенного в том, чтобы собирать новые инструменты из обломков старых скрипок вперемешку с кусочками его и сестриной работы и подсовывать за старинные ничего не подозревающим людям. Мадам Лаутаро и Ерко нельзя было назвать заурядными жуликами, просто в подобных вопросах у них не было никаких моральных барьеров. Истинные цыгане, аристократы этого многострадального и презираемого народа, они считали нормальным и обычным делом пользоваться любыми слабостями *гадже*.[6] *Гадже* хотят взять в плен и уничтожить их народ? Отлично; ну так они узнают, кто умнее. Мадам Лаутаро подделывала скрипки и воровала в магазинах, наслаждалась этой ловкой местью миру *гадже* и полагала, что образование для ее дочери — способ продолжить ту же битву иными средствами. Клемент Холлиер, научный руководитель Марии, хорошо понимал и ценил ее мать. Он считал ее восхитительной культурной окаменелостью, пережитком Сред-

[6] Примечания: 6

Гаджё (*жен.* гаджи, *мн.* гадже) — не цыган *(цыг.).* Переводчик благодарит Лилит Мазикину за консультации по цыганскому языку и культуре.

невековья, эпохи, когда неимущие ловко и хитро воевали с имущими. Но Мария вышла замуж за имущего, за адепта канадской денежной религии-морали, и не для того, чтобы обобрать его до нитки, а по любви. Мадам Лаутаро так и не поверила этому до конца. Неудивительно, что Мария старалась держаться как можно дальше от матери.

Но судьба с неумолимой иронией распорядилась по-другому.

Не прошло и трех месяцев со свадьбы Артура и Марии, как дом мадам Лаутаро сгорел и мадам с Ерко остались без крова. Дом стоял в респектабельном квартале Торонто под названием Роуздейл и хранил внешнюю безупречную респектабельность со дней незапятнанно респектабельного и преуспевающего супруга мадам Лаутаро, поляка, *гаджё,* ныне покойного Тадеуша Феотоки. Стоило Тадеушу, богатому и респектабельному, умереть, как мадам (сперва шумно оплакав человека, которого любила не меньше, чем Мария — Артура) вернулась к своей девичьей фамилии и цыганскому образу жизни, единственному, который был ей родным. Они с Ерко изуродовали дом. Превратили его в лабиринт убогих комнатушек и поселили туда разных от-

чаявшихся людей, в основном старух. Жильцы платили за квартиры много больше настоящей цены, доверяясь мощной руке домовладелицы. Одна из этих старух, мисс Гретцер, девяностодвухлетняя девственница (которая, однако, притворялась, что ей всего восемьдесят восемь), однажды уснула с сигаретой в руке. Не прошло и часу, как мисс Гретцер обратилась в головешку, а мадам Лаутаро-лютьер и ее хитроумный брат Ерко стали бездомными. Мадам вопила и причитала, что они к тому же остались нищими.

Но они отнюдь не остались нищими. Как только начался пожар, мадам и Ерко бросились в подвальную мастерскую, вытащили из стены два цементных блока, помчались в садик за домом и швырнули кожаный мешок с деньгами в декоративный пруд. Затем они заняли позицию перед домом и с наслаждением предались шумной скорби, вырыванию волос и прочим театральным приметам отчаяния. Когда пожарные залили последний уголек, брат и сестра извлекли мешок из пруда, помчались в роскошный пентхаус, где жили Артур с Марией, и принялись за работу. Они вытащили из мешка мокрые купюры большого достоинства и развесили для просушки, пришпилив к мебели и гардинам. Мадам Лаутаро

и Ерко настояли на том, чтобы спать на полу в красивой гостиной, пока все до единой бумажки не будут высушены, проглажены и пересчитаны: они боялись, что деньги украдет Нина, экономка-португалка, открыто считавшая Лаутаро сбродом. Разумеется, с точки зрения португальской католички, они и были сбродом.

Нет, они отнюдь не остались нищими. Кроме наличных в мешке, у них было большое наследство Тадеуша, вложенное в фонд доверительного управления и приносящее солидный доход. И еще страховка. Для Ерко и мадам Лаутаро страховка была чем-то вроде пари: страховая компания билась об заклад, что дом не сгорит. Если дом сгорал, страховая компания проигрывала и попадала на деньги. К несчастью, перестроив красивый особняк в лабиринт меблированных комнатушек, Лаутаро не перестраховали дом как коммерческое предприятие; они продолжали платить низкие взносы, как за дом на одну семью. Страховая компания, чувствительная к подобным вопросам, пригрозила им судом за мошенничество. Артур был недоволен, но Ерко уговорил его не вмешиваться: цыгане разберутся своим, цыганским способом. Неужели крупная, могущественная финансовая компания станет

преследовать и угнетать двух бедных цыган, ничего не смыслящих в хитросплетениях бизнеса? Конечно нет! Лаутаро пребывали в блаженной уверенности, что получат от страховой компании большие деньги. Но для цыгана любые деньги, которые нельзя пощупать, подобны обманному золоту фей, а пожар — неотвратимая, осязаемая катастрофа. Где приклонить голову двум бедным погорельцам?

Мадам выразила желание остаться на неопределенное время в пентхаусе, — по ее словам, там хватило бы места на целый табор. Но Мария наотрез отказала. Ерко придумал свой план: они с мадам Лаутаро могут снять древнюю конюшню, стоящую позади лавки его приятеля на Куин-стрит-Ист. Конюшню легко приспособить под жилье, и в ней прекрасно разместятся скрипичная мастерская мадам и кузня самого Ерко.

Это могло оказаться приемлемым вариантом, но мадам Лаутаро посетила гениальная идея, осуществление которой, по словам мадам, должно было восстановить утраченное благосостояние семьи. Множество женщин, чей дар и в подметки не годился мадам Лаутаро, рекламировали свои услуги в качестве гадалок и ясновидящих, помогающих получить совет свыше. Кое-кто из них

открыто обещал восстановление утерянной мужской силы. По слухам, бизнес процветал. Мадам презрительно назвала этих женщин мошенницами, но заметила, что если к ней приходят люди с деньгами в руках и прямо-таки требуют, чтобы их обманули, кто она такая, чтобы отказывать?

Даркур спросил: неужели она в самом деле готова проституировать свой немалый талант, предсказывая будущее за деньги? Мадам Лаутаро ответила кратко и решительно.

— Никогда! — сказала она. — Никогда в жизни я не стану использовать свой дар для такой халтуры! Они у меня получат то же, что услышали бы от дешевой ярмарочной гадалки. Это будет мое хобби. У меня тоже есть гордость и понятие об этике — не хуже, чем у кого другого.

Но тут Артур взъерепенился. Как председатель совета директоров уважаемой финансовой компании, он не мог допустить, чтобы его теща держала гадальную лавчонку в сомнительном квартале. Артуру не понравились замечания коронера, который вел расследование смерти мисс Гретцер. Коронер весьма грубо прошелся по отсутствию надлежащих мер пожарной безопасности в доме, который он назвал трущобой, несмотря на элегантный внешний вид. Неужели

мадам Лаутаро не с кем посоветоваться в подобных делах? Артур не присутствовал на заседании суда, но чувствовал, сидя в твердыне финансовой империи Корнишей, как острый взгляд коронера сверлит ему затылок. Поэтому Артур заявил, что сам найдет погорельцам жилье. К ужасу жены, он предложил ее родным квартиру в подвале многоквартирного дома, в котором жили сами Артур и Мария: так родичи будут у него перед глазами.

Холлиер нетактично указал Марии на почти мифологическую красоту этого решения. Она — на самом верху великолепного здания, открытая солнцу и воздуху; ее корни, самая основа ее бытия, — в основании, в глубинах того же здания. Дивное воплощение метафоры корня и цветка. Мария умела огрызаться и огрызнулась на Холлиера, когда он это сказал.

Но она привыкла. Мать и дядя не ходили в пентхаус — не потому, что им запрещали, а потому, что им там не нравилось: воздух наверху разреженный, еда нездоровая, заставляют все время сидеть на стульях, разговоры скучные, и Ерко даже не дают выпускать газы, так как они, видите ли, сильно пахнут. В общем, не место для людей, сколько-нибудь любящих получать удовольствие от жизни.

При следующем визите к Марии Даркур говорил о Шнак, но в мыслях его царила мадам Лаутаро. Он был ее любимцем, она уважала его как священника, хоть и несколько необычного. Она чувствовала, что в сердце у святого отца живет суеверие, и это роднило их. Но визит к сивилле следовало устроить очень тактично.

— Я тут начала изучать Гофмана, — сказала Мария. — Кто-нибудь из фонда должен представлять себе мир, в который мы собираемся нырнуть.

— Ты читала его знаменитые «Сказки»?

— Да, некоторые. Музыкальные критические статьи я не стала читать, поскольку ничего не знаю о технической стороне музыки. Кое-что узнала о его жизни. Судя по всему, над этой оперой, «Артуром Британским», он работал как раз перед смертью. У него были просветы, когда ему становилось лучше, и тогда он требовал перо и бумагу и что-то делал, хотя его жена — она, кажется, была из совсем простых — не могла бы сказать, что именно. Ему было всего сорок шесть лет. Жизнь у него была тяжелая, он все время скитался, потому что Наполеон сильно осложнял жизнь людям вроде него: в смысле, не музыкантам или писателям, а юристам. Он был именно юристом и этим зарабатывал, когда подворачи-

валась возможность. Он пил — не то чтобы все время, но у него бывали запои. Он два раза был влюблен, оба раза несчастливо, и ни разу — в свою жену. И так и не добился признания как композитор, а именно этого ему хотелось больше всего на свете.

— Истинный романтик, судя по описанию.

— Не совсем. Не забудь, что он был законником. Весьма уважаемым судьей — когда Наполеон не мешал. Думаю, именно потому его сказки так чудесны: все вокруг такое обыкновенное, и вдруг — бабах! — и ты в волшебном мире. Я сейчас пытаюсь осилить его совершенно невообразимый автобиографический роман, половина которого написана от лица кота, гадкого обывателя, презирающего все, что Гофману было дорого.

— Настоящего кота или человека в образе кота?

— Настоящего. Его зовут кот Мурр.

— Ах да, ты ведь читаешь по-немецки. Я-то нет. Так что же с его музыкой?

— Ее оценивают невысоко. Музыканты не любят дилетантов, а литераторы не любят тех, кто пересекает границы, особенно границу со стороны музыки. Если ты писатель, ты писатель. Если композитор — композитор. Перебежчиков

не терпят.

— Но многие композиторы прекрасно писали.

— Да, исключительно письма.

— Давай надеяться, что музыка Гофмана лучше его репутации. А то Шнак попадет в хорошенькое положение, да и мы вместе с ней.

— Я подозреваю, что бедняга Гофман как раз собирался обрести музыкальный голос, когда умер. Вдруг эта опера окажется шедевром?

— Мария, ты небеспристрастна. Ты уже за Гофмана.

— А почему бы и нет? Кстати, я уже не зову его по фамилии. Его звали Эрнст Теодор Амадей Гофман. Он сам взял имя Амадей, потому что боготворил Моцарта. Получается Э. Т. А. Г. Я мысленно зову его ЭТАГ. Очень милое прозвище.

— ЭТАГ. Да, неплохо.

— Да. Тебе удалось что-нибудь раскопать про Кроттеля?

— Пока нет. Но мои шпионы рыщут повсюду.

— Поторопи их. Он нехорошо поглядывает на меня, когда я возвращаюсь по вечерам.

— Охранник и должен нехорошо поглядывать. А как он смотрит на Ерко?

— Ерко ходит через другую дверь, через черный ход, как вся обслуга здания. У них с мамусей

особый ключ.

Даркур решил, что настала пора предложить визит к Лаутаро. Мария колебалась:

— Я знаю, это выглядит, как будто я ужасная дочь. Но мне не хотелось бы поощрять хождения туда-сюда.

— А что, было много хождений сюда? Нет? Тогда давай совершим хождение туда, ну хоть один раз. Мне ужасно хочется послушать, что твоя мать скажет обо всем этом деле.

Мария еще немного помялась, и они спустились на лифте в самые глубины здания — в подвал, где стояли машины жильцов кондоминиума.

— Лира Орфея открывает двери подземного мира, — тихо сказала Мария.

— Что это? — спросил Даркур.

— Цитата из ЭТАГа.[7]

— Правда? Интересно, в самом деле отворила? У нас в фонде нет музыкантов. Направляемся ли мы в подземный мир? Может быть, твоя мать нам скажет.

— Уж она точно что-нибудь скажет. По делу

---

[7] Примечания: 7

Цитируется «Крейслериана» Э. Т. А. Гофмана. В переводе П. Морозова зд.: «Лира Орфея отворила врата ада». Мотив связи творчества с хтоническим миром — один из центральных в «Корнишской трилогии» Р. Дэвиса.

или нет — другой вопрос.

— Ты не права. Ты же знаешь, твоя мать — удивительно талантливая гадалка.

В зловещем свете, характерном для подземных стоянок, они прошли весь подвал насквозь, свернули за незаметный угол и постучали в безликую металлическую дверь. Она преграждала путь в неиспользуемую часть подвала, где архитектор собирался сделать спортзал и парилку, но передумал.

Стук остался без ответа. Они забарабанили. Дверь чуть-чуть приоткрылась на цепочке, и голос Ерко в самом глубоком басовом регистре сказал:

— Если вы пришли по работе, воспользуйтесь входом на один этаж выше. Я вас встречу у двери.

— Мы не по работе, а по дружбе, — сказал Даркур. — Ерко, это я, Симон Даркур.

Дверь распахнулась. Ерко, в лиловой рубашке и вельветовых штанах, когда-то бывших алыми, по-медвежьи облапил Даркура в знак приветствия. Ерко был рослый мужчина впечатляющей внешности — с лицом большим, как одна из его скрипок, и цыганской гривой черных волос.

— Поп Симон! Мой очень дорогой друг! Входи,

входи же! Сестра, поп Симон пришел. И твоя дочь, — добавил он подчеркнуто более холодным тоном.

Только Лаутаро могли превратить допотопный бетонный мешок, в высшей степени безличный и холодный, в подобие пещеры Аладдина — сочетание мастерской и хаоса человеческого жилья. Здесь воняло клеем, испарениями кузнечного горна, едой, залежавшейся вне холодильника, смердели две шкуры енота, растянутые на стене для просушки, и дивно пахло драгоценным старым деревом. Некоторые из бетонных стен остались голыми — на них кто-то делал вычисления мелом и стирал их, поплевав на стенку. На других стенах висели восточные ковры. Над жаровней пылающих углей бдила мать Марии, сама *тури дай*.[8] Она мешала что-то пахучее в сковородке. Дым от жаровни уходил по трубе, выведенной через окно прямо под потолком.

— Вы как раз к ужину, — сказала мадам Лаутаро. — Мария, достань еще две миски. Они в шкафу. Я готовлю ринджу с пихтей. Просто замечательно помогает от этого гриппа, который сейчас повсюду ходит. Ну что ж, дочь моя. Давненько я тебя не

---

[8] Примечания: 8

Мудрая старуха, советница *(букв.* старая женщина; *цыг.).*

видела, но все же добро пожаловать.

Даркуру было странно видеть, как прекрасная Мария съеживается в присутствии матери. Уважение к родителям проявляется в самых разных формах. Мария вдруг стала цыганской дочерью, надевшей для маскировки дорогие современные одежды. Туфли она сбросила сразу, как вошла в квартиру.

Цыгане редко целуются, но Мария поцеловала мать, и Даркур тоже поцеловал измазанную сажей руку мадам Лаутаро; он знал, что ей это приятно — напоминает о молодости, когда она была знаменитой венской цыганкой-скрипачкой.

Они стали есть ринджу с пихтей — это оказался рубец, вымоченный в очень крепком бульоне из свиных ножек и вполне съедобный. Даркур ел с большим аппетитом, как от него и ожидали: тому, кто пришел просить совета у оракула, не пристало воротить нос от угощения. За рубцом последовало что-то тяжелое, с творожным вкусом, под названием савьяко.[9] Даркур благодарил Бога за рюмку крепкой домашней сливовицы Ерко — от нее немело нёбо, но зато она прожигала

---

[9] Примечания: 9

Блюдо цыганской кухни, сладкий творожный пирог с сухофруктами.

дыры в этой еде, которая тяжелым грузом легла в желудке.

После того как они оказали надлежащее почтение богу гостеприимства, последовала получасовая беседа на общие темы. Если хочешь вопрошать оракула, отринь торопливость. Наконец настала пора Даркуру задавать вопросы. Он рассказал мамусе — именно так Мария звала свою мать — о Фонде Корниша; у нее было о нем лишь отдаленное и превратное представление.

— Да, да; это Блюдо изобилия, — сказала она.

— Блюдо изобилия — это просто шутка, — поправила Мария.

— Звучит не как шутка, — возразила мамуся.

— Да, это шутка, — сказал Даркур. — Так называется большое серебряное многоярусное блюдо, которое Мария ставит на стол, когда мы собираемся. В нем лежат всякие закуски — оливки, анчоусы, маринованные устрицы, сладости, печенья и все такое. Блюдом изобилия его в шутку прозвал один из директоров фонда. Он валлиец. Он говорит, что это блюдо напоминает ему валлийскую легенду про вождя, у которого на столе было волшебное блюдо; его гости могли просить у этого блюда чего угодно и получали просимое.

— Я слыхала ту же историю в других краях. Но

это хорошее название. Разве ваш фонд не то же самое? Полное блюдо, из которого каждый может взять, что ему нужно?

— Мы об этом как-то не думали.

— У вашего валлийца, видно, есть голова на плечах. Вы — охранители изобилия, верно ведь? Все просто.

Может быть, чуточку слишком просто, подумал Даркур, вспомнив о том, что Блюдо изобилия обещало Шнак. Он рассказал мамусе про незавершенную оперу, Шнак и свои сомнения, стараясь говорить как можно проще, чтобы она поняла. Он сделал распространенную ошибку — слишком упрощал свою речь, разговаривая с человеком хоть и не получившим формального образования, но очень умным и с развитой интуицией. Мария ничего не говорила — в присутствии матери ей полагалось молчать, пока ее не спросят. Мамуся переводила взгляд с дочери на Даркура и обратно и — в своей системе представлений — хорошо поняла их; они и не догадывались, насколько хорошо.

— Значит, вы хотите знать, что случится. И думаете, что я могу вам рассказать. Вам не стыдно, а, отец Даркур? Вы не настоящий католик, но все же в своем роде священник. Разве Библия не

велит вам держаться подальше от таких, как я?

— Библия в нескольких местах предостерегает против тех, кто вызывает мертвых, против волшебников[10] и чародеев, шептунов и вещателей.[11] Но мы живем в падшем мире, мадам Лаутаро. В прошлый раз, когда я зашел к своему епископу, у него был финансовый консультант — епископ советовался с ним по поводу церковных инвестиций. Он не смог меня принять, потому что говорил с консультантом, который шептал и вещал ему про рынок облигаций. Если, обратившись к вам за советом, я ставлю под угрозу спасение души, я с радостью заплачу эту цену.

Итак, мамуся достала карты Таро из красивой черепаховой шкатулки и ловко перетасовала их. Ловко, но осторожно, потому что это была прекрасная старинная колода, уже ветшающая от старости.

— Думаю, следует сделать расклад на девять карт, — сказала мамуся.

По ее просьбе Даркур снял колоду, в которой мамуся оставила одни только фигурные карты. Сначала он отложил в сторону четыре карты

---

[10] Примечания: 10
Лев. 19:31.

[11] Примечания: 11
Ис. 8:19.

лицом вниз; потом положил верхнюю карту посреди стола. Это оказалась Императрица, повелительница мирского богатства, сильная карта, хорошая основа для гадания. Следующая карта, которую вытянул Даркур, легла слева от Императрицы: это была Сила, красивая дама, побеждающая льва, — она раздирала ему пасть, явно без особого напряжения. Над Императрицей положили Влюбленного — проницательная мамуся заметила, как переменилась в лице Мария при виде этой карты. Следующей картой — ее положили справа от Императрицы — была Папесса, Великая Мать. При виде последней карты, место которой было под Императрицей, Даркур дернулся — это оказалась Смерть, ужасный скелет, разящий косой человеческие тела. Даркур терпеть не мог эту карту. Он заколебался.

— Кладите-кладите, — сказала мамуся. — Не бойтесь ее, пока не узнаете, что она значит. Теперь переверните карты-оракулы.

Это были те четыре карты, что он отложил в самом начале. Ими оказались, по порядку, Разрушенная Башня, Страшный Суд, Отшельник, и последним шел Дурак.

— Как вам это нравится? — спросила мамуся.

— Совсем не нравится.

— Не пугайтесь только оттого, что в раскладе темные карты. Посмотрите на Императрицу — она вытаскивает вас, мужчин, из любых передряг, в которые вы способны влипнуть. У вас подобрался очень женственный набор, и это хорошо, потому что мужчины постоянно все запутывают и портят. Посмотрите на Силу: разве это грубая, мужская сила? Нет! Это непреодолимая сила, и ее хозяйка владеет этой силой не потому, что она — мужчина, вот что я вам скажу. А эта Верховная Жрица, Папесса. Как вы думаете, кто она? Да, вы вытащили отличные карты.

— Я не могу спокойно видеть эту Смерть.

— Бросьте! Все боятся карты Смерти, потому как не хотят думать, что она означает. Но вы — священник! Разве Смерть не значит преображение, перемену? Она превращает все сданные карты в нечто иное — в нечто лучшее, как вы сами же говорите своей пастве. А посмотрите на свои карты-оракулы. Башня — значит, кто-то упадет; странно будет, если этого не случится, судя по тому, что вы мне рассказали про свой фонд. И Страшный Суд. Кто его избежит? Но посмотрите на Отшельника. Это человек, живущий в одиночку. Похоже, что это вы, отец Симон! А самая сильная карта — Дурак! Какой его номер

в колоде?

— У него нет номера.

— Конечно нет! Дурак — это ноль! А что такое ноль? Это власть, нет? Поставьте ноль рядом с любым числом, и оно вмиг увеличится в десять раз. Это мудрый джокер, влияющий на весь остальной расклад, и он находится на месте высочайшей силы. Вашим раскладом управляют Императрица и Дурак, а поскольку на первом месте среди карт-оракулов стоит Разрушенная Башня, это, скорее всего, предвещает много… как вы это говорите? Кубарем? Кверху дном? Много переворотов и кувырков…

— Вверх тормашками, — подсказала Мария.

— А есть такое слово?

— Вверх тормашками — это очень похоже на правду, — сказал Даркур.

— Не бойтесь этой судьбы! Полюбите ее! Обнимите ее! Вот как надо обращаться с судьбой. Вы, *гадже*, вечно чего-то боитесь.

— Я спрашивал вас не о своей собственной судьбе, мадам, но об успехе начинаний фонда. Его директора — мои друзья, и я беспокоюсь за них.

— Нечего беспокоиться за других людей. Они сами о себе позаботятся.

— А вы не собираетесь толковать мою колоду?

— Зачем? Кажется, все и так ясно. Вверх тормашками. Мне нравится это слово.

— А как вы думаете… может быть, Императрица, женщина-хранительница, — это Мария?

Мамуся разразилась смехом, что бывало с ней редко. Это был не зловещий смех ведьмы, а глубокий, грудной хохот. Если Даркур ждал, что мать отождествит свою дочь с фигурой, обладающей хоть какой-то властью, он сильно ошибался.

— Если я постараюсь объяснить, я только все запутаю, потому что я сама не уверена. Ваш Дурак-ноль — это может быть сам ваш Круглый стол. Дураком-нулем может быть мой зять; конечно, я его люблю, но он может стать Дураком-нулем с тем же успехом, как и любой другой человек, если будет слишком заноситься. А Великая Мать, Верховная Жрица, — это может быть ваше Блюдо изобилия, которое раздает дары… но справится ли она с этой ролью? Не знаю. Может, это кто-то совсем другой, новый человек в вашем мире.

— А Влюбленный, — может быть, это Артур? — спросила Мария и с ужасом поняла, что краснеет.

— Ты хочешь, чтобы это оказался он, но карта лежит в неправильном месте. Влюбленных кругом полно — для людей, чьи мысли устремлены

к любви.

Даркур был разочарован и обеспокоен. Он множество раз слышал, как мамуся объясняет расклад карт, и она впервые была так скупа на слова, так неохотно говорила о том, что видит, что чувствует, что подсказывает ее интуиция. Мамуся очень нечасто просила другого человека раскладывать карты: значит ли это что-нибудь? Даркур уже начал жалеть о том, что попросил Марию привести его в подвальный табор. Но раз уж попросил, то ожидал услышать что-нибудь обнадеживающее — хоть самую малость. Он говорил, упрашивал, и наконец мамуся чуточку смягчилась:

— Вам нужно хоть что-то, да? Какая-то точка опоры? Наверно, вы в своем праве. Если бы я вытащила такой расклад для себя, я бы очень береглась с тремя вещами. Во-первых, будьте осторожны, давая деньги этой девочке.

— Шнак?

— Ужасное имя. Да, ей. Вы сказали, что она очень талантливый музыкант. Я много знаю про музыкантов; я и сама музыкант. Меня просто обожали в Вене, до того как я вышла замуж за отца Марии. Я пела, играла на скрипке и цимбалах, танцевала. Я покорила сотни сердец. Богатые

мужчины дарили мне драгоценные камни. Бедные — то, что было им не по карману. Я бы много могла порассказать…

— Хватит молоть языком! — сказал Ерко, неустанно подкрепляясь сливовицей. — Поп Симон не для того пришел, чтоб слушать твою похвальбу.

— Да-да, мамуся, — вставила Мария. — Мы все знаем, какая ты была замечательная до того, как стать еще замечательнее, то есть как сейчас. Ты все еще могла бы разбивать сердца, если бы хотела быть жестокой. Но ты не хочешь быть жестокой, милая наша матушка. Не хочешь.

— Нет-нет, — подхватил Даркур. — Вы приняли и приветствовали удел *пхури дай.* И стали мудрейшей женщиной, чья мудрость — великая опора для всех нас.

Лесть помогла. Мамусе нравилось, когда ее называли мудрой старухой, несмотря на то что ей было едва за шестьдесят.

— Да, я была замечательная. Может быть, сейчас я еще замечательнее. Я не стыжусь говорить правду о себе. Но что касается Шнак… держите ее на коротком поводке. Всякие там фонды погубили многих художников. Художникам нужно работать. Их талант расцветает в голоде и разрухе.

Так что не допускайте, чтобы эта девочка пошла на улицу, но и не топите ее талант в деньгах. Держите ее на коротком поводке. Будьте осторожны, чтобы Блюдо изобилия не превратилось в орудие уничтожения.

— А второе?

— Это мне совсем неясно, но мне кажется, что какие-то старые люди, мертвые люди, хотят сказать что-то важное. Люди странного вида.

— А третье?

— Не знаю, следует ли мне об этом говорить…

— Прошу вас, мадам.

— Это не имеет отношения к картам. Это что-то такое, что пришло ко мне само. Эта третья весть очень, очень сильная: она пришла, когда вы дрожали над картой-Смертью. Наверно, мне не следует ее открывать. Может, это была весть для меня, а не для вас.

— Умоляю! — сказал Даркур. Он знал: старая провидица просто хочет, чтобы ее хорошенько попросили.

— Ну ладно. Вот оно: вы собираетесь пробудить маленького человечка.

Мамуся была гениальным драматургом; этими словами она дала понять, что занавес опустился. После многих выражений благодарности, изум-

ления, преувеличенных похвал — с мамусей можно было не опасаться, что хватишь лишку, — Даркур и Мария вернулись в пентхаус, к бутылке виски, из которой аббат выпил больше, чем намеревался, хотя и меньше, чем желал бы.

Что бы там ни говорила мамуся, он ненавидел карту Смерти, она испортила ему весь расклад. Он знал, что это глупо. Если бы предсказание было радужным, он радостно принял бы его, но в глубине души снисходительно презирал бы и Таро, и цыганские пророчества. Полностью поверить в радужное будущее было бы не по-канадски, а также недостойно христианского священника. Но теперь, когда карты напугали его, он в глубине души думал, что свалял дурака, решив изобразить царя Саула и обратившись за советом к чародеям и волшебникам, шептунам и вещателям. А так как он христианский священник, то заслуживает кары за свою глупость. И уже несет эту кару.

Три непонятно откуда взявшихся пророчества понравились ему еще меньше. Он не верил, что художников надо держать на голодном пайке. Толстые коты охотятся лучше тощих. Разве не так? Бедность никому не на пользу. Верно ведь? А что до вести, которую хотят принести люди

странного вида, он вообще ничего не понимал.

А... пробуждение маленького человечка? Что это за человечек?

Маленьким человечком, которого он знал лучше всего, был его собственный пенис — именно так эту часть тела называла мать Даркура. Всегда держи человечка в полной чистоте, милый. Потом, когда он уже был студентом семинарии, его приятели звали эту часть тела «стариком» или «ветхим», намекая на Ветхого Человека, или Ветхого Адама, которого Новый, Искупленный Человек должен был изгнать. Как холостяк, чей сексуальный опыт был неглубоким и эпизодическим для человека его возраста, Даркур страдал оттого, что его «человечек» часто напоминает о себе — знак того, что он уделяет недостаточно внимания этой стороне своей натуры.

Его физическое влечение к Марии никогда не было всепоглощающим, но саднило, не давая о себе забыть. При встрече она целовала его — он почти что не хотел этих поцелуев, ибо они будили в нем запретную жажду. Но ведь в тот день, когда он сделал Марии предложение, они договорились быть друзьями. Тогда это имело для него глубочайшее значение, и дружба с Марией стала одним из источников, питающих его жизнь. Но

он сознавал, что в ней есть и фарсовая сторона. «Мы просто друзья». Именно так говорят люди в интервью для газеты, когда отрицают обвинения в любовной связи. О невыносимая пытка! О похоть, жгучая, словно адское пламя, — правда, не настолько сильная, чтобы пристрелить Артура и увезти Марию в любовное гнездышко где-нибудь на Востоке. О комедия священства, которое требует от людей столько неестественного, но не дает сил на то, чтобы изгнать мирские похоти! О, как ужасно быть профессором-преподобным Симоном Даркуром, заместителем декана колледжа Плоурайт, преподавателем греческого языка, членом Королевского общества, а в самых важных областях жизни — полным идиотом!

«Вы собираетесь пробудить маленького человечка». Мать Марии видела его насквозь, как стеклянного. Позорище! О погасшая лампа и неплодное чрево![12] О адские муки!

---

[12] Примечания: 12

Цитируется стихотворение английского поэта Роберта Браунинга (1812–1889) «Статуя и бюст» (1855):

Я обвиняю каждый тщетный призрак
В погасшей лампе и неплодном чреве…

Пер. Д. Никоновой

6
ЭТАГ в чистилище

«Вы собираетесь пробудить маленького человечка». Как будто он когда-либо спал! Ничего подобного, этот человечек глаз не смыкал в чистилище. С самого мига моей смерти я знал, что люди читают написанное мною о музыке, время от времени слушают постановки моей «Ундины», лучшей из моих завершенных опер, и не забывают мои волшебные сказки, в которых, по словам критиков, повседневное мешается с фантастическим. Маленький Человечек уж точно не страдает от забвения читателей и зрителей.

Я многого достиг за свою жизнь — больше, чем средний человек. Но не успел закончить одну вещь, которую следовало закончить. Это — моя опера «Артур Британский», по которой даже полному тупице стало бы ясно, что я уже не подмастерье композитора, а полноправный мастер, создавший работу, которая дает право называться мастером. Не хуже, а пожалуй что и лучше самых лучших работ моего доброго друга Вебера. Но судьба распорядилась иначе: я едва наметил

костяк будущей оперы, как смерть скосила меня; я перестал существовать, отошел к праотцам, убрался на тот свет, и не вдруг, а после продолжительных неприятных ощущений. Честно признаю, что это моя собственная вина. Я жил неосмотрительно. Слишком охотно развязывал кошелек, изображая знатного человека за счет своего здоровья и талантов. Итак, моя жизнь безвременно прервалась, и оттого я ныне нахожусь в чистилище, в той его части, что уготована художникам, музыкантам и литераторам, так и не достигшим полного расцвета своего дара. Они, так сказать, недоварились. Чистилище. Не худшее место из всего, что ждет человека за гробом, ибо здесь он свободен от цепей пространства и времени и обладает определенными способностями, а также, как бы это выразиться, некоторым посмертным влиянием.

Но все же не буду ходить вокруг да около: здесь, в чистилище, — скука смертная. Но мне ли жаловаться? Моя судьба не из худших. Здесь есть художники, ученые и писатели, о которых никто не вспоминал последние две тысячи лет. Они счастливы, если какой-нибудь соискатель звания кандидата наук наткнется на их труды и радостно ухватится за них как за материал, еще никем

не залапанный и не исчерпанный. Скучнейшей кандидатской диссертации (а это, я вам скажу, не фунт изюму) может хватить, чтобы художник освободился из чистилища и пошел дальше — мы точно не знаем куда, но надеемся на лучшее, ибо для таких, как мы, людей творчества, скука уже достаточное мучение. Когда мы, как истинные чада Церкви (во всяком случае, некоторые из нас), при жизни слушали проповеди, нам рассказывали про грешников, которые поджариваются на раскаленных углях или стоят голыми на ледяном сибирском ветру. Но мы не грешники. Мы лишь художники, которые не завершили свой земной труд по той или иной причине и теперь должны ждать, пока нас не искупит или хоть как-то не оправдает человеческое восприятие. Небесное восприятие, судя по всему, как раз и привело нас в чистилище — мы не свершили то, что могли, а это грех особого рода, хотя, как я уже сказал, и не самого худшего.

Может, это и есть мой великий шанс? Неужто странная девица Шнак станет моей избавительницей? Но не следует возлагать на нее слишком большие надежды. Я уже однажды совершил такую ошибку — уж не помню, сколько лет назад, — когда один забавный тип, франко-немец-

кий еврей Жак Оффенбах, взял несколько моих сказок за основу своей последней оперы, «Сказки Гофмана». (Спасибо тебе, Жак, что прославил мое имя.) Оказалось, однако, что этой работы недостаточно для избавления из чистилища. Да, мелодии красивые, и оркестровка неплохая (слава богу, что Жак не дал себе увлекаться большим барабаном). Но Оффенбах слишком много занимался оперой-буфф, и теперь настоящая опера его не удовлетворяла. И еще у него слишком много французского юмора, а это бывает фатально для музыки. Когда я пишу музыку, я всегда держу свое чувство юмора под замком, хотя мой немецкий юмор умнее и глубже французского юмора Оффенбаха. После смерти понимаешь, каким предательски опасным может оказаться юмор для серьезных вещей, если он не шекспировский и не раблезианский. Я рад видеть, что у девицы Шнак вовсе нет чувства юмора. Однако у нее приличный запас презрения и насмешки, что сходит за юмор для людей недалеких.

Неужели это мой великий шанс? Я должен сделать все от меня зависящее, чтобы ей помочь. Я буду стоять за плечом Шнак и подталкивать ее в нужном направлении, насколько смогу. Значит, эти чудики ее «зацепили»? Надо полагать, она

говорила про чудиков вроде Вебера и Шумана. А как же восхитительно здравомыслящий Моцарт, в честь которого я взял свое третье имя? А вдруг Шнак откусила кусок, который ей не под силу прожевать? Ей понадобится удача. Без удачи, на основе моих торопливых заметок у нее получится неудобоваримое месиво. Я должен стать удачей Шнак. Ей очень сильно повезет, если она не найдет то ужасное либретто, в котором этот осел Планше собирался сделать из «Артура» черт знает что, и сделал бы, если бы я не умер. У него та же беда, что и у Оффенбаха, — слишком много юмора, в его случае — английского. Он слишком хорошо знает, что «пойдет» в театре, то есть что «пошло» в прошлый раз и уже начинает надоедать публике. Я вновь благодарю Бога за то, что Шнак ничего не знает о театре и напрочь лишена чувства юмора. Если вообще возможно уберечь ее от этих двух зол, я ее от них уберегу.

Может, я действительно умер для того, чтобы спасти свою оперу от ужасного либретто Планше? Я и по сию пору не знаю ответа на этот вопрос. Есть пределы тому, что знает человек о собственной жизни, даже находясь в чистилище.

Почему старуха-предсказательница сообщила этому доброхоту Даркуру и своей прекрасной, но

мало понимающей дочери, что они будят маленького человечка, так, как будто это что-то нежелательное? Я очень рад, что меня разбудили таким образом. К счастью, Даркур, эгоцентричный осел, решил, что старуха имеет в виду его писюн. А вдруг она знает что-то такое, чего не знаю я в моем положении? Возможно ли это?

Бог свидетель, я полностью пробудился и не усну вновь, пока не увижу, чем все это кончится. А затем, если моя удача позволит мне стать удачей Шнак, я, может быть, обрету шанс на вечный сон — моя работа будет завершена.

II

1

Пока преподаватели Шнак собирались в большом зале кафедры музыковедения, чтобы посмотреть фильм «После бесконечности», Даркур много нового узнал о Хюльде Шнакенбург и был удивлен услышанным. Ее хамство, обращенное к Уинтерсену, никак не проявлялось в учебе. Преподаватели неохотно признали, что она выполняет их задания на отлично. «Калякая на замызганных бумажках?» — спросил Даркур, вспоминая письмо Шнак фонду. Отнюдь нет; оказалось, что выполняемые Шнак задания образцово чисты и написаны четким и даже — преподаватели чрезвычайно неохотно использовали это слово — элегантным почерком. Почти что образцы музыкальной каллиграфии. Шнак достигла многого в изучении гармонии, контрапункта и анализа. Преподаватели признали, что ее экскурсы в электронную музыку, эмбиент, конкретную музыку и вообще любые шумы, которые можно извлечь из любого необычного источника, весьма изобретательны — когда их удается отличить от обыкновенного уличного грохота.

Они даже согласились, что у нее есть чувство

юмора, хотя и не очень приятное. Шнак вызвала сенсацию своей серенадой для четырех теноров с гортанями, стянутыми скотчем почти до удушья; некоторые преподаватели даже осторожно одобрили это произведение, не заметив, что оно исполнялось первого апреля. Все единодушно считали манеры Шнак ужасными, но обучение студентов хорошим манерам не входило в задачи кафедры музыковедения. Однако, по общему согласию, Шнак чересчур много себе позволяла. Один преподаватель, еще помнящий древние постановки мюзик-холла, спел прямо в ухо Даркуру:

Слова-то недурны, мой свет,
Но тон ужасен, спору нет.[13]

Знаний и умений Шнак более чем хватило для получения степени магистра. Репутация упрямой ослицы и хамки не помешала ей окончить учебу, хотя и стяжала неприязнь и даже страх со стороны отдельных преподавателей.

Как и можно было ожидать, Шнак не явилась в академической шапочке и мантии в актовый зал университета, чтобы принять свой диплом

[13] Примечания: 13

Здесь и далее, если не оговорено иное, перевод стихов выполнен Дариной Никоновой.

магистра из рук ректора. Все подобные церемонии и предложения пройти любые *rite de passage*[14] она отвергала, припечатывая своим любимым словечком «херня». Зато немедленно принялась готовиться к работе над диссертацией и с сентября начала ходить на семинары «Романтические мотивы в опере девятнадцатого века», «Классические методы композиции» и «История исполнительского искусства». К началу семестра она успела проработать больше литературы, чем большинство ее соучеников собирались прочитать за весь год. Она с головой ушла в обязательную работу по теории музыки и композиции — у другого человека это выглядело бы как любовь к своему делу, но в исполнении Шнак больше напоминало яростный религиозный фанатизм.

В дополнение к немалой учебной нагрузке Шнак успела написать музыку к фильму «После бесконечности». Зрительный зал наполняли студенты, изучающие театр, кино и всяческие проявления авангарда. Автором сценария и режиссером фильма был всеобщий кумир, гениальный студент; от фильма ожидали великих

---

[14] Примечания: 14
Обряд перехода *(фр.)*.

откровений. Диалогов в нем не было — создатель фильма желал воспроизвести непосредственность раннего немого кино и избежать любого осквернения литературщиной. Однако музыка в фильме была, ибо Чаплин разрешал сопровождать фильмы музыкой, особенно той, которую он сам написал. Студент-гений не умел писать музыку, но угадал в Шнак родственную душу, и она создала нужный для фильма аккомпанемент. Она отвергла синтезатор и написала музыку для рояля со струнами, обмотанными пергаментом, цугфлейты, хитроумно накрытой жестяной лоханью, и простейшего из инструментов — расчески, обернутой папиросной бумажкой. Вместе выходило смутно мелодичное, но несфокусированное жужжание, прерываемое взвизгами. Все согласились, что это чрезвычайно усиливает эффект фильма.

Создатель фильма с презрением отозвался о качестве сценариев, которое он назвал «линейностью». Его фильм двигался скачками и делился на несвязные куски; зрителям приходилось в меру своих сил догадываться, что происходит. Это было несложно. Человечество стояло на грани катастрофы: утечка радиации сделала всех, мужчин и женщин, бесплодными. Что же будет с

человеческим родом? Удастся ли найти беременную женщину, чье дитя, может быть, избежало проклятия и не стало бесплодным? А если женщине удастся доносить и родить ребенка, чем его выкормить? У матери, очевидно, — во всяком случае, создателю фильма это было очевидно — не будет молока, или же оно станет источником яда. Может ли мужчина выкормить ребенка, если от этого зависит судьба человечества? Для получения ответа зрителям показали несколько эпизодов, в которых друзья режиссера — мужчины — самоотверженно пытались извлечь молоко из плоских, мало что обещающих сосцов. У одного или двух это получилось (молоко удачно имитировали кремом для бритья). Но вдруг выяснилось — часть сюжета, в которой это выяснялось, сочли недостойной для съемок и показа на экране, — что одной фертильной женщине удалось избежать ядерного проклятия. Она оказалась простодушным дитятей двенадцати лет (эту роль играла дочь квартирной хозяйки режиссера). Ей предстояло взять на себя задачу продления человеческого рода, если еще найдется мужчина, способный ее оплодотворить. Поиск фертильного мужчины был показан панорамами огромных пустых равнин и длинными коридорами, где

эхом отдавались шаги невидимых искателей (Шнак ловко изобразила шаги с помощью двух половинок кокоса). Показали и отчаяние Великого Мудреца (его играл добрый друг режиссера, выдающийся человек, по необъяснимой причине решив, что для этой роли нужен сюртук и шейный платок) — он должен был объяснить двенадцатилетней девочке, что такое секс и что ей предстоит сделать. Лицо девочки, изумленное — а может быть, пустое и растерянное, — снимали под необычными углами, создавая образ Дитяти-Мадонны, нимфетки-Спасительницы и, конечно, символа Преображения. Фильм смотрели с благоговейным восхищением, хотя горстка циников и хихикала, когда девочка опустилась на колени у ног Великого Мудреца — из парадных брюк неожиданно торчали белые ступни — и, по-видимому, облобызала их. Согласно великой традиции студенческого пессимизма, судьба человечества в конце фильма осталась нерешенной. Шнак выразила это тремя нисходящими глиссандо цугфлейты.

Самые проницательные университетские критики утверждали, что различают в музыке намек на иронию. Однако большинство, признавая их возможную правоту, утверждало, что это лишь

придает дополнительную глубину гениальному фильму, который по справедливости заслуживает крупнейших международных наград.

Через несколько дней преподаватели собрались для обсуждения диссертационных тем и были поражены, узнав, что Шнак собирается завершить работу над «Артуром Британским» за один учебный год. Она уже прошла все курсы, необходимые соискателю степени, и ей ничто не помешает работать над проектом, кроме необычайно сжатых сроков, которые она сама себе назначила. За год создать работу такой длины и сложности? Преподаватели колебались.

— Я уже зарекся контролировать Шнак или что-либо ей советовать, — сказал Уинтерсен. — Если это ее убьет или сведет с ума, быть по сему. Я надеюсь переложить задачу наблюдения за ее работой на плечи уважаемой гостьи.

Конечно, всем стало любопытно, кто эта уважаемая гостья, но завкафедрой сказал, что об этом рано говорить, так как еще ничего не решено. Как обычно, преподавательский состав решил продемонстрировать безупречность своей научной этики, для чего принялся препираться и дискутировать.

— Эта самая опера как работа на звание канди-

дата, — сказал профессор музыковедения, — кто знает, что там потребуется сделать? Меня как-то не впечатляет это стремление закончить то, что по воле судьбы осталось незаконченным.

— Да, но следует признать, что подобные проекты бывали, и вполне успешные, — сказал другой музыковед, который не любил первого. — Дженет Джонсон превосходно реконструировала «Путешествие в Реймс» Россини. А Дерик Кук завершил Десятую симфонию Малера. Эта девушка хочет совершить шаг вперед, а не назад. Показать нам Гофмана, какого никто никогда не слышал.

— Я слушал одну оперу Гофмана в Германии, — думаю, больше никто из присутствующих не может этим похвалиться. Не сказал бы, что она внушила мне желание услышать еще одну. Эти оперы начала девятнадцатого века по большей части весьма посредственны.

— А, но тут может быть вина либреттиста, — сказал его враг, который действительно в жизни не слышал ни единой ноты, написанной Гофманом, но специализировался по либретто — это была уютная узкая ниша, где никто не стал бы оспаривать его авторитет. — Как выглядит либретто этой оперы?

Этот вопрос, адресованный Уинтерсену, позво-

лил ему продемонстрировать качества, отличающие завкафедрой от рядовых преподавателей. Он, по правде сказать, не знал ничего о либретто Гофмана и не стал притворяться, что знает; но если собеседники на основании его слов решат, что он видел либретто, это уже их проблемы.

— Прежде чем мы сможем удовлетворительно ответить на этот вопрос, предстоит проделать определенную работу, — сказал он. — Разумеется, мы позаботимся о том, чтобы и этой стороне проекта было уделено должное внимание. Мы не специалисты по литературе. Нам придется организовать для Шнак комиссию с участием кого-нибудь с кафедры сравнительного литературоведения.

Раздался всеобщий стон.

— Да, я знаю, — сказал завкафедрой. — Но следует признать, что они очень тщательно подходят к делу. Я собирался пригласить профессора Пенелопу Рейвен. Все согласны?

Поскольку собранию нужно было решить и другие вопросы, а уже близилось время, когда преподаватели ощущают потребность выпить перед ужином, все согласились.

2

Профессор Рейвен вовсе не обрадовалась, когда ее попросили войти в комиссию, руководящую написанием диссертации на кафедре музыковедения. Ей предстояло стать единственным членом комиссии, не имеющим отношения к музыке, а она знала, что чужакам в такого рода научных группах положено держаться скромно, не лезть не в свое дело и в то же время придавать комиссии и всем ее делам размах и респектабельность. Судя по всему, это будет означать кучу работы и очень мало удовлетворения. Но, отобедав в профессорском клубе со старым другом Симоном Даркуром и испив свою половину бутылки вина, Пенелопа стала по-другому смотреть на вещи.

— Я не знала, что и ты участвуешь в проекте. Это, конечно, многое меняет.

— Я не участвую в нем как исследователь, но имею определенное влияние на ход проекта, — сказал Симон.

Затем он сообщил Пенни под большим секретом — зная, что информация утекает из нее, как из дырявого решета, — про Фонд Корниша, его

решение поддержать Шнак и намерение представить «Артура Британского» на сцене. Он также сказал, что все изыскания Пенелопы в области либретто для «Артура» будут щедро оплачены фондом. Это все меняло.

— Проблема только в том, что либретто, кажется, очень отрывочно, — объяснил Даркур.

— Что именно у вас есть?

— Я взглянул мельком; если честно, у нас нет почти ничего. И я даже боюсь гадать, какова вероятность что-нибудь нарыть. Это будет непростое дело.

— С моим талантом исследователя и деньгами, которые у тебя в распоряжении, можно добиться многого, — сказала Пенни, нахохлясь, как сова. — Я тоже поглядела, и тоже мельком, как ты, и там на самом деле ничего нет, кроме нескольких заметок по-немецки, рукой самого Гофмана, потому что он записывал много всяких музыкальных отрывков, которые собирался использовать. Я полагаю, что где-то лежит настоящее либретто, которое я не видела. Насколько мне известно, между Гофманом и английским либреттистом произошел какой-то спор, почти что ссора.

— А кто это был?

— Не кто иной, как прославленный Джеймс

Робинсон Планше.

— Да, Уинтерсен упоминал его имя. А что в нем такого прославленного?

— Это очень популярный драматург и либреттист девятнадцатого века. Сейчас почти забытый. Хотя одна его фраза — «Это и кошку рассмешило бы» — стала крылатой. Это, оказывается, из какой-то его работы. Сейчас если его вообще помнят в оперном мире, то как либреттиста злосчастного «Оберона» Вебера, одного из самых зрелищных провалов в истории оперного театра. Музыка великолепная. Либретто… у Шнак в репертуаре есть подходящее словечко.

— Херня?

— Да, полнейшая, чрезвычайно фаллического свойства.

— Но почему?

— Не знаю почему и, если бы у тебя не было такой восхитительной возможности швыряться деньгами, никогда не узнала бы. Но теперь непременно узнаю.

— Как?

— Я уже ясно вижу весь план действий. Фонд Корниша намеревается оплатить мою поездку за рубеж с целью выяснения этого вопроса.

— А где же ты будешь искать?

— Ну, ну, Симон, ты же знаешь, в ученом мире считается неприличным такое спрашивать. Мое дело — знать, где искать, а тебе, Шнак и Фонду Корниша остается ждать, пока я не найду. Но если это либретто вообще можно найти, то его найду именно я.

Даркуру пришлось этим удовлетвориться. Пенни ему нравилась. Ближе к сорока, чем к тридцати, но несомненное обаяние и сила духа. Если вспомнить любимую Даркуром фразу Рабле, «девица из себя видная и пригожая».[15] Под всем этим прятался стальной хребет женщины, которая сумела вскарабкаться по лестнице научной карьеры к званию полного профессора. Поэтому Симон знал, что дальше давить на Пенелопу бесполезно.

После обеда ему не хотелось возвращаться к себе в Плоурайт, где ждала биография покойного Фрэнсиса Корниша с катастрофически зияющим провалом в самой середине. Он направился в библиотеку профессорского клуба. С отвращением оглядел стол, где были выставлены менее неизвестные из бесчисленных ежеквартальных научных журналов с унылыми статьями, авторы

---

[15] Примечания: 15

Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. Том I, глава III. Пер. Н. М. Любимова.

которых похвалялись исследованиями, жизненно важными для них самих, но наводящими смертную скуку на их коллег. Даркур знал, что должен ознакомиться с публикациями, затрагивающими его область исследований, но на улице была весна, и он не смог усадить себя за научную работу. Он уклонился с пути, приблизился к другому столу, с ненаучной периодикой, и взял в руки «Вог». Он никогда не читал таких журналов, но, разгоряченный выпитым вином и искрометной беседой с Пенни Рейвен, надеялся, что в журнале окажутся картинки с легко одетыми или вовсе неодетыми женщинами. Он сел читать.

Читать он не начал. Вместо этого он стал разглядывать рекламу. На рекламных объявлениях были изображены молодые женщины различной степени раздетости, но по моде того времени они выглядели такими злыми, безумными, яростными, что вовсе не утешали и не возбуждали приятных фантазий. Волосы у этих девиц стояли дыбом или были дико всклокочены. Глаза горели адским огнем или, наоборот, щурились, навевая мысль о душевном нездоровье. И вдруг Даркур наткнулся на изображение, разительно не похожее на все остальные. Он несколько минут глядел на картинку, и в глубинах памяти что-то шеве-

лилось, оживало, пока наконец он не перестал верить своим глазам.

Это была не фотография, а рисунок серебряным карандашом, тронутый кое-где красным и белым мелом, с изображением головы девушки: работа утонченная, но не слабая, без вызова и показного блеска, свойственных современности. И в самом деле, рисунок был сделан в духе и манере эпохи, отстоящей от нас не менее чем на четыреста лет. Аристократическая посадка головы, в которой сквозит не высокомерие, а скромная уверенность в себе; взгляд невинный, но не простодушный; изящная линия щеки; лицо не круглое, как пудинг, и челюсть не квадратная, как у девиц на прочих рекламных объявлениях. Самообладание, которое читалось на этом лице, бросало вызов любому зрителю, особенно мужчине. Оно словно говорило: «Вот что я такое; а что такое ты?» Картинка приковывала взгляд сильнее любых других объявлений в журнале.

Под картинкой стояло несколько строк, набранных прекрасным, четким шрифтом, опять-таки не чрезмерно утонченным и не чересчур манерным. Даркур кое-что знал о шрифтах и понял, что это — современная версия шрифта, основанного на почерке поэта, религиозного деятеля,

библиофила, ученого, гуманиста (и в некоторых отношениях — негодяя) кардинала Пьетро Бембо. Послание было коротким и ясным:

> Ваш макияж не зависит от переменчивой моды. Он — воплощение вашего «я», той эпохи, к которой принадлежит ваш индивидуальный тип красоты. Кто из старых мастеров мог бы нарисовать вас и увидеть вашу суть? Мы поможем найти ответ на этот вопрос. Вы научитесь наносить тот единственный макияж, который сделает вас шедевром. Мы хотим привлечь не многих, а лучших клиентов. Наши продукты и услуги недешевы. Поэтому их можно приобрести лишь в очень немногих салонах у наших доверенных визажистов. Какой вы шедевр живописи? Мы поможем достичь совершенства, свойственного только вам.

Обращение было подписано элегантным курсивом: «Амалия». Ниже располагался список из пяти-шести салонов с адресами.

Воровато оглянувшись — не застанет ли его кто за чудовищным для ученого преступлением, — Даркур осторожно выдрал страницу из журнала и

помчался домой — писать очень важное письмо.

3

Встреча между Фондом Корниша и родителями Шнак состоялась в конце мая в гостиной пентхауса. Все согласились, что встречу лучше провести, хотя знали, что никакого толку от нее не будет. Прошло два месяца с тех пор, как фонд принял решение поддержать Шнак в ее работе по воскрешению, воплощению и облачению в новые одежды «Артура Британского» по записям Гофмана. Конечно, уже давно пора было встретиться со Шнакенбургами, но Артур слишком плохо себя чувствовал, и у него не было сил. Сейчас, в конце мая, он пошел на поправку, но был еще бледен и быстро уставал.

Кроме Артура и Марии, присутствовал только Даркур — Холлиер сказал, что ему нечего привнести в эту встречу, а Герант Пауэлл был слишком занят близящимся началом Стратфордского театрального фестиваля и не мог ни на что отвлекаться. Шнакенбургов просили прийти в половине девятого, и они явились точно в срок.

Родители Шнак оказались вовсе не ничтожествами, каких представил себе Даркур по рассказу Уинтерсена. Элиас Шнакенбург был не очень вы-

сокий, но очень худой, отчего казался высоким; на нем был приличный серый костюм и темный галстук. Седые волосы уже начали редеть. Серьезное лицо носило отпечаток достоинства, какого Даркур не ожидал: этот часовщик был мастером своего дела и никому не слугой. Жена была такая же седая и худая, в фетровой шляпе, слишком теплой для мая, и серых нитяных перчатках.

Артур рассказал им про замысел фонда и объяснил, что фонд желает поддержать молодую женщину, которая, по-видимому, подает большие надежды, а ее проект будит воображение. Директора фонда полагают, что реализация проекта будет связана со значительными расходами. Поэтому руководство фонда, хотя ни в коем случае не считает Шнакенбургов ответственными за успех проекта, сочло необходимым известить родителей Хюльды о происходящем.

— Если вы не считаете нас ответственными, мистер Корниш, то чего вы от нас хотите? — спросил отец.

— Попросту доброго отношения. Согласия на проект. Мы не хотим, чтобы казалось, будто мы пытаемся действовать без вашего ведома.

— Вы думаете, что Хюльде не безразлично наше согласие или наши сомнения?

— Мы не знаем. Мы полагали, что ей хотелось бы заручиться вашим одобрением.

— Нет. Наше согласие, наш отказ — все это ничего не будет для нее значить.

— То есть вы считаете ее полностью независимой?

— Разве мы можем так считать? Она — наша дочь, и мы до сих пор не отказались от мысли, что мы за нее ответственны, мы продолжаем ее горячо любить. Мы считаем, что обязаны ее оберегать — что бы там ни говорил закон. Оберегать, пока она не выйдет замуж. Мы ее не отвергали. Она заставила нас почувствовать, что это она нас отвергла.

Он говорил с легким немецким акцентом, но очень правильно построенными фразами.

Миссис Шнакенбург беззвучно заплакала. Мария побежала за стаканом воды, в то же время думая: «Какой смысл добавлять воду к слезам?» Даркур решил, что нора вмешаться.

— Уинтерсен, заведующий кафедрой, говорил, что у вас с дочерью напряженные отношения. Вы, конечно, понимаете, что мы не можем в это вмешиваться. Но мы должны поступать определенным образом, не становясь ни на чью сторону в личных конфликтах.

— Это, конечно, очень по-деловому и по правилам, но мы здесь говорим не о делах. Мы чувствуем, что потеряли дочь, наше единственное дитя. И этот проект, который вы так любезно устраиваете, сделает только хуже.

— Ваша дочь еще очень молода. Возможно, вы вскоре помиритесь. И конечно, я могу вас заверить, что мы — мистер и миссис Корниш и я — готовы помочь всем, чем можем.

— Вы очень добры. Желаете нам добра. Но вы не те люди, кто может тут что-то поделать. Хюльда нашла себе других советчиков. Не таких, как вы. Вовсе не таких.

— Может быть, если вы нам расскажете, это как-то поможет? — спросила Мария.

Она сидела рядом с миссис Шнакенбург и держала ее за руку. Мать молчала, но отец, повздыхав, продолжал рассказ:

— Мы виним себя. Нужно, чтобы вы это поняли. Возможно, мы были чересчур строги, хотя и непреднамеренно. Видите ли, мы тверды в вере. Мы очень строгие лютеране. Мы и Хюльду так воспитывали. Никогда не позволяли ей все подряд, как сейчас многим детям позволяют. Я виню себя. Мать всегда была добра к ней. Я не проявил должного понимания, когда она решила идти в

университет.

— Вы возражали? — спросил Даркур.

— Не совсем так. Я просто не видел смысла. Я хотел, чтобы она окончила секретарские курсы, устроилась на работу, была счастлива, нашла хорошего жениха, вышла замуж… дети… Вы понимаете.

— Вы не видели ее музыкального дара?

— О да. Это было ясно еще в ее детстве. Но ведь она могла и музыкой заниматься. Мы платили за уроки, пока это не стало слишком дорого. Мы ведь люди небогатые. Мы подумали, что она может принести свой музыкальный дар церкви. Руководить хором, играть на органе. В церкви для этого всегда есть место. Но разве можно построить на музыке целую жизнь? Мы сочли, что нет.

— Вы не думали, что музыка может стать профессией? Завкафедрой говорит, что у вашей дочери задатки композитора.

— Да… я знаю. Он и мне это говорил. Но вы бы захотели, чтобы ваша дочь… единственная дочь… вела такую жизнь?

Вы хоть что-то хорошее слыхали об этом образе жизни? Что там за люди? Судя по тому, что я слышал, — нежелательные элементы. Конечно, господин Уинтерсен, кажется, достойный че-

ловек. Но он преподаватель, верно? Это что-то надежное. Я пытался настоять на своем, но, похоже, времена родителей, настаивающих на своем, давно прошли.

Даркур знал тысячи таких историй.

— Значит, ваша дочь взбунтовалась? Но ведь все дети бунтуют. Это необходимо…

— Почему необходимо? — В голосе Шнакенбурга впервые прозвучала воинственная нотка.

— Чтобы найти себя. Любовью можно задушить, вы согласны?

— Разве Божья любовь душит человека? Подлинного христианина — никогда.

— Я имел в виду родительскую любовь. Даже любовь добрейших, самотверженнейших родителей.

— Любовь родителей — это воплощение Божьей любви в жизни ребенка. Мы молились вместе с ней. Просили Бога даровать ей смиренное сердце.

— Понятно. И что было дальше?

Пауза.

— Я не могу вам рассказать. Не хочу повторять все, что она говорила. Не знаю, где она набралась таких слов. Впрочем, знаю; в наше время их можно услышать где угодно. Но я думал, что девушка,

получившая такое воспитание, закрывает слух для подобной грязи.

— И она ушла из дома?

— Да; вышла в чем была, после нескольких месяцев, которые я не согласился бы пережить вновь ни за какие деньги. У кого-нибудь из вас есть дети?

Все покачали головой.

— Тогда вы не можете знать, через что прошли мы с матерью. Она нам не пишет, не звонит. Но мы, конечно, знаем, что с ней происходит, потому что я навожу справки. Да, я признаю, что она хорошо окончила университет. Но какой ценой? Мы иногда ее видим — тайком, чтобы она не заметила, — и мое сердце болит при виде ее. Я боюсь, что она пала.

— Что вы имеете в виду?

— Что я могу иметь в виду? Я боюсь, что она ведет аморальный образ жизни. Иначе откуда она берет деньги?

— Знаете, студенты работают. Они зарабатывают вполне законными способами. Я знаю множество студентов, которые сами оплачивают свою учебу; это по силам только молодым и сильным существам — работать и одновременно с этим учиться. Такие люди заслуживают уваже-

ния, мистер Шнакенбург.

— Вы ее видели. Кто даст ей работу, когда она в таком виде?

— Она худая как палка, — произнесла миссис Шнакенбург. Это была ее единственная реплика за всю беседу.

— Вы действительно не хотите, чтобы мы дали ей этот шанс? — спросила Мария.

— Сказать вам честно, миссис Корниш, — не хотим. Но что мы можем поделать? По закону она совершеннолетняя. Мы люди бедные, а вы богатые. У вас нет детей, так что вы не знаете, какую боль они приносят. Надеюсь, ради вашего же блага, что это и дальше так будет. У вас есть разные идеи про всякую музыку, искусство и прочее; у нас ничего этого нет, и нам ничего этого не надо. Мы не можем с вами сражаться. Мир скажет, что мы стоим у Хюльды на пути. Но мир для нас не главное. Для нас важнее другие вещи. Мы разбиты. Не думайте, что мы этого не знаем.

— Мы, конечно же, не хотим, чтобы вы считали себя разбитыми или думали, что это мы вас разбили, — сказал Артур. — Мне бы хотелось, чтобы вы попробовали взглянуть на ситуацию с нашей точки зрения. Мы искренне хотим предоставить вашей дочери тот шанс, которого заслуживает

ее талант.

— Я знаю, вы хотите добра. Когда я сказал, что мы разбиты, я имел в виду, что мы проиграли одно сражение. Но мы тоже дали Хюльде кое-что, знаете ли. Дали ей источник всякой истинной силы. И мы молимся… молимся каждую ночь, иногда по целому часу… о том, чтобы она вернулась к нам, пока еще не поздно. Господня милость неисчерпаема, но если грешник пинает Господа в лицо, то Он рано или поздно обойдется с ним сурово. Мы приведем нашу девочку обратно к Богу, если это вообще можно вымолить.

— Значит, вы не отчаиваетесь, — сказала Мария.

— Разумеется, нет. Отчаяние — тяжелейший грех. Оно ставит под вопрос милость и всемогущество Бога. Мы не отчаиваемся. Но мы всего лишь люди, мы слабы. Мы не можем не испытывать боли.

Разговор зашел в тупик. Они обменялись еще несколькими репликами — Шнакенбург был неизменно вежлив, но не уступил ни на волосок, — и чета Шнакенбургов удалилась.

В комнате повисло тяжелое молчание. Артур и Мария, кажется, сильно пали духом, но Даркур был в хорошем настроении. Он подошел к бару в

углу и принялся смешивать напитки, которые им показалось невежливо употреблять при Шнакенбургах, наверняка противниках алкоголя. При этом он мурлыкал себе под нос:

Древнюю и вечно новую
Быль поведай мне опять
О невидимом и чаемом,
Чтоб надеяться и ждать,
Чтоб небесной славе Божией
И любви Его сиять.

— Симон, подобные шутки неуместны, — заметила Мария.

— Я просто хотел вас подбодрить. Отчего вы оба такие унылые?

— Я чувствую себя полным дерьмом, — ответил Артур. — Бесчувственный богач, бездетный, одержимый мирской суетой, в погоне за своими прихотями отбирает у бедняков их единственную отраду.

— Она сама себя отобрала задолго до того, как мы вообще о ней услышали, — заметил Даркур.

— Ты же знаешь, о чем я. Тирания привилегированных богачей.

— Артур, ты еще не совсем здоров. И безза-

щитен перед тонкой психологической атакой. Именно ей ты подвергся. Этот Шнакенбург знает все приемы, чтобы заставить людей чувствовать себя полным дерьмом, если они не разделяют его личный взгляд на вещи. Это месть униженного и оскорбленного. Ты не имеешь морального нрава пинать бездомную собаку, зато она имеет право тебя укусить. Это одна из неустранимых несправедливостей общества. Не обращай внимания. Иди вперед, как шел.

— Симон, ты меня удивляешь. Этот человек говорил от глубокого, искреннего религиозного чувства. Мы можем не разделять это чувство, но обязаны его уважать.

— Слушай, Артур, специалист по религии здесь я. Не бери в голову.

— Ты ритуалист, адепт высокой церкви, и презираешь их простоту. Я не знала, что ты такой сноб, — гневно произнесла Мария.

— А ты в глубине души так и осталась суеверной цыганской девчонкой, и стоит кому-нибудь упомянуть Бога, как ты моментально размякаешь. Я не презираю ничьей простоты. Но я вижу, когда притворная простота — способ добиться власти.

— Какая же власть у этого человека? — спросил Артур.

— Например, он может сделать так, что ты почувствуешь себя полным дерьмом, — отпарировал Даркур.

— Симон, ты не прав, — сказала Мария. — Он говорил о Боге с такой уверенностью и с таким доверием. Я почувствовала себя легкомысленной дурой.

— Дети, послушайте старого аббата Даркура и перестаньте себя грызть. Я видел сотни таких людей и разговаривал с ними. Да, у них есть глубина и твердость веры, но купленные ценой безрадостного отношения к жизни, нежелания знать. Все, что эти люди требуют у Бога, — некий эквивалент духовной минимальной зарплаты, а в обмен они готовы отдать всю радость жизни — которую тоже сотворил Бог, позвольте вам напомнить. Я зову таких верующих «Друзья Минимума». Господь, неисправимый шутник, послал им дочь, которая хочет войти в ряды Друзей Максимума, и вы в силах помочь ей. Вера ее родителей — как крохотная свеча, горящая в ночи; ваш Фонд Корниша — назовем его из скромности сорокаваттной лампочкой, которая освещает Шнак путь к лучшей жизни. Не следует выключать лампочку из-за того, что свеча кажется такой жалкой и слабой. Да, Шнак сидит в яме. На нее страшно

смотреть. Она — маленькая злобная тварь. Но единственный путь для нее — вперед, а не назад к хорошей работе, хорошему мужу, как две капли воды похожему на папочку, и детям, рожденным в том же рабстве. Отец Шнакенбург — крепкий орешек. Вам тоже надо быть крепкими.

— Симон, я и не знал, что ты стоик, — сказал Артур.

— Я не стоик. Я нечто очень немодное в наше время: оптимист. Дайте девочке шанс.

— Конечно дадим. Мы уже обязались. Пути назад нет. Но мне не нравится думать, что я попираю слабых.

— Ах, Артур! Какой ты сентиментальный болван! Неужели ты не видишь? Шнакенбургу необходимо, чтобы его попирали! Это нужно ему как воздух! В великой предвыборной гонке жизни он баллотируется на пост мученика, и ты ему помогаешь. Да, у него есть глубокая и твердая вера. А что у тебя? Ты баллотируешься на пост мецената, великого покровителя искусств. Это достаточный источник уверенности и убеждения в своей правоте. Так что тебя гложет?

— Деньги, наверно, — сказала Мария.

— Конечно деньги! Вы оба страдаете чувством вины, которое наше общество навязывает бо-

гачам. Не поддавайтесь! Докажите, что деньги могут творить добро.

— Клянусь Богом, ты и вправду оптимист, — сказал Артур.

— Уже неплохо для начала. Присоединяйтесь ко мне, вступайте в ряды оптимистов, и со временем вы сможете разделить со мной веру во многие другие вещи. Я вам никогда о них не говорил: если работа священника меня чему и научила, так это тому, что проповедовать беднякам во много раз легче, чем богатым. Богачи слишком перегружены чувством вины и слишком упрямы.

— Мы не упрямы! Мы сочувствуем Шнакенбургам. А ты, аббат Даркур, насмехаешься над ними и нас тоже подстрекаешь. Ты англиканин! Обрядовер! Надутый тупой профессор! Омерзительно!

— Это не аргумент, а всего лишь ворох оскорблений. Я даже не снизойду до того, чтобы тебя простить. Я участвовал в подобных сценах столько раз, что вы и представить себе не можете. Зависть заурядных родителей к одаренному ребенку! Для меня это не ново. Удары ниже пояса — потому что у собеседника банковский счет пожирнее твоего, а значит, ты добродетельней! Любимое орудие бедняков-фарисеев. Они используют отвратительный вариант веры, чтобы

обрести статус, недоступный для неверующих: рассказывают вам «древнюю и вечно новую» сказку и ждут, что вы сломаетесь. И вы ломаетесь. Настоящая вера, друзья мои, — сторонница эволюций и революций; именно таким должен стать ваш Фонд Корниша, или он останется ничем.

— Симон, из тебя вышел бы отличный проповедник, — заметила Мария.

— Я никогда не искал такого рода работы; она раздувает эго и может привести к гибели.

— Мне лично стало намного лучше. Не знаю, как Артуру.

— Симон, ты хороший друг, — сказал Артур. — Прости, что я тебе нахамил. Я беру назад «надутого» и «тупого». Но то, что ты профессор, — это правда. Давай забудем про Шнакенбургов, насколько получится. Как там книга про дядю Фрэнка? Продвигается?

— Да, кажется, наконец сдвинулась с мертвой точки. По-моему, я вышел на след.

— Отлично. Ты ведь знаешь, мы хотим, чтобы книга получилась. Я шучу на эту тему, но ты понимаешь… Мы тебе доверяем.

— Спасибо. Я продвигаюсь. Кстати, я тут исчезну на неделю или около того. Отправляюсь на охоту.

— Какая охота? Сейчас не сезон.

— Только не на мою дичь. Мой сезон как раз начался.

Даркур допил то, что оставалось у него в стакане, и ушел, напевая:

О невидимом и чаемом,
Чтоб надеяться и ждать,
Чтоб небесной славе Божией
И любви Его сиять…

Но в голосе сквозила ирония.

— Старый аббат — истинный друг, — сказал Артур.

— Я его люблю.

— Платонически, надеюсь.

— Конечно. Как ты можешь сомневаться?

— Если дело касается любви, я готов сомневаться в чем угодно. Я не могу воспринимать тебя как должное.

— Можешь, вообще-то.

— Кстати, ты мне так и не сказала, что мамуся наворожила Симону, пока я был в больнице.

— По сути — только то, что в жизни каждый должен получить свою порцию шишек.

— Я, кажется, уже выбрал свою норму шишек. Шишек и свинок. Но мне уже лучше наконец-то.

Сегодня будем спать вместе.

— Ой, Артур, как хорошо! А тебе можно?

— Учение Даркура об оптимизме. Давай попробуем.

И они попробовали.

4

Комната в квартире на Парк-авеню превосходила великолепием все, что Даркур когда-либо видел. Это была работа гениального декоратора — настолько гениального, что ему удалось превратить комнату скромных размеров в нью-йоркской квартире в залу большого особняка или даже небольшого дворца где-нибудь в Европе. Панели с росписью гризайль, несомненно, происходили из дворца, но их подогнали по размеру так, словно они изначально находились тут. Обстановка была элегантная, но удобная, какой не бывает во дворцах; в комнате хватало современной мебели, на которой можно было спокойно сидеть, не опасаясь, что изнашиваешь ценный антиквариат. Картины на стенах выбирал явно не дизайнер интерьеров — они говорили о цельном, личном вкусе; некоторые были некрасивы, но декоратор повесил их так, чтобы они смотрелись наиболее выгодно. Целые столы были нагружены безделушками — то, что в журналах по дизайну интерьера называют «изящным мусором», — но этот мусор, несомненно, принадлежал владельцам комнаты. На изящном антикварном

дамском письменном столике стояли фотографии цвета сепии; они были вставлены в рамки с гербами, явно принадлежащими людям, чьи лица выцветали на фотографиях. Красивый, но не легкомысленный письменный стол указывал на то, что в этой комнате занимаются делами. Горничная в элегантном форменном платье попросила Даркура присесть и сказала, что княгиня сейчас выйдет.

Княгиня вошла очень тихо. Ей было, видимо, за пятьдесят, но выглядела она гораздо моложе: дама великой красоты, но не профессиональная светская красавица; Даркур не встречал женщин изысканнее.

— Надеюсь, вам не пришлось слишком долго ждать, профессор Даркур. Меня задержал скучный телефонный звонок.

Она говорила деликатно, с ноткой веселья в голосе. Английский выговор графини был идеален, — возможно, у нее была в детстве английская гувернантка? Но оставался легкий намек на акцент, словно родным языком княгини был другой. Может быть, французский? Немецкий?

— Большое спасибо, что приехали. Ваше письмо меня очень заинтересовало. Вы хотели спросить об этом рисунке?

— Да, княгиня, если можно. Княгиня, правильно? Я увидел его в журнале, и он приковал мой взгляд. Разумеется, как и было задумано.

— Мне очень приятно это слышать. Разумеется, по моему замыслу рисунок должен привлекать внимание. Вы не поверите, скольких трудов мне стоило убедить рекламщиков, что это будет именно так. Они очень шаблонно мыслят, вы не находите? «Ах, кто будет смотреть на старомодную картинку?» — сказали они. «Любой, кто устал от крикливых, вульгарных девиц на прочей рекламе», — ответила я. «Но в этом году такая мода», — сказали они. «Но то, что я предлагаю, относится не только к этому году. Оно живет дольше. Я обращаюсь к людям, кругозор которых не ограничен одним годом». Они не хотели слушать. Мне пришлось настаивать.

— А теперь они убедились, что вы были правы?

— Теперь они утверждают, что это была с самого начала их идея. Ах, профессор, вы не знаете рекламщиков.

— Зато я знаю людей. Я верю тому, что вы рассказываете. Они, конечно же, поняли, кто изображен на рисунке?

— Голова девушки, семнадцатый век. Да, они

это знают.

— А девушку они не узнали?

— Как они могли ее узнать?

— Ну, глаза-то у них есть. Я узнал эту девушку, как только вы вошли в комнату, княгиня.

— В самом деле? У вас острый глаз. Может быть, она моя прапрапрапрабабушка. Этот рисунок из фамильной коллекции.

— Княгиня, с вашего позволения, я буду говорить откровенно. Я видел подготовительные эскизы к этому рисунку.

— В самом деле? Где же, позвольте узнать?

— В собрании моего друга, одаренного художника, которому особенно хорошо удавалось подражание стилю минувших веков. Он оставил множество рисунков — копировал их из обширных коллекций подобных вещей. Другие рисунки он делал с натуры, насколько я мог понять из пометок на них. В его коллекции я нашел пять набросков девичьей головы, которые превратились в принадлежащий вам рисунок, опубликованный для рекламы.

— Где сейчас эти наброски?

— В Канадской национальной галерее. Мой друг завещал галерее все свои рисунки и картины.

— Кто-нибудь, кроме вас, заметил это порази-

тельное сходство?

— Пока нет. Вы же знаете, как работают галереи. У них залежи вещей, еще не внесенных в каталог. Я увидел эти рисунки, когда готовил коллекцию моего друга к передаче в галерею. Я был его исполнителем по завещанию. Возможно, пройдут годы, пока этим рисункам кто-нибудь уделит серьезное внимание.

— Как звали этого художника?

— Фрэнсис Корниш.

Княгиня, которую, кажется, забавлял весь этот разговор, рассмеялась:

— *Le beau ténébreux!*[16]

— Прошу прощения?

— Так мы его прозвали, я и моя гувернантка. Он учил меня тригонометрии. Он был такой красивый, серьезный и правильный, а я жаждала, чтобы он отшвырнул карандаш, заключил меня в объятия, осыпал поцелуями мои пылающие губы и воскликнул: «Бежим со мной! Я унесу тебя в свой полуразрушенный замок в горах, и там мы сольемся воедино и будем любить друг друга, пока звезды не сойдут с небес, чтобы подивиться нашей любви!» Мне было пятнадцать лет. *Le beau*

---

[16] Примечания: 16
Мрачный красавец *(фр.).*

ténébreux! Что с ним стало?

— Он умер около двух лет назад. Как я уже сказал, я был одним из исполнителей по завещанию.

— Он занимался своей работой?

— Он был собирателем и ценителем искусства. Он был очень богат.

— Значит, он отошел от дел?

— Нет-нет, он очень активно занимался собирательством.

— Я имею в виду его профессию.

— Профессию?

— Вижу, вы ничего не знаете о его ремесле.

— О каком ремесле вы говорите? Я знаю, что он изучал живопись.

Княгиня снова музыкально рассмеялась.

— Простите, княгиня, но я вас не понимаю.

— Прошу меня извинить. Я просто вспомнила *le beau ténébreux* и его живописные этюды. Но настоящая его работа была другая.

Даркур сиял от восторга: наконец-то! Чем же занимался Фрэнсис Корниш все эти годы, о которых не осталось никаких записей? Княгиня знает. Пора говорить начистоту.

— Я надеюсь, вы мне расскажете, в чем заключалась его настоящая работа. Видите ли, я решил

написать биографию своего старого друга и обнаружил длительный период, примерно с тридцать седьмого по сорок пятый год, о котором почти нет информации. Я знаю, что в сорок пятом году он вошел в комиссию, которая работала над возвращением законным владельцам всей огромной массы картин и скульптур, перемещенных во время войны. Все, что вы можете рассказать об этом неизвестном мне периоде, будет чрезвычайно полезно. Вот, например, этот ваш портрет: он заставляет думать, что вы были знакомы несколько ближе, чем просто преподаватель тригонометрии и его ученица.

— Вы так думаете?

— Я кое-что знаю об изобразительном искусстве. Рисунок безошибочно выдает чувство художника к модели.

— Ах, профессор Даркур! Вы ужасный льстец.

«Что да, то да, — подумал Даркур, — и надеюсь, мне удастся охмурить эту тщеславную женщину». Но тщеславная женщина продолжала:

— Тем не менее, мне кажется, с вашей стороны негалантно было намекать, что я могу помнить тридцать седьмой год и тем более — что я в этом году могла уже изучать тригонометрию. Надеюсь, что хотя бы моя внешность не дает оснований

для этого.

«Черт! Ей, выходит, лет шестьдесят пять; вот это я ляпнул. У меня всегда было плохо с математикой».

— Уверяю вас, княгиня, что мне ничего подобного даже в голову не приходило.

— Вы сами еще не стары, профессор, и не знаете, что значит время для женщин. Мы пытаемся защититься от него, используя множество полезных орудий. Таких, например, как моя линия косметических средств.

— О да; я желаю вам всяческих успехов.

— Разве вы можете желать мне успеха, если собираетесь разоблачить мой особый знак превосходства, мой рисунок семнадцатого века, как подделку? Но, я полагаю, у вас нет другого выхода, если вы хотите, чтобы ваша книга о *le beau ténébreux* была правдивой и полной.

— Она не будет правдивой и полной, если вы не расскажете мне, что делал Фрэнсис Корниш в эти годы, о которых я ничего не знаю. И уверяю вас, что я даже не думал упоминать о вашем рисунке.

— Если вы о нем не напишете, кто-нибудь другой напишет. И это может меня погубить. Производство косметики и без того достаточно

неоднозначный бизнес, не хватало еще намеков на его связь с подделкой картин.

— Нет-нет, я никогда ни словом о нем не обмолвлюсь.

— Пока эти наброски хранятся в вашей Национальной галерее, опасность будет велика.

— Да, это, к несчастью, так.

— Профессор Даркур, — княгиня явно кокетничала, — если бы вы знали то, что знаете сейчас, о моем рисунке и о том, как я его использую, вы бы отправили те пять набросков в Национальную галерею?

— Если бы я знал, что вы храните ключ к самой интересной части жизни Фрэнсиса Корниша, — очень сомневаюсь.

— А теперь они останутся там навеки?

— Понимаете ли, княгиня, это — государственное имущество. Оно принадлежит канадскому народу.

— Думаете, для канадского народа они когда-нибудь станут очень важны? Индейцы, эскимосы, ньюфаундлендские рыбаки и хлеборобы станут в очередь, чтобы на них посмотреть?

— Боюсь, что я вас не понимаю.

— Если эти рисунки будут у меня в руках, я расскажу вам о Фрэнсисе Корнише такие вещи,

которые станут сердцем вашей книги. Рисунки вдохновят меня и освежат мою память.

— А если их у вас не будет?

— Тогда, профессор Даркур, ничего не выйдет.

5

Фонд Корниша собрался во всем великолепии. Пять его сотрудников сидели за Круглым столом, на котором красовалось Блюдо изобилия. Чудодейственное блюдо ломилось от разнообразных августовских плодов. Лиловые грозди винограда, покрытые аметистовой пыльцой, свисали с разных ярусов. «В кои-то веки эта уродливая штука даже мне кажется красивой», — подумала Мария.

Люди, живущие среди красивых вещей, привыкают к ним и перестают замечать. Ни Мария, ни остальные члены фонда не обращали внимания на обстановку комнаты, в которой стоял Круглый стол. Очень высокий потолок комнаты (в виде соборного свода, как выразился архитектор) в свете вечереющего дня казался еще выше и сумрачнее обычного. Под сводом шел ряд ленточных окон, через которые виднелось зеленовато-синее небо и первые звезды; ниже на стенах висели прекрасные картины из коллекции Артура, выбранные и купленные им самим, ибо покойный Фрэнсис Корниш, у которого прекрасных картин хватило бы на небольшой музей, не оставил племяннику

ни одной. Был тут и рояль, но в такой просторной комнате он не подавлял всю остальную обстановку, как это иногда случается с роялями. По правде сказать, в комнате было не очень много мебели. Артур любил простор, и Мария была счастлива в незахламленном пространстве — родительский дом, в котором она выросла, был забит мебелью под завязку даже до того, как мамуся вернулась к цыганским обычаям и устроила себе свинарник в подвале под всей этой красотой. Даркур однажды назвал подвальный табор «затхлой лавкой древностей сердца моего»,[17] и Мария рассердилась на него, потому что он был совершенно прав.

Сотрудники фонда сидели за Круглым столом при свечах, которым тайно помогали скрытые под карнизом светильники. Человека, впервые попавшего сюда, изумила бы и, возможно, привела в благоговейный трепет эта картина, апофеоз богатства, высокого положения, элегантной тишины и спокойствия — привилегий, даруемых богатством и высоким положением. Таким человеком оказалась Пенелопа Рейвен; комната ее потрясла, и Пенелопа твердо решила не подавать

[17] Примечания: 17

Цитата из стихотворения Йейтса «Бегство цирковых животных» (The Circus Animals' Desertion), где в числе прочего используются образы, заимствованные из карт Таро.

виду.

От сегодняшнего вечера ждали очень многого. Даже Холлиер раньше времени вернулся из очередной поездки в Трансильванию, где искал свои любимые культурные окаменелости (как он это называл). «Какой он красивый! — подумала Мария. — Как нечестно, что его красота придает дополнительный вес всему, что он говорит. Симон совсем не красивый, делает для фонда намного больше, чем Холлиер. Артур красив, но не изысканной красотой Холлиера; зато Артур запускает движение колес и кипение котлов, как Холлиеру не дано. Наверно, я, для женщины, так же красива, как Холлиер — для мужчины, а я знаю, как мало толку от красоты, когда надо по-настоящему делать дело».

Про Геранта Пауэлла, пятого члена фонда, Мария вовсе не думала. Пауэлл ей не нравился; точнее, не нравилось, как он смотрит на нее — с вызовом; он был красив в актерском стиле: масса волнистых темных кудрей, тонко вырезанные, как у лошадки-качалки, ноздри, большой подвижный рот; как и других хороших актеров, Пауэлла было лучше не разглядывать слишком близко. «Если вдруг Фонд Корниша придется когда-нибудь изображать на сцене, — подумала

Мария, — на роль Холлиера нужно выбрать Пауэлла: его преувеличенная красота будет хорошо видна даже с последних рядов, откуда тонкую красоту самого Холлиера не различить».

Пришли все, и все с нетерпением ожидали доклада Пенелопы Рейвен: она с победой вернулась из-за границы, где искала либретто «Артура Британского», и теперь собиралась поведать о находке.

— Я нашла либретто, — сказала она. — Это оказалось сравнительно нетрудно. Подобные проекты напоминают «Охоту на Снарка»: в последний момент Снарк всегда может оказаться Буджумом. Я подумала, что либретто может оказаться в библиотеке Британского музея, среди театральных бумаг. Но, как вы, наверно, знаете, чтобы найти там что-нибудь — если речь идет о подобных малоизвестных вещах, — нужна сметка исследователя, чутье на диковины и обыкновенная слепая удача. Конечно, я перерыла оперные архивы в Бамберге, Дрездене, Лейпциге и Берлине — и не нашла ничего. Ни бумажки. Куча всякого про Гофмана, но про эту оперу — ничего. Мне нужно было все прочесать, чтобы не выбросить на ветер ваши деньги. Но у меня было подозрение, что нужные бумаги окажутся

в Лондоне.

— Из-за этого Планше, — сказал Артур.

— Нет. Не из-за него. Я шла по следам Чарльза Кембла. Извините, я прочитаю вам небольшую лекцию. Кембл принадлежал к знаменитой театральной семье: все вы слышали о миссис Сиддонс — она приходилась ему сестрой и была величайшей актрисой своего времени. Вы знаете ее портрет, «Миссис Сиддонс как муза трагедии», работы Рейнольдса. Чарльз Кембл был управляющим и арендатором театра Ковент-Гарден с тысяча восемьсот семнадцатого по тысяча восемьсот двадцать третий. Несмотря на множество успешных постановок, театр едва сводил концы с концами. Не по вине Кембла. Такова уж была театральная экономика того времени. Владельцы театра требовали чудовищную арендную плату, и даже умелые театральные управляющие часто оказывались в беде… Чарльз обожал оперу. Он вечно уговаривал композиторов писать новые оперы. Он был невероятно добрый человек и поощрял всех, у кого был талант. Кембл не выпускал из поля зрения нашего Джеймса Робинсона Планше, потому что Планше давал результаты: он умел работать в театре, и сотрудничество с ним означало успех. Кембл слыхал про Гофмана — все

Кемблы были прекрасно образованны, что вовсе не обычная вещь среди тогдашних людей театра. Надо полагать, Кембл читал по-немецки или, может быть, слышал какую-нибудь оперу Гофмана, будучи в Германии. Он уговорил Гофмана создать для него оперу и настоял на том, чтобы либретто писал Планше, — тому не было еще и тридцати, и он уверенно шел к успеху и славе… Итак, работа началась. Планше и Гофман переписывались, но, боюсь, их переписка утеряна. Бедняга Гофман уже болел, и не успело из этой затеи хоть что-нибудь выйти, как он умер. Гофман и Планше цапались, как кошка с собакой, в чрезвычайно вежливом эпистолярном стиле того времени. Надо полагать, Планше даже обрадовался, когда из оперы ничего не вышло. Потом он вместо нее написал небольшую вещицу под названием «Дева Мэриан», на музыку одного ловкого халтурщика по фамилии Бишоп… Вся история, насколько мне удалось ее раскопать, нашлась в бумагах Чарльза Кембла в Британском музее. Хотите послушать?

— Конечно хотим, — сказал Артур. — Но первым делом успокойте нас: вы в самом деле нашли какое-то либретто к нашей опере?

— О да. Еще и какое! Оно у меня есть, прямо тут. Но, думаю, дело сильно прояснится, если я

зачитаю вам часть переписки Кембла и Планше.

— Валяйте, — сказал Артур.

— Вот первое найденное мною письмо Кемблу.

Дражайший Кембл!

Я обменялся посланиями с герром Гофманом, и, сколько я могу судить, наши с ним цели разнятся, ибо он обладает лишь самым отдаленным представлением об английском театре в том, что касается оперы. Но я уверен, что мы с ним придем к согласию, когда я объясню ему все обстоятельства нашего положения. Кстати говоря, мы переписываемся по-французски, и я должен сказать, что причиной наших разногласий хотя бы отчасти, возможно, служит его несовершенное владение этим языком.

Как Вы знаете, я люблю работать быстро, а поскольку сейчас у меня множество дел, я написал Гофману, как только Вы мне сообщили, что он готовит пиесу для наступающего сезона в Ковент-Гардене. Я изложил на бумаге план, замысел которого вынашивал уже некоторое время — замысел пиесы с феями и эльфами,

которую можно с тем же успехом привязать к королю Артуру, как и к любому другому популярному герою. Вкратце план таков: король Артур и его спутники, пресытившись удовольствиями охоты, задумывают учредить Круглый стол, дабы способствовать поддержанию рыцарства в Англии. Королева Гвиневра жалуется на это (тут можно вставить комический дуэт между Артуром и королевой, которая думает, что он ею пренебрегает). Артур знает, как с этим бороться: он зовет своего волшебника Мерлина и просит перенести королевский двор tous sans exception[18] ко двору турецкого султана, чтобы посмотреть, как с дамами обращаются там. Мерлин призывает главных эльфов и фей во главе с царем Обероном и царицей Титанией, чтобы они произвели необходимое волшебное действие. Но правители Страны фей также в раздоре между собою; они отказываются выполнить поручение. (Здесь можно вставить балет фей — это очень красиво

[18] Примечания: 18
В полном составе, без исключения *(фр.)*.

и, по общему согласию, даст верный успех у публики.) Мерлин просит помощи у Пигвиггена, единственного эльфа среди Артуровых рыцарей. Объединив свои колдовские чары, Мерлин и Пигвигген переносят британский королевский двор в Туркестан. Оживленная сцена завершает первый акт.

Второй акт разворачивается в Туркестане. Это предоставляет возможности, которыми, я уверен, ваш мистер Грив блистательно воспользуется для создания зрелищных сцен, поражающих зрителей своей роскошью. Турецкий султан начинает осаждать королеву Гвиневру, возбуждая ревность Артура. (Здесь отличная возможность вставить комические интриги Пигвиггена.) К немалому огорчению Артура, его главный рыцарь, Ланселот, влюбляется в королеву. Ланселот и Артур ссорятся, и ничто не решит их разногласий, кроме дуэли. В действие опять вмешивается Пигвигген, который знает, что Элейна, Лилейная дева, любит Ланселота и он ранее поощрял ее любовь. Элейна должна появиться еще

в первом акте. Турецкий султан не дозволяет поединков у себя в государстве. В удачный момент появляются Оберон и Титания, которые уже помирились. Они переносят весь Круглый стол обратно в Британию. Здесь я подумываю о сцене, в которой Двор Фей, со свечами в руках, ведет британцев прочь от Туркестана; они переваливают через гору в темноте. (Вы знаете, что в запасниках Ковент-Гардена есть такая гора: ее три года назад использовали в «Барбароссе», и ее легко будет приспособить для повторения тогдашнего превосходного успеха.) Сильный финал второго акта.

Третий акт происходит опять в Британии. Идут приготовления к поединку Артура и Ланселота, но сперва мы видим торжественную процессию Семи Поборников Христианства,[19] — конечно, их всех играют дамы; с особенным комическим пылом выступают француз Дени и

[19] Примечания: 19

Семью поборниками христианства называют святых Георгия (Джорджа), Андрея (Эндрю), Патрика, Дионисия (Дени), Иакова (Яго), Антония Падуанского и Давида, небесных покровителей Англии, Шотландии, Ирландии, Франции, Испании, Португалии и Уэльса соответственно.

испанец Яго. Выйдет весьма стильно, если святой Антоний споет по-итальянски, Дени — по-французски, а Яго — по-испански. За этим можно вставить комические арии с подчеркнутым акцентом: святого Патрика — с ирландским, святого Давида — с валлийским, святого Андрея — с шотландским; может быть, можно даже устроить комическую битву между этими тремя святыми, и английский святой Георгий их примирит, покорив всех трех. Под водительством святого Георгия — здесь нужно вставить парад герольдов и великую демонстрацию щитов и гербов, это смотрится великолепно и почти ничего не стоит — Артур и Ланселот готовятся к поединку. Как вы думаете — взять настоящих лошадей? Лошади — верное дело с английской публикой. Поединок прерывается появлением Элейны, Лилейной девы из Астолата: ее тело приплывает по течению реки в челне. Она как будто бы мертва. В руке у нее свиток, гласящий, что она была возлюбленной Ланселота и он ее покинул. Гвиневра обвиняет Ланселота, он сознается, Элейна вскакивает с

погребального одра и заявляет свои права на бывшего возлюбленного. Артур и Гвиневра мирятся при помощи Мерлина и Пигвиггена. Святой Георгий провозглашает победу рыцарского духа и Круглого стола. Грандиозный патриотический финал.

Излишне объяснять Вам, так хорошо знающему ресурсы своего театра, что я готовил этот план с расчетом на певцов, которые свободны прямо сейчас, за исключением мадам Каталани, которая удалилась от дел, но готова вернуться на сцену: нам удастся соблазнить ее партией Гвиневры, если мы предоставим достаточно возможностей для ее прекрасной колоратуры, что вовсе не трудно. Если у Гофмана не получится, наш друг Бишоп напишет что-нибудь в своем обычном цветистом стиле. А другие актеры — кто же, как не Брэм на роль Артура, Дюрасет — Ланселота, мисс Коз — Элейны, Кили — Мерлина (он уже потерял голос, но я вижу Мерлина второстепенной комической фигурой) и мадам Вестрис — Пигвиггена, в костюме, выигрышно подающем ее

великолепные конечности? Ренч превосходно справится с ролью Оберона, так как он умеет танцевать, а мисс Пейтон, достаточно миниатюрная, несмотря на свою растущую корпулентность, — с ролью Титании. Из Огастеса Бэрроуза выйдет превосходный святой Георгий. Мило, не правда ли?

Можно было бы подумать, что мы отлично разложили всю оперу, оставив простор для всяческой фантазии, гротеска и прочего, на каковые, по вашему уверению, герр Гофман — большой мастер. Но нет. О нет!

Наш немецкий друг отвечает мне со множеством комплиментов на очень формальном французском — он польщен нашим сотрудничеством, сознает, какую славу принесет ему работа для Ковент-Гардена, и прочая и прочая, — а потом начинает читать мне типично немецкую лекцию об опере. По его мнению, время оперы, подобной предложенной мною, — подумайте, он назвал ее «восхитительной рождественской сказкой для детей!» — давно прошло и настало время замыслов,

более серьезных с музыкальной точки зрения. В его опере не будет отдельных номеров или песен, связанных диалогом, но непрерывный поток музыки; к ариям прибавится recitativo stromentato, так что оркестру, по сути, некогда будет отдохнуть — оркестрантам придется весь вечер пилить и дудеть! И музыка должна быть драматической, а не просто давать предлог для демонстрации голоса особо одаренных певцов — «исполнителей на человеческой гортани, этом сильно переоцененном инструменте», как он выразился! (Интересно, что сказала бы мадам Кат?) И еще у каждого персонажа должен быть свой музыкальный «девиз», под которым герр Гофман разумеет фразу или инструментальный росчерк, обозначающий только этого персонажа; этот «девиз» можно представлять различными способами согласно духу действия. Он утверждает, что это произведет поразительный эффект и возвестит новый способ написания опер! Да уж, конечно — и заодно выгонит всех зрителей из театра, я в сем не сомневаюсь!

Прекрасно. Музыка — это его дело, я полагаю, хоть я и сам не полный невежда в сей науке, как уже несколько раз имел возможность доказать. Но когда он смеется над моим наброском драматической части пиесы — думаю, у меня есть право говорить откровенно. Он хочет вернуться назад, к оригинальным легендам об Артуре, и драматизировать их «серьезно», как он говорит, а не в духе un bal travesti.[20] Думаю, это намек на моих Семь Поборников, изображаемых дамами: я совершенно уверен, что публика будет в восторге, поскольку дамы в рыцарских доспехах сейчас, если можно так выразиться, на пике моды — частью потому, что показывают ноги, но что из того? Полосатые трико для каждой «поборницы» в цветах национального флага соответствующей страны дадут превосходный эффект и понравятся той части зрителей, которую не увлекает музыка. Оперный театр — не монастырь и никогда им не был. Далее герр Гофман говорит о «кельтской

[20] Примечания: 20
Бал-маскарад *(фр.).*

атмосфере» Артуровой легенды, явно не понимая, что артуровские легенды давно перешли — по праву завоевания — в собственность Англии, а следовательно, и в собственность ее оперного театра.

Но не беспокойтесь, дорогой друг. Я сейчас пишу ответ, который разъяснит герру Гофману многие вещи, явно доселе ему неизвестные. Я уверен, что мое письмо возымеет немедленный эффект и наше дальнейшее сотрудничество будет весьма дружественным.

Засим имею честь подписаться,
Ваш покорный слуга

Джеймс Робинсон Планше.
18 апреля 1822 года

— Господи боже мой! — воскликнул Артур.

— Не беспокойся, — заметил Герант. — Я такое все время вижу. Театральный народ только так и общается. Это называется «творческий фермент, порождающий всякое великое искусство». Точнее, так это называют, когда хотят выразиться деликатно. Надо думать, есть еще письма?

— И какие! — сказала Пенни. — Слушайте, сейчас я вам прочитаю второе.

Дорогой Кембл!

Преодолев свое вполне объяснимое огорчение — ибо я взял себе за правило никогда не говорить и не писать, будучи во гневе, — я вновь написал нашему другу Гофману в манере, кою Эйвонский Бард именует «утешительной». Я повторил свои основные тезисы и подкрепил их отрывками из стихов, подходящих для использования в опере. Например, я предложил начать оперу хором охотников. Что-нибудь воодушевленное, и побольше медных духовых в оркестровке, со словами вроде этих:

Пошли мы на охоту
Ранехонько с утра:
Охота нам угрохать
Ба-альшого кабана!

Нас ждала с кабаном незадача:
Перепутали мы, не иначе,
Но волшебный наш друг
Поразил всех вокруг
И копьем кабана охреначил.

Засим должна последовать уморительно смешная песня Пигвиггена (я уже упомянул, что его будет играть мадам Вестрис?) об охоте на кабана (с некоторой игрой на слове «охота», как то: «мы отправились на охоту» и «ему охота»), а затем охотники повторяют припев.

В этой сцене должен быть очень явным мотив волшебства. Желательно, чтобы в декорациях и одежде доминировал голубой цвет, символизирующий волшебную силу Пигвиггена, — он быстр и ловок, подобие Пака, в противоположность тяжеловесной, комической магии Мерлина. Может, вставить здесь еще песню? Пигвигген должен понравиться всем зрителям, и дамам, и джентльменам: первым — как очаровательный мальчик, вторым — как очаровательная девушка в голубых одеждах мальчика. Сей трюк был столь хорошо известен Барду! Я предложил в письме к герру Г., чтобы Пигвигген пел примерно следующее:

Король равнялся с мудрецом:
Кто красен жезлом, кто ли-

цом,
Чья кровь знатней и голубей,
Кто всех сильнее и мудрей?

— Боюсь, у современной публики эти строки вызовут нездоровое оживление, — заметил Даркур. — Прости, Пенни, я не хотел тебя перебивать, но в наше время упоминать о жезлах, голубом цвете и мальчиках, которые на самом деле девочки, следует с большой оглядкой.

— Погоди, то ли еще будет, — ответила Пенни и продолжала читать письмо:

> Любовная пиния Ланселота и Гвиневры составляет основную романтическую тему оперы. Я набросал дуэт, чтобы Гофман начал его обдумывать. Я не композитор — хоть и не чужд музыке, как уже говорил, — но, думаю, эти стихи помогут создать нечто подлинно прекрасное человеку, обладающему даром композитора, — как, мы имеем основания полагать, Гофман. Итак, Ланселот стоит под окном Гвиневры.
>
> *Ночь темна, и ярко светят*

Звезды над водой,
О, любимая, мы встретим
Эту ночь с тобой.
Будет литься эта песня,
Будет лютня подпевать,
Будет голос твой чудесный
Страсть и нежность пробуждать.

Ночь темна, и ярко светят
Звезды над водой,
О, любимая, мы встретим
Эту ночь с тобой.

— Простите, можно вас побеспокоить на предмет еще капельки виски? — вполголоса спросил Холлиер у Артура.

— Всенепременно. Если там и дальше в том же духе, то мне самому понадобится большой стакан, — ответил Артур и передал Холлиеру графин. Оказалось, что Даркуру и Пауэллу тоже необходимо выпить.

— Я должна заступиться за Планше, — сказала Пенелопа. — Всякое либретто при чтении звучит очень плохо. Но послушайте, что отвечает ему

Гвиневра из окна:

Ах, боже мой, бушуют страсти
В моей груди!
Ах, я твоя, ты — мое счастье,
Ко мне приди.

Я неприступной, вероятно,
Тебе кажусь —
Пока в любовь я безвозвратно
Не погружусь.

Дальше, насколько я поняла, по замыслу Планше Ланселот уговаривает Гвиневру вступить с ним в сношения через дупло, где они будут оставлять друг другу условные знаки.

— Только не это, — сказал Пауэлл. — Сначала голубые мальчики, а теперь сношения в дупло прямо на сцене. Нас разгонит полиция.

— Будьте любезны, перестаньте пошлить, — сказала Пенни. — Не все любовные песни так сентиментальны. Послушайте, что должен петь турецкий султан, когда Круглый стол прибывает к его двору. Красота Гвиневры его немедленно сразила. Он поет:

Я думал о пери и гуриях,

О звездах арабских ночей,

Но эта прекрасная фурия!

Сравнится ли кто-нибудь с ней?

Какая страсть! Какая страсть! Какая страсть

В любом ее движении!

Когда б мечта моя сбылась, сбылась, сбылась —

Дарить ей наслаждение!

— Пенни, вы серьезно нам это предлагаете? — спросила Мария.

— Планше, безо всякого сомнения, предлагал это серьезно — и с полной уверенностью. Он знал свой рынок. Это либретто начала девятнадцатого века — я вас уверяю, что в ту эпоху людям нравилось именно такое. Эпоха регентства, ну или достаточно близко к ней. Любители музыки насвистывали и пели «Избранные парафразы из концертов», играли их на шарманке и барабанили на своих любимых лакированных «фортепьянах». В те времена, бывало, ставили Моцарта, из которого выбрасывали целые куски и заменяли их веселенькими новыми мелодиями Бишопа. Это потом опера стала очень серьезным делом, почти священнодействием, и ее стали

слушать в благоговейной тишине. В эпоху регентства люди считали оперу забавой и обходились с ней по-свойски.

— И что ответил Гофман на эту чушь? — спросил Холлиер.

— Мне кажется, «чушь» — немного слишком сильное слово, — заметила Пенни.

— Подобный юмор совершенно омерзителен! — воскликнул Артур.

— Планше очень свысока относится к прошлому, а я этого терпеть не могу, — сказала Мария. — Он вертит Артуром и его рыцарями, как будто у них нет ни капли человеческого достоинства.

— О, это верно. Очень верно, — согласилась Пенни. — Но разве мы от него чем-нибудь отличаемся — со всеми нашими «Камелотами»,[21] «Монти Пайтонами» и прочим? Театралам всегда льстило, когда их много-раз-прапрадедушек представляли идиотами. Иногда мне кажется, что нелишне было бы учредить Хартию прав и свобод для покойников. Но вы совершенно пра-

---

[21] Примечания: 21

«Камелот» — мюзикл (1960) и фильм на его основе (1967) по мотивам серии романов Т. Х. Уайта «Король былого и грядущего» (*The Once and Future King*, 1958), пересказывающих рыцарский роман «Смерть Артура» (*Le Morte D'Arthur*, ок. 1450–1470) сэра Томаса Мэлори, в свою очередь являющийся интерпретацией легенд о короле Артуре.

вы: это юмористический текст. Послушайте, что поет Элейна, когда Ланселот дает ей отставку:

Прекрасным утром летним
Прощаюсь я с надеждой:
Коль мне не быть твоею,
Навек смежу я вежды.
На ложе темной ночью
Мою получишь весть,
Услышишь тихий голос:
«Я здесь, я здесь, я здесь!»

— Прямо какая-то лебединая песнь, — заметил Артур.

— А что там с грандиозным патриотическим финалом? — спросил Даркур.

— Сейчас посмотрим… где это? А, вот:

Ликует лес, ликует дол:
Се на престол Артур взошел!
С великой радости народ
Хвалу правителю поет.
Слава, слава королю
По-ве-ли-те-лю!

— В этом даже и смысла нет никакого, — сказал

Холлиер.

— И не должно быть. Это патриотизм, — ответила Пенни.

— Неужели Гофман положил это на музыку? — спросил Холлиер.

— Нет. Вот последнее письмо, которое, судя по всему, подводит черту. Слушайте.

> Дорогой Кембл!
>
> К сожалению, у меня неутешительные новости от нашего друга Гофмана. Как Вы знаете, я послал ему наброски нескольких песен для пиесы об Артуре, с обычными заверениями, положенными либреттисту, что я изменю их любым образом, по его усмотрению, чтобы они легли на сочиненную им музыку. И разумеется, что я напишу дополнительные куплеты для театральных сцен, о которых мы договорились. И когда все это будет завершено, я объединю сцены диалогами. Но, как Вы видите, он упорно застрял на своей *idée fixe*.[22] Я полагал, что причиной наших разногласий служит язык; не знаю, на-

[22] Примечания: 22
Навязчивая идея *(фр.)*.

сколько хорошо герр Гофман понимает по-английски. Однако он счел за благо ответить мне именно на этом языке. Прилагаю его письмо.

Достоуважаемый сэр!

Чтобы устранить всякие предпосылки для непонимания, я пишу сии строки на немецком языке с тем, чтобы мой досточтимый друг и коллега *Schauspieldirektor*[23] Людвиг Девриент перевел их на английский, коим я владею не в полном совершенстве. Однако же мои познания в английском языке вполне достаточны, чтобы уловить дух Ваших прекрасных стихов и объявить их полностью непригодными для задуманной мною оперы.

Большим счастьем для меня были великие изменения в музыке, происходившие на протяжении всей моей жизни, — многие музыканты даже великодушно говорят, что и я внес свою лепту в сии перемены. Ибо, как Вы, вероятнее всего, не знаете, я написал изрядное число музыкальных критических статей и удостоился даже похвалы великого Бетховена, не говоря уже о дружбе Шумана и Вебера. Бетховен сожалел впоследствии,

---

[23] Примечания: 23
Импресарио *(нем.).*

что окончил наконец своего «Фиделио» в виде оперы с разговорными диалогами (Singspiel,[24] как мы это называем). Со времени завершения моей последней оперы «Ундина», которую Вебер столь великодушно осыпал похвалами, я много думал о природе оперы вообще; и ныне — когда мое время истекает по причинам, о которых не буду здесь распространяться, — я испытываю великое желание написать вымечтанную мною оперу или не писать вовсе никакой. И, досточтимый сэр, прошу извинить меня за прямоту, но предложенное Вами либретто вовсе не годится для оперы, как я ее вижу.

Когда я говорю о вымечтанной мною опере, это не просто сложенные вместе красивые слова, уверяю Вас; это выражение того, чем, по моему мнению, должна быть музыка и что она должна быть способна выразить. Ибо разве музыка не язык? А если да, то язык чего? Не язык ли она мира снов, мира за пределами мысли, за пределами всех языков, известных Человеку? Музыка пытается говорить с Человеком на единственно возможном языке этого невидимого мира. В своем письме Вы вновь и вновь подчеркиваете, что мы

---

[24] Примечания: 24
Зингшпиль, комическая опера *(нем.)*.

должны сказать зрителю нечто, должны добиться успеха. Но что это за успех? Я подошел к точке своей жизни — боюсь, к завершающей, — когда подобный успех более не имеет привлекательности. Мне недолго осталось говорить, а посему я желаю говорить только правду.

Я покорнейше прошу Вас пересмотреть свою точку зрения. Мы должны создать не очередной Singspiel полный шуточек и эльфийских персон, но оперу в духе будущего, насквозь пронизанную музыкой; арии в ней будут связаны диалогом, который поется под аккомпанемент оркестра, а не просто под редкое бряцание клавикорда, задающее тон певцу. Умоляю Вас, о досточтимый сэр, давайте серьезно отнесемся к британским легендам и не будем представлять короля Артура площадным шутом.

Напротив того, главной пружиной действия мне видится открытие королем Артуром любви Ланселота и Гвиневры и великое страдание, в котором король смиряется с их любовью. Все, что нужно для создания этого сюжета, есть в вашем великом английском романе «Смерть Артура». Умоляю Вас, черпайте вдохновение оттуда. Покажем зрителям эту великую любовь; великую скорбь, в которую повергает Ланселота сознание,

что он предает своего друга и короля; безумие Ланселота, вызванное раскаянием. Создадим оперу о трех людях высочайшего благородства. Сделаем прощение Артура, его понимание и любовь к своей королеве кульминацией сюжета. Я предлагаю следующее название: «Артур Британский, или Великодушный рогоносец». Не знаю, насколько хорошо оно звучит на английском языке, но Вы, без сомнения, можете судить об этом.

Но умоляю Вас, давайте исследуем то чудесное, что таится в глубинах души. Пусть лира Орфея откроет нам дверь в подземный мир чувств.

Со всяческими уверениями в наивысочайшем к Вам почтении,

остаюсь Ваш покорный слуга

Э. Т. А. Гофман.1 мая 1822 года

P. S. Я прилагаю к сему некоторое количество грубых набросков, приготовленных мною для оперы того сорта, что мне столь желанен; надеюсь, что они донесут до Вас частицу чувства, о котором я говорил, — чувства, которое изобилует в, если выражаться модным ныне словом, романтизме.

Вот так, дорогой Кембл. Что скажете?
А что сказать мне? Читая это, я так и

представлял себе немцев с длинными дымящимися трубками, засидевшихся над кружками с густым темным пивом. Конечно, я знаю, о чем он говорит. Это называется Мелодрама — род театрального действа, когда стихи читают или поют под музыку; совершенно бесполезная вещь для оперы, как мы ее понимаем в Ковент-Гардене.

Но я сдержался. Никогда не выходить из себя, имея дело с музыкантами, — это хороший принцип, как Вы знаете по опыту своих сношений со вспыльчивым Бишопом, из коих Вы всегда выходите победителем благодаря своей превосходной Флегматичности. Я написал снова, пытаясь уговорить Гофмана посмотреть на дело с моей точки зрения; в мои задачи, объяснял я ему, не входит продвижение вперед границ музыки и ныряние в мутное царство снов. Я уверил его, что шутку англичане ценят превыше всего и если что говоришь англичанину, это следует говорить шутливо или вовсе не говорить, когда речь идет о музыке. (Я исключаю, конечно, жанр Оратории, ибо это совсем

другое.) Я даже попытался впечатлить герра Гофмана прелестной написанной мною песенкой, предлагая сделать ее первым выступлением эльфа Пигвиггена (мадам Вестрис) для обрисовки характера персонажа:

Сидит на троне Оберон
С Титанией своей,
Но он ли правит всей страной?
Да полноте, ей-ей.
Вот я — Пигвигген, их Премьер —
Министр и советник,
Я всех важней, хотя, ей-ей,
Не так-то я заметен.
Вот с королевою король
Не поделили что-то,
Их помирить тотчас изволь:
Нелегкая работа!

Кто правит Сказочной страной?
Ей-ей, конечно, не Король!

Я здесь отнюдь не лишний:
Главней Сморчка и Шишек.
В своих одеждах голубых,
Всем правлю я — от сих до сих!
В волшебной дали голубой
Король считается со мной!
В волшебной дали голубой
Важней Пигвигген, чем король!

Осмелюсь сказать — не из тщеславия, но как человек, завоевавший достойное место в театре сочинением нескольких пиес, имевших несомненный успех, — что песенка весьма удалась. Вы согласны?

Прошло уже несколько недель, но ни строки от нашего немецкого друга. Время, однако, идет, и я пошевелю его снова, столь добродушно, сколь я умею.

Примите и пр.,

Ваш Дж. Р. Планше.

— На этом письме есть пометка, сделанная рукой Кембла: «Мне сообщили, что Гофман умер в Берлине двадцать пятого июня. Немедленно из-

вестить Планше и назначить ему встречу — надо выбрать другую пиесу и другого композитора — Бишопа? — так как опера должна быть готова к Рождеству».

За Круглым столом воцарилось тяжелое молчание. Пенни взяла гроздь винограда из Блюда изобилия.

Первым заговорил Холлиер:

— Как вы думаете, что понял бедный умирающий Гофман из всего этого мусора про голубых мальчиков, сморчки и шишки?

— Современные зрители, несомненно, воспримут это как непристойную шутку. Язык в некоторых отношениях сильно изменился со времен Планше, — сказал Даркур.

— Это уж точно, — заметил Артур.

— Может быть, с современными зрителями не все так плохо, — утешил их Пауэлл, настроенный, кажется, оптимистичнее прочих. — Помните ту песню из «Кордебалета»?[25] Там все время было про «голубые дали», а пела девушка с великолепными конечностями. И у публики это вызвало Фурор.

— Не могу не согласиться насчет изменений

---

[25] Примечания: 25

«Кордебалет» (A Chorus Line) — мюзикл 1975 г.

в языке, — сказала Пенни. — Это я еще не стала вам читать наброски диалогов, которые Планше послал Кемблу. Пигвигген у него приходит в лес, «где голубые ели», а потом долго распространяется о том, что у него теперь есть две волшебные шишки.

— Что у него есть? — в ужасе переспросил Артур.

— Две волшебные шишки. Очевидно, шишки с голубых елей в лесу Мерлина обладают особо волшебными свойствами.

— А что, в шишках нынче есть что-то двусмысленное? — спросил Холлиер. — Простите, я не очень разбираюсь в современном сленге.

— Шишки теперь означают женскую грудь, — объяснил Пауэлл. — Выпуклости, понимаете? «У нее отличные шишки». Возможно, это словечко больше распространено в Англии, чем здесь.

— А, понимаю. Я подумал про «шишку» в единственном числе, что означает головку полового члена. Возможно, об этом предмете будет говорить сам Великодушный Рогоносец.

— Ради бога, перестаньте шутить, — сказал Артур. — Дело очень серьезное. Вы что, не понимаете? Мы что, правда собираемся выкинуть кучу денег из наследства дяди Фрэнка на оперу

про голубых мальчиков, шишки и сношения через дупло? Мария, скажи мне, я уже поседел? Я отчетливо ощущаю, как у меня съеживается кожа на голове.

— Мне, как специалисту по Рабле, отвратительны эти жалкие потуги на полускрытую непристойность, — заявила Мария.

Пенни не очень элегантно выплюнула на тарелку горсть виноградных косточек.

— Но зато у вас есть музыка. Во всяком случае, планы и наброски.

— Да, но годится ли она? — спросила Мария. — Если это на том же уровне, что и Планше, мы пропали. Сидим в дыре, как Артур говорит. Хороший ли Гофман композитор? Кто-нибудь знает?

— Я, конечно, не судья, — сказала Пенни. — Но я думаю, что очень неплохой. Имейте в виду, я в музыке не специалист. Но когда я была в Лондоне, Би-би-си передавало «Ундину» Гофмана в цикле ранних романтических опер, и я, конечно, послушала. Даже записала, и эти записи у меня с собой, если кому интересно. У вас есть магнитофон?

Мария взяла кассеты и вставила одну в стереопроигрыватель, ловко спрятанный в шкафу рядом с Круглым столом. Даркур убедился, что у всех налито, и члены Фонда Корниша — в самом

ужасном упадке духа со дня основания фонда — приготовились слушать. На всех лицах читалась безнадежность, но у Пауэлла — в меньшей степени. Ему, как человеку театра, было не привыкать к провалам и безднам творческого процесса.

Артура первого встряхнула и оживила музыка.

— Слушайте, слушайте! Он использует голоса в увертюре! Вы когда-нибудь слышали такое?

— Это голоса влюбленного и Духа Воды, взывающих к Ундине, — объяснила Пенни.

— Если он и дальше продолжает на том же уровне, может быть, все обойдется, — сказал Артур.

Он был страстным меломаном, плохим пианистом-любителем и ужасно сожалел, что дядя Фрэнк не оставил ему свою завидную коллекцию музыкальных рукописей. Тогда незавершенная опера оказалась бы в надежных руках самого Артура.

— Да он умелый композитор, — произнесла Мария.

И в самом деле. Сотрудники Фонда Корниша приободрились — в меру своей способности к восприятию музыки. Даркур понимал, что слышит: он и с Фрэнсисом Корнишем когда-то познакомился на почве общей любви к музыке. Пауэлл

утверждал, что музыка — одна из стихий, в которых он живет; он хотел расширить свой опыт театрального режиссера постановкой оперы и именно поэтому так уговаривал Фонд Корниша заняться «Артуром Британским». Холлиеру в детстве медведь на ухо наступил, но драматические сюжеты Холлиер любил и понимал, а «Ундина», безусловно, была драматична, — правда, это не мешало ему время от времени клевать носом. К концу первого акта все заметно приободрились и опять потребовали выпивки — но не для того, чтобы утишить боль поражения, а чтобы отметить удачу.

«Ундина» — длинная опера, но Фонд Корниша мужественно дослушал ее до конца. Было уже почти четыре часа утра; они просидели за Круглым столом больше девяти часов. Но, кроме Холлиера, все были бодры и счастливы.

— Если таков Гофман-композитор, мы снова оседлали свинью, как говорится, — сказал Артур. — Надеюсь, я не выдаю желаемое за действительное, но, по-моему, это просто отлично.

— Он и правда призывает лиру Орфея, чтобы открыть подземный мир чувств, — заметила Мария. — Он часто повторял эту фразу. Должно быть, она ему очень нравилась.

— А вы слышали, как он использует деревянные духовые? Не просто дублирует струнные, как норовили даже лучшие итальянцы того времени; нет, у него они создают свое отдельное настроение. О, волшебные глубокие звуки флейт! Это романтизм, верней верного, — сказал Пауэлл.

— Новый романтизм, — заметила Мария. — Можно уловить отзвуки Моцарта — нет, не отзвуки, а бережные воспоминания, с любовью; а в грандиозные моменты — бетховенскую крепкую плоть. И слава богу, в особо напряженных местах он достигает выразительности не за счет того, что дербанит в литавры. По-моему, это прекрасно! О Артур!..

От облегчения и радости она бросилась мужу на шею и поцеловала его.

— Я рад, что мы сначала выслушали его письмо к Планше, — сказал Даркур. — Теперь мы знаем, куда он двигался и чего надеялся достичь в «Артуре». Музыка не как подпорка для сценического действия, но как само действие. Как жаль, что ему не удалось довершить задуманное!

— Да, да, это все прекрасно; я не хочу лить на ваши восторги холодную воду, но как наименее музыкальный человек среди собравшихся должен заметить, что у нас все-таки нет либрет-

то, — вмешался Холлиер. — Исходя из того, что белиберда Планше не годится, — конечно, вы все с этим согласны. Значит, либретто нет. А хватит ли у нас музыки на оперу, кто-нибудь знает?

— Я заходил в библиотеку посмотреть, — ответил Артур. — Там есть большая пачка нот, но я, конечно, не могу судить, в каком состоянии эта музыка. Кое-где на нотах что-то нацарапано по-немецки — видимо, предложения по сценическому действию или указания мест, на которых это действие должно происходить. Я не умею читать старонемецкий почерк, так что ничего не могу сказать.

— А слова?

— Я не видел никаких слов, но я могу ошибаться.

— Как вы думаете, мы можем вручить Шнак эти бумаги и предоставить ей простор для деятельности? Она знает немецкий? Может быть, переняла хоть немного от родителей. Конечно, это будет не поэтический немецкий. В старших Шнаках нет ничего поэтического, — сказал Даркур.

— Я не хочу показаться назойливым, но каково наше положение в отсутствие либретто?

Пауэлл потерял терпение:

— За этим столом собралось столько башкови-

тых людей! Неужели мы все вместе не сможем составить одно либретто?

— Стихи? — переспросил Даркур.

— Да, стихи для либретто, — ответил Пауэлл. — Я видел десятки либретто, и ни одно из них не достигало головокружительных поэтических высот. Ну же! Составление либретто — это не для слабодушных.

— Боюсь, в отношении музыки я буду пятой спицей в колеснице, — заметил Холлиер. — Но что касается кельтских легенд, они по моей части. Я прекрасно помню роман Мэлори. Все мои познания — к вашим услугам. Я могу подделывать поэтические строки на позднесредневековом английском не хуже кого другого.

— Отлично, — сказал Пауэлл. — Вот мы и снова оседлали свинью, как, в весьма кельтском духе, выразился Артур.

— О нет, не торопитесь, — осадил его Холлиер. — Нам понадобится время даже после того, как мы выберем нужный вариант Артуровой легенды. Их, знаете ли, много: кельтская, французская, немецкая и, конечно, версия Мэлори. А как мы собираемся трактовать образ Артура? Кто он — бог солнца, воплощенный в легенде людьми, не до конца обращенными в христианство? Или про-

сто *dux bellorum*, вождь-военачальник бриттов, возглавляющий борьбу против пришлых саксов? Или мы выберем утонченный вариант Марии Шампанской и Кретьена де Труа? Или решим, что Гальфрид Монмутский все же знал, о чем пишет, сколь бы маловероятным это ни казалось? Теннисоновского Артура можно сразу сбросить со счетов — он насквозь добродетельный и благородный, послефрейдовская публика на такое не купится. Одно решение вопроса, каким мы хотим видеть Артура, может занять много месяцев упорных раздумий.

— Мы хотим видеть его героем оперы начала девятнадцатого века, и конец делу, — отрезал Пауэлл. — Нам нельзя терять ни секунды. Я, кажется, четко объяснил, что Стратфордский театральный фестиваль позволит нам организовать девять или десять представлений «Артура» в следующем сезоне. Я уговорил их поставить его в расписание как можно позже, то есть в конце августа. Остался едва-едва год. Надо пошевеливаться.

— Но это абсурдно! — уперся Холлиер. — Успеем ли мы создать либретто, не говоря уже о музыке? И, кроме того, я думаю, певцам и театральным работникам тоже нужно будет время.

— С певцами и театральными работниками

нужно будет подписать контракт не позже чем через месяц, — сказал Герант. — Боже мой, вы хоть примерно представляете, как работают оперные певцы? Лучшие из них связаны контрактами на три года вперед. Для нашего масштаба лучшие звезды не нужны, даже если бы мы могли их заполучить; но и умных певцов следующего разряда непросто будет найти, особенно для никому не известной вещи. Им придется втискивать нашу оперу в очень напряженные расписания. А еще оформитель, и плотники с малярами для декораций, и костюмы… Хватит пока, а то я сам испугаюсь.

— Но либретто! — воскликнул Холлиер.

— Либретто должно пошевеливаться. Тому, кто за него отвечает, придется немедленно взяться за работу и работать быстро. Не забудьте, что слова нужно будет впихнуть в существующую музыку, какая бы она ни была, а это дело непростое. Мы не можем позволить себе расслабуху с солнечными богами и Кретьеном де Труа.

— Ну, если вы так подходите к делу, то мне лучше сразу удалиться. У меня нет никакого желания связывать свое имя с халтурой, — заявил Холлиер и налил себе еще стакан виски из графина.

— Нет-нет, Клем, ты нам очень нужен, — поспе-

шила заверить Мария.

Она до сих пор питала нежность к человеку, который — кажется, уже так давно — сорвал цвет ее невинности: почти рассеянно, словно не замечая, что делает. Конечно, вряд ли Мария, современная девушка, обладала чем-то таким архаичным, как цвет невинности, но это слово подходило к палеопсихологическому образу мышления Клемента Холлиера.

— Я берегу свою репутацию ученого. Мне жаль настаивать, но это факт.

— Клем, ну конечно ты нам нужен, — вмешалась Пенни Рейвен. — Но, я думаю, только в качестве консультанта. Саму писанину лучше оставить старым рабочим лошадкам вроде нас с Симоном.

— Как пожелаете, — с пьяным достоинством сказал Холлиер. — Я безо всяких сожалений признаю, что у меня нет опыта работы в театре.

— Опыт работы в театре — именно то, что нам понадобится, и притом солидный опыт, — сказал Пауэлл. — Я собираюсь вас вытащить из этой кутерьмы, и я намерен действовать кнутом, — надеюсь, никто не будет на меня в обиде. Если мы хотим создать хоть какую-то постановку, нам придется собрать воедино кучу разнородных

элементов.

— Я, как член ученого сообщества, предположительно играющий роль акушерки при вашем начинании, смею напомнить, что вы забыли один важный элемент, который будет иметь большой вес во всем этом деле, — сказала Пенни.

— А именно?

Особого научного руководителя, которого выписали для Шнак. Светило, которое приедет в университет, чтобы в течение года выступать в роли «композитора с проживанием» специально для участия в нашем проекте.

— Уинтерсен все намекает, но так и не назвал имя, — заметил Даркур. — Пенни, ты знаешь, кто это?

— Знаю. Они наконец договорились. Это не кто иной, как сама доктор Гунилла Даль-Сут.

— Боже ты мой! Что за имя! — воскликнул Даркур.

— Да, а что за дама! — отозвалась Пенни.

— Не слыхал про такую, — заметил Артур.

— Как не стыдно! Ее считают преемницей Нади Буланже,[26] музой, воспитательницей талантов и творительницей чудес. Шнак — поистине удач-

---

[26] Примечания: 26

Надя Буланже (1887–1979) — французский музыкант, дирижер, педагог.

ливое дитя. Но еще про Гуниллу говорят, что она — Страх Божий, так что Шнак лучше остерегаться, а то ей достанется на орехи.

— С какой же стороны света явится сие грозное воплощение божества? — спросил Артур.

— Из Стокгольма. Разве имя и фамилия вам ни о чем не говорят?

— Надо думать, нам колоссально повезло?

— Не могу сказать. Кто она — Снарк или Буджум? Поживем — увидим.

6
ЭТАГ в чистилище

Мне нравится этот Пауэлл. Настоящая театральная душа. Боже, как вспомню, каково мне приходилось, когда я ставил оперы в Бамберге и даже в Берлине — и не всегда знал, где взять нужное число музыкантов для оркестра! Да и что за музыканты! Днем — портные, вечером — кларнетисты в театре! А певцы! Но хуже всего был хор. Помню, иные хористы украдкой бегали за сцену, когда хор был не занят, и возвращались через пару минут, вытирая рот тыльной стороной руки! И еще все актеры носили кальсоны под трико: вельможи при дворе какого-нибудь князя Егосиятельство выглядели так, словно только что ввалились в театр с ледяных пустошей Лапландии. Теперь все стало гораздо лучше. Порой мне удается проникнуть на постановку какой-нибудь оперы Вагнера — того самого Вагнера, который так любезно обо мне отзывался и указывал на мое влияние в своем превосходном использовании лейтмотива. Поверьте, мне хочется рыдать — в той мере, в какой может рыдать тень, — до

того чисто вымыты эти певцы! Все мужчины, кажется, побрились в самый день представления. Иные женщины толсты, но ни одна из них не беременна больше чем на пятом месяце. Многие из этих актеров умеют играть! И играют — хоть и не всегда хорошо. Без сомнения, в опере многое изменилось с моих бамбергских дней.

А про деньги нечего и говорить! Артисты, занятые в моем «Артуре», могут каждую пятницу являться к театральному казначею, точно зная, что им выплатят полное жалованье за всю неделю. Как хорошо я помню обещания своего времени — и ненадежность этих обещаний! Конечно, мне, как директору театра — то есть человеку, которому порой приходилось дирижировать оркестром и малевать декорации, — жалованье обычно выплачивали, но его было трагически мало. Эти современные люди театра, кажется, не чувствуют, что они живы, а я, думая об их легкой жизни, порой забываю, что я мертв. Точнее, мертв в той же степени, что и все остальные обитатели чистилища.

Я наконец-то смею надеяться. Может быть, мне не суждено остаться в чистилище навеки. Если Герант Пауэлл поставит моего «Артура» и хотя бы пять человек высидят до конца

представления, то я обрету свободу и моя душа возобновит свой прерванный полет, mors interruptus,[27] *выражаясь научно.*

Конечно, виноват я сам. Да, я ушел раньше времени, но следует признать, что я сам ускорил свою кончину — так же верно, как если бы прибег к петле или ножу. Моя смерть наступила от бутылки и от… впрочем, довольно. Назовем это «смертью от романтизма».

Однако по великому милосердию Всевышнего существование в чистилище — вовсе не сплошные слезы раскаяния. Мы можем и смеяться. И как же я смеялся, когда эта женщина-профессор — в мое время такого не было; ученая женщина могла быть bas bleu,[28] *но никогда не подумала бы вторгнуться в университет, — когда эта женщина-профессор, как я уже сказал, читала письма Планше Кемблу.*

Мне они были в новинку. Я помню его письма ко мне, источаемую ими живость и самоуверенность. Он вовсе не сомневался, что я, который не писал опер уже несколько лет — кажется, семь, — с радостью приму его развязную помощь.

---

[27] Примечания: 27
Прерванная смерть *(лат.).*

[28] Примечания: 28
Синий чулок *(фр.).*

Но эти письма Кемблу, в которых он рапортует о нашей переписке, были для меня чем-то новым; они представили мне всю историю в новом, забавном свете. Бедняга Планше, трудолюбивый гугенот, столь твердо намеренный потрудиться на благо мадам Вестрис и ее великолепных конечностей. Бедняга Планше, уверенный, что оперная публика не усидит спокойно, когда играют или поют что-то серьезное. Конечно, Планше представлял себе оперу в виде дурного Россини — или в виде Моцарта, изуродованного самовлюбленным бандитом Бишопом. Ковент-Гарден Планше — это театр, где никто не слушает происходящего на сцене, пока не завизжит или не затрубит очередная Великая Глотка; где люди приходят в ложи с корзинами жареной птицы и шампанского и набивают животы прямо посреди действия; где все зрители подходящего возраста, от четырнадцати до девяноста, флиртуют, кивают друг другу и посылают из ложи в ложу billets doux,[29] *обернутые вокруг пакетиков со сластями; где сопрано, стяжав достаточно настойчивые аплодисменты, приостанавливает ход оперы и исполняет какую-нибудь популяр-*

---

[29] Примечания: 29
Любовные записочки *(фр.).*

ную песенку — после моей смерти это зачастую был «Дом, милый дом», монументальный вклад Бишопа в историю музыки; где драгоценности сопрано — настоящие, полученные за упорное лежание под старыми богатыми вельможами — интересуют зрителей не меньше, чем ее голос; по мере увядания Великой Глотки взгляды все сильнее приковывает Великий Бюст, и чем больше он, тем больше на нем уместится бриллиантов. Ревнивые соперницы называют их «медалями за доблесть».

В Германии — даже в Бамберге — мы знали театр лучше этого и трудились, чтобы зачать Романтизм и произвести его на свет.

Я рыдал — о да, мы, обитатели чистилища, можем рыдать и часто предаемся этому занятию, — вновь услышав мою «Ундину», исполненную лучше, чем я когда-либо слышал при жизни. Как хорошо теперь играют оркестры! В том оркестре, который извлекла bas bleu из хитроумной музыкальной машинки, пожалуй, не было ни одного портного! «Ундина» осталась моей последней попыткой перетащить оперу из восемнадцатого века в девятнадцатый. Я вовсе не отвергаю Глюка и Моцарта, но следую за ними в своих попытках вытащить в сознание нечто

большее из бессознательной части человеческой души. Так мы обратились от их формальных комедий и трагедий к мифам и легендам, чтобы освободиться от цепей классицизма. И сюжет «Ундины» — да, моей прекрасной сказки о водяной нимфе, которая становится женой смертного и в конце концов уносит его с собой в подводное царство, — разве не говорит о стремлении современного человека исследовать глубины, лежащие под поверхностью его собственной души? Я знаю, что сейчас мог бы разработать этот сюжет гораздо лучше, но я и тогда неплохо справился. Вебер — мой щедрый, добрый друг Вебер — хвалил искусство, с которым я объединил музыку и действие в прекрасной мелодической концепции. Такая похвала, и из такого источника!

И вот наконец, после долгого ожидания, может быть, и из моего «Артура» что-нибудь выйдет. «Нет либретто», — сказали они. У них есть лишь яйца-болтуны, которые так ловко высасывал Планше. Куда они пойдут за либретто? Но я верю в Пауэлла. Думаю, он знает об Артуровом мифе больше, чем все остальные, особенно профессора. Смею ли я надеяться, что моя музыка, мои наброски зададут тон всей работе? Конечно. Я должен надеяться.

Жаль, я понимаю не все, что они говорят. Кто такие Снарк и Буджум, которых упомянула bas bleu? Звучит словно некая великая битва из трудов Вагнера. О, это докучное ожидание! Надо полагать, оно и есть мука или наказание, переносимые в чистилище.

III

1

Симон Даркур сидел у себя в кабинете, в колледже Плоурайт, и обдумывал план преступления. Это, несомненно, было преступление, ибо он задумал обворовать сначала университетскую библиотеку, а затем — Канадскую национальную галерею. Княгиня Амалия выразилась предельно ясно: цена информации о Фрэнсисе Корнише, которой она готова поделиться, — наброски к рисунку, который она использует для рекламы своей марки косметики. Княгиня преподносила его публике как рисунок старого мастера, хоть и не называла имя этого мастера. Но тонкость линий, виртуозное владение техникой серебряного карандаша и, превыше всего, умение воспроизвести девственную красоту — непорочную, но сознающую свои силы — недвусмысленно говорили о ком-то из старых мастеров.

Фотографии княгини Амалии уже много лет появлялись в разделах светских сплетен модных журналов, где она публиковала свою рекламу. Было видно, что эта прекрасно сохранившаяся аристократка, лет, быть может, пятидесяти с небольшим, принадлежит к тому же роду, что

и невинное дитя на рисунке в рекламе. О магия аристократии! О романтика древнего рода! Как передавалась красота, подобно благословению, через четыре века! Аристократизм, конечно, не купить в магазине, но ведь могла же крупица волшебства перейти от княгини Амалии в ее лосьоны, мази и краски! Дамы — и, как стало известно, немало джентльменов — поспешили записаться на прием к умелым визажисткам из салонов княгини. Визажисткам предстояло (это занимало целый день) установить, какой старый мастер живописал именно тот тип красоты, к которому принадлежит клиент, и какие краски этот мастер использовал, чтобы запечатлеть красоту на века. (В обширном списке мастеров ближе всех к современности был Джон Сарджент.) Предположительно только княгиня Амалия могла воспроизвести нужные краски в косметике. Процедура была очень дорогая, но, конечно, стоила того, ибо вводила клиента в мир великого искусства, творений величайших художников. Чтобы тебя увидели как человека с картины старого мастера — неужели это не стоит больших денег? «Расхватывают, как горячие пирожки» — этой вульгарной фразой рекламщики описывали успех кампании. Не старайтесь вы-

глядеть по последнему писку моды. Откройте в себе — в глубинах своей души — свое лучшее «я», модель гениального художника!

Конечно, если выплывет на свет, что портрет благородной девы из числа предков княгини Амалии на самом деле нарисован канадцем, знавшим княгиню девчонкой, миллионы долларов вылетят в трубу. Во всяком случае, так сказали бы специалисты по рекламе. Если какой-нибудь любопытный, роясь в запасниках Национальной галереи, обнаружит наброски к этой великолепной мистификации — наброски, сделанные рукой канадца, подделывателя картин и проходимца, ибо никем другим он быть не мог, — княгиня, опять-таки по выражению рекламщиков, ударит своим прекрасным лицом в грязь. Во всяком случае, так казалось княгине, чувствительной, как, по общему мнению, подобает аристократам.

Княгиня хотела получить эти наброски; она предложила за них определенную цену — информацию, которая, по намекам княгини, гарантирует успех книги Даркура, биографии покойного Фрэнсиса Корниша, ценителя искусств и благодетеля своей страны.

Даркура снедала лихорадка биографа — алчное стремление заполучить необходимую информа-

цию. У него не было ни малейшего доказательства, что княгиня действительно знает нечто важное, но он был убежден в этом и готов на отчаянный поступок, чтобы выведать, что именно она знает. Он нутром чуял, что она поможет заполнить огромную дыру, зияющую посреди его книги.

Книга была близка к завершению — насколько книга может быть к этому близка, если в ней не хватает важной части. Даркур уже написал заключительные главы о последних годах жизни Фрэнсиса, когда тот вернулся в Канаду и стал меценатом, покровителем художников, ценителем с международной репутацией, щедрым дарителем картин современных и старинных художников Национальной галерее. И действительно, Фрэнсис подарил галерее все свои папки с рисунками. Многие, без сомнения, принадлежали старым мастерам; среди этих рисунков прятались наброски к портрету княгини Амалии. Но книга о собирателе искусств и покровителе художников, даже очень хорошо написанная, не обязательно захватит читателя. Читатели биографий любят жареные факты.

Даркур закончил и первую часть книги, описание детства и юности Фрэнсиса; учитывая, каким

скудным материалом он пользовался, это была просто гениальная работа. По скромности Даркур не применял к себе слово «гениальный», но знал, что поработал на славу, изготовив прочные кирпичи из трухи и соломы. Ему повезло, что покойный Фрэнсис Корниш никогда ничего не выбрасывал и не уничтожал. Среди личных бумаг Фрэнсиса — тех, что попали в университетскую библиотеку, — нашлось несколько альбомов с фотографиями, сделанными дедушкой Фрэнсиса, старым сенатором, основателем фамильного состояния. Старый Хэмиш был страстным фотографом-любителем; он без конца запечатлевал улицы, дома, рабочих и более высокопоставленных жителей Блэрлогги, городка в долине реки Оттавы, где прошло детство Фрэнсиса. Все фотографии были аккуратно подписаны викторианским почерком сенатора. Вот они — бабушка, красавица-мать, импозантный, но какой-то одеревенелый отец, тетушка, семейный доктор, священники, даже кухарка сенатора Виктория Камерон и нянька Фрэнсиса Белла-Мэй. Было и много фотографий самого Фрэнсиса, хрупкого, темноволосого, настороженного мальчика — уже с тем самым, красивым, но словно омраченным тенью лицом, за которое княгиня Амалия прозва-

ла взрослого Фрэнсиса *le beau ténébreux.* Опираясь на эти фотографии, которые сенатор звал «солнечными картинами», Симон Даркур возвел вполне убедительное сооружение — описание ранних лет Фрэнсиса. Оно было настолько хорошо, насколько позволяли обширные изыскания Даркура, подкрепленные его живым воображением (которое он, однако, умел обуздывать).

Для биографии книга была написана прекрасно: биографическая литература полагается на свидетельства, но в гораздо большей мере — на домысел биографа, если в его распоряжении нет дневников и семейных бумаг, чтобы заполнить пробелы. Однако лучшая биография — это разновидность беллетристики. Биографический труд невозможно отфильтровать, очистить от личности биографа, его симпатий. Дневников в распоряжении Даркура не было. Лишь несколько табелей из блэрлоггских школ Фрэнсиса и из Колборн-колледжа, где Фрэнсис учился позже; какие-то записи и бумаги из университета. Личных документов очень мало, но Даркур сотворил чудеса с теми, что были. Однако, чтобы ожить, книге не хватало сердца. Что, если у княгини есть частица этого сердца, пусть больного, ревматического? Тогда книга оживет, заполнится дыра,

зияющая на месте лет, когда Фрэнсис вроде бы изучал изобразительное искусство и развлекался в Европе. По временам Даркур приходил в отчаяние. Он обрадовался бы даже расписке об уплате за услуги борделя. А теперь ему представился увесистый шанс получить данные, которые помогут заполнить зияющую пропасть между полным надежд молодым канадцем, словно сквозь землю провалившимся после Оксфорда, и Фрэнсисом, возникшим в 1945 году в образе искусствоведа, сотрудника комиссии, возвращающей украденные картины и скульптуры законным владельцам. Ценой этих данных было преступление. Да, преступление, что уж тут играть словами.

Но Даркур не поддавался угрызениям совести. Конечно, он священник, хоть и зарабатывает на жизнь преподаванием греческого языка; он по-прежнему иногда надевает священнический воротничок, но тот уже давно не сковывает его дух. Сейчас Даркур ощущал себя в первую очередь биографом, а биографы испытывают только очень специфические моральные терзания. Колебания Даркура вызывал не вопрос, как решиться на кражу, а совсем другой: как украсть и не попасться. Он так и видел заголовки в газетах: «Профа повязали на попытке подломить гале-

рею». Выступать на суде в роли обвиняемого будет чудовищно стыдно. Конечно, его не посадят — в наше время сажают только за неуплату налогов. Но, конечно, оштрафуют и, несомненно, заставят ходить отмечаться в полицию, ежемесячно докладывать, как его успехи на новой работе — преподавании латыни на курсах Берлица.

Так как же это сделать? Даркур припомнил, что Шерлоку Холмсу случалось разгадывать преступление, поставив себя на место преступника, — это помогало открыть если не мотив, то хотя бы метод. Но сколько Даркур ни погружался в глубины преступной души, никакого решения он там не находил. Все, что дали ему эти попытки, — мысленный образ самого себя в черной маске, свитере с высоким горлом и кепке, натянутой по самые брови. Воображаемый Даркур выходил из здания Национальной галереи с большим мешком через плечо. На мешке крупными буквами значилось: «ВОРОВСКАЯ ДОБЫЧА». Это был фарс, а Даркур сейчас нуждался в большой дозе элегантной комедии.

Уж не видит ли он себя чем-то вроде супермена, Клерикального Медвежатника Даркура? Может, за темными одеяниями священника и скромным достоинством преподавателя древних

языков таится острый ум, планирующий кражи, которые ставят в тупик лучшие умы полиции? Может, это и есть его истинное лицо? О, если бы это было так! Но умные жулики из книг живут в мире, где мысль обладает абсолютной силой и где тщательно продуманные планы никогда не идут насмарку. Даркур прекрасно понимал, что живет совсем в другом мире. Для начала он обнаружил — уже, можно сказать, на склоне лет, — что не умеет думать. Конечно, он мог при необходимости выстроить логическую цепочку, но, когда речь заходила о его личных делах, мозги превращались в кашу, и он принимал важные решения «по наитию», неким мысленным скачком, не имеющим ничего общего с мышлением, логикой или любым другим атрибутом первоклассного преступника, о каких пишут в детективах. Даркур создавал решение, как талантливый повар создает суп: бросает в кастрюлю все, что подворачивается под руку, добавляет пряности и вино, делает еще что-то — и выходит нечто божественно вкусное. Рецепта нет, результат предсказуем лишь в самых общих чертах. Можно ли так планировать преступление?

Если воспользоваться другой метафорой — Даркур вечно переключался с одной метафоры

на другую, стараясь только не смешивать их, чтобы не получилась каша, — он словно крутил в кинозале головы обрывки пленки, на которых проделывал разные вещи разными способами, пока наконец не натыкался на план действия. Как ему совершить нужное преступление?

Оно должно состоять из двух частей. Насколько он помнил, предварительных набросков к портрету княгини Амалии было пять; они лежали в большой связке папок с рисунками старых мастеров из коллекции Фрэнсиса. Эти наброски Даркур должен извлечь и увезти в Нью-Йорк. Он знал, что папки никто не рассматривал подробно и уж точно не вносил в каталог; они лежат в запаснике Национальной галереи в Оттаве. В каталог их не внесли, но наверняка видели — Даркур надеялся, что мельком. Их хватятся, но припомнят ли в деталях? Скорее всего, их перенумеровали. И действительно, Даркур сам составил очень приблизительный каталог, когда, исполняя завещание Фрэнсиса Корниша, отправил кучу бумаг в Оттаву. «Карандашный набросок головы девушки», что-нибудь в этом роде. О, если бы только нетерпеливый юноша Артур не настоял на том, чтобы картины, книги, рукописи и прочую ценную рухлядь его дяди

изъяли из обширного дядиного жилища и склада как можно скорее! Но Артур настоял, а красть картины из большой государственной галереи — непростое дело.

Однако — и это было очень большое «однако», преисполненное надежд, — личные бумаги Фрэнсиса Корниша попали в университетскую библиотеку, а с ними — рисунки, которые, как показалось Даркуру, были дороги хозяину скорее по воспоминаниям, чем из-за их художественной ценности. Тут были картины, принадлежащие к оксфордскому периоду жизни Фрэнсиса, когда он, кроме копирования рисунков старых мастеров из Эшмоловского музея, рисовал с натуры. Даркур предположил, никого не спрашивая, что Национальной галерее эти рисунки ни к чему, хоть они и неплохи. А что, если их подменить? Утащить пять картинок из библиотеки и вложить их в папки в галерее? И никто не узнает. Кажется, решение найдено. Осталось понять, как воплотить его в жизнь.

Наутро после того дня, когда участники Круглого стола заслушали обрывки либретто Планше в исполнении Пенни Рейвен, Даркур сидел в халате у себя в кабинете и смотрел обрывки мысленного кино. Тут за окном затрещало, за-

пыхтело, засопело и запердело — Даркур знал, что такие звуки производит только маленькая красная спортивная машинка Геранта Пауэлла, когда резко тормозит. Через несколько секунд забарабанили в дверь, — конечно, это был Пауэлл с его манерой привносить чисто шекспировский жар в скромные повседневные дела.

— Вы спали? — спросил он на бегу, ворвался в кабинет, сбросил с кресла пачку бумаг и плюхнулся на их место сам.

Кресло — хорошее, старинное, Даркур заплатил за него кучу денег грабителю-антикварy — угрожающе затрещало, когда актер устроился в нем, вальяжно забросив одну ногу через подлокотник. Пауэллу была свойственна некая театральная широта движений; все, что он говорил, произносилось с актерской точностью, необыкновенно звучным голосом, в котором еще слышались отзвуки валлийского акцента.

Даркур сказал, что нет, он почти не спал, так как вернулся домой около пяти часов утра. Вчерашний разговор и прослушанная «Ундина» чрезвычайно взволновали его, и потому сон его не был крепок. Он, конечно, знал, что Пауэлл намерен рассказать ему, как почивал сам.

— Я глаз не сомкнул, — провозгласил Пауэлл. —

Ни на минуту. Без конца крутил в голове всю эту историю. Что я вижу перед собой, так это гигантский забег с препятствиями. Посудите сами: у нас нет либретто; неизвестно, есть ли у нас музыка и сколько; у нас нет ни певцов, ни декораций, ни времени на работу с техниками, плотниками и механиками театральных машин — ничего, кроме надежд и театрального помещения. Если мы хотим, чтобы эта опера не оказалась самым чудовищным провалом в истории искусства, нам надо трудиться день и ночь, начиная прямо сейчас и до того момента, когда постановка окажется на сцене, беззащитная перед критиками, этими насильниками-педофилами. Думаете, я преувеличиваю? Ха, ха!

Его смех заполнил бы театр приличных размеров. В окнах кабинета задрожали стекла.

— Из глубин своего нетривиального опыта я уверяю вас, что не преувеличиваю. А от кого мы зависим, вы и я? А? От кого мы зависим? От Артура — он лучший из людей, но невинен, как нерожденный младенец, и ничего не смыслит в том мире, куда мы сейчас вступаем со связанными руками. Артур вооружен лишь предпринимательским духом и мешками денег. Кто еще? Эта девчонка, я ее пока не видел — она

должна произвести на свет музыку для оперы. И ее руководительница, женщина со странным именем, — наверняка жуткая книжная крыса, которой нужно сто лет на самое простое дело. Конечно, есть еще Пенни, но она не театральный человек, и я не знаю, насколько ей можно доверять. О высокоученом профессоре Холлиере я запрещаю вам даже упоминать; он, совершенно очевидно, не способен отличить голову от седалища, выражаясь театрально. Паразит, и больше ничего, — к счастью, от него легко отделаться. Ну и компашка!

— Вы ничего не сказали о Марии, — заметил Даркур.

— Я могу часами говорить о Марии, притом в стихах; она — кровь моего сердца. Но какая от нее польза в нашем положении? А? Какая от нее может быть польза?

— Она сильнее, чем кто-либо другой, влияет на Артура.

— Вы правы, разумеется. Но это вторично. Почему она не остановила Артура, когда он решился на это безумное предприятие?

— Ну… а вы почему его не остановили? Я почему не остановил? Нас захватил его энтузиазм. Не стоит недооценивать силу Артурова энтузиазма.

— И опять вы правы. Впрочем, вы почти всегда правы. Именно поэтому я сейчас с вами разговариваю. Вы единственный участник Круглого стола, у кого хватит ума, если пошел дождь, спрятаться под крышу. Не считая меня, конечно.

У Даркура упало сердце. Подобного рода лесть обычно значила, что на него собираются свалить какую-нибудь трудоемкую и нудную работу, за которую никто больше не хочет браться. Пауэлл продолжал:

— Вы единственный человек в Фонде Корниша, кто делает дело. Артур порождает идеи. Выстреливает ими, как ракетами. И гипнотизирует всех остальных. Но если в фонде хоть что-то делается, то исключительно благодаря вам. У вас хватает терпения заставить Артура прислушаться к доводам рассудка. Вы хоть понимаете, что вы такое, а? Они называют эту штуку Круглым столом, а если это Круглый стол, то кто тогда вы? А? Не кто иной, как Мирддин Виллт, советник великого короля. Мерлин — вот ты кто. Ты же должен был это увидеть. Как можно этого не увидеть?

Даркур в самом деле до сих пор этого не видел. Он притворился невеждой, надеясь, что Пауэлл дальше разовьет такую лестную мысль.

— Мерлин? Это, кажется, волшебник?

— Его считали волшебником все эти морлоки, которые собирались за Круглым столом, потому что он умел что-то делать, кроме как драться и гоняться за Граалем. В каждой великой легенде есть толпа героев и один по-настоящему умный человек. Наш Артур — герой: люди обожают его, едят у него из рук. Холлиер, надо думать, тоже герой — в своем роде. Я — герой, только на мне лежит фатальное клеймо интеллекта. Но ты — не герой. Ты — Мерлин, и я хочу, чтобы ты работал вместе со мной, иначе нам не удастся привести эту дикую затею хоть в какой-то рабочий порядок.

— Герант…

— Зови меня Герант-бах. Это валлийское обращение. Оно обозначает дружбу, понимание, сообщничество.

— Бах? Как Иоганн Себастьян Бах?

— Старина Иоганн Себастьян родился в Германии, но в душе был валлийцем. «Бах» — это уменьшительный суффикс. Это все равно что сказать «Герант, дорогой» или «мой милый Герант». Валлийский язык очень богат на выражения близости и ласки. А я буду звать тебя Сим-бах. В знак нашей духовной близости.

Даркур и не подозревал, что между ним и Пау-

эллом есть какая-то особая духовная близость, но Пауэлл подался вперед в кресле, сверкая огненными глазами, источая заговорщический дух, как печка — жар. Ну вот, подумал Симон. Впрочем, если эта близость примет угрожающую форму, всегда можно отодвинуться.

— Так чего же вы хотите, Герант-бах?

Пауэлл произнес громким шепотом:

— Мне нужны *dramatis personae!*[30] Список действующих лиц, прямо сейчас.

— Ну, я полагаю, с этим проблем не будет. Даже Планше был вынужден согласиться, что в опере об Артуре где-то среди действующих лиц должен затесаться Артур. А где Артур, там и королева Гвиневра, и несколько рыцарей Круглого стола. И Мерлин, я полагаю. Эти в опере точно будут, как ни выворачивай сюжет.

— Ага! Ты сразу все понял! Я так и знал, что ты поймешь. Сим-бах, ты золотой человек! А ты понимаешь, что это значит? Нам нужна Оперная Четверка. Сопрано — конечно, Гвиневра. Хотя я не люблю эту офранцуженную форму ее имени. Про себя я всегда называю ее Гвенхвивар. Гораздо изысканней звучит, правда ведь? Но

---

[30] Примечания: 30
Действующие лица *(лат.).*

эти англоговорящие едва ворочают языком и, конечно, не смогут такого произнести. Так, а кто у нас контральто? У нас обязательно должно быть контральто.

— О боже. Давайте посмотрим. Хм… Фея Моргана?

— Точно! Коварная сестра Артура. Естественно, контральто. Всем оперным злодейкам положены эти богатые, чарующие низкие ноты. А кто у нас тенор?

— Сам Артур, наверно?

— Нет. Артур должен обладать весом. Ему, думаю, нужен баритон. Хороший, бархатный бас-баритон. Если сделать его и тенором, и рогоносцем, публика не будет ему сочувствовать, а Артур обязательно должен вызывать сочувствие публики. Но нам нужен еще более низкий бас — и для квартетов, и для сюжета.

— Это, должно быть, Мордред, виновник гибели Артура.

— Совершенно верно.

— Но как же без тенора? Разве может быть опера без тенора?

— Конечно нет. Публике нужен тенор. Это у нас будет Ланселот, соблазнитель. Тенора — великие соблазнители.

— Ну хорошо. Значит, вот ваши четыре голоса. Точнее, даже пять.

— Отлично. Нам понадобится еще одна женская роль, Элейны, Лилейной девы. Ей подойдет хорошее меццо-сопрано — годится для сильных чувств, но не слишком низко, низкий голос — это для злодеек. И еще несколько теноров и басов для рыцарей Круглого стола, но они на самом деле просто хор, так что их найти несложно.

— Как у вас все просто получается.

— Нет, Сим-бах, вовсе не просто. Я сейчас же сяду на телефон и начну искать людей на эти партии. Как я вчера уже говорил, певцов нельзя в последнюю минуту подбирать. Они еще хуже хоккеистов: их надо немедленно пришлепывать контрактом или хоть каким-то письменным соглашением, и чем заблаговременнее, тем лучше.

— Но ведь наши специалисты по музыке — Шнак и эта женщина со странным именем — захотят участвовать в обсуждении? Я знаю и вы знаете, что у нас нет либретто. Как можно нанимать певцов, если у нас нет ни либретто, ни музыки?

— Нужно. Время не ждет. К тому же основа либретто у нас есть.

— Есть? С каких пор?

— Со вчера, когда я ворочался и не мог сомкнуть глаз и ее придумал. История Артура у нас есть. Что тут долго говорить? У меня есть основа сюжета. Теперь нужно только немножко слов и музыки. И вот тут, старина Мерлин, на сцену выходишь ты. Подгони дело, чтобы либретто как можно скорей оказалось на бумаге.

— Пауэлл… прошу прощения… Герант-бах, вы уже говорили об этом с кем-нибудь, кроме меня?

— Еще нет. Но мы встречаемся с важной дамой, гением, музой, погонщицей Шнак, на ужине в субботу. Что, тебе никто не сказал? Ну, еще скажут. И тогда я поведаю ей сюжет «Артура Британского», а вы с малышкой Пенни начнете выдавать на-гора слова — да побыстрее.

— Как-то у вас все просто получается.

— Ага! Ирония! Сим-бах, я твою иронию обожаю. Это первое, что меня к тебе привлекло. Я так счастлив, что ты согласился, — просто словами не передать. Я сейчас же сяду на телефон. Счета наверняка в целое состояние обойдутся. Надо думать, я буду их тебе присылать.

Герант схватил Даркура за обе руки и выкрутил их. Затем привлек ошеломленного Даркура к себе на грудь и по-шекспировски обнял. На протяжении всего объятия он, словно бы в экстазе от

облегчения, терся щекой о щеку Даркура, обдавая его перегаром вчерашнего виски. Наконец он вылетел в дверь. Почти тут же его голос донесся с улицы — он орал на каких-то студентов с инженерного факультета, осмелившихся заглянуть под капот его машины. Фырканье и гудки послышались вновь и наконец затихли вдалеке.

В великом упадке духа Даркур снова сел обдумывать свое преступление. Да преступление ли это? Закон, разумеется, гласит, что да. Университет, несомненно, решит так же; попытка обворовать библиотеку вызовет некоторую неприязнь университетской общественности к Симону — хотя, возможно, этого преступления будет и недостаточно, чтобы лишить Даркура профессорского звания. Профессору на постоянной ставке сойдет с рук даже хула на Святого Духа,[31] если, конечно, у него хороший адвокат. Но все же, по совести, ему придется уйти самому. Вот кража в Национальной галерее — другое дело. Это, конечно, настоящее преступление.

Однако закон — это еще не все. Есть такая штука — естественная справедливость, хотя Даркур не очень хорошо представлял себе, откуда она

[31] Примечания: 31

Аллюзия на Мф. 12:31: «всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам».

исходит. Разве он не был одним из исполнителей завещания покойного Фрэнсиса Корниша? Его выбрал сам Фрэнсис — предположительно именно для того, чтобы Даркур действовал по своему усмотрению, исполняя волю покойного друга. А разве покойный не захотел бы, чтобы история его жизни, которую пишет его друг и биограф, была как можно более полной?

А в самом деле — захотел бы? Фрэнсис Корниш был очень странным человеком. В его характере было множество закоулков и темных углов, куда Симон никогда не заглядывал и не хотел заглядывать.

Но это все несущественно. Фрэнсис Корниш умер, а Даркур жив. Как бы Пенни Рейвен ни хотелось ввести Декларацию прав покойников, любой истинный биограф встретит эту идею в штыки. Даркур в полной мере обладал писательским тщеславием и хотел написать лучшую книгу, на какую был способен, — хорошая книга станет лучшим памятником его покойному другу, чем скучные записи о непреложных фактах. Значит, так тому и быть. Он пойдет на преступление, и будь что будет. Книга важнее.

Так думал Даркур, и перед глазами у него крутились разные картины: преступление, и Фрэнсис

Корниш, и княгиня Амалия, и сцена суда, где Даркур пытался оправдаться перед облаченным в мантию судьей с умными, понимающими глазами. Но Даркур чувствовал, что в его мысленный киносеанс лезут другие образы — из оперы, из слов Геранта Пауэлла о ролях, которые необходимы для успеха.

Пауэлл упомянул Мерлина. Но почему Мерлин не попал в список действующих лиц? Разве это столь тривиальная фигура, что сюжет обойдется без него? Или ее может сыграть любой халтурщик, церковный хорист, завербованный в последний момент? Надо будет спросить об этом, когда Герант в субботу за ужином начнет рассказывать свой сюжет.

Даркур давно знал, что в этом мире ему суждено делать большую часть работы, в то время как награды достаются другим людям. Но и он был не лишен самоуважения.

Без Мерлина? Вот, значит, как «Герант-бах» видит историю Артура? Нет, Симон Даркур этого не допустит, раз уж его вынуждают играть роль Мерлина в частной жизни. Он им всем покажет!

Но сейчас он должен устремить все силы на преступление.

2

Время не ждет. Даркур позвонил библиотекарю, заведующему особыми коллекциями, — своему старому другу. Человеку, которого он не стал бы обманывать ни за какие сокровища мира, если бы от этого не зависела судьба книги Даркура.

— Арчи, это Симон. Слушай, у меня тут возникла небольшая загвоздка с книгой. Ну, с моей биографией Фрэнсиса Корниша. Мне нужно кое-что проверить, связанное с периодом его жизни в Оксфорде. Можно я зайду взглянуть на бумаги, которые мы вам послали?

Никаких проблем. Заходи когда угодно. Сегодня после обеда? Конечно. Хочешь посидеть у меня в кабинете? Нет, незачем тебя беспокоить. Я только взгляну на бумаги — прямо в хранилище, или где там они у вас.

Это-то и беспокоило Даркура. Где лежат бумаги Корниша? Вдруг придется на них смотреть в комнате, полной младших подбиблиотекарей и прочих лишних глаз? Это было не очень вероятно, но все же возможно. При удаче он сможет воспользоваться одним из крохотных закутков у окна, где аспирантам иногда разрешают разло-

жить бумаги.

Легким шагом — в библиотеку. Кивай направо и налево, ты — всем известный профессор, пользующийся неограниченным доверием. Зайди в кабинет Арчи — поздороваться. Выслушай его стоны о нехватке денег на составление каталогов. Да, бумаги Корниша так и лежат, с тех пор как их прислали. Но не волнуйся, их каталогизируют как следует, вот только найдутся деньги. А может, Фонд Корниша захочет спонсировать этот проект? Даркур заверил Арчи, что Фонд Корниша непременно заинтересуется — он, Даркур, сам внесет такое предложение. А кстати, не оставить ли ему портфель в кабинете Арчи? Конечно, Даркур знает, что он вне подозрений, ха-ха. Но если сам нарушаешь правила, как заставить других их соблюдать? Арчи с этим согласился; каждый, немножко напоказ, уважил высокие принципы другого, и портфель остался лежать на стуле.

Облекшись таким образом в одежды праведности, Даркур вошел в большую комнату, заполненную стальными стеллажами, на которых в числе прочих материалов лежали бумаги Корниша. Молодая женщина, занятая медленной, кропотливой работой — составлением каталога, показала Даркуру, где лежит искомое, и прошеп-

тала — почему прошептала? они были одни в комнате, но вся обстановка словно призывала к шепоту, — что в дальнем конце комнаты есть удобное спокойное местечко с большим столом, на котором можно разложить бумаги, чтобы их удобнее было просматривать. Даркур знал, что это противоречит библиотечному распорядку: он должен был объявить, какие именно документы ему нужны, даже если библиотекарям трудно их найти; но ведь он сам когда-то помог библиотеке заполучить эти бумаги и к тому же был членом Общества друзей библиотеки и щедро жертвовал на ее нужды. Хорошая репутация — незаменимая вещь, когда нужно совершить преступление.

Само преступление заняло несколько секунд. Даркур точно знал, какая из больших связок бумаг ему нужна, вмиг открыл ее и нашел нужные рисунки.

Они относились к оксфордским дням Фрэнсиса Корниша; в основном это были копии второстепенных старых мастеров, сделанные Корнишем для освоения стиля, которым он потом так гордился. Благодаря таланту и неустанным упражнениям Корниш научился рисовать дорогим серебряным карандашом на тщательно подготовленной бумаге. Как произведения искусства его

рисунки не представляли интереса. Старательные ученические работы, не более того.

Однако среди них попадались другие, тоже нарисованные серебряным карандашом, но по-другому помеченные. Все копии старых мастеров Корниш аккуратно подписывал, с указанием имени мастера (среди них часто попадался некто *Ignotus,*[32] этот на удивление плодовитый художник) и даты создания копии. Но несколько рисунков были надписаны просто: «Исмэй, 14 ноября 1935 г.» (или какая-нибудь другая дата, вплоть до весны 1936 года).

Среди них были и головы, и поясные портреты девушки не то чтобы красивой, но, несомненно, с изысканными чертами лица. На других рисунках та же девушка, обнаженная, лежала на диване или стояла, прислонившись к камину. Что-то в этих рисунках явственно говорило: их рисовала рука влюбленного. Изгибы плеч и шеи, талии и грудей, бедер, икр и ляжек очерчены удивительно бережно — не похоже на заурядный набросок начинающего художника, которому досталась хорошая модель. И в технике нет отстраненности, характерной для старых мастеров, — она

---

[32] Примечания: 32
Неизвестен *(лат.).*

говорит о желании, горящем здесь и сейчас. Но в лице Исмэй нет любви. На нескольких рисунках лицо было капризным, но чаще всего усмехалось, будто модель отчасти жалела художника и отчасти снисходила до него. В этих рисунках не было ничего от мертвенной искусности старых мастеров. Они жили. Это была работа уже не ученика, а художника.

Кто же такая Исмэй? Жена Фрэнсиса Корниша, одна из многих фигур в его биографии, о которых Даркуру не удалось разузнать ничего. Или почти ничего. Она была дочерью Родерика и Пруденс Глассонов из усадьбы Сент-Колумб в Корнуолле; год проучилась в Оксфорде (в колледже Леди-Маргарет-Холл) и ушла, не получив диплома; обвенчалась с Фрэнсисом Корнишем в церкви Сент-Колумба 17 сентября 1936 года и с тех пор как будто исчезла без следа — ее существование после этой даты не отразилось ни в одном документе. Даркур случайно наткнулся на упоминание о ней и раскопал кое-что — сам Фрэнсис никогда не говорил о жене.

Даркур как биограф и ученый сделал все, что мог. Он написал сэру Родерику Глассону, сотруднику министерства иностранных дел в Лондоне, и осведомился о судьбе его сестры. Пришел холод-

ный ответ следующего содержания: насколько известно сэру Родерику, его сестра Исмэй погибла во время битвы за Британию в одном из северных городов, предположительно в Манчестере. О ней ничего не известно, так как опознать множество тел в разрушенном городе не представилось возможным и многих похоронили безымянными.

Значит, это жена Фрэнсиса Корниша — так она выглядела до свадьбы. Девушка, рожденная, чтобы очаровать романтически предрасположенного человека и, без сомнения, быть любимой им. Но куда она делась потом? Исмэй была частью дыры посреди жизненного пути Фрэнсиса Корниша, которая мучила Даркура и превращала его труд биографа в тяжкое и неприятное бремя.

Даркур не мог долго любоваться рисунками. Не дай бог придет дружелюбная подбиблиотекарша с предложениями помощи или кофе. Что брать? Головы, конечно. Рисунки обнаженной натуры слишком завораживали — на них остановился бы даже беглый взгляд. Даркур, чья слабость к женской красоте не вполне объяснялась любовью к искусству, с удовольствием взял бы один из рисунков для себя, но это было опасно. Клерикальный Медвежатник должен подавлять свои желания и сдерживать порывы. Он возьмет

только головы.

И вот, с быстротой, отрепетированной при одевании сегодня утром, он снял пиджак и жилет — на нем было одеяние священника, включающее в себя необъятный жилет из рубчатого шелка, известный у англикан как Ч. З., «число зверя», из-за ассоциаций с высокой англиканской и римско-католической церквами, — и приспустил брюки. Вытащил сзади из-под рубашки прозрачный пластиковый конверт размером двенадцать на восемнадцать дюймов, вставил рисунки в него и снова запихнул конверт на спину под рубашку. Подтянуть брюки, снова надеть Ч. З., оборудованный удобным хлястиком, который придержит конверт на месте. И дело сделано.

— Большое спасибо, — сказал он подбиблиотекарше. — Я все сложил на место, в пачку, осталось только на полку вернуть.

Он улыбнулся в ответ на ее улыбку и вышел из комнаты.

— Большое спасибо, Арчи, — на ходу окликнул он друга, забирая портфель.

— Не за что. Приходи еще.

И прочь из библиотеки, таким же легким шагом. Клерикальный Медвежатник совершил половину своего преступления. Но еще не завер-

шил его. Ему хотелось помчаться в Плоурайт и спрятать преступную добычу. Но этого делать нельзя. Нет. Он пошел в клуб преподавателей, уселся в читальне и заказал пиво. Кроме него, в читальне был только один человек. Этот член клуба должен будет подтвердить его алиби, если понадобится. Он видел, что Даркур пришел сюда прямо из библиотеки с пустыми руками, невинный, как свежевылупившийся цыпленок.

Другой член клуба тоже заказал пиво — сегодня было жарко. Он приветственно поднял стакан, обращаясь к Даркуру:

— Ваше здоровье.

— За преступление! — воскликнул Клерикальный Медвежатник.

Собеседник, простая душа, решил, что священник шутит, и хихикнул.

3

— Я вижу перед собой группу смелых людей, партию первопроходцев поразительной храбрости, отправляющихся в чрезвычайно опасное путешествие. Вероятно, слова, которые описывают вас лучше всего, — искатели рока, — произнесла доктор Гунилла Даль-Сут, когда Фонд Корниша уселся за Круглый стол.

— Это прекрасное скандинавское выражение, доктор, но не слишком ли оно пессимистично? — спросил Артур.

Почетная гостья сидела от него по правую руку.

— Нет, нисколько. Оно реалистично. Вы должны знать, что никогда ни одна опера или пьеса о короле Артуре не имела успеха у публики. Никогда. Ни единая.

— Но ведь Перселл написал неплохую оперу об Артуре? — спросила Мария.

— Перселл? Нет. Это не опера. Я бы назвала ее *Posse mit Gesang*,[33] чем-то вроде водевиля или пьесы с волшебством. В ней есть интересные

---

[33] Примечания: 33
Пьеса с пением *(нем.).*

страницы, но при перевозке она портится, — сказала доктор с непоколебимой мрачностью.

— Может быть, нам удастся то, что не удалось другим, — заметил Артур.

— О, я восхищаюсь вашим мужеством. Я приехала в том числе и из-за него. Но одного мужества недостаточно. Безусловно недостаточно, раз уж мы заговорили о Перселле. В его «Артуре» слишком много разговоров. Все действие — в разговоре, а не в музыке. Музыка — лишь украшение. Это не опера. Опера — не разговор. Да, разговоров в опере быть не должно. Сплошная музыка.

— Но ведь это решаете именно вы? — спросил Артур.

— Может быть, и так. Только время покажет, — сказала доктор и единым духом осушила свой бокал вина. До ужина ей щедро наливали мартини: она выпила три, но, кажется, все еще хотела пить.

— Давайте не будем начинать этот вечер в пораженческом духе, — сказала Мария. — Я приготовила особый ужин. Артуровский. Вы будете есть то, что могли есть при дворе короля Артура, с некоторыми неизбежными поправками.

— Хвала Господу за неизбежные поправки, — заметил Холлиер. — Сомневаюсь, что я выжил бы

после ужина шестого века. Что мы будем есть?

— Что за вопрос! Неужели вы мне не доверяете? — воскликнула Мария. — Мы начнем с пошированного лосося. Я уверена, что при дворе Артура ели прекрасную лососину.

— Да, но это хоххаймерское — вы считаете, оно аутентично для артуровской эпохи? — спросила доктор. — Я думала, что при Артуре пили пиво.

— Вы забываете, что он был кембробриттом и за ним стояло пять веков римской цивилизации, — ответила Мария. — Я уверена, что он пил очень хорошее вино и всячески заботился о его доставке в Камелот.

— Возможно, — сказала доктор и осушила еще один большой бокал. — Это вино хорошее.

Она говорила так, словно за вином могло последовать что-нибудь не очень хорошее.

Принимать в гостях доктора Гуниллу Даль-Сут оказалось непросто. Она будто принесла с собой в пентхаус атмосферу глубокой осени, хотя на дворе было еще только начало сентября. Все испугались, что, если доктора тут же не развеселить, осень перейдет в суровую зиму.

Участники Круглого стола не знали, чего ожидать, и меньше всего они ожидали увидеть кого-то вроде доктора. Она не была эксцентрична

в том смысле, в каком бывают эксцентричными ученые, по совместительству — выдающиеся музыканты. Прекрасно одета, фигура — чудо стройности и элегантности, лицо — несомненно красивое. Странным в докторе было то, что она как будто явилась из прошлого. На ней было подобие мужского наряда, прекрасно сшитое: жакет — по сути, сильно приталенный синий мужской редингот; зауженные зеленые бархатные брюки, заправленные в элегантные лакированные сапожки; очень высокий мягкий воротник, подвязанный пышным шейным платком, а на пальцах — крупные, мужские кольца. Густые прямые каштановые волосы до плеч, разделенные на пробор, обрамляли длинное, глубоко меланхоличное лицо с характерными, но изящными чертами. Точно так одевался Ференц Лист, когда еще не носил сутану, подумал Даркур. Она что, наряжается у театрального костюмера? Вид у нее, конечно, странный, но ей подходит просто в самый раз. С кого она взяла пример? С Жорж Санд? Нет, доктор гораздо элегантнее. Даркура всегда завораживала женская одежда и то, что кроется под ней. Он понял, что готов поддаться очарованию доктора Даль-Сут. Но как только начался разговор, стало ясно, что очарование

доктора может ввергнуть человека в глубокий пессимизм.

— Я рад, что вам по вкусу наше вино, — сказал Артур. — Позвольте, Симон наполнит ваш бокал. Как вам нравится Канада? Глупый вопрос, конечно. Но вам придется меня извинить: мы каждого приезжего спрашиваем, как ему нравится Канада, не успеет он и с самолета сойти. Можете не отвечать.

— Нет, я отвечу. То, что я видела, мне нравится. Оно вовсе не чуждое. Похоже на Швецию. Почему бы и нет? Географически мы почти соседи. Я выглядываю из окна, и что я вижу? Ели. Клены, уже краснеющие. Большие выступы голых скал. Совсем не похоже на Нью-Йорк. Я была в Нью-Йорке. И на Принстон не похоже — там я тоже была. Здесь пахнет как надо. Как в северной стране. У вас ужасные зимы?

— Да, у нас зимой бывает тяжело, — ответил Артур.

— Ага, — сказала доктор и улыбнулась — впервые за весь вечер. — Трудная зима творит великий народ и великую музыку. Я в целом не люблю музыку слишком южных стран. Я выпью еще бокал хоххаймера, с вашего позволения.

«Она какая-то бездонная бочка, — подумал

Даркур. — Пьяница? Исключено — слишком аскетическая внешность. Накачаем ее спиртным и посмотрим, что будет». На него, как старого друга семьи, возложили обязанность готовить мартини, и вино за обедом подавал тоже он; он пошел к буфету, открыл очередную бутылку хоххаймерского и вручил ее Артуру.

— Будем надеяться, что вам удастся наколдовать прекрасную северную музыку из обрывков записей Гофмана, — сказал Артур.

— Будем надеяться. Да, надежда — именно то, на что мы будем опираться, — сказала доктор и влила в себя стакан хоххаймера, не залпом — доктор была слишком элегантна, чтобы пить залпом, — но без передышек.

— Надеюсь, вы не сочтете грубым, что мы так скоро заговорили об опере, — сказала Мария. — Понимаете, она нас очень сильно занимает.

— Человек всегда должен говорить о том, что его больше всего занимает, — ответила доктор. — Я хочу говорить об этой опере, и она меня занимает.

— Вы уже видели ноты? — спросил Артур.

— Да. Это наброски, указания оркестровки, темы, которые Гофман собирался использовать для обрисовки важных мотивов сюжета. Он, кажет-

ся, в чем-то предвосхитил Вагнера, но его темы красивее. Но это не опера. Пока еще не опера. Эта студентка слишком увлеклась и сказала вам, что там есть опера. Это очень красивая музыка, притом не глупая. Кое-что могло бы принадлежать Веберу. Кое-что — Шуману. Мне все понравилось. Я люблю эти восхитительные провальные оперы Шумана и Шуберта.

— Надеюсь, вы не считаете, что наш проект — лишь очередная провальная опера?

— Кто знает?

— Но вы же не можете браться за работу, наметив своей целью провал? — спросила Мария.

— Неудача может многому научить. Конечно, такова ведь и тема нашей оперы, насколько я могу судить. Он назвал ее «Великодушный рогогосец». Я правильно понимаю, что рогогосец — это обманутый муж?

— Да. Только надо говорить «рогоносец».

— Я так и сказала. Рогогосец. Благодарю вас, этот хоххаймер — очень хорошее вино. Вернемся к рогогосцу: почему это мужчина? Почему не женщина?

— Вы можете использовать французское слово: *кокю.* Это от *le coq,* петух. Французы называли и до сих пор называют обманутых мужей именем этой

птицы из-за ее всем известных похождений.

Холлиер тоже весь вечер с тихой решимостью накачивался хоххаймером. Он приподнял бокал и над бокалом поклонился доктору Даль-Сут.

— А, вы человек, который знает язык? Очень хорошо. Тогда почему это слово мужского рода? Человек, обманутый в браке. Разве женщин не обманывают? Снова, и снова, и снова? Тогда почему для этого не придумали слово, а?

— Не знаю, как образовать женскую форму от рогоносца. Рогоносица? Неуклюже. Может, рогоноска?

— Не годится, — сказала доктор.

— А это важно? В артуровских легендах обманывают именно Артура, — сказала Пенни Рейвен.

— Верно. Этот Артур был глуп, — заявила доктор.

— Нет-нет, я не желаю такого слушать, — возразила Мария. — Он был благородный человек, твердо намеренный поднять моральный дух всего королевства.

— Но все же он был рогогосец. Не обращал достаточно внимания на жену. И она украсила его парой больших рогов.

— Может быть, женской формы от слова «рогоносец» нету, потому что как ни обманывай

самку, рога у нее не вырастут, — серьезно заметил Холлиер.

— Самка знает фокус получше, — сказала доктор. — Она дарит мужу двусмысленное дитя, а? Он смотрит в колыбель и говорит: «Что за черт, ребенок какой-то странный. Клянусь Богом, я рогогосец».

— Но в артуровских легендах нет упоминаний о плоде преступной страсти Гвиневры и Ланселота. Поэтому Артур не мог сказать таких слов, мадам.

— Не «мадам». Я предпочитаю, чтобы меня называли «доктор». Разве что после долгого времени мы сблизимся; тогда, может быть, я разрешу называть меня Ниллой.

— А может, Гуни? — спросил Пауэлл.

— Гуни — омерзительно. Но этот Артур — этот глупый король, — ему не нужен младенец, чтобы узнать. Его жена и самый лучший друг говорят ему прямо. Пока ты поднимал моральный дух, мы были в постели. Из этого могла выйти комедия. Вышла бы — у Ибсена. У него часто бывает такой юмор.

Мария решила, что пора сменить тему.

— Следующее блюдо — подлинно артуровское. Запеченная свинина с яблочным соусом. Я уверена, что в Камелоте очень любили это блюдо.

— Свинина? Нет, свинина — никогда! Это должен быть жаренный на вертеле кабан, — сказала доктор.

— У моего мясника не нашлось хорошей кабанятины, — ответила Мария — может быть, чуть резковато. — Вам придется довольствоваться очень хорошей запеченной свининой.

— Я рад, что это не кабан, — заметил Холлиер. — В путешествиях мне случалось есть жареную кабанятину, и она мне не нравится. Плотное, тяжелое мясо, весьма сильно провоцирует полночную меланхолию. У меня, во всяком случае.

— Вы не ели хорошего жареного кабана, — возразила доктор. — Хороший жареный кабан — превосходная еда. Я вовсе не нахожу, что она провоцирует к меланхолии.

— Откуда вам-то знать? — встряла Пенни Рейвен.

— Извините, профессор Рейвен, я вас не понимаю.

— Вы, кажется, и безо всякой кабанятины склонны к меланхолии, — сказала Пенни, которая тоже не пренебрегала хоххаймером. — Сначала вы вгоняете нас в депрессию по поводу оперы, а теперь клевещете на прекрасную жареную свинину, которую приготовила Мария.

— Простите, если я вгоняю вас в депрессию, но тут, возможно, вина не моя. Я не веселый человек. Я серьезно отношусь к жизни. Я не склонна себя обманывать.

— Я тоже, — сказала Пенни. — Я наслаждаюсь прекрасным артуровским пиром, приготовленным Марией. Она — хозяйка этого дома, и я заявляю, что она превосходная *hlafdiga.*

— Превосходная что? — переспросила доктор.

— Превосходная *hlafdiga.* Это староанглийское слово, от которого произошло слово «леди». Оно означает человека, раздающего пищу. Это очень почетный титул. Я поднимаю этот бокал за нашу *hlafdiga.*

— Нет, нет, Пенни! Я вынужден протестовать! — воскликнул Холлиер. — *Hlafdiga* не означает «леди». Эту этимологическую гипотезу давно разбили в пух и прах. *Hlafdiga* — это тестомес, а не хлебодар, как утверждаете вы в своем невежестве. Вы смешиваете мерсийский говор с нортумбрийским.

— Идите в жопу, Клем. Современное слово «леди» происходит от *hlafdiga;* словом *hlafdiga* назывался человек, который раздавал хлеб. Потом это слово стало звучать как *leofdi,* потом — *lefdi* и наконец — «леди». Яйца — или *aegru,* если вам

непременно нужно староанглийское слово, — курицу не учат. *Hlafdiga* была женой *hlaford,* то есть лорда, осел вы надутый, и следовательно, это его леди.

— Оскорбление — не аргумент, профессор Рейвен, — с пьяным достоинством возразил Холлиер. — *Hlafdiga* вполне может быть человеком низкого происхождения…

— Может быть, даже из цыган, — вставила Мария с изрядной долей жара.

— Бога ради, подадут нам наконец свинину? — спросил Пауэлл. — Или мы тут будем дискутировать про этимологию, пока все не остынет? Я провозглашаю Марию настоящей леди во всех смыслах этого слова. А теперь давайте есть.

— Никаких леди больше нет, — сказала доктор Даль-Сут, протягивая стакан, чтобы его наполнили. — Мы все на равной ноге, и отличает людей только талант. Единственная подлинная аристократия — аристократия таланта. Это вы красное наливаете, профессор Даркур? Какое? Дайте мне посмотреть на бутылку.

— Это превосходное бургундское, — ответил Даркур.

— Хорошо. Можете наливать.

— Конечно, он может наливать, — сказал Пау-

элл. — Вам что тут, ресторан? Это вино, которое тут есть, а значит, это вино, которое вы получите, так что заткнитесь.

Доктор Даль-Сут выпрямилась:

— *Monsieur, vous êtes une personne grossière.*[34]

— Можешь не сомневаться, Гуни. Так что смотри, веди себя хорошо.

Воцарилось молчание. Даркур завис над бокалом доктора. Доктор неожиданно расхохоталась:

— Пауэлл, я думаю, ты мне нравишься. Разрешаю называть меня Нилла и на «ты». Но только тебе разрешаю.

Она подняла бокал, приветствуя Пауэлла, элегантно и мило улыбнулась и осушила бокал до дна.

— Еще, — сказала она, пихая бокал Даркуру, который в это время наливал вино Пенни Рейвен.

— Подождешь, Нилла, — сказал Пауэлл.

— Ты учишь меня хорошим манерам? — спросила доктор. — Каким манерам? В моей стране почетному гостю разрешены определенные вольности. Ты думаешь, что ты — укротитель львов и, возможно, покоритель дам. Так вот, я лев, который съел не одного укротителя. И ты меня не

---

[34] Примечания: 34
Мсье, вы отвратительная личность *(фр.)*.

покоришь, потому что я не дама.

— Забавно, я как раз начала об этом догадываться, — заметила Пенни. — Но если вы не дама, то что вы, по-вашему, такое?

— Мы только что говорили об аристократии таланта, — сказала доктор, чей бокал Даркур поспешил наполнить вне очереди.

— Ну-ка, Пенни, без драк, — вмешалась Мария. — Дамам не полагается произносить тосты, но Артур занят разделкой нашего аутентичного кельтского поросенка, так что я возьму на себя роль *hlafdiga* и подниму этот бокал за здоровье доктора Гуниллы Даль-Сут; я утверждаю, что в аристократии таланта она не меньше чем графиня. И да насладимся мы в полной мере плодами ее гения.

За здоровье доктора выпили с энтузиазмом — все, кроме Пенни Рейвен, которая что-то пробормотала в свой бокал. Доктор поднялась на ноги.

— Мои дорогие новые друзья! — произнесла она. — Вы оказываете мне честь, и я вас не подведу. Я вас немножко дразнила? Может быть. Таков уж мой обычай. Я великая шутница, вам следует это знать. За моими словами часто пря-

чется некий *double entendre,*[35] который вы сразу не поймете, — может быть, далеко не сразу поймете. Может быть, даже ночью вы проснетесь со смехом. Ах, эта доктор, скажете вы. Она глубока, глубока. Вы выпили за мое здоровье. Я пью в ответ за ваше. Вы, преподобный сэр с вином, можно налить чего-нибудь в мой бокал? Благодарю вас. Хоть я и не уверена, что на пирах Артура было вино. Возможно, наша *hlafdiga* ошибается и у Артура вина не пили. Но у них наверняка была эта вещь, которую делают из ферментированного меда…

— Медовуха, — подсказал Холлиер.

— Совершенно верно. Медовуха. Я ее пила. Гадость, ужасная сладкая гадость, вот что я вам скажу. Я вывернула желудок…

— Неудивительно, если так стараться, — заметила Пенни с улыбкой, которая, однако, не полностью компенсировала грубость ее слов.

— Я могу перепить под стол кого угодно из присутствующих, — мрачно и воинственно сказала доктор. — Мужчину, женщину и собаку я могу перепить под стол. Но я не хочу слышать тут гадких слов. Я хочу выпить за всех вас. Хотя, как я уже сказала, я не верю, что у Артура было вино…

---

[35] Примечания: 35
Двойной смысл *(фр.).*

— Я только что подумал, — перебил ее Холлиер. — У древних валлийцев было вино. Помните старый клич — *Gwinn o eur!* «Вино из золота!» У них не только было вино — они пили его из золотых сосудов. А не из коровьих рогов, как труппа бродячих артистов, ставящая сцену пира в «Макбете». *Gwinn o eur!*

— Клем, ты пьян! — воскликнула Пенни Рейвен. — И это очень сомнительная, необоснованная цитата.

— И еще ваш валлийский ужасен! — добавил Пауэлл.

— Неужели? Если б мы были не на дружеском ужине, я бы вам заехал в нос.

— Да неужели? Слабо!

— Да! Прямо по сопатке! — сказал Холлиер.

Он приподнялся со стула, словно собираясь начать драку, но Пенни удержала его.

— Мерзкий народ эти валлийцы, — пробормотал он.

— Точно-точно. Настоящий сброд. Не лучше цыган, — заметил Пауэлл и подмигнул хозяйке дома.

— Произношу ли я речь, или же я не произношу речь? — провозгласила доктор. — Высказываю ли я благодарность за этот роскошный ужин, с таким

вкусом составленный и так элегантно поданный под взглядом сияющих глаз нашей *hlafdiga?*

Она отвесила глубокий поклон в сторону Марии.

— Да, именно этим я и занимаюсь. Поэтому я приказываю всем вам, дебоширам и ученым болванам, молчать, пока я не закончила. Я люблю эту страну; она, как и моя родная страна, — социалистическая монархия,[36] а потому объединяет в себе лучшие черты прошлого и современности. Я люблю хозяев этого дома, они истинные покровители искусств. Я люблю вас всех: вы — мои спутники по увлекательному приключению, великому путешествию в поисках чего-то такого, что человек жаждал достичь, но не достиг. Я осушаю этот бокал за вас.

Так она и сделала, а затем села — довольно тяжело.

Это, должно быть, мартини виноват, подумал Даркур. Они все перед ужином глотали мартини так, как будто им никогда в жизни больше не

---

[36] Примечания: 36

Канада представляет собой монархию. В настоящее время пост главы канадского государства занимает Елизавета II, она же по совместительству царствующая королева Великобритании. Ее официальный титул — Елизавета II, Божьей милостью Королева Соединенного Королевства, Канады и других королевств и территорий, Глава Содружества, Защитница Веры.

дадут пить. Доктор выпила три, это совершенно точно, потому что я сам их раздавал. Сейчас, после благодарственной речи и тоста в честь Марии, доктор умолкла и съела большую порцию жареной свинины под яблочным соусом и разнообразных овощей — вероятно, не артуровских, но никто не стал к этому придираться — в чрезвычайно мрачном настроении. Другие гости переговаривались вполголоса с разной степенью вежливости.

Канадцев — Артура, Холлиера, Пенни Рейвен и Даркура — испугала речь доктора; они замкнулись при первом же намеке на высокие мотивы, превосходные намерения, на то, что они имеют отношение к чему-то великому, а следовательно, опасному. Они не полностью принадлежали к серому большинству: их мир был просторней, но все же они носили серость как защитное внешнее одеяние. Они не имели привычки бормотать национальную канадскую молитву: «Господи, даруй мне посредственность и комфорт; защити меня от сияния Твоего света». Однако они знали, каким трудным и выбивающим из колеи может оказаться слишком смелый дух. Они принялись за еду и завели ни к чему не обязывающие светские разговоры.

В сердцах двоих присутствующих, которые не были канадцами, — Пауэлла и Марии — слова доктора высекли огонь. Пауэлла снедало честолюбие, но не то честолюбие, которое ставит успех и награду превыше блистательности свершения. Пауэлл собирался использовать своих коллег и Фонд Корниша для достижения собственных целей, но он был уверен, что эти цели — благие, и собирался обеспечить достойную награду и славу всем своим соратникам. Да, он будет хлестать бичом и выжимать из своей упряжки все, на что они способны, на пути к намеченной цели. Он знал, что имеет дело в основном с учеными и что лошадь должна идти шагом и рысцой, прежде чем перейти в галоп. Но он был намерен добиться своего и в докторе почуял союзника.

Что до Марии, то она — впервые после замужества — ощутила близость подлинного приключения. Да, конечно, это замечательно — быть миссис Артур Корниш, разделять мысли и устремления человека с прекрасной — она даже сказала бы, не побоясь этого слова, благородной душой. Все, что она могла пожелать от мужчины, она находила в Артуре. И все же — виноват ли в том северный характер или канадская серость — в ее браке чувствовался едва заметный холо-

док. Они любили друг друга. Доверяли друг другу. Любовь, доверие, теплота царили и в их постели. Но… о, если бы хоть на мгновение повеял ветерок несбыточного, если бы можно было хоть на секунду ослабить контроль! Вдруг опера этому поможет? Опера была рискованной затеей. Мария уже начала забывать резкий, острый запах риска. Последний раз она чуяла его еще в эпоху Парлабейна, больше года назад. Кто бы подумал, что она пожалеет о Парлабейне? И все же он внес в ее жизнь что-то необычное, пряное.

Мария не знала, где ее место в этом приключении, на пути к опере. Она не музыкант, хоть и музыкальна. Работать над либретто ей не позволят: Симон и Пенни застолбили его для себя. Неужели роль Марии сведется к выписыванию чеков, к роли официального лица Фонда Корниша? Толпы искателей грантов убедили ее, что деньги — это семя, из которого родится все остальное. Но деньги не были подлинным семенем от ее семени.

Даркур ел и думал обо всем подряд — он часто так делал. Интересно, что будет, если вдруг над этим столом пролетит проказливый джинн и лишит нас всех одежды? Результат выйдет неплохой — лучше среднего. Мария останется

потрясающей красавицей и в одежде, и без. Холлиер, неуместно красивый для профессора (хотя почему? Неужели профессор непременно обязан быть скелетом или жирдяем?), без одежды явит микеланджеловскую симметрию мужского тела средних лет, под стать величественной голове. Артур окажется плотным: фигура сносная, но непримечательная. Пауэлл голым будет выглядеть не так импозантно, как в одежде: как многие актеры, он хрупкого сложения, почти худой. Голова — самое красивое в нем. Пенни Рейвен… что ж, в ней можно было разглядеть останки былой миловидности, но, на проницательный взгляд Даркура, ее груди уже начали рыхлеть, а вокруг талии наметился «спасательный круг». Сидячая жизнь научного работника не шла Пенни на пользу, и на симпатичном лице уже начали отвисать брыли.

А доктор? Даркуру вдруг пришло на ум острое словцо, сказанное студентом о студентке: «Я скорее с велосипедом пересилю». Может быть, под прекрасным шопеновским костюмом доктор жилиста и холодна и в постели от нее не больше толку, чем от велосипеда? Может, и так, но, несомненно, с ней должно быть интересно. А как у нее с грудью? Под жакетом не разглядишь. А

с бедрами? Их прятали фалды жакета. Но талия была, несомненно, изящной. Красивые, длинные ступни и кисти. Да, с доктором может быть очень интересно в постели. Но в любом случае Даркуру не суждено это проверить.

Что до самого профессора-преподобного Симона Даркура, он вынужден был признать, что возраст его не красит. Он сроду был толстяком, и теперь растяжки у него на животе красовались, как шрамы, полученные в битве с лишним весом.

Он заметил, что за столом воцарилась почти полная тишина: тихий ангел пролетел, как говорится. А не джинн, крадущий у людей одежду. Прислуга забрала у Даркура тарелку, и он встал, чтобы принести еще вина. Пришла очередь шампанского. Интересно, кто первым запротестует, что, может, у короля Артура за столом и подавали вино, но уж точно не шампанское? Никто не протестовал. Шампанское приняли, бормоча благодарности.

Следующее блюдо Мария подала без комментариев. Это был какой-то красивый десерт из яиц и сливок, загущенный чем-то непонятным.

— Что это? — спросила доктор.

— Это аутентичное артуровское блюдо, и тут уж никто не возразит, — сказала Мария. — Оно

называется «овсяный кисель».

Все умолкли. Никому не хотелось спрашивать, что такое «овсяный кисель», но в голову решительно ничего не шло. Мария выдержала паузу минуты две и сжалилась над гостями.

— Вам это не повредит, — сказала она. — Это всего лишь тонко помолотая овсяная мука и кое-что еще для вкуса. Валлийские предки Геранта называли это блюдо размазней.

— «„Пахта и размазня“ — у Монтгомери звонят», — запел Пауэлл на мотив «Апельсины и лимоны».

— А запах! — сказала Пенни. — Что-то неуловимое, восхитительное! Напоминает мне детство.

— Это зюзник, — объяснила Мария. — Весьма артуровская деталь. Наверняка вам в детстве давали леденцы с зюзником от кашля.

— Но не только зюзник, — сказал Холлиер. — Есть еще какой-то вкус. По-моему, это бренди.

— Я уверена, что у Артура был бренди, — заявила Мария. — А если кто-нибудь начнет спорить, я отошлю все это обратно на кухню и прикажу, чтобы вам принесли сырой репы пожевать. Уж репа точно будет аутентичным блюдом древних бриттов, и надеюсь, что всех придир она устроит. Под шампанское репа легче проскочит в желудок.

— Милая, не сердись, — сказал Артур. — Я уверен, никто не хотел тебя обидеть.

— А я в этом не так уверена, и мне уже надоело, что мой ужин проверяют на соответствие археологическим данным. Если моя интуиция подсказывает, что это блюдо артуровское, то оно артуровское, даже если это шампанское, и все тут!

— Конечно, — сказала доктор голосом, гладким, как поданные на стол сливки. — Мы были невыносимы, и я требую, чтобы это немедленно прекратилось. Мы оскорбили нашу *hlafdiga,* и нам должно быть стыдно. Мне стыдно. Профессор Рейвен, вам стыдно?

— А? — вздрогнув, переспросила Пенни. — Да, наверно. Все, что подается за Круглым столом Артура, по определению артуровское, верно ведь?

— Вот что мне нравится в вас, канадцах, — заметила доктор, — это ваша готовность признать свою неправоту. Это прекрасная, хоть и несколько опасная, национальная черта. Вам всем стыдно. Мне тоже стыдно.

— Но я не хочу, чтобы кому-нибудь было стыдно, — возразила Мария. — Я хочу, чтобы все были счастливы и не ссорились и не препирались все время.

— Конечно, дорогая, — согласился Холлиер. — Мы неблагодарные скоты, а это — прекраснейший ужин.

Он склонился через голову Пенни, чтобы погладить Марию по руке, но не рассчитал и залез рукавом в размазню.

— О черт! — сказал он.

— Так насчет оперы, — сказал Артур. — Наверно, пора начать ее обдумывать?

— Я думал о ней много часов, — сказал Пауэлл. — Первое, что нам нужно, — это сюжет. И он у меня есть.

— В самом деле? — спросила доктор. — Вы еще не видели музыки и не говорили со мной, но у вас уже есть сюжет. Надеюсь, нам, ничтожным людишкам, позволено будет выслушать этот сюжет, прежде чем мы начнем над ним работать?

Пауэлл выпрямился на стуле и обвел собравшихся улыбкой, которой умел растопить сердца полутора тысяч театральных зрителей зараз.

— Ну конечно, — сказал он. — Сомнений в этом вовсе нет, не навяжу вам свой сюжет, тем более музыкантам. Мы, либреттисты, работаем вовсе не так. Мы знаем свое место в иерархии оперных артистов. Я лишь хотел сказать, что у меня есть основа, которая поможет начать обсуждение

нашего оперного замысла.

Как ловко он нами крутит, подумал Даркур. Он использует не меньше трех уровней языка. Грубый, народный язык — когда он обратился к доктору и назвал ее Гуни. И когда называет меня «Сим-бах», и когда так странно ставит слова в предложении — надо думать, копирует структуру своего родного валлийского. Другой язык — нормативный, стандартный, на котором он обращается к незнакомым, безразличным ему людям. И еще — богатый литературный язык: этим языком он не говорит, а декламирует, уснащая свою речь цитатами из Шекспира и более популярных поэтов; этот язык при необходимости переходит в поэтический, бардовский речитатив. Когда такой человек вешает тебе лапшу на уши, испытываешь истинное наслаждение. Он придает блеск языку, который большинство из нас использует как скучный инструмент. Интересно, какой язык он выберет сейчас? Обогащенный литературный, надо думать.

— Историю Артура невозможно собрать в единый связный рассказ, — произнес Пауэлл. — Она есть у нас в элегантной французской форме, в плотной и меланхоличной немецкой, а также в форме, которую придал ей сэр Томас Мэло-

ри, — самой богатой и волшебной из всех. Но за разными формами лежит единая великая кельтская легенда, питающая всю элегантность, всю силу и все волшебство. Поверьте, я не забыл об этой легенде, составляя краткую историю, которую намерен вам сейчас предложить. Но чтобы привлечь зрителей, нашей опере нужен крепкий сюжет, который выдержит всю тяжесть музыки. Музыка придает опере жизнь и чувство, но повествовать она не может.

— Клянусь Богом, вы правы, — перебила его доктор. И прошипела в сторону Даркура: — Шампанского!

— Да! *Gwinn o eur!* — подхватил Холлиер.

— А теперь слушайте. Надеюсь, все согласны, что невозможно рассказывать об Артуре, не упомянув Калибурн, великий волшебный меч; мне не нравится название Экскалибур, это поздняя форма. Но мы обречены на скупость! Мы не можем вернуться к самому началу жизни Артура и рассказать, как он обрел Калибурн. Поэтому я предлагаю воспользоваться приемом, на мысль о котором меня навел сам Гофман. Помните, как в увертюре «Ундины» он сразу задает нужный тон, используя голоса влюбленного и духа воды, которые зовут Ундину? Я предлагаю почти сразу,

как только начнется увертюра, показать сцену видения — за сетчатым занавесом, чтобы все было как в тумане. Мы увидим Мерлина и Артура на берегу волшебного озера. По взмаху десницы Мерлина великий меч поднимается из воды, зажатый в невидимой руке, и Артур хватает его. Но пока он обуреваем величием момента, из озера поднимается призрак Гвиневры — как вы все, конечно, знаете, это имя означает «белый призрак» — и вручает Артуру ножны для Калибурна. Мерлин приказывает Артуру взять ножны и объясняет ему — не беспокойтесь, я покажу им, как это изобразить на сцене, — что ножны еще важнее меча, ибо, когда меч находится в ножнах, в стране царит мир, а мир — это дар от Артура его подданным. Но за спиной у Артура призрак Гвиневры показывает жестами, что эти ножны — она сама и что, если Артур не осознает ее значения и ее силы, меч ему ничего не даст. Вы понимаете, что я хочу сказать?

— Я понимаю, — сказала доктор. — Меч — мужское начало, а ножны — женское, и, пока они не объединятся, не может быть ни мира, ни процветания, достигаемого мирными искусствами.

— Вы поняли! — воскликнул Пауэлл. — И еще ножны — это Гвиневра, и Артур уже начинает ее

терять, потому что возлагает все надежды только на меч.

— *Symbolismus*[37] очень хорош, — заметила доктор. — И ведь меч также означает эту вещь Артура… ну, его мужскую вещь… как она по-вашему называется?

— Его пенис.

— Не очень красивое слово. Это по-латыни и означает «хвост». Как это может быть хвостом, если оно спереди? Неужели в вашем английском языке нет слов получше?

— Есть, но их не принято произносить в приличном обществе, — сказал Даркур.

— О, в приличном! Я плевала на приличия! А ножны — это вещь королевы; какое у вас есть неприличное слово для этого?

Никому не хотелось отвечать, но Пенни шепнула доктору на ухо.

— Среднеанглийский язык, — пояснила она, чтобы придать делу наукообразность.

— Ого, это слово! — воскликнула доктор. — Мы в Швеции знаем его хорошо. Это хорошее слово, гораздо лучше, чем глупое слово «хвост». Я вижу, что наша опера будет весьма глубокомысленной.

---

[37] Примечания: 37
Символизм *(нем.)*.

Еще шампанского, пожалуйста. Возможно, лучше всего будет поставить бутылку рядом со мной.

— Я правильно понимаю, что вы еще до начала оперы сообщаете зрителям: в стране не может быть мира, если король не совокупляется с королевой? — спросил Холлиер.

— Отнюдь, — возразил Пауэлл. — Пролог говорит, что величие страны зависит от единения мужского и женского начал и что меч в одиночку не может принести благородства духа, которое ищет Артур. Не беспокойтесь. Это можно передать умелой работой со светом. Мы не будем вульгарно совать меч в ножны и вытаскивать, чтобы повеселить людей, для которых секс — лишь возня в постели.

— Эта игра больше, чем просто четыре голые ноги под одеялом, — глубокомысленно кивнула Пенни.

— Совершенно верно. Это — единство двух противоположных, но взаимодополняющих разумных начал. Может быть, именно оно и есть Грааль. Но эту идею я оставлю либреттистам на случай, если они сочтут ее полезной.

— Вино в золоте, — вставила Мария.

— Я никогда не думала о Граале в таких терминах, — заметила Пенни. — Интересная мысль.

— Порой и слепая свинья желудь найдет. — Пауэлл поклонился в ее сторону. — А теперь — собственно опера… Первый акт начинается с того, что коварная сестра Артура, Моргана Ле Фэй (она волшебница, а потому, естественно, контральто), пытается выведать у Мерлина его тайны: кто будет наследником Артура? Мерлин некоторое время выворачивается, но не может отказать сестре по ремеслу и в конце концов открывает ей, что наследником станет человек, рожденный в мае, если только Артур не обзаведется сыном. Моргана Ле Фэй вне себя от радости — ее сын Мордред родился в мае, и он — королевский племянник, а значит, ближайший наследник. Мерлин предостерегает ее от излишней уверенности, ибо Артур любит Гвиневру великой любовью, а значит, появление ребенка весьма вероятно. Нет, если Артур будет рисковать жизнью на войне, отвечает контральто… Следующая сцена — собрание рыцарей Круглого стола. Артур повелевает им разойтись в разные стороны на поиски святого Грааля, который должен принести Британии длительный мир и величие. Рыцари, повинуясь приказу, разъезжаются в разные стороны. Но когда является Ланселот, король не отправляет его на поиски: Ланселот должен

остаться во дворце и охранять его, ибо король сам хочет отправиться на поиски Грааля, вооруженный великим Калибурном; король вынимает меч из ножен и поет о своем всепоглощающем стремлении. Гвиневра умоляет Артура отпустить Ланселота, ибо она страшится, что преступная любовь, которую она и Ланселот питают друг к другу, навлечет позор на королевство. Но Артур непоколебим. Пока он облачается в доспехи, чтобы отправиться в путь, — это очень зрелищная сцена — Моргана Ле Фэй крадет у него ножны. Воодушевленный, Артур отказывается ждать, пока ножны найдут, и отправляется в путь, провозгласив, что храбрости и силы, символизируемых обнаженным мечом, довольно для победы. Рыцари сваливают искать Грааль, Гвиневра полна тяжких предчувствий, а Моргана Ле Фэй ликует. Конец действия.

— А что же Мордред? — спросила Мария. — Мы еще ничего про него не слышали.

— Он один из рыцарей, и он сомневается в Граале, — ответил Пауэлл. — Он может кривиться и насмехаться на заднем плане.

— Сильно, но подходит ли это для девятнадцатого века? — засомневался Холлиер. — Не слишком ли много психологии?

— Нет, — сказала доктор. — Девятнадцатый век не означает примитив. Посмотрите на «Волшебного стрелка» Вебера. В девятнадцатом веке тоже была психология. Ее изобрели не мы.

— Очень хорошо, — сказал Холлиер. — Продолжайте, Пауэлл.

— Во втором акте всякие оперные штуки разворачиваются по-крупному. Начинается с майского гулянья королевы: ома со своими дамами собирает в лесу майские цветы. Думаю, ее следует посадить на лошадь. Лошадь — верное дело в опере. Намекает, что на постановку не пожалели денег. Если лошади сделать клизму за час до поднятия занавеса и если ее будет вести достаточно народу, то даже колоратурное сопрано удержится в седле, а выйдет очень красиво. В лесу Гвиневра встречает Ланселота, и они поют о своей страсти — конечно, после того, как свита с лошадью ушли. Но Моргана Ле Фэй в обличье старой лесной ведьмы подслушивает их. Она не может сдержаться. Выскакивает из укрытия, набрасывается на королеву с Ланселотом и обвиняет их в измене королю. Они протестуют, заверяя ее в своей невиновности и преданности Артуру. Когда волшебница уходит, появляется Мерлин и предостерегает влюбленных о зле, скрытом в майских

бутонах, и об опасности, которую таит в себе месяц май. Но влюбленные его не понимают.

— Глупы, как все оперные персонажи, — заметил Холлиер.

— Зачарованы, как все влюбленные, — поправила доктор. — Оперные персонажи ничем не отличаются от обычных людей, только мы видим их души.

— Если бы меня о чем-нибудь предупредили волшебница и волшебник, у меня, наверно, хватило бы ума послушаться, — не уступал Холлиер.

— Думаю, да. Именно поэтому о профессорах не пишут опер, — ответила доктор.

— Это лишь первая сцена акта, — сказал Пауэлл. — Декорации быстро меняются — я знаю, как это сделать, — и следующая сцена изображает покои в башне над рекой, выше по течению от Камелота. Гвиневра и Ланселот только что свершили свою любовь. Они в экстазе, но на реке под окнами башни появляется черная баржа, которую ведет Моргана Ле Фэй. На барже плывет Элейна, Лилейная дева из Астолата. Она обвиняет Ланселота в измене и заявляет, что носит под сердцем его ребенка. Гвиневра объята ужасом. Ланселот сознается, что обвинение истинно, но говорит, что возлег с Элейной, будучи окол-

дованным, и подозревает, что чары наслала на него Моргана Ле Фэй. Следует квартет, в котором Моргане Ле Фэй предоставляется прекрасная возможность понасмехаться над Ланселотом. Но Гвиневра по-прежнему в отчаянии. Когда баржа продолжает свой путь по течению, в Камелот, упреки Гвиневры сводят Ланселота с ума. Конечно, у Мэлори он пребывает в безумии много лет. Бегает по лесу, биясь о деревья и попадая в разные членовредительные истории. Но у нас на это нет времени, так что наш Ланселот побезумствует лишь немного. Это будет новинка: сцена безумия, как в «Лючии»,[38] но для тенора. Ланселот собирается убить себя во искупление своей неверности, хотя он в ней не виноват. Но Гвиневра запрещает ему. Она говорит, что ненужных убийств не будет, и сама вкладывает его меч обратно в ножны. В заключение этой сцены прибывает усталый гонец с вестью: была великая битва и Артур погиб. Его тело везут обратно в Камелот для погребения. Конец сцены.

— Да, никто не обвинит нашу оперу в недостатке событий, — заметила Мария.

---

[38] Примечания: 38

«Лючия ди Ламмермур» (1835) — трагическая опера итальянского композитора Гаэтано Доницетти по мотивам романа Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста» (1819).

— События нужны опере как воздух, — сказала доктор. — Никто не будет слушать людей, которые два с половиной часа не переставая поют о своей любви. Пауэлл, продолжайте. Что дальше? Вы убили Артура. Это плохо. Человек, именем которого названа опера, не должен откидывать копыта до самого конца. Поглядите на «Лючию ди Ламмермур»: ее последний акт скучен. Никаких Лючий. Придумайте что-нибудь другое.

— И не подумаю, — сказал Пауэлл. — Последний, заключительный акт происходит в большом зале Артурова дворца в Камелоте. Артур возвращается с победой, хоть и раненый. Он рассказывает о битве, в которой сражался, и о рыцаре в черных доспехах, который вызвал его на поединок. Казалось, что Артур уже побежден, — он упал с коня и мог лишь прикрыться щитом, когда Черный рыцарь уже собирался нанести ему *coup de grâce*…[39]

— Что нанести? — переспросил Холлиер.

Пенни накинулась на него:

— *Coup de grâce,* Клем! Ну ты же знаешь — прикончить его. Не отвлекайся. Ты все время задремываешь.

---

[39] Примечания: 39
Удар милосердия *(фр.).*

— Ничего подобного.

— Еще как. Сиди прямо и слушай.

— Так вот, как я сказал, Черный рыцарь уже собирался нанести ему *coup de grâce,* когда увидел изображение Богоматери на щите. Засим Черный рыцарь повернулся и бежал, и Артур, хоть и раненый, остался в живых. Артур поет хвалу Богоматери, которая спасла его от верной гибели. Вечная Женственность, понимаете?

— *Das Ewig-Weibliche,* — согласилась доктор. — Идиота-мачо хорошенько проучили. Дальше.

— Все очень рады, что Артур вернулся. Но у самого Артура неспокойно на душе. Он знает, что у него есть заклятый враг. Тут появляются несколько рыцарей, ведя с собою Черного рыцаря — Мордреда. Артур поражен, что его племянник, сын его любимой сестры, ищет его смерти. Мордред высмеивает Артура как глупого идеалиста, ставящего честь превыше власти, и показывает ножны Калибурна, без которых, как он говорит, власть бессильна и все решает меч. Он вызывает раненого короля на битву. Гвиневра выхватывает у него ножны и умоляет короля вложить в них Калибурн, но король не желает об этом и слышать. Они с Мордредом сражаются, и король снова ранен. Пока он умирает, Гвиневра и Ланселот

признаются в своей преступной любви. Но — и это кульминация всего сюжета — Артур выказывает чрезвычайное величие души и объявляет, что величайшая любовь — это любовь к ближнему и она выражается не только в физической верности; его любовь и к Гвиневре, и к Ланселоту сильнее той раны, которую они ему нанесли. Он умирает. Картина тут же меняется на Волшебное озеро, по волнам которого Артур уплывает на погребальном челне в туман. При нем только Мерлин, который в последний раз вкладывает Калибурн в ножны и бросает его обратно в воду, откуда он когда-то появился. Артур уплывает к Острову Снов. Занавес.

Даркур и Мария захлопали. Но Холлиер остался недоволен:

— Вы слишком много людей побросали по дороге. Что случилось с Элейной? А с ее ребенком? Мы же знаем, что этот ребенок — Галахад, Непорочный рыцарь, увидевший Грааль. Вы не можете все это так оставить после второго акта.

— Еще как могу, — сказал Пауэлл. — Это опера, а не цикл «Кольцо нибелунга». Нам нужно опустить занавес не позже одиннадцати.

— Вы не упомянули, что Мордред — кровосмесительный плод Артура и Морганы Ле Фэй.

— Нет у нас времени на кровосмешение. Сюжет и так достаточно сложный. Кровосмешение только все запутает.

— Я не намерена связываться с оперой, в которой участвуют младенцы, — заявила доктор. — Лошади на сцене — это уже плохо, а младенцы — чистый ад.

— Зрители решат, что их обманули, — не отставал Холлиер. — Любой, кто читал Мэлори, знает, что это сэр Ведивер, а не Мерлин бросил меч в озеро. А Артура увезли на челне три королевы. Ваш сюжет безобразно далек от оригинала.

— Пускай жалуются в газеты, — сказал Пауэлл. — Пускай музыковеды мусолят эту оперу следующие двадцать лет. Нам нужен связный сюжет, и мы должны его закончить до того, как рабочие сцены потребуют уплаты сверхурочных. Много ли, по-вашему, в зале найдется человек, знакомых с книгой Мэлори?

— Я всегда говорил, что театр — площадное искусство, — с пьяным достоинством провозгласил Холлиер.

— И потому он — живое искусство, — сказала доктор. — В нем есть жизненная сила. Из кучи историй про Артура нам нужно выудить связный сюжет, и Пауэллу это удалось. Лично я весьма

удовлетворена его схемой оперы. Пью за тебя, Пауэлл. Ты крепкий профессионал.

— Спасибо, Нилла. Это для меня самый лучший комплимент.

— Что значит «крепкий профессионал»? — шепнул Холлиер на ухо Пенни.

— Это человек, который хорошо знает свое дело.

— По-моему, это человек, который совсем не знает Мэлори.

— Мне очень понравилось, и я рад, что доктор со мной согласна, — сказал Артур. — Клем, что бы ты ни говорил, это небо и земля по сравнению с той ерундой про голубые ели, которую откопала Пенни. У меня как будто огромный камень свалился с души. Я ужасно беспокоился.

— Считай, твое беспокойство только началось, — сказал Пауэлл. — Но будем решать проблемы по мере их возникновения. Верно, Нилла-фах?

— Пауэлл, ты переходишь всякие границы. Как ты смеешь так со мной разговаривать?![40]

— Ты не поняла. Это слово — валлийское, оно выражает хорошее отношение.

---

[40] Примечания: 40

«Фах» — валлийское ласковое обращение к женщине — созвучно с непристойным английским словом.

— Ты отвратителен. И даже не пытайся объяснить.

— «Фах» — это женский вариант «бах». Если я говорю «Сим-бах», это все равно как я бы сказал «милый старина Сим».

— Я тебе никакая не «милая старина»! — взвилась доктор. — Я — вольный дух, а не ножны от меча какого-нибудь мужика! Мой мир — мир бесконечных возможностей выбора.

— Могу себе представить, — сказала Пенни.

— Профессор Рейвен, вы меня чрезвычайно обяжете, если устремите все свое внимание на либретто, порученное вам, — сказала доктор. — Вы уловили *Symbolismus?* Это будет замечательно современная идея. Подлинный союз мужчины и женщины для спасения и возвышения человечества.

— Но как это может быть замечательно современная идея, если она верна Гофману и началу девятнадцатого века? — возразил Холлиер. — Вы забываете, что наша задача — восстановить и завершить произведение искусства давно ушедшей эпохи.

— Профессор Холлиер, вы удивительно тупы — так может быть туп только человек высочайшей учености, и потому я вас прощаю. Но во имя

любви ко всемогущему Господу и Его Пречистой Матери, чье изображение Артур носил на щите, я умоляю вас заткнуться, оставить творческую работу творцам и прекратить ваше научное блеяние. Настоящее искусство, когда бы его ни создали, едино и говорит о великих вещах жизни. Вбейте себе это через толстый череп в свою великую, прекрасно оборудованную голову и заткнитесь, заткнитесь, *заткнитесь!*

Доктор ревела богатым контральто, какое не посрамило бы и Моргану Ле Фэй.

— Ничего, — сказал Холлиер. — Я не оскорблен. Я выше бессвязных выкриков пьяной мегеры. А вы все давайте вперед, выставляйте себя ослами. Я умываю руки.

— Клем, ты хочешь сказать, что умываешь руки до следующего раза, когда тебе захочется вмешаться, — сказала Пенни. — Я тебя знаю.

— Пожалуйста! Ну пожалуйста! — теперь на крик перешел Даркур. — Такое поведение не подобает собранию ученых и людей искусства. И я не намерен больше этого слушать. Вы ведь знаете, о чем говорит доктор, да? Это было впервые сказано… ну, но крайней мере, Овидием. Он где-то говорит, кажется в «Метаморфозах», что великие истины жизни — это воск и все, что мы

можем, — оставлять на нем различные оттиски. Но воск вечен и неизменен…

— Я помню, — сказала Мария. — Он говорит: ничто не сохраняет свою собственную форму, но Природа, великая обновительница, вечно творит новые формы из старых. Во всей вселенной ничто не погибает — лишь изменяется, приобретая новый вид…

— И это правда, которая лежит в основе всех мифов! — заорал Даркур, махая руками на Марию, чтобы она замолчала. — Если мы верны великому мифу, то можем придавать ему какую угодно форму. Сам миф — воск — не меняется.

Доктор, которая в это время зажигала сигару, вытащенную из серебряного футлярчика, сказала Пауэллу:

— Я начинаю видеть, как буду действовать. Сцена, в которой Артур прощает любовников, будет в ля миноре, и в этот ля минор мы будем впадать и выпадать из него до самого конца, когда волшебник провожает Артура, уплывающего на Остров Снов. Вот как мы это сделаем.

— Конечно, Нилла, именно так мы и сделаем, — сказал Пауэлл. — Минор вылепляется прямо из воска, горячий и крепкий. И не стоит суетиться насчет соответствия оперы девятнадцатому веку.

Она будет художественно верна ему, но не стоит ждать буквальной верности, потому что… ну, потому что буквальная верность девятнадцатому веку была бы фальшивой. Вы видите?

— Да, я очень хорошо вижу, — сказал Артур.

— Артур, ты такой милый, — сказала Мария. — Ты все видишь лучше нас всех.

— А я вижу, что нас ждет множество трудностей, — сказал Холлиер.

— Я вижу воск, и я уверен, что вы двое, крепкие профессионалы, видите форму, и я совершенно удовлетворен, — сказал Даркур.

— Благослови тебя Господь, Сим-бах, — сказал Пауэлл. — Ты — старый добрый Мерлин, вот ты кто, друг мой.

— Пауэлл, этот Мерлин, этот волшебник, он важнее в твоей истории, чем я думала, — заметила доктор. — В оперной терминологии его можно назвать пятым персонажем, и певца на эту роль следует подбирать очень обдуманно. Какой у него голос, как ты думаешь? У нас есть бас-негодяй, баритон-герой, тенор-любовник, контральто-злодейка, колоратурное сопрано — героиня и меццо-сопрано — простушка, эта обманутая девушка… как там ее… Элейна. А кто будет Мерлин? Что вы скажете о *haute contre* — ну

знаете, такой высокий, неземной голос?

— Контртенор? Чего же лучше! Он будет не похож на всех остальных.

— Да, и очень полезен в ансамблях. Эти мужские альты похожи на трубу, только звучат странно…

— Призыв рожка из края феи,[41] — процитировал Пауэлл.

— Вам, кажется, либретто понравилось в том виде, в каком его изложил Герант, — заметил Артур.

— О, нам придется кое-что менять в ходе работы, — ответила доктор. — Но это хорошая схема: связная и простая для людей, которые не могут следить за сложным сюжетом, но с глубоким скрытым значением. У оперы должно быть основание: что-то большое, как несчастная любовь, или месть, или какой-нибудь вопрос чести. Потому что людям это нравится, понимаете? Они сидят, все эти биржевые брокеры, богатые пластические хирурги и менеджеры страховых компаний, такие серьезные и спокойные, словно ничто в мире их не задевает. Они приходят слушать «Богему» или «Травиату» и вспоминают какую-нибудь любовную интрижку — со сто-

---

[41] Примечания: 41

Теннисон А. Рожок (из поэмы «Принцесса»). Пер. Эммы Соловковой.

роны она показалась бы жалкой, но это была их молодость; или они слушают «Риголетто» и вспоминают, как генеральный директор унизил их на последнем заседании совета директоров; или «Макбета» — и думают, как хорошо было бы убить генерального и занять его место. Только они это не думают — они это чувствуют, очень глубоко, под поверхностью, и там, в глубине, оно кипит, это страдание, в примитивном подземном мире их душ. Но они ни в чем не признаются, даже если вы на колени встанете. Опера, как ни одно другое искусство, говорит с сердцем человека, потому что она по сути своей проста.

— А что вы видите как глубоко заложенное основание нашей оперы?

— Очень красивую концепцию, — ответил Пауэлл. — Победу, выхваченную из пасти поражения. Если у нас получится, у зрителей будет рваться сердце. Артур не нашел Грааль, потерял жену, потерял корону, потерял саму жизнь. Но его благородство и величие духа, когда он прощает Гвиневру с Ланселотом, делают его героем. Он подобен Христу: с виду — побежденный, но на самом деле — величайший из победителей.

— Вам понадобится первоклассный исполнитель, — заметила Мария.

— Да. И я уже присмотрел одного, но не скажу вам, кто это, пока он не подпишет контракт.

— Это алхимическая тема, — сказала Мария. — Золото из отбросов.

— Знаете что? Я думаю, вы правы, — отозвался Холлиер. — Мария, вы всегда были моей лучшей студенткой. Но если вам удастся вытянуть такое из подлинной постановки девятнадцатого века, вы будете поистине алхимиками.

— Мы и есть алхимики, — сказала доктор. — Это наша работа. Но теперь мне нужно идти домой. Завтра я должна быть свежа, чтобы просмотреть все заметки Гофмана, пока то, о чем мы сегодня говорили, не изгладилось из памяти. И это надо сделать до того, как я поговорю с малюткой Шнакенбург, что бы она из себя ни представляла. Поэтому я желаю вам доброй ночи.

Доктор, прямая, как гренадер, твердым шагом обошла комнату, пожимая всем руки.

— Позвольте, я вызову вам такси, — сказал Даркур.

— Нет, ни в коем случае. Прогулка меня освежит. Здесь не больше двух миль, и ночь очень свежа.

С этими словами доктор схватила Марию в объятия и поцеловала ее долгим поцелуем.

— Не беспокойтесь, малютка, — сказала доктор. — Ваш ужин был очень хорош. Конечно, не аутентичен, но лучше настоящего. Совсем как наша опера.

И она удалилась.

— Господи, вы видели, сколько эта женщина выпила? — воскликнула Пенни, когда доктор ушла. — И ни разу — ни единого разу за все шесть часов — не сходила в туалет. Она вообще человек?

— Определенно человек, — сказала Мария, вытирая рот носовым платком. — Она засунула мне язык в рот чуть не до самых гланд.

— Меня она не стала целовать, вы заметили? — спросила Пенни. — Впрочем, я и не горю желанием. Старая похабная лесбиянка. Берегитесь, Мария. Она на вас глаз положила.

— До чего мерзкая сигара! Я теперь неделю буду ходить с этим вкусом во рту, — пожаловалась Мария. Она взяла свой бокал, отхлебнула шампанского, звучно прополоскала рот и сплюнула в пустую чашку из-под кофе. — Я никогда не думала, что привлекательна в этом смысле.

— Вы привлекательны во всех смыслах, — произнесла Пенни, впадая в слезливое настроение. — Это нечестно.

— Раз уж вы начали себя жалеть, мне пора домой, — сказал Холлиер.

— Клем, я тебя отвезу, — сказала Пенни. — У меня широкая, незлопамятная душа, хоть ты и паршивый старый негодяй.

— Благодарю вас, профессор Рейвен, — ответил Холлиер. — Я бы предпочел не ехать в вашей машине. В последний раз, когда вы подвозили меня домой, нас остановил полицейский — из-за вашего стиля вождения.

— Он просто придирался.

— А когда мы подъехали к моему дому, вы хулигански загудели, чтобы разбудить мою мать. Нет, Пенни. Вы под хмельком, и я с вами не поеду.

— Под хмельком! Ничего себе! А кто все время засыпал, пока Герант рассказывал? Клем, ты просто какая-то старая баба!

— Мы живем в век женской эмансипации, и я не понимаю, почему название старой женщины служит оскорблением.

Холлиер осторожно поднялся и осторожно, с достоинством удалился. Пенни помчалась за ним, изрыгая нечленораздельные проклятья.

— Конечно, она его повезет, — заметил Даркур. — Клем скуп, как герой Мольера, и никогда не откажется поехать бесплатно. Я выжду минуту

и тоже пойду.

— Ой, Симон, когда ты ко мне зайдешь? — спросила Мария. — Мне надо с тобой посоветоваться. Кроттель хочет опять прийти и ныть про эту несчастную книгу Парлабейна.

— Я приду, когда надо будет, — сказал Симон и ушел.

— Герант, что ты скажешь о докторе? — спросил Артур последнего оставшегося гостя.

— О, она затмила факелов лучи![42] Я просто без ума от старушки Вдаль-Ссут. Мы с ней поладим, как два голубка, — точно, как два голубка.

— Она не поддалась на твои чары, — заметила Мария.

— Именно. Поэтому мы отлично сработаемся. Я презираю легкодоступных женщин.

Он поцеловал Марию в щеку и ушел. Мария и Артур оглядели большую разгромленную комнату. Свечи на Круглом столе оплыли и догорали. Посреди стола стояло Блюдо изобилия, из которого ни один гость ничего не взял — то ли потому, что это не отвечало бы подлинности шестого века, то ли по другой причине. Как любой стол после долгого ужина, этот был жалким зрелищем.

---

[42] Примечания: 42
Шекспир У. Ромео и Джульетта. Пер. Т. Щепкиной-Куперник.

— Не беспокойся, любимая, — сказал Артур. — Это был замечательный ужин, очень удачный, честно. Но я никак не могу понять твоих университетских друзей. Почему они так ссорятся?

— Это ничего не значит, — объяснила Мария. — Просто они терпеть не могут, когда кто-то получает преимущество, пусть хоть на минуту. Доктор разворошила змеиное гнездо.

— Да, она провокатор, это уж точно.

— Провокатор в хорошем смысле, как ты думаешь?

— Как она сама сказала, мы должны надеяться, — сказал Артур и повел жену на ложе. Точнее, к двум отдельным ложам, так как Артур еще не полностью оправился.

4
ЭТАГ в чистилище

Старушка Вдаль-Ссут! Да понимает ли Пауэлл, кто такая доктор Гунилла Даль-Сут, если так ее называет? Но мне кажется, он сказал это любя — таков уж его театральный обычай; у людей театра очень мало уважения к чему бы то ни было, кроме того, что они видят в зеркале.

Доктор вселяет в меня надежду. Это человек, которого я понимаю. Заслышав звуки лиры Орфея, она узнаёт их и не боится следовать за ними, куда бы они ее ни завели.

Я обожаю доктора. Не как мужчина женщину, но как художник — друга. Она удивительно похожа на того, кто при жизни был моим самым близким и дорогим другом, — Людвига Девриента. Он был прекрасным актером и сострадательнейшим, милейшим человеком.

Какие вечера мы проводили вместе в таверне Люттера, через площадь от моего дома! Но почему же в таверне? Почему я был не у домашнего очага, с милой, верной, долготерпеливой женой Михалиной?

Думаю, потому, что Михалина меня слишком сильно любила. Она была такая заботливая! Когда я писал свои сказки, полные ужаса и гротеска, и мои нервы были словно раскалены, и я боялся, что моя душа навсегда затеряется в опасном подземном мире, откуда приходили мои сказки, — Михалина сидела рядом, следила, чтобы мой стакан был всегда полон, и порой держала меня за руку, если я дрожал, — ибо я дрожал, когда идеи приходили слишком быстро и были слишком страшны. Я клянусь, это именно она спасла меня от безумия. И как же я ее наградил? Конечно, не ударами, резкими словами и грубостью, в отличие от многих мужей. В бытность мою судьей я наслушался ужасных историй про домашних тиранов. Мужчина может быть респектабельнейшим из обывателей для своих знакомых, но чудовищем и дьяволом для своих домашних. Только не я. Я любил Михалину, уважал ее, давал ей все, что позволяли мои немалые заработки. Но я всегда сознавал, что жалею ее, а жалел я ее потому, что она была мне так предана, никогда не допрашивала, обращалась со мной не как с возлюбленным, а как с хозяином.

Конечно, по-другому и не могло быть. Слишком быстро после нашей свадьбы я взял ученицу, Юлию

Марк, и полюбил ее всей душой и всем сердцем; все обворожительные женщины в моих книгах — это портреты Юлии Марк.

Все дело в ее голосе. Я учил ее петь, но мало чему мог научить — такой у нее был дар и такой голос, какие редко встречаются. Конечно, я мог привить ей тонкий вкус., научить составлять музыкальные фразы, но, садясь за клавикорды, я терялся в мечтаниях о любви, и выставил бы себя дураком — а может, и байроническим демоном-любовником, — если бы Юлия хоть как-то меня поощряла. Ей было шестнадцать лет, и она знала, что я ее люблю, хоть и не знала, насколько сильно, потому что была слишком молода, и преклонение такого, как я, казалось ей в порядке вещей. Очень молодые девушки уверены, что созданы для того, чтобы их любили; порой они даже бывают добры к любящим, но не понимают их по-настоящему. Должно быть, Юлия втайне мечтала о каком-нибудь молодом офицере, блистательном, в мундире, со сногсшибательными усами, который должен был покорить ее своей доблестью и аристократическими манерами. И что ей был учитель музыки, маленький человечек со странным острым личиком, который репетировал с ней гаммы, пока она не научилась

их петь с чарующей точностью, никогда не фальшивя? Приятный пожилой мужчина, почти на двадцать лет старше ее; в тридцать шесть его бакенбарды, скобками обрамляющие крысиную мордочку, уже начали седеть. Но я любил ее, пока не понял, что, может быть, умру от этой любви, — а Михалина знала, но не сказала мне ни единого ревнивого слова, не упрекнула меня.

Так чем все кончилось? Когда Юлии было семнадцать лет, ее мать, тупая мещанка, нашла ей выгодную партию — некоего Грепеля, в возрасте под шестьдесят, но богатого. Надо думать, решила, что судьба богатой вдовы — лучшее будущее для ее дочери. Добрая женщина не знала, что Грепель весьма прилежно пьет. Он был не из тех, кто во хмелю буянит и хорохорится, и не из романтических, меланхолических пьяниц — он просто упорно квасил. Я до сих пор не позволяю себе думать, какова была семейная жизнь Юлии с Грепелем. Возможно, он ее бил, но вероятнее, что он просто был груб, мрачен, обижал ее и никогда не узнал и не желал знать ничего важного о том, чем была или могла бы стать моя Юлия. Как бы то ни было, через несколько лет их брак был расторгнут; по милосердию Господню дело рассматривалось и развод утверждался

не в моем суде. От прекрасного голоса к тому времени не осталось и следа, и от моей Юлии — тоже; она превратилась в достойную жалости обеспеченную женщину, основное занятие которой — изливать свои несчастья подружкам за бесчисленными чашечками кофе и нездорово жирными пирожными. Но я сохранял в своем сердце прекрасную девушку шестнадцати лет и теперь вижу, что во многом придумал ее сам. Ибо Юлия тоже в душе была мещанкой, и все мои труды как учителя ничего не могли бы с этим поделать.

Кто такие мещане? О, среди них попадаются очень милые люди. Они — соль земли, но не ее перец. Мещанин — это человек, который совершенно спокойно живет в совершенно неизведанном мире. Полагаю, что моя милая, милая, верная Михалина тоже выла мещанкой, ибо она никогда не пыталась исследовать какой-либо мир, кроме мира своего мужа, а этого было недостаточно, поскольку Э. Т. А. Гофман не мог любить ее так же страстно, как Юлию.

Была ли это трагедия? О нет, нет, мои дорогие высокообразованные друзья. Мы же знаем, что такое трагедия. Это — героические фигуры, которые повествуют миру о своих страданиях и

требуют, чтобы мир благоговейно трепетал. Мелкий судейский чиновник, желающий быть великим композитором, а на деле ставший необычным писателем, и его преданная жена-полька не могут быть героями трагедии. Таким обычным людям теш не место. В лучшем случае они могут стать материалом для мелодрамы, в которой тяжкие жизненные превратности перемежаются комическими и даже фарсовыми сценами. Эти люди не живут под свинцовым небом трагедии. Для них меж тучами порой появляются просветы.

Таким просветом, редким днем хорошей погоды, была для меня дружба с Людвигом Девриентом. Человеком, решительно не принадлежащим к царству мещан. Он был из великой театральной семьи, сам прекрасный актер, человек такого магнетизма и красоты, что, может быть, удовлетворил бы и девичьи мечты Юлии Марк. Меж нами была дружба и взаимная симпатия, которая полностью устраивала нас обоих, — мы оба принадлежали к числу людей, которых как раз стало модно называть романтиками. Мы исследовали мир, насколько могли. К своему прискорбию, должен сказать, что компасом в этих исследованиях обычно служила бутылка.

Бутылка шампанского. В те дни оно еще не стало невозможно дорогим, и мы могли прибегать к нему часто и усердно. Этим мы и занимались вечер за вечером в таверне Люттера, и кучка друзей приходила послушать, как мы беседуем и бродим по миру, о котором мещане ничего не знают.

Когда я умер — в возрасте сорока шести лет, от осложнений разных хворей, не последней из которых было употребление шампанского, — Девриент выставил себя посмешищем в глазах непонимающих людей и завоевал уважение тех, кто способен понять. После моих похорон он пошел к Люттеру и славно напился. Во хмелю он не был буен, не делал глупостей и не шатался, но полностью уходил в тот, другой мир, который мещане отказываются исследовать и даже боятся нанести на свои аккуратные карты вселенной. Людвиг сунул в карманы две бутылки шампанского, пошел на кладбище и уселся на моей могиле; и всю холодную ночь 25 июня 1822 года он беседовал со мной в своей наилучшей манере. Часть вина он выпил, а часть вылил на могилу. Я не мог ему отвечать, но та ночь, без сомнения, была лучшей из проведенных нами вместе и очень скрасила мне одиночество первых загробных дней.

В этой женщине я будто вновь вижу Девриента

или что-то от него. Поэтому, когда вечеринка окончилась, я пошел рядом с ней по осенним улицам этого странного, но не враждебного города. Я довел ее до дому, а потом всю ночь напролет сидел у ее постели. Говорил ли я с ней в ее снах? Пусть ответят те, кто разбирается в этом лучше меня, но я надеюсь, что да. В докторе Гунилле я узнал еще одного романтика; на это звание претендуют многие, но оно дается от рождения, и нас таких мало.

IV

1

Мистер Мервин Гуилт наслаждался происходящим. Вот, думал он, какова должна быть практика юриста — в шикарных апартаментах сидят незаурядные люди, и он, Мервин Гуилт, раздает им наставления для их же блага, черпая из сокровищницы своего понимания закона и человеческой природы.

Каждый дюйм мистера Мервина Гуилта был преисполнен юриспруденции. Это даже слабо сказано, потому что дюймов в мистере Гуилте было сравнительно мало, а натуры законника — очень много. Он не мог быть никем иным. Он всегда носил воротник-бабочку, как бы намекая, что лишь несколько минут назад снял адвокатскую мантию и беффхен[43] и теперь пытается приспособить величественные манеры и риторику, подобающие в суде, к нуждам повседневной жизни. Он всегда ходил в темном костюме-трой-

[43] Примечания: 43

Беффхен — элемент профессиональной одежды средневековых ученых, английских и канадских адвокатов, а также литургического одеяния протестантских священнослужителей; представляет собой белый нагрудник в виде двух ниспадающих лент. Воротник-бабочка (воротник с острыми углами, отогнутыми под 45°) также является деталью одежды канадских адвокатов.

ке — на случай, если его срочно вызовут в суд. Он питал особое пристрастие к латыни; пусть римские священники перестали кутать свои требы в этот язык, как в покров тайны, но Мервин Гуилт оставался ему верен. Как объяснял мистер Гуилт, этот язык столь ёмок, столь точен, столь соответствует духу юриспруденции во всей своей философии и в своих звуках, что незаменим как орудие, когда надо сломить волю оппонента или клиента. Юриспруденция же до сих пор как-то не очень жаловала мистера Гуилта, но он был в любой момент готов принять ее внезапные милости.

— Для начала, — сказал он, улыбаясь сидящим вокруг стола, — я хотел бы подчеркнуть, что желание моего клиента разрешить этот вопрос не запятнано интересами *ad crumenam,*[44] то есть он не ищет денег, но вызвано исключительно его врожденным уважением к *ius natural,*[45] то есть к тому, что справедливо и законно.

Он улыбнулся Марии, потом Холлиеру, потом Даркуру. И даже крупному мужчине с большими черными усами, которого представили просто

---

[44] Примечания: 44
От кошелька *(лат.).*

[45] Примечания: 45
Естественное право *(лат.).*

«мистер Карвер». Наконец он улыбнулся — особо лучезарно — своему клиенту Уолли Кроттелю, сидящему рядом.

— Верно, — сказал Уолли. — Не думайте, что я в это влез, только чтоб урвать.

— Уолли, позволь, я буду говорить, — сказал мистер Гуилт. — Давайте выложим карты на стол и посмотрим на дело *ante litem motam,* то есть до его перенесения в суд. Вот смотрите: отец мистера Кроттеля, покойный Джон Парлабейн, по своей кончине оставил рукопись романа под заглавием «Не будь другим». Верно?

Мария, Холлиер и Даркур кивнули.

— Он оставил ее мисс Марии Магдалине Феотоки, ныне миссис Артур Корниш, и профессору Клементу Холлиеру, назначив их распорядителями своего литературного наследства.

— Не совсем, — сказал Холлиер. — Он оставил рукопись и письмо с просьбой, чтобы ее напечатали. Термин «распорядители литературного наследства» не употреблялся.

— Это мы еще увидим, — сказал мистер Гуилт. — Возможно, он подразумевался. Пока что у меня и моего клиента не было возможности исследовать это письмо. Думаю, настало время его предъявить. Вы со мной согласны?

— Совершенно исключено, — сказал Холлиер. — Это письмо носило глубоко личный характер, и лишь малая часть его была посвящена роману. Все, что Парлабейн хотел предать публичности, он написал в других письмах, которые отправил в газеты.

Мистер Гуилт театрально порылся у себя в портфеле и вытащил какие-то газетные вырезки.

— Вы имеете в виду те части, где упоминается о его несчастливой решимости покончить с собой из-за пренебрежения, которым был встречен его великий роман?

— А также те, в которых подробно описывалось чудовищное убийство профессора Эркхарта Макварииша, — сказал Холлиер.

— Это не имеет отношения к рассматриваемому нами делу, — возразил мистер Гуилт, с негодованием отметая нетактичное упоминание.

— Имеет, конечно, — сказал Холлиер. — Он знал, что убийство наделает шуму и привлечет внимание к его книге. Он сам так говорил. Он предложил рекламировать его книгу как «роман, ради публикации которого автор пошел на убийство». Или что-то в этом роде.

— Давайте не будем отвлекаться на то, что не имеет отношения к делу, — чопорно сказал ми-

стер Гуилт.

— Может, он съехал с катушек и сам не знал, что несет, — предположил Уолли Кроттель.

— Уолли! Говорить буду я, — сказал мистер Гуилт и сильно пнул Уолли под столом. — Пока у нас нет неопровержимых доказательств обратного, будем предполагать, что покойный мистер Парлабейн отдавал себе полный отчет в своих словах и поступках.

— Я полагаю, его правильней называть «брат Джон Парлабейн», даже несмотря на то, что он сбежал из монастыря и порвал связи с орденом Священной миссии. Не следует забывать, что он был монахом, — сказала Мария.

— В наше время многие обнаруживают, что не совсем подходят для религиозной жизни, — сказал мистер Гуилт. — Нас не волнует точный статус мистера Парлабейна на момент его прискорбной кончины — *felo de se*,[46] и кто без греха, пусть первый бросит камень. Нас волнует то, что он приходится отцом моему клиенту. И мы сейчас говорим о статусе моего клиента как наследника мистера Парлабейна.

— Но откуда мы знаем, что Уолли — его сын? —

---

[46] Примечания: 46
Самоубийство *(лат.).*

спросила Мария. Она, как женщина, хотела сразу перейти к сути дела, и церемонные подходы мистера Гуилта ее раздражали.

— Потому что так всегда говорила моя покойная мамка, — объяснил Уолли. — «Парлабейн — твой отец, верней верного; только с ним изо всех мужиков у меня бывал настоящий организм». Так моя мамка всегда говорила…

— Извини! Извини! Позволь мне вести эту беседу, — перебил его мистер Гуилт. — Мой клиент вырос в семье покойного Огдена Уистлкрафта, чье имя навеки вошло в анналы канадской поэзии, и его жены, покойной Элси Уистлкрафт, которая неоспоримо является матерью моего клиента. Мы не собираемся отрицать, что миссис Уистлкрафт и покойного Джона Парлабейна связывала страсть, — назовем это отношениями *ad hoc,*[47] возможно имевшими место два или три раза. Зачем нам это отрицать? Кто осмелится бросить камень? Какая женщина выходит замуж за поэта? Конечно, женщина, способная на сильные страсти и глубокое женское сочувствие. Ее жалость простерлась и на этого друга семьи, с которым их роднил обширный литературный

[47] Примечания: 47
Непостоянный, преходящий *(лат.).*

темперамент. Жалость! Жалость, друзья мои! И сострадание к великому, одинокому, ищущему гению. Вот в чем все дело.

— Нет, — упрямо сказал Уолли. — Это все организм.

— Оргазм, Уолли! Ради бога, сколько раз я должен тебе повторять? Оргазм! — прошипел мистер Гуилт.

— А мамка всегда говорила «организм», — не сдавался Уолли. — Я-то знаю. И не думайте, что я на нее в обиде. Мамка есть мамка, и я ей по гроб жизни благодарен, и мне не стыдно. Мерв, ты же сам чего-то такое говорил, вроде по-латыни, «де мортос» или что-то вроде. Ты сказал, это значит «не след хаять свою родню».

— Уолли! Хватит! Беседовать буду я.

— Угу, но я только хочу объяснить про мамку. И Уистлкрафта — он не любил, когда я называл его папкой, но вообще был добрый. Он никогда со мной про все это не говорил, но я знаю, что он не держал обиды на мамку. Большой обиды. Он как-то сказал, стихами: «не лови стыдом, когда могуч и был идет на приступ», как говорит тот крендель.

— Какой же это крендель? — Даркур подал голос впервые за весь вечер.

— Ну этот крендель, у Шекспира.[48]

— Ах, у Шекспира! Я думал, это Уистлкрафт сам сочинил.

— Нет, это Шекспир. Уистлкрафт готов был смотреть сквозь пальцы на всю эту историю. Он понимал жизнь, хоть и не был докой по части организма.

— Уолли! Обрати внимание, что здесь присутствует дама.

— Ничего, — сказала Мария. — Я думаю, меня можно назвать женщиной, знающей свет.

— И прекрасной специалисткой по творчеству Рабле. — Холлиер улыбнулся Марии.

— Ага! Рабле? Это француз, из старых? Покойник? — спросил мистер Гуилт.

— Подлинно великие люди бессмертны, — сказала Мария и вдруг поняла, что цитирует свою мать.

— Очень хорошо, — сказал мистер Гуилт. — Значит, мы можем беседовать более свободно. Вы все тут люди ученые, университетские, и нет нужды напоминать вам о великих переменах, происшедших за последние годы в общественном

---

[48] Примечания: 48

Приведена искаженная цитата из пьесы У. Шекспира «Гамлет», акт III, сц. 4: «...не зови стыдом, // Когда могучий пыл идет на приступ». Пер. М. Лозинского.

мнении, можно даже сказать — в общественной морали. Разделение между приемлемым и безнравственным — как в газетах, так и в современной беллетристике, хоть я и не могу уделять много времени чтению беллетристики — практически исчезло. Сдержанность речи — где она? Безнравственность — где она? Мы живем в век полной фронтальной наготы в театре и кино. Со времени процессов над авторами «Улисса» и «Леди Чаттерлей» закон был вынужден начать все это учитывать. Если вы, миссис Корниш, изучаете Рабле — я его, признаться, не читал, но у него сложилась определенная репутация даже среди людей, незнакомых с его творчеством, — следует предположить, что вы привыкли к нарушениям пристойности. Но я отклоняюсь от темы. Давайте вернемся к тому, что нас интересует на самом деле. Мы признаем, что покойная миссис Уистлкрафт вела не совсем моральную жизнь…

— Но ее нельзя назвать безнравственной, — заметила Мария. — Сейчас сказали бы, что она была эмансипированной женщиной.

— Совершенно верно. Вижу, миссис Корниш, у вас почти мужской ум. Давайте продолжим. Мой клиент — сын Джона Парлабейна…

— Доказательства, — перебил мистер Карвер. —

Где ваши доказательства?

— Простите, друг мой. Я не знаю, какое отношение вы имеете к этому делу. Я предположил, что вы в каком-то смысле *amicus curiae* — друг суда, — но если вы собираетесь вмешиваться и советовать, я должен знать, почему это и кто вы такой.

— Меня зовут Джордж Карвер. Я работал в полиции, потом вышел в отставку. Сейчас понемножку занимаюсь частными расследованиями, от нечего делать.

— Понимаю. И вы расследовали это дело?

— Не сказал бы. Возможно, буду, если будет что расследовать.

— То есть, будучи свидетелем нашей сегодняшней встречи, вы считаете, что расследовать нечего?

— Пока нет. Вы ничего не доказали.

— Но вы думаете, что вам известно нечто имеющее отношение к делу.

— Я знаю, что Уолли Кроттель устроился на работу охранником в это здание, сказав среди прочего, что работал в полиции. Это не так. В полицию его не взяли. Недостаточный уровень образования.

— Возможно, он проявил неосмотрительность,

но это не имеет никакого отношения к делу. А теперь слушайте: я сегодня с самого начала сказал, что мы с моим клиентом полагаемся на *ius naturale* — естественную справедливость, то, что законно и правильно, то, с чем повсеместно согласятся достойные люди. Я утверждаю, что мой клиент имеет право на всяческие материальные блага, проистекающие от публикации романа его отца «Не будь другим», поскольку мой клиент — законный наследник Джона Парлабейна. И еще я утверждаю, что профессор Клемент Холлиер и миссис Артур Корниш помешали публикации книги по личным соображениям. Все, чего мы требуем, — это признание естественного права моего клиента, иначе мы будем вынуждены обратиться к закону и настаивать на возмещении после публикации книги.

— Как вы это себе представляете? — спросил Даркур. — Невозможно заставить кого-либо опубликовать книгу.

— Это мы посмотрим, — ответил мистер Гуилт.

— Если посмотрите, то увидите, что никто не хочет ее публиковать, — сказала Мария. — Когда разразился скандал, многие издатели попросили разрешения ознакомиться с книгой и отвергли ее.

— Ага! Чересчур скандальная оказалась, а? — воскликнул мистер Гуилт.

— Нет, чересчур скучная, — ответила Мария.

— Книга представляла собой в основном изложение философии Джона Парлабейна, — объяснил Даркур. — Его философия была лишена оригинальности, и автор все время нудно повторялся. Он перемежал длинные философские пассажи автобиографическим материалом — эти вставки он считал литературными, но я вас уверяю, что они таковыми не были. Чудовищно скучная вещь.

— Автобиографическим? — оживился мистер Гуилт. — Он наверняка изобразил живых людей, и вышел бы отменный скандал. Политиков небось? Больших шишек из мира бизнеса? И потому издатели не захотели браться за книгу?

— Издатели прекрасно чувствуют, где приемлемое, где безнравственное и где интереснейшая область их соприкосновения, — заметила Мария. — Как говорит мой любимый писатель Франсуа Рабле: *«Quaestio subtilissima, utrum chimaera in vacuo bombinans possit commedere secundas*

intentiones».[49] Я знаю, что могу говорить по-латыни, ведь вы прекрасно владеете этим языком.

— Ага, — сказал мистер Гуилт, выражая этим междометием массу юридических тонкостей, хотя в его глазах явственно замерцало непонимание. — И как же именно вы применяете эту прекрасную юридическую максиму к интересующему нас делу?

— Ее можно очень приблизительно истолковать как предположение, что вы стоите на банановой кожуре, — объяснила Мария.

— Хотя нам и во сне не привиделась бы возможность опровержения ваших прекрасных *argumentum ad excrementum caninum,*[50] — заметил Холлиер.

— Что он говорит? — спросил Уолли у своего консультанта.

— Говорит, наши аргументы — дерьмо собачье. Но мы не обязаны сносить такое обращение от людей только потому, что у них есть деньги и положение в обществе. У нас все равны перед

---

[49] Примечания: 49

«Хитроумнейший вопрос о том, может ли Химера, в пустом пространстве жужжащая, поглотить вторичные интенции» *(лат.). Рабле Ф.* Гаргантюа и Пантагрюэль. Ч. 2, гл. 7. Пер. Н. М. Любимова.

[50] Примечания: 50

Довод из собачьих экскрементов *(лат.).*

законом. А с моим клиентом обошлись несправедливо. Если бы книгу опубликовали, он имел бы право на долю прибыли, а может, и на всю прибыль от публикации. Но вы не стали публиковать книгу, и мы хотим знать почему. Именно за этим мы сюда пришли. Я думаю, мне следует изъясняться более прямо. Где рукопись?

— Не думаю, что вы имеете право задавать такие вопросы, — сказал Холлиер.

— У суда будет такое право. Вы говорите, что издатели отвергли рукопись?

— Если совсем точно, — ответила Мария, — один издатель сказал, что готов за нее взяться, если ему разрешат отдать ее «литературному негру», который попробует что-нибудь сделать из сюжета, выкинув всю философию и морализаторство Парлабейна. Издатель сказал, что из книги может выйти сенсация — подлинная исповедь убийцы. Но это шло совершенно вразрез с тем, чего хотел Парлабейн, и мы отказались.

— То есть книга была непристойной и содержала узнаваемые портреты реальных людей, а вы их прикрываете.

— Нет-нет; насколько я помню этот роман — ту часть, которую я прочел, — он вовсе не был непристойным. На взгляд современного читате-

ля, — сказал Холлиер. — Там были упоминания о гомосексуальных сношениях, но Парлабейн описывал их так завуалированно и туманно, что эти сцены в общем невинны по сравнению с описанием того, как он убил беднягу Макварища. Не столько непристойны, сколько скучны. Он не был хорошим беллетристом. Издатель, о котором упомянула миссис Корниш, хотел сделать книгу действительно непристойной, но мы не согласились унижать таким образом нашего давнего коллегу Парлабейна. Что непристойно и что нет — это вопрос вкуса; можно любить пряное, но не должно любить мерзкое. А мы не доверяли вкусу этого издателя.

— Вы хотите сказать, что не прочитали весь роман? — произнес мистер Гуилт, тщательно изображая недоверие.

— Его было невозможно читать. Даже преподавателю, который по должности прочитывает огромную массу нудных документов. Моя природа взбунтовалась где-то на четырехсотой странице, и последние двести пятьдесят остались непрочитанными.

— Совершенно верно, — сказала Мария. — Я тоже не смогла дочитать.

— И я, — сказал Даркур. — Хотя, я вас уверяю,

приложил все усилия.

— Ага! — воскликнул мистер Гуилт. Этими словами он словно прыгнул на них, подобно тигру. — Вы признались, что ничего не знаете об этой книге, которую ее автор считал одним из величайших произведений художественной литературы в жанре философского романа за всю историю человечества! И все же вы посмели не дать книге ходу! Уму непостижимая наглость!

— Ее никто не хотел печатать, — объяснил Даркур.

— Прошу вас! Не перебивайте! Сейчас я говорю не как представитель закона, а как человеческая душа, заглядывающая в бездну омерзительного интеллектуального и морального падения! Слушайте меня! Если вы не передадите нам рукопись, чтобы мы могли исследовать ее и передать на экспертизу специалистам, то вам грозит судебное преследование, а уж суд возьмет вас за живое, можете мне поверить!

— И нет никаких других вариантов? — спросила Мария. Казалось, эта угроза не взволновала ни ее, ни двух преподавателей.

— Мы с моим клиентом хотим огласки не больше, чем вы. Знаю, может показаться странным, что адвокат советует вам не идти в суд. Но я пред-

лагаю заключить полюбовное соглашение.

— То есть вы хотите, чтобы мы от вас откупились? — уточнил Холлиер.

— Это не юридический термин. Я предлагаю полюбовное соглашение в сумме, скажем, миллион долларов.

Холлиер и Даркур, у которых был опыт публикации книг, в голос расхохотались.

— Вы мне льстите, — сказал Холлиер. — Вы знаете, сколько платят университетским преподавателям?

— Вы не один в этом деле, — улыбнулся мистер Гуилт. — Я полагаю, миссис Корниш без труда найдет миллион долларов.

— Конечно, — согласилась Мария. — Я швыряю такие деньги нищим на паперти.

— Шутки неуместны, — сказал мистер Гуилт. — Миллион — наше последнее слово.

— На каких основаниях?

— Я уже упоминал о *ius naturale,* — сказал мистер Гуилт. — Обыкновенная справедливость и человеческая порядочность. Напомню еще раз: мой клиент — сын Джона Парлабейна, и на момент своей смерти покойный не знал, что у него есть сын. В этом вся суть. Если бы мистер Парлабейн об этом знал на момент составления

завещания, неужели он оказался бы способен пренебречь правами собственного ребенка?

— Насколько я помню мистера Парлабейна, он был способен на что угодно, — пробормотал Даркур.

— Ну так закон не позволил бы ему ущемить права прямого наследника. Сейчас не восемнадцатый век, знаете ли.

— Думаю, пора и мне вставить свои два цента, — вмешался мистер Карвер. Весь вечер он сидел очень неподвижно — как большая кошка. Сейчас он был похож на бодрствующую и очень зоркую кошку. — Вы не сможете доказать, что ваш клиент — сын Джона Парлабейна.

— Ах, не смогу?

— Да, не сможете. Я навел справки и нашел как минимум трех свидетелей — думаю, при желании нашлось бы и больше, — которые имели доступ к телу миссис Уистлкрафт в ее жаркие и знойные дни. Простите за непристойность, но один из моих информаторов сказал, что она была известна под кличкой «Оплата при входе», а бедняга Уистлкрафт слыл рогоносцем и посмешищем, хоть и был порядочным человеком и хорошим поэтом. Кто же отец ребенка? Мы этого не знаем.

— Еще как знаем, — возразил Уолли Кроттель. — Что вы скажете про организм, а? Что скажете? У нее никогда не было организма ни с кем из этих людей, которых вы упомянули. Она сама так говорила; всегда была очень откровенной. А без организма откуда ребенок-то возьмется? А? Без организма — никуда.

— Уж не знаю, что вы читали на эту тему, мистер Кроттель, но вы глубоко ошибаетесь, — заявил мистер Карвер. — Взять хоть мою жену: у нас четверо прекрасных детей, один только на прошлой неделе сдал экзамен на адвоката — да, он юрист, как и вы, мистер Гуилт. Так вот, у моей жены никогда не бывало этой штуки, ни разу за всю жизнь. Она сама мне говорила. И она совершенно счастливая женщина, вся семья ее обожает. Вы бы видели, что творится у нас дома в День матери! Может, этот ваш организм, как вы его называете, и прекрасная штука, но для дела он не нужен. Так что лопнул ваш организм. Я имею в виду, он не годится как доказательство.

— Ну, моя мамка так говорила, — сказал Уолли, храня сыновнюю верность даже в поражении.

Мистер Гуилт, кажется, лихорадочно обшаривал собственный мозг — вероятно, в поисках полезной латинской цитаты. Он решил по воз-

можности обойтись уже использованной.

— *Ius naturale,* — сказал он. — Естественная справедливость. Неужели вы будете ее отрицать?

— Да, когда ее исполнения требуют под дулом пистолета, и притом незаряженного. Во всяком случае, я бы посоветовал именно так поступить, — сказал мистер Карвер с видом кошки, выпустившей когти.

— Пойдем, Мерв, — сказал Уолли. — Нам пора.

— Я еще не закончил, — ответил его консультант. — Я хочу добраться до сути дела: почему они скрыли завещание?

— Завещания не было, — сказал Холлиер. — Было личное письмо.

— Самое близкое к завещанию, что осталось от покойного Джона Парлабейна. И еще я хотел бы знать, почему эти люди отказываются предъявить *corpus delicti,* под которым, поспешу заметить, я имею в виду не тело покойного Джона Парлабейна, хотя эти слова часто неверно толкуют именно в таком смысле, но материальный объект, имеющий отношение к преступлению. Я говорю о рукописи романа, послужившей предметом данного спора.

— Потому что у нас нет причин ее предъяв-

лять, — ответил мистер Карвер.

— Ах, нет?! Ну что ж, посмотрим!

Мистер Карвер опять стал ласковой кошечкой с бархатными лапками. Выражение, к которому он прибег, оказалось несколько неожиданным в устах бывшего сотрудника Королевской канадской конной полиции, ныне — частного сыщика.

— Хренушки! — сказал он.

Мистер Мервин Гуилт медленно поднялся со своего места, всячески демонстрируя негодование и что-то нечленораздельно бормоча. Он удалился с видом человека, который уходит лишь для того, чтобы вернуться с новыми силами, и клиент потащился следом за ним. Мистер Гуилт выказал свои чувства лишь тем, что изо всех сил хлопнул дверью.

— Слава богу, избавились от них, — сказала Мария.

— От Гуилта — может быть. Насчет Кроттеля я бы на вашем месте не был так уверен, — сказал мистер Карвер, поднимаясь со стула. — Я про него кое-что знаю. Такие люди могут повести себя очень мерзко. Вы, миссис Корниш, лучше держите ухо востро.

— Почему именно я? Почему не профессор Холлиер?

— Психология. Вы женщина, притом богатая. Люди вроде Уолли очень завистливы. С профессора, извините меня за прямоту, взять нечего, а богатая женщина — сильное искушение для таких, как Уолли. Я просто хочу предупредить.

— Спасибо, Джордж. Вы были великолепны, — сказал Даркур. — Вы пришлете мне счет?

— Подробный и полный, — ответил Карвер. — Но я должен сказать, что сам получил удовольствие. Этот Гуилт мне никогда не нравился.

Мистер Карвер отказался от предложения выпить и ушел, ступая бесшумно, как кошка.

— Где ты нашел этого замечательного человека? — спросила Мария.

— Мне удалось помочь его старшему сыну, когда он был студентом. Я немножко попреподавал ему латынь — ровно столько, сколько надо, — объяснил Даркур. — Джордж — мой ключ к подземному миру. Такой ключ нужен каждому.

— Если это все, то я пойду, — сказал Холлиер. — Мне надо закончить кое-какую работу. Но, Мария, простите меня — вам, как научному сотруднику, следовало бы знать, что никогда ничего нельзя выбрасывать. Если мы начнем выбрасывать вещи, что останется ученым будущего? Это же элементарная цеховая солидарность. Начните

выбрасывать вещи, и что тогда делать исследователям?

И он ушел.

— Симон, тебе тоже надо прямо сейчас уходить? — спросила Мария. — Я хотела задержать тебя на пару слов… может, выпьешь?

Симон подумал, что этот вопрос совершенно излишний. Его снедало такое авторское беспокойство за книгу, что он всегда готов был выпить. Надо будет последить за собой. Пьяница-священник. Пьяница-профессор. Какой позор!

— Я налью тебе, если хочешь, — сказал он. — Мне кажется, ты стала пить гораздо больше по сравнению с университетом.

— Мне и нужно больше, чем тогда. Мне досталась крепкая голова от дяди Ерко. Не волнуйся, Симон, мне далеко до алкоголизма. Я никогда не сравняюсь с доктором Гуниллой Даль-Сут.

— Доктор просто героически сражается с бутылками. Но я почему-то не думаю, что она страдает, как это называют американцы, алкогольной зависимостью. Она любит вино и может много выпить не пьянея. Вот и все.

— Ты не составишь мне компанию?

— Боюсь, я и так слишком много пью, а у меня не такая замечательно крепкая голова, как у вас

с доктором. Я выпью газировки.

— Симон, ты справишься со всем, что на тебя навалили?

— Меня беспокоит эта опера — что абсурдно, потому что она вообще не моя забота. Вы с Артуром хотите выкинуть на нее сотни тысяч долларов, но деньги-то ваши. Вы, конечно, делаете это для Пауэлла?

— Нет, конечно нет — хотя со стороны это наверняка именно так и выглядит. Он действительно все время подталкивал нас и не дал хорошенько все взвесить. То есть я думала, мы просто дадим немного денег Шнак, чтобы она поработала с рукописями Гофмана, какие найдутся. Но Пауэлл предложил поставить оперу. Он так бурлил энтузиазмом и валлийской риторикой, что заразил Артура, и ты помнишь, как Артур сразу увлекся всей этой затеей. И вот мы здесь — увязли по шею в чем-то таком, чего не понимаем.

— Надо думать, Пауэлл понимает.

— Да, но мне совершенно не нравится сочетание Артурова идеализма и пауэлловской пронырливости. Если опера не провалится с треском, то победителем наверху кучи окажется Пауэлл. Надо полагать, Шнак тоже выиграет, хоть я и не понимаю, как именно; но Пауэлл, как

организатор всей затеи, обязательно окажется в лучах прожекторов, а ему только этого и надо.

— Почему ты не возражаешь, чтобы Шнак что-то выиграла, но так настроена против Пауэлла?

— Он использует Артура, а следовательно, и меня. Он карьерист. Он известный актер, но знает, что на этом поприще двигаться дальше особо некуда, и хочет стать режиссером. Он очень хорошо знает и понимает музыку, а потому хочет поставить оперу, причем на высшем уровне. Во всем этом нет ничего плохого. Послушать Пауэлла, так это Артур ринулся в авантюру очертя голову, но на самом деле наоборот. Это Пауэлл всех втянул. Думаю, он воспринимает Артура и меня только как ступеньки лестницы, ведущей к успеху.

— Мария, тебе надо хорошо понимать, что такое меценат. Я много знаю о меценатстве, навидался в университете. Либо ты пользуешься, либо тобой пользуются. Либо ты требуешь самый большой кусок пирога, и добиваешься, чтобы галерею, театр или что там назвали в честь тебя, и настаиваешь, чтобы твой портрет повесили в фойе, и смотрели тебе в рот, и слушали каждый твой чих затаив дыхание, — либо ты просто денежный мешок. Работая с артистами, следует понимать,

что имеешь дело с людьми непревзойденной наглости и невероятной самовлюбленности. Поэтому надо либо поставить себя жестко и добиваться, чтобы тебя каждый раз выдвигали на первый план, либо участвовать из чистой любви к искусству. Не жалуйся, что тебя используют. И вообще будь великодушна. Думаю, излишне напоминать, что великодушие — добродетель столь же редкая, сколь и прекрасная.

— Я совершенно не отказываюсь быть великодушной, но мне обидно за Артура. Симон, мне совершенно противно, отвратительно, ужасно и гадко второе название нашей оперы — «Великодушный рогоносец». Я чувствую, что Артура пытаются поиметь.

— Рогоносцев не имеют — их обманывают.

— Я об этом и говорю.

— Если такое происходит с Артуром, то виноват в первую очередь он сам.

— Симон, то, что я тебе сейчас скажу, я не могу сказать больше ни одному человеку в мире. Ты меня понимаешь, когда я говорю, что Артур — подлинно благородный человек. Слово «благородство» вышло из моды. Видимо, оно недемократично. Но никакое другое слово к Артуру не подходит. Он замечательно щедрый и открытый

человек. Но именно поэтому он ужасно уязвим.

— Он очень привязан к Пауэллу. Не буду напоминать, что он позвал его в свидетели на вашу свадьбу.

— Да, и до тех пор я о Пауэлле ни разу не слышала, а тут он вдруг явился — весь из себя элегантный и красноречивый. Наглый и пронырливый, как кошка парикмахера, по старой пословице.

— Ты разгорячилась, а мне от твоей горячности хочется пить. Я все-таки выпью с тобой.

— Выпей. Симон, мне нужен твой мудрый совет. Я беспокоюсь и сама не знаю почему.

— Нет, знаешь. Ты думаешь, что Артур слишком привязан к Пауэллу. Верно?

— Не в том смысле, в каком ты думаешь.

— Скажи мне, в каком смысле я думаю.

— Ты думаешь, что между ними что-то гомосексуальное. В Артуре этого нет ни капли.

— Мария, для такой потрясающе умной женщины ты потрясающе наивна. Если ты думаешь, что гомосексуальность — это грубые случки в турецких банях или грязные поцелуи и гнусные

пальцы, треплющие шею,[51] в каком-нибудь подозрительном мотеле, ты очень далека от истины. Ты говоришь — и я тебе верю, — что Артур благороден и это совсем не в его стиле. По совести говоря, я думаю, что это и не в стиле Пауэлла. Но навязчивое обожание человека, чертам характера которого он завидует, готовность дарить этому человеку дорогие подарки и идти ради него на большой риск — тоже гомосексуальная любовь, если ветер подует в нужную сторону. Благородные люди обычно неосторожны. Артур — носитель подлинно артуровского духа: он ищет чего-то необычного, приключения, путешествия, поисков Грааля — и Пауэлл, кажется, предлагает именно это, а потому Артур не может перед ним устоять.

— Пауэлл — эгоистичный негодяй.

— И при этом, не исключено, великий человек или же великий артист, что совсем не то же самое. Как Рихард Вагнер, который тоже был эгоистичным негодяем. Помнишь, как он использовал и водил за нос несчастного короля Людвига?

---

[51] Примечания: 51

Шекспир У. Гамлет. Акт III, сц. 4. Пер. А. Радловой:

А вы за пару грязных поцелуев,
За пальцы гнусные, что вас ласкают
И шею треплют вам, во всем сознайтесь.

— Людвиг был жалким безумцем.

— И благодаря его безумию у нас теперь есть несколько великолепных опер. Не говоря уже о совершенно безумном замке Нойшванштайн, который обошелся баварцам буквально в королевское состояние и окупился уже раз двадцать, просто привлекая туристов.

— Ты ссылаешься на кусок мертвой истории и на отвратительный скандал, который тут совершенно ни при чем.

— История не бывает мертвой, потому что она все время повторяется, хотя и не одними и теми же словами, не в одном и том же масштабе. Помнишь, мы на артуровском ужине говорили про воск и форму? Воск человеческого опыта — всегда один и тот же. Это мы штампуем его разными формами. Одержимость, роднящая художника и его покровителя, стара как мир, и я думаю, что тут ты ничего не изменишь. А ты говорила с Артуром?

— Ты не знаешь Артура. Когда я поднимаю эту тему, он говорит, что я должна иметь терпение, что омлет не сделаешь, не разбивая яиц, и все такое… Он совершенно спокоен и ничего не понимает.

— А ты сказала ему, что он влюблен в Пауэлла?

— Симон! За кого ты меня принимаешь?

— За ревнивую женщину, например.

— Думаешь, я ревную к Пауэллу? Я его ненавижу!

— О Мария, неужели ты ничему не научилась в университете?

— О чем ты?

— Вот о чем: ненависть баснословно близка к любви, и оба этих чувства означают одержимость. Слишком сильно подавляемые страсти иногда перекидываются в свою противоположность.

— Мои чувства к Артуру никогда не перекинутся в противоположные.

— Смело сказано. А что же ты чувствуешь к Артуру?

— А разве не видно? Я ему предана.

— Эта преданность тебе очень дорого обходится. Впрочем, преданность всегда дорого обходится.

— Эта преданность обогатила мою жизнь так, что не выразить словами.

— Кажется, ты заплатила тем, что до брака было тебе дороже всего на свете.

— Даже так?

— Да, так. Насколько ты продвинулась в работе над той неопубликованной рукописью Рабле, которую нашли в бумагах Фрэнсиса Корниша? Я

помню, как ты была счастлива, когда она нашлась — благодаря этому чудовищу, Парлабейну, — и Холлиер тогда сказал, что это будет твое становление как ученого. Ну вот, прошло около полутора лет. Как подвигается твоя работа? Насколько я помню, Артур преподнес тебе рукопись как свадебный подарок. Вот это важный момент: жених дарит невесте то, что потребует приложения всех ее сил и талантов. Что-то такое, что может значить для нее даже больше, чем этот брак. Репутация ученого и особая слава — практически в кармане. Опасный подарок, но Артур рискнул. Так чем ты занималась все это время?

— Училась жить с мужчиной, училась управлять этим домом, а он — полная противоположность цыганской *цэре*,[52] где я жила с матерью и дядей, и всему их чудовищному жульничеству с *бомари,* и всем *вурситорям*,[53] витавшим над тем чудовищным местом. Я туда хожу, только когда ты меня заставляешь…

— Не забывай, именно Артур перевез остатки цыганского барахла в подвал этого самого дома,

---

[52] Примечания: 52

Цэра — шатер *(цыг.).*

[53] Примечания: 53

Вурситори — в цыганской мифологии опасные и коварные богини домашнего очага.

где ты изображаешь знатную даму…

— Симон! Я не изображаю никакую знатную даму! Господи, ты говоришь совсем как моя мать! Я пытаюсь окончательно и полностью вжиться в современную цивилизацию и оставить все это прошлое позади.

— Похоже, современная цивилизация, которая для тебя заключается по большей части в Артуре, отрезала тебя от лучшего в тебе. Я не имею в виду твое цыганское происхождение, об этом давай забудем на минуту. Отрезала от того, что привлекло тебя в Рабле, — великого гуманного духа и великого смеха, спасающего нас в жестоком мире. Я помню, что с тобой творилось, когда ты заполучила эту рукопись: тебе и сам профессор М. Э. Скрич был не брат, а ведь он все равно что митрофорный аббат среди вас, раблезианцев. А теперь… теперь…

— Я мало-помалу ужалась до размеров обычной жены?[54]

— У тебя все еще хорошая память на цитаты. Хоть что-то пока можно спасти из развалин.

— Симон, не смей называть меня развалиной!

— Хорошо. И я не буду свысока смотреть на

---

[54] Примечания: 54

«Я мало-помалу ужмусь до размеров обычной жены» (*Конгрив У.* Так поступают в свете. Пер. Р. Н. Померанцевой).

женщин только потому, что они — жены. Но ведь можно быть одновременно ученым и женой? И одно другому не во вред, а, наоборот, на пользу?

— За Артуром приходится присматривать, это отнимает много времени.

— Ну что ж… не позволяй ему тебя поглотить. Я только это и хотел сказать. А почему ты за ним так много присматриваешь? До женитьбы он сам как-то справлялся.

— У него были потребности, которые оставались неудовлетворенными.

— Ага.

— Не говори «ага», как Мервин Гуилт! Ты думаешь, я про секс.

— А разве нет?

— Теперь ты проявляешь наивность. Оно и видно — безбрачный священник.

— А кто в этом виноват, скажи на милость? Я дал тебе шанс меня просветить.

— Что сделано, того не переделать.

— Увы, мы ничего и не делали.

— Ты прекрасно знаешь, что у нас ничего не вышло бы. Думаю, из тебя муж еще хуже, чем из Артура.

— Ага! Вот теперь я точно скажу — ага!

— Я устала, а ты этим пользуешься.

— Так всегда говорят женщины, когда их загоняют в угол. Слушай, Мария, я твой старый друг, наставник и воздыхатель. Что не так у вас с Артуром?

— Все так.

— Может, все слишком хорошо?

— Может быть. Я ведь не ребенок, я не требую постоянных восторгов, страсти и всего такого. Но в нашем вареве явно не хватает перца.

— А как у вас с организмом?

— В этом аспекте я где-то между миссис Карвер и миссис Уистлкрафт, этим фейерверком в образе человеческом. Для организма нужны двое, знаешь ли… Давай лучше не будем использовать это слово, даже в шутку, а то оно случайно выскользнет в серьезном разговоре, и мы навеки опозорим себя в глазах мыслящих людей.

— В моих разговорах это слово редко всплывает, но, я думаю, ты права. Так что, твоя супружеская жизнь скучнее, чем ты ожидала?

— Я и сама не знаю, чего ожидала.

— Может, ты ожидала чаще видеть Артура? Кстати, где он на этот раз?

— В Монреале. Завтра вернется. Он вечно куда-нибудь уносится по делам. Корниш-трест, конечно, требует постоянного внимания.

— Ну… я бы и хотел дать тебе какой-нибудь хороший совет, но не могу. Все семьи разные, и всем приходится искать свое решение. Я считаю, тебе нужно обязательно вернуться к работе и найти какое-нибудь собственное занятие, связанное с наукой, но, кроме этого, мне совершенно нечего тебе посоветовать…

— И не надо ничего советовать. Огромное спасибо тебе за то, что ты меня выслушал. У нас вышел настоящий, правильный *диван* — так это называют цыгане.

— Прелестное слово.

— Извини, что я навела на тебя тоску.

— Ты никогда не наводишь тоску. Но если ты не восстановишь свой былой прекрасный раблезианский дух, это может случиться — и будет поистине ужасно.

— Честный обмен. Можешь навести на меня тоску своими бедами.

— Я тебе про них уже рассказал. Во всяком случае, про оперу сказал. И еще эта книга. Она сидит у меня в голове как гвоздь.

— Ага!

— Ну и кто теперь подражает Мервину Гуилту?

— Я. У меня для тебя кое-что есть. Это касается дяди Фрэнка, и я уверена, что это будет полней-

ший сюрприз. Погоди.

Мария ушла к себе в кабинет, и Даркур ухватился за возможность — нет, не налить себе новую порцию, но пополнить свой стакан. Щедрой рукой.

Мария вернулась с письмом.

— Прочти и возрадуйся, — сказала она.

Письмо было в квадратном конверте — из тех, какими англичане пользуются для личной переписки. Солидное письмо, толстая пачка бумаги, каждая страница — на фирменном бланке «Пони-клуба западных графств». Страницы исписаны крупным, четким почерком, характерным для мало пишущих людей, которые склонны транжирить бумагу и тем немедленно вызывают подозрение любого научного работника. Содержание письма полностью гармонировало с его внешним видом. Письмо гласило:

> Дорогой кузен Артур!
>
> Да, именно кузен, потому что ты племянник моего отца, покойного Фрэнсиса Корниша, так что мы с тобой из одного стойла, как говорят мои коллеги. Я давно уже должна была тебе написать, но закрутилась — дела по фирме и все такое.

Ты, конечно, не хуже меня знаешь, как это бывает. Но я первый раз услыхала про тебя прошлой весной, когда канадский коллега спросил, знаю ли я тебя, и оказалось, что ты у себя в стране большая шишка. Конечно, я и раньше знала, что на нашем фамильном древе где-то сбоку болтаются канадцы, потому что мой дедушка, тоже Фрэнсис Корниш — и отец твоего дяди, который был моим отцом, — ой, получается очень запутанно! В общем, он женился на канадке, но мы с ним никогда не были знакомы, потому что он занимался чем-то очень секретным, и я даже не буду притворяться, что хоть что-то в этом понимаю. И мой отец тоже. В семье про него никогда не упоминали по ряду причин, в том числе и потому, что он сам был очень секретный. «Вообщем», как сейчас пишут, он был моим отцом, и в некоторых отношениях очень хорошим отцом, потому что щедро заботился обо мне в смысле денег, но я ни разу его не видела с тех пор, как была слишком маленькая, чтобы его как следует узнать, — в общем, ты понял. Он женился

на своей кузине Исмэй Глассон — темной лошадке, насколько я понимаю, — и меня воспитали в семейной усадьбе, не в Чигуидден-Холле, а в Сент-Колумбе, потому что моей бабушкой была его тетя Пруденс, и там она как раз жила с дедушкой, которого звали Родерик Глассон. Ой, что это я! Конечно, она с ним жила в том смысле, что она была его женой, — здесь все чисто, уверяю тебя. Сент-Колумб в конце концов пришлось продать, и там теперь птицефабрика, но мне удалось купить флигель, и теперь я оттуда руковожу своей маленькой конюшней — я главная шишка в «Пони-клубе западных графств», как ты видишь по бланкам, на которых я пишу это письмо. Боюсь, у меня просто нету никакой другой бумаги, потому что я прямо по свои обширные бедра увязла в бизнесе по разведению пони, а он скучать не дает — ты не поверишь! Короче, в ноябре я приезжаю в Канаду, потому что меня пригласили судить на вашей Королевской зимней ярмарке — прыжки через барьеры и все такое, — и, насколько я понимаю, там будут участвовать детки,

которые просто обожают своих пони и мечтают выиграть! Я жду не дождусь, когда их увижу! Я и тебя хотела бы увидеть. Так что я тебя наберу, когда пони-бизнес меня отпустит, и, может, у нас получится попить чайку и обменяться семейными новостями! Наверняка ты про меня вообще не слыхал, разве что кто-нибудь упомянул про Малютку Чарли — это я! И не такая уж я теперь малютка, скажу тебе! Так что надеюсь тебя увидеть, шлю тебе миллион родственных поцелуев, хоть мы еще и не знакомы!

С любовью,

Чарлотта Корниш

— Ты знал, что у дяди Фрэнка был ребенок? — спросила Мария.

— Я знал, что он оставил пожизненное содержание с ежеквартальной выплатой некой Чарлотте Корниш, — мне сказал Артур. Но это могла быть какая угодно престарелая родственница. Я видел в приходской книге запись о браке Фрэнсиса и его кузины Исмэй Глассон, но ни слова о ребенке. Какой бы я ни был идиот, но, шныряя по Корнуоллу, я все же разнюхал, что Фрэнсис был женат

на Исмэй Глассон. Но когда я начал наводить о ней справки, все пришипились и сделали вид, что ничего не знают. И никто ни слова не сказал ни про Малютку Чарли, ни про «Пони-клуб». В общем, детектив из меня так себе. Конечно, все Глассоны куда-то пропали, а когда я связался с сэром Родериком, ныне живущим в Лондоне, он отнесся к этому крайне холодно и не нашел времени со мной повидаться. Подумать только! Но Малютка Чарли, судя по всему, не мастерица писать письма.

— Но она — живая, настоящая. Она должна была что-нибудь слышать про дядю Фрэнка, хоть она его и не помнит. Может, это золотая жила для твоей книги, а, Симон?

— Я слишком осторожен и не ожидаю ничего такого. В этом письме как будто слышится фырканье и ржанье, верно? Но оно — как луч света в очень темном царстве нашего неведения о жизни Фрэнсиса Корниша.

— Значит, мы оба что-то почерпнули из этого *дивана* — не много, но хоть что-то.

2

Даркур ушел, и Мария отправилась в постель, оставив Артуру записку с просьбой разбудить ее, когда он приедет из аэропорта. Мария всегда так делала, и Артур всегда игнорировал эти просьбы — он был очень заботлив и не желал понимать, что она хочет, чтобы ее разбудили, хочет его видеть и говорить с ним.

Мария не стала читать книгу, чтобы уснуть. Она, как правило, не читала в кровати. Вместо этого она обдумывала какую-нибудь тему, которая ее в конце концов усыпляла. Что-нибудь серьезное, надежное, старую знакомую тему, но не слишком трудную, чтобы не прогнать сон.

Что выбрать на сегодня? Даркур велел Марии не подавлять свою раблезианскую натуру; не морить голодом полнокровный раблезианский юмор, который в полной мере принадлежал ей до встречи с Артуром; не ужиматься до размеров обычной жены, а то она не сможет быть настоящей женой. Хорошая тема, наводящая сон, — семикратный смех Бога. Кажется, о гневе Бога, о Его отмщении, о карах и многоразличном недовольстве современный мир и без того

хорошо знает, даже несмотря на все и всяческие попытки выкинуть Бога из головы. Хорошо, будем думать о Его семикратном смехе.

Идея семикратного смеха на взгляд современной религии покажется очень странной. Она принадлежит гностикам, а потому, конечно, еретическая. В рамки христианства не укладывается Бог, который смеется. То, что Бог мог возрадоваться тому, что Он сотворил, и что вся Вселенная родилась из Его радости, — сама мысль об этом полностью чужда миру, одержимому серьезностью, легко переходящей в уныние. Что же такое семикратный смех?

Первым был смех, из которого «стал свет», как говорится в Книге Бытия. Потом — Смех Тверди, то есть Вселенной, которую мы только начали осваивать — можно сказать, попробовали космос одним пальцем ноги, как купальщик холодную воду. Мы сочиняем страшилки про космические корабли, невидимо шпионящих за нами зеленых человечков с антеннами и общее ощущение своей неполноценности перед беспредельным пространством. Каково это Богу — неизвестно, но нам точно не очень смешно.

А третий смех? Это был Смех Разума, верно? Вот такого Бога, кажется, можно полюбить — такого,

который «воссмеял в жизнь» разум, как только уготовал для него место. Древние мыслители считали, что разум — это Гермес, а Гермес — очень подходящее олицетворение Разума, ибо он чрезвычайно многообразен, изменчив, двойствен, неоднозначен, но если воспринимать его правильно, то он — жизнерадостнейшее творение в своей неустанной изобретательности. А что было дальше?

Четвертый смех называется Смехом Продолжения рода — сюда относится не только секс, но всякий рост и размножение. Все же секс был определенно частью этого смеха, если и не всем смехом; как, должно быть, смеялся Бог, ошеломляя Гермеса такой невероятной задумкой! И как, должно быть, смеялся Гермес, когда эта великолепная шутка до него дошла! Хотя Бог и Гермес наверняка знали, что до многих людей она так и не дойдет и что они даже, если можно так выразиться, испортят шутку. И вот — чтобы справиться с людьми, не понимающими шуток, Бог рассмеялся опять, и возникла Судьба, или Предопределение. По сути, тот самый воск, на котором, как уверял Даркур, мы все оттискиваем свою печать, не всегда зная, что она такое.

Господь, катаясь от смеха на своем престо-

ле, знал, что Судьба не может работать вне определенных рамок. Поэтому он, видимо уже изнемогая от смеха, воссмеял Время, чтобы Судьба могла действовать последовательно, и тем самым дал людям, лишенным чувства юмора, возможность до скончания веков препираться о природе Времени.

Но тут Бог — может быть, с подачи Гермеса — понял, что он, кажется, чересчур суров к созданиям, которые населят сотворенный мир. Он рассмеялся в последний раз, и плодом этого смеха стала Психея, Душа. Этот смех дал всему творению, и в первую голову — человечеству, шанс соприкоснуться с Господним весельем. Не овладеть им и, уж конечно, не понять его полностью, но найти способ присоединиться к нему хоть отчасти. Бедняжка Психея! Бедняжка Душа! С каким упорством наш мир мешает ей на каждом шагу! Он считает ее — если вообще вспоминает о ее существовании — мрачной, бестелесной девой, по большей части неспособной отличить свой духовный локоть от своей же метафизической задницы! И никто не понимает, что она — истинная супруга и соратница Гермеса.

Вот и все. От усилий, которые понадобились, чтобы выудить из памяти давно лежащие там све-

дения, Марию потянуло в сон. Но она еще успела осмыслить заново слова Симона, заклинавшего ее не морить голодом свою раблезианскую натуру. У Марии тоже есть Гермес и Душа, и она должна жить с ними в истинной дружбе, иначе перестанет быть Марией и ее брак пойдет под откос.

Ей нельзя забывать, что Рабле знал и любил легенды об Артуре и питался их духом, даже пародируя их. И конечно же, она будет сильнее любить своего собственного Артура, если не станет принимать его чересчур всерьез. Великодушие? Разумеется. Но избыток добродетели чересчур легко переходит в слабость.

Мария уснула. Артур, вернувшись около часу ночи и прочитав записку, улыбнулся с нежностью и пошел в другую спальню, чтобы не будить жену.

3

— Хотите, я покошу вам траву?

Казалось бы, простой вопрос. Но в устах Хюльды Шнакенбург эти слова, обращенные к доктору Гунилле Даль-Сут, были знаком полной капитуляции, актом признания вассальной зависимости — словно Генрих Четвертый стоял босиком на снегу в Каноссе.

Шнак и доктор работали вместе уже две недели. Только что подошло к концу их шестое совместное занятие. Начали они не слишком удачно. Доктор увидела в Шнак «женщину из народа» — не крестьянку, а городскую простолюдинку — и говорила с ней откровенно свысока. Шнак же увидела в докторе очередную скучную наставницу — может, и высокообразованную, но не очень одаренную, да еще и высокомерную. Если с Уинтерсеном Шнак была мрачна и сварлива, то с доктором — откровенно груба и злобна, доктор же отвечала ей ледяной вежливостью. Но вскоре они начали уважать друг друга.

Шнак всегда обязательно выясняла, в чем заключаются достижения ее преподавателей. Обычно это оказывался солидный объем ничем

не примечательной музыки, разрабатывающей модное направление, но почти без экспериментов; что-то пару раз исполнялось и получило осторожное одобрение слушателей, которые были в курсе модных веяний; очень редко эти сочинения выходили за пределы Канады. Да, это была музыка, но она, если пользоваться выражением Шнак, не цепляла. Шнак искала что-нибудь поинтереснее. В опубликованных работах доктора Шнак увидела нечто такое, что ее зацепило. Такое, с чем — Шнак точно знала — она не может равняться, безошибочно узнаваемый, неповторимый голос. Впрочем, доктора никак нельзя было бы причислить к величайшим композиторам мира. Критики, как правило, называли ее работы «примечательными». Однако это были лучшие критики. Доктор, одна из лучших учениц Нади Буланже, впервые привлекла к себе внимание струнным квартетом, в котором слышался свой язык, индивидуальный голос, а не голос ее великой учительницы. Шнак приступила к чтению нот со сдержанностью, поначалу — даже с презрением; но потом сдержанность пришлось отбросить, ибо эту музыку несомненно отмечала дивная ясность мышления, выраженная традиционными методами, но

в совершенно независимой манере. Работа была недлинная; для музыки — очень сухая, точная, строго обоснованная. Но более позднюю скрипичную сонату не стала бы высмеивать даже Шнак; она знала, что написанное ею с этим не сравнится. Говорить об уме в музыке — слишком туманно и недостойно музыкальных критиков, но подобрать другого слова не удалось бы. И каждая последующая работа Гуниллы Даль-Сут показывала тот же выдающийся ум: Сюита для кларнета и струнных, Второй струнный квартет, симфония скромных масштабов (по сравнению с капитальными трудами, требующими больше сотни исполнителей, по примеру мастеров девятнадцатого века), набор песен — настоящих песен, а не просто размеренных звуков, издаваемых голосом в состязании с роялем, и наконец — Реквием по Бенджамену Бриттену, от которого у Шнак перехватило дыхание. У нее больше не было сомнений: наконец-то она нашла своего Учителя. Реквием был даже не то что умный, а главное — глубоко прочувствованный и яркий; Шнак знала, что ей не хватает именно этих качеств, и, к своему крайнему удивлению, поняла, что жаждет их обрести. Она была вынуждена признать, что это — настоящая музыка.

Однако все статьи, посвященные доктору в различных справочниках, подчеркивали, что она сильнее всего именно как педагог. Она училась у Нади Буланже; специалисты по истории музыки утверждали, что она, как никто другой, воплотила в себе дух своей великой наставницы. Никто не утверждал, что она так же хороша, как Буланже, или отличается от нее; критики непоколебимо уверены, что ни один живущий человек в подметки не годится никому из покойников.

Значит, учитель? Такой, которого можно по-настоящему уважать? Шнак до сих пор не осознавала, что больше всего на свете хочет найти учителя; чтобы сделать это открытие, ей пришлось преодолеть собственное ослиное упрямство. И вот в конце шестой встречи она предложила покосить доктору газон. Шнак обрела своего наставника.

Газон и впрямь нужно было срочно косить. Доктору до сих пор не доводилось жить в отдельном доме, но кафедра музыковедения поселила ее в приятном домике на тихой улочке совсем рядом с университетом. Домик принадлежал семье профессора, который уехал в годичный саббатический отпуск, забрав с собой жену и детей. Домик был очень домашний, уютный. Мебель,

хоть и не разломанная, громко свидетельствовала, что в доме живет семья с маленькими детьми. Во всех комнатах стояли книжные шкафы, на полки которых были плотно втиснуты книги — в основном по философии; другие книги, сколько уместилось, лежали на них сверху. Детские ручонки оставили следы на стенах; все кресла провисли под тяжестью философских седалищ. В доме не нашлось ни одного полного комплекта чашек или тарелок; ложки, вилки и ножи были все разнокалиберные, из нержавеющей стали, которая все же умудрилась заржаветь. На стенах висели портреты философов — которые, как правило, не отличаются красотой — и фотографии с конференций, на которых профессор и его жена были запечатлены в окружении коллег из разных стран. Доктор не знала, какой именно отраслью философии занимается хозяин дома, но это явно была не эстетика. Осмотрев новое жилище, доктор вздохнула, сняла со стен большую часть фотографий и поставила на каминную полку свое величайшее сокровище, без которого никогда надолго не покидала парижскую квартиру, — маленькую изящную статуэтку работы Барбары Хэпуорт. Доктор понимала, что больше с этим домом ничего не поделаешь.

Но газон! Когда доктор только приехала, газон был вытоптан, как поле боя, — обычное дело для места, где играют дети. Но трава очень быстро вытянулась и превратилась в бурьян. Что делать? Доктор не знала, да ее это особо и не заботило, но она не могла отмахнуться от того факта, что газончики соседей по обе стороны аккуратно подстрижены. Обычно там, где жила доктор, трава не вела себя так нагло, или же при необходимости откуда-то приходили люди и подстригали ее. Трава росла, и доктор уже начала чувствовать себя Спящей красавицей, заточенной среди разросшегося заколдованного леса. Кроме травы, доктора беспокоило осиное гнездо над парадной дверью; а окна дома были грязны от дождей и пыльных ветров канадской осени. У доктора не было склонности к домашнему хозяйству.

И вдруг выясняется: Хюльда Шнакенбург знает, что делать с газоном!

Шнак отправилась на задний двор, где, конечно, в сарае стояла газонокосилка. Не очень хорошая, ибо профессор недалеко ушел от доктора в смысле мещанской хозяйственности. Но все же газонокосилка хоть как-то работала — то, что не могли прожевать ее престарелые челюсти, она выдирала с корнем. Шнак вооружилась

этим музейным экспонатом и принялась если не подстригать траву, то рубить ее. Она трудилась с усердием преданного раба. Грубой силой подчинив себе сорняки, она граблями собрала скошенное и еще раз выкосила весь газон. Зеленую массу она сложила в пластиковый мешок, который отправился в мусорный контейнер; к этому контейнеру доктор относилась с отвращением и старалась им по возможности не пользоваться: остатки от своих скудных трапез она запихивала в бумажные пакеты, которые потом, под покровом ночной темноты, перекидывала на газон в задний двор соседа, преподавателя богословия.

Когда трава наконец покорилась, Шнак увидела, что доктор стоит в проеме парадной двери.

— Спасибо, дорогая, — сказала та. — А теперь зайди в дом, твоя ванна готова.

Ванна? Шнак не принимала ванн. Время от времени, пасуя под давлением окружающих, она ополаскивалась под душем в раздевалке при женсовете, очень стараясь не замочить волосы. Она ужасно боялась простуд.

— Ты разгорячена и устала, — произнесла доктор. — Смотри, ты потеешь. Ты простудишься. Идем.

Шнак никогда не видала подобного. Роскошью

ванная комната профессора не сравнилась бы с Нероновой, но здесь было все, что нужно; доктор изгнала вонючие губки, полысевшие щетки, целлулоидных уточек и резиновых зверей, оставленных предыдущими хозяевами. Сама ванна была ровесницей дома — большая, старомодная, с медными кранами, на львиных лапах; она полнилась горячей водой и благоухала маслами, которыми доктор, заядлая любительница купания, пользовалась сама.

Шнак очень удивилась, когда стало ясно, что доктор не намерена уходить; более того, она жестом велела Шнак раздеваться. Это было поистине странно: в семействе Шнакенбургов принятие ванны было тайной церемонией с намеком на нечто неприличное и медицинское, наподобие клизмы. Тот, кто мылся, всегда закрывал дверь на задвижку, чтобы к нему не вломились. Шнак не в новинку было раздеваться при других людях — три мальчика, с которыми она приобрела кое-какой (очень примитивный) сексуальный опыт, были сторонниками полной наготы, но перед женщиной ей не приходилось раздеваться с самого детства, и она застеснялась. Доктор поняла это; с легким смешком, но очень ловко она стянула со Шнак вонючий свитер и

кивком велела ей вылезти из полуразвалившихся кроссовок и грязных джинсов. Несколько секунд, и Шнак стояла на коврике перед ванной уже голая. Доктор задумчиво оглядела ее:

— Какая ты грязная, дитя мое! Неудивительно, что от тебя так пахнет. Полезай в воду.

Да будет ли конец чудесам? Шнак обнаружила, что ей предстоит не купаться, но быть выкупанной. Доктор повязала поверх одежды где-то найденный ею громадный фартук, встала на колени рядом с ванной и вымыла Шнак так основательно, как та не мылась ни разу за последние двенадцать лет (то есть с того дня, когда мать приказала ей мыться самой). Как ее мылили, как терли ступни, приговаривая детскую считалочку про пальчики, — они с детства не помнили такого обращения! Мытье вышло долгим. Когда доктор наконец выдернула затычку, некогда прекрасная вода была уже серой и мутной.

— Вылезай, — велела доктор, стоя с большим полотенцем в руках.

Она принялась тереть непривычно чистое тело Шнак — с деловитостью, явно намекающей, что помощь не нужна. Вытирание перемежалось прикосновениями очень интимного характера — они удивили Шнак, ибо вовсе не походили на

грубое лапанье, свойственное трем ее бойфрендам, студентам инженерного факультета. Пока все это происходило, опять набралась полная ванна воды.

— Полезай опять, — сказала доктор. — Теперь будем мыть голову.

Шнак послушно влезла в ванну, сильно недоумевая; однако за спиной у себя она слышала звуки торопливого раздевания. Несколько секунд — и доктор тоже залезла в ванну и уселась позади Шнак, зажав ее между длинными изящными ногами. Доктор обильно поливала водой грязную голову Шнак; обильно умащала ее шампунями с восхитительно пахнущими маслами; наконец обильно прополоскала и вытерла, бесцеремонно и словно играя.

— Вот теперь ты совсем чистая девочка, — сказала доктор, смеясь. — Как тебе это нравится?

Она снова улеглась в ванну за спину Шнак, притянула ее к себе и принялась намыленными пальцами ласкать ее соски, совершенно ошеломленные таким обращением.

Шнак не могла бы сформулировать, как ей это нравится. Слова были не ее стихией, а то она сказала бы, что это — райское наслаждение. Но в памяти кое-что всплыло: все статьи в справочни-

ках кончались упоминанием того, что доктор не замужем. Ну и ну!

Потом они устроили ритуальный костер из старого тряпья Шнак. Доктор хотела сжечь его в камине, но Шнак проверила трубу — зажгла бумагу на каминной решетке, и камин тут же принялся изрыгать клубы дыма. Это подтвердило подозрения Шнак о том, что в трубе — птичье гнездо. Такое проявление хозяйственной премудрости сильно впечатлило доктора. Тряпье сожгли на заднем дворе, когда стемнело, и даже поплясали вокруг костра.

Поскольку Шнак осталась без одежды, она не могла пойти домой, да и не хотела. Они с доктором переместились в кровать. Они пили смесь рома с жирным молоком, и Шнак, лежа в объятиях доктора, поведала ей историю своей жизни — как она ее видела; эта версия удивила бы и разгневала бы ее родителей.

— Старая история, — заметила доктор. — Одаренный ребенок; родители-фарисеи. Религия, лишенная любви; жажда чего-то большего. Дитя мое, ты знаешь, кто такие фарисеи?

— Это из Библии?

— Да, но теперь это слово стало обозначать людей, которые против того, что нам с тобой

дорого, — искусства и свободы, без которой оно не может существовать. Ты читала Гофмана, как я тебе велела?

— Да, прочитала кое-какие сказки.

— Вся жизнь Гофмана была одной долгой битвой с фарисеями. Бедняга! Ты еще не читала «Кота Мурра»?

— Нет.

— Это непростая книга, но без нее ты не поймешь Гофмана. Это биография великого музыканта Крейслера.

— А я не знала, что он такой старый.

— Не Фрица Крейслера, глупая! Другого человека, Гофман его придумал. Великого музыканта и композитора, капельмейстера Иоганнеса Крейслера, непонятого романтического гения, вынужденного мириться с оскорблениями и высокомерием фарисеев, составляющих костяк общества, в котором он живет. Друг Крейслера написал книгу о его жизни и оставил на столе; кот Мурр находит книгу и пишет на обороте каждого листа свою собственную биографию. Рукопись отправляют к печатнику, который глуп и печатает все подряд как единое произведение; Крейслер и кот Мурр смешались в одной книге. Но кот Мурр — истый фарисей: он воплощает все,

что ненавидит Крейслера и ненавистно ему. Кот Мурр так подытоживает жизненную философию: *«Gibt es einen behaglicheren Zustand, als wenn man mit sich selbst ganz zufrieden ist?»* Ты понимаешь по-немецки?

— Нет.

— А надо бы. Без немецкого — очень плохая музыка. Кот говорит: «Есть ли более приятное состояние, чем довольство собой?»[55] Это — квинтэссенция фарисейства.

— Приятное состояние — например, если у тебя хорошая работа. Машинистки.

— Да, если это все, чего желает человек, и если он не способен видеть дальше. Конечно, не все машинистки такие, иначе на концертах не было бы слушателей.

— Я хочу чего-то большего.

— И найдешь. Но и приятные состояния тоже будут в твоей жизни. Вот как сейчас.

Поцелуи. Ласки, искусные и разнообразные, — Шнак и не подумала бы, что такое возможно. Полторы минуты экстаза — и глубокий покой, в котором Шнак заснула.

Доктор лежала без сна несколько часов. Она

---

[55] Примечания: 55

Цитата приведена в переводе Д. Каравкиной, В. Гриба, И. Снеговой (*Эрнст Теодор Амадей Гофман.* Житейские воззрения кота Мурра).

думала об Иоганнесе Крейслере и о себе.

4

Вино было очень хорошее. Конкретней Даркур не рискнул бы высказаться, так как не считал себя знатоком вин. Но он умел узнавать хорошее вино, когда его пил, а это вино, без сомнения, было очень хорошим. Князь Макс обратил внимание Даркура на гравированные этикетки бутылок — тонкие скупые штрихи угловатых букв гласили, что это вино отложено для хозяев виноградника. Никаких броских картин крестьянского веселья или натюрмортов старых мастеров с фруктами, сырами и мертвыми зайцами — это все для заурядных вин. В верхней части этих, во всех остальных отношениях чрезвычайно скромных, этикеток красовался замысловатый герб, а под ним девиз: *Du sollst sterben ehe ich sterbe.*

«Ты погибнешь прежде, чем я погибну», — мысленно перевел Даркур. К чему относится этот девиз — к владельцам герба или к вину в бутылках? Должно быть, к аристократам: никто не станет утверждать, что вино переживет человека, который его пьет. Допустим, юноше или девушке лет шестнадцати налили стакан вина за семейной трапезой; или ребенку дали

чуть-чуть вина, смешанного с водой, чтобы он не чувствовал себя обделенным на пиру. Неужели этот девиз утверждает, что шестьдесят лет спустя вино еще сохранит свои качества? Вряд ли. Подобные вина бывают, но их продают дорогие аукционные дома, а не торговцы вином для широкого потребления. Значит, эта похвальба, или утверждение, или угроза — может быть любое из трех или все три сразу — относится к людям, носителям герба.

Вот они, эти люди, сидят за одним столом с Даркуром. Князь Макс — ему, должно быть, хорошо за семьдесят, но он все так же прям, строен и элегантен, как когда-то в бытность молодым щеголеватым немецким офицером. На возраст князя намекают только очки, которые умудряются придавать ему изысканный вид, и поредевшие желтовато-белые волосы, тщательно набриолиненные и зачесанные прямо назад с шишковатого лба. Веселость, бьющая через край живость, неистощимый поток анекдотов и болтовни могли бы исходить от человека вдвое моложе.

Что до княгини Амалии, она была такой же прекрасной, хорошо сохранившейся и одетой к лицу женщиной, как и прошлым летом, когда Симон увидел ее впервые. Тогда она тактично

и предельно ясно дала понять: если он желает узнать определенные факты о Фрэнсисе Корнише, то должен как-то добыть для нее наброски этого самого Фрэнсиса Корниша к рисунку в стиле старых мастеров, столь активно и с такой искусной недосказанностью используемому ею в рекламе. И Даркур выполнил требование княгини.

В Национальной галерее Клерикальному Медвежатнику, как теперь мысленно называл себя Даркур, повезло точно так же, как и в университетской библиотеке. Он так же перемолвился словечком с куратором отдела рисунков — старым знакомым, которому в голову не пришло бы ни в чем заподозрить Симона; так же небрежно и быстро просмотрел рисунки в особой папке; стремительно подменил рисунки, которые должны были стать платой за откровенность княгини, рисунками из библиотеки, принесенными с собой за хлястиком жилета «Ч. З.»; и так же добродушно попрощался с приятелем, покидая архивы галереи. На рисунки еще не успели нанести гадкие метки, которые начинают звенеть, когда посетитель проходит через излишне любопытные сканеры; судя по всему, в папку вообще никто не заглядывал с тех пор, как ее доставили в галерею примерно год назад. «Ловкая работа, — подумал

Симон, — хоть и не мне себя хвалить». Он выбрал для кражи удачный день — в Оттаву как раз приехал папа римский, и все, кто мог бы, шныряя кругом, заподозрить неладное, отправились на дальнее поле — глядеть, как харизматичный религиозный лидер совершает мессу, и слушать его наставления и увещевания, обращенные к канадцам.

«Неужели я вообще всякий стыд потерял? — спрашивал себя Симон. — Неужели я теперь — самодовольный, удачливый преступник, которого не удерживают даже священные обеты?» Он не пытался ответить на это как-нибудь философски; им владела неутолимая жадность биографа. Он вышел на верный путь и не потерпит преград на этом пути. Он пожертвовал бы и спасением души — лишь бы удалось написать по-настоящему хорошую книгу. С Богом можно примириться и на смертном одре. А пока что — жизнь еще не кончилась.

— Моя жена очень довольна тем, что вы принесли, — сказал князь Макс. — Вы уверены, что это всё — что это все наброски к тому рисунку?

— Насколько я знаю, да, — ответил Симон. — Я просмотрел все рисунки Фрэнсиса Корниша — и его собственные, и его копии со старых мастеров

— и не нашел ничего относящегося к портрету княгини, кроме тех набросков, которые я вам только что вручил.

— Восхитительно, — сказал князь. — Я бы сказал, что мы и не знаем, как вас отблагодарить, но это было бы неверно. Амалия расскажет вам все, что она знает о *le beau ténébreux.* И я тоже, хотя я не был с ним близко знаком — видел его только один раз, в Дюстерштейне. Он сразу произвел на меня благоприятное впечатление. Красивый; скромный; и даже остроумный, когда вино превозмогло его скрытность. Но продолжай, дорогая. А пока — еще по стакану вина?

— Фрэнсис Корниш действительно был таков, как говорит князь, но в нем крылось много большее, — продолжила княгиня. Она пила мало: великой светской красавице и деловой женщине с умом, острым как бритва, приходится соблюдать умеренность. — Он вошел в мою жизнь как раз тогда, когда я из девочки становилась девушкой и начинала серьезно интересоваться мужчинами. Точнее, и я не шучу, любая девочка, только начав ходить, обращает внимание на мужчин и мечтает о них. Но Фрэнсис Корниш появился в нашем семейном кругу как раз тогда, когда я начала грезить о любовниках.

— Я вспоминаю Фрэнсиса, и мне странно думать, что он мог быть таким привлекательным, — сказал Симон. — К старости он превратился в гротескную фигуру.

— Я уверена, это именно погибшая красота обернулась гротеском, — ответила княгиня. — Мужчины не замечают подобных вещей, если только их не привлекают в романтическом смысле другие мужчины. У вас наверняка есть его фотографии?

— Он терпеть не мог фотографироваться, — сказал Симон.

— Тогда я могу вас удивить. У меня есть множество фотографий, снятых мною самой. Конечно, любительские, но они многое открывают. Одну фотографию я держала под подушкой, пока моя гувернантка не обнаружила ее и не запретила мне. Я сказала, что она ревнует; она рассмеялась, но я поняла по ее смеху, что попала в цель. Фрэнсис был очень красив и с таким приятным низким голосом. У него был не чисто американский выговор, а с призвуком шотландского раскатистого «р», от которого у меня таяло сердце.

— Я уже ревную, — вмешался князь.

— О Макс, не глупи. Ты же знаешь, чего стоят молодые девушки.

— Я знал, чего стоишь ты, дорогая. Но я также знал, чего стою я сам. Так что в то время я не ревновал.

— Какое противное тщеславие! — сказала княгиня. — Как бы то ни было, у каждого человека была детская любовь, которую он хранит в душе до конца жизни. Я уверена, профессор, вы знаете, о чем я говорю.

— Да, я помню одну девочку с кудряшками — мне тогда было девять лет, — сказал Даркур, пригубливая вино. — Я знаю, что вы имеете в виду. Но, прошу вас, рассказывайте дальше о Фрэнсисе.

— У него было все, что нужно, чтобы привлечь любовь молодой девушки. Даже слабое сердце. Ему приходилось следить за состоянием своего здоровья и посылать отчеты врачу в Лондон.

Князь рассмеялся.

— Да, это сердце было ему так же полезно, как и умение обращаться с кистью, — сказал он.

— И я уверена, что его сердечная слабость была не менее подлинной, чем его талант.

— Конечно. Но мы ведь знали, что такое эти его отчеты врачу?

— Ты знал, — сказала княгиня. — А я нет — во всяком случае, тогда. Ты знал многое, о чем я

понятия не имела.

— Надеюсь, вы все-таки объясните? — спросил Даркур. — Слабое сердце. Это мне известно. Конечно, он и умер от сердечного приступа. Но вы говорите, за этим крылось что-то еще?

— Я узнал о его слабом сердце с другого, лондонского конца цепочки, — объяснил князь. — Фрэнсис посылал отчеты о работе своего сердца врачу, который тут же передавал их нужным людям из министерства информации, потому что они были зашифрованными донесениями. Фрэнсис наблюдал за поездами, проходившими два-три раза в неделю мимо Дюстерштейна. Эти поезда перевозили несчастных заключенных в ближайший лагерь — концентрационный, исправительно-трудовой или что-то в этом роде. В общем, одно из тех недоброй памяти мест, откуда мало кто выходил живым.

— Вы хотите сказать, что Фрэнсис был шпионом?

— Конечно, — ответил князь. — А вы не знали? Его отец был очень известным разведчиком, и, надо полагать, он и сына приобщил к семейной профессии.

— Но *le beau ténébreux* был не очень хорошим шпионом, — заметила княгиня. — Очень мало

кто из шпионов подлинно хорош в своем деле. Надо полагать, он был не особенно важной фигурой. Он приехал в Дюстерштейн как ассистент Танкреда Сарацини, старого жулика, который реставрировал нашу родовую коллекцию картин. Сарацини, может, и не занимался шпионажем, но обожал совать нос во что попало. Он тут же вычислил Фрэнсиса. И моя бабушка тоже.

— Да, старую графиню еще никому не удавалось обвести вокруг пальца, — сказал князь. — Она видела насквозь любую уловку.

— Прошу прощения! — воскликнул Даркур. — Я ничего не понимаю. Что такое Дюстерштейн, кто такая старая графиня и что это за история со шпионажем? Вы меня совершенно запутали.

— Значит, мы сможем расплатиться сполна за ваши наброски, — сказал князь.

— У вас есть ключ к потерянным годам жизни Фрэнсиса. Я знаю, что он некоторое время провел в Европе, изучая живопись, и работал с великим Сарацини — но, кроме этого, я не знаю ничего.

— Дюстерштейн — родовое имение Амалии. Она жила там со своей бабушкой, старой графиней.

— Я была сиротой, — объяснила княгиня. — Не бедной сироткой и не сиротой из романа

Диккенса, а просто сиротой. Меня воспитывали в Дюстерштейне бабушка и гувернантка. Моя жизнь была невероятно скучной, и вдруг приехал старый Сарацини — работать над нашим собранием картин, — и вскоре после этого явился *le beau,* чтобы ему помогать. Тогда это повергло меня в полнейший восторг.

— И он был шпионом?

— Конечно, он был шпионом. И моя гувернантка, Рут Нибсмит, тоже. В годы рейха Германия кишела иностранными шпионами. Даже удивительно, что при таком обилии шпионов Британия перед войной валяла такого дурака.

— Он шпионил за ближайшим концлагерем?

— Он к нему и близко не подходил. Это не удавалось никому, тем более канадцу в маленьком спортивном автомобильчике. Нет; он только считал товарные вагоны в каждом поезде, проходившем мимо замка. А я следила за ним. Надо сказать, это было очень смешно. Я стояла у окна в своей башне — очень романтично звучит, не правда ли? — и смотрела, как Фрэнсис считает вагоны. Я, можно сказать, слышала, как он считает, — он стоял у своего окна, думая, что невидим под покровом ночной темноты. А в саду под окнами, за кустами, сидела моя гувернантка

и шпионила за Фрэнсисом. Я, бывало, следила за ними обоими, чуть не падая со смеху. Я подозреваю, что бабушка тоже за ними следила — из окна комнаты, прилегающей к ее кабинету, где она занималась делами. Она заправляла очень крупным сельскохозяйственным производством.

— Говоря о шпионах, — сказал князь, — следует заметить, что, за исключением немногих мастеров своего дела, их легко узнать, метафорически выражаясь, по запаху. У них над головой словно облачко висит, как у героев комиксов, с надписью «Я шпик». На них можно не обращать особого внимания, так как они в основном безвредны. Но если в вашем замке вдруг обнаруживается незнакомый молодой красавец, ассистент жулика вроде Сарацини, со всяческими нужными документами и слабым сердцем, регулярно посылающий письма на Харли-стрит, — он, скорее всего, шпион.

— Но Фрэнсис на самом деле был ассистентом Сарацини? — спросил Даркур. — Тут не было обмана?

— Сарацини был воплощением обмана. Только не поймите это так, что он был тривиальным лгуном и лгал ради личной выгоды. Он питал артистическую страсть к иллюзии, выходящую

далеко за рамки обычной подделки картин. Он считал, что играет шутки над Временем. Он был величайшим реставратором, это вы знаете. Работая над ценной картиной, такой как картины из дюстерштейнской коллекции, он проникался подлинным духом и манерой художника, автора картины. Он словно обращал время вспять. Но он мог также взять очень посредственную картину и превратить ее из пятиразрядной во второразрядную. Это искусство особого рода — точно чувствовать, как далеко можно зайти.

— Одна из лучших вещей такого рода, вышедшая из мастерской Сарацини, на самом деле была работой Корниша, — заметила княгиня. — «Дурачок Гензель» — Макс, ты помнишь эту картину?

— Нет, нет, то не была подмалевка. То был оригинал. Ужасно странная маленькая панель, портрет карлика-шута. Совершенно удивительное лицо: оно как будто видело тебя насквозь.

— Меня эта картина испугала, — сказала княгиня. — Конечно, я не должна была ее видеть. Но вы же знаете, как любопытны дети. Сарацини каждый вечер запирал мастерскую и, наверно, думал, что все его секреты в безопасности. Но ключ от мастерской лежал у бабушки в ящике письменного стола. Я время от времени брала

ключ и заглядывала в мастерскую. Мне показалось, что этот карлик говорит обо всей трагедии человеческой жизни — о том, что он заперт, как в тюрьме, в безобразном теле, об уродстве, которое лишает его права на сострадание других людей, о жажде мести и жажде любви. Так много чудовищной правды жизни — на панели размером восемь на десять дюймов.

— Где сейчас эта картина? — спросил Даркур.

— Понятия не имею, — ответил князь. — Насколько мне известно, она какое-то время была в коллекции Геринга, но с тех пор я ничего о ней не слышал. Если ее не уничтожили — а я не могу поверить, что у кого-нибудь поднимется на это рука, — она всплывет рано или поздно.

— Вы так говорите, будто Фрэнсис и впрямь был великим художником, — заметил Даркур.

— Да, — согласился князь. — Ну что, перейдем к кофе?

Кофе им подали в большой гостиной. Даркур еще не бывал тут: все его переговоры с княгиней проходили в ее кабинете — впрочем, таком элегантном, что лишь грубый человек, нечувствительный к красоте, стал бы критически рассматривать деловое предложение, прозвучавшее в этой обстановке. Надо полагать, торговалась

княгиня где-то в другом месте. Но, несомненно, где-то она торговалась, ибо князь и княгиня явно вели дела с размахом, и притом в отрасли, где царит жестокая конкуренция. Гостиная, похоже, шла вдоль всей стены роскошного пентхауса, где жила княжеская чета.

Даркур подумал, что скоро станет специалистом по дорогим пентхаусам. Пентхаус Корнишей в Торонто был замечателен своей современностью: в некоторых комнатах стены целиком из стекла открывали потрясающий вид почти на весь город и даже дальше — энтузиасты утверждали, что в ясный день из этих окон можно увидеть облако водяной ныли, стоящее вдали над Ниагарским водопадом. Но современность пентхауса парадоксальным образом помещала его вне времени, так как он был лишен броских архитектурных деталей и основной характер ему придавала мебель, а многие предметы мебели были в стиле семнадцатого века: Артуру он нравился, а Мария не оспаривала вкус Артура. Но Макс и Амалия сознательно обставили свое жилище так, чтобы оно напоминало о восемнадцатом веке. Поэтому картина, занимавшая главное место в комнате, производила такое удивительное впечатление.

Это был триптих. Он висел на фоне дамаста, которым была затянута южная стена. Сюжет картины удавалось понять не сразу, так как она была полна — но не переполнена — людьми, одежда которых относилась к самому началу шестнадцатого века. Одни — в парадном платье, другие — в парадных доспехах, третьи — в одеждах, облюбованных художниками всех веков для изображения библейских персонажей. Даркур вгляделся в картину и понял, что ее сюжет — очень необычно решенный — это «Брак в Кане». Лишь когда заговорила княгиня, Даркур понял, что стоит с разинутым ртом, уставившись на триптих.

— Вы любуетесь нашим сокровищем, — сказала княгиня. — Прошу вас, сядьте вот тут, вам будет лучше видно.

Даркур взял чашку кофе и сел рядом с княгиней.

— Великолепная картина, — сказал он. — И очень необычная трактовка сюжета. Христос почти низведен до второстепенной фигуры, и можно даже сказать, что Он с изумлением взирает на жениха. Я хотел бы осведомиться, известно ли вам, кто ее автор.

— Эта картина — одна из пяти или шести,

которые мы собирались продать несколько лет назад, — пояснил князь. — Нам было очень тяжело с ней расставаться, но в то время я собирался расширять свою торговлю вином, начав поставки в Северную Америку, а вы можете себе представить, каких капиталов это требовало. Нас выручила дюстерштейнская коллекция — нам удалось сохранить несколько лучших картин, несмотря на военное разорение и разграбление. Мы продали все, кроме этой. Великие американские картинные галереи спорили из-за них. Одно время, кстати, мы вели переговоры по продаже этой картины вашей Канадской национальной галерее, но в конце концов сделка сорвалась. Какие-то проблемы с финансированием. Мы удачно продали остальные картины, так что эту решили оставить себе.

— Но вы не знаете, кто автор?

— Как же, знаем. Кстати сказать, в решении этого вопроса сыграл большую роль канадский искусствовед. Он атрибутировал ее как работу Алхимического Мастера. Видите ли, кое-какие детали свидетельствуют о том, что автор картины разбирался в алхимии.

— Этого искусствоведа звали Эйлвин Росс? — спросил Даркур.

— Совершенно верно, — ответил князь. — Очень приятный человек. Он сильно помог нам в поисках покупателей на все остальные картины. Его статью о «Браке в Кане» можно найти в подшивках журналов по искусству. Насколько мне известно, его мнение никто не оспаривал. Видимо, картина так и будет значиться творением Алхимического Мастера, если мы не установим его подлинную личность. Но вот и наш второй гость.

Второй гость, подобно князю, являл собой чудо сохранности. При ближайшем рассмотрении становилось ясно, что ему за семьдесят, но шаг его был легок, фигура подтянута, и зубы, несмотря на удивительный блеск, по-видимому, были его собственные.

— Позвольте представить вам профессора Даркура, — произнесла княгиня, таким образом давая понять, что новый гость — во всяком случае, по ее мнению — стоит выше Даркура в светской табели о рангах. — Он из Канады. Он привез мне то, о чем мы с вами говорили, так что вопрос решен. Профессор, это мистер Аддисон Трешер. Вы, конечно, его узнаёте.

Даркур его не узнал, но в памяти что-то слабо шевельнулось. Ах да, конечно: один из вели-

ких и славных деятелей от искусствоведения, консультирующий музеи, устанавливающий подлинность произведений искусства и поражающий обманщиков своим личным Мечом Истины.

— Аддисон очень помог нам тогда с картинами. И мы попросили его зайти сегодня, потому что он тоже знал Фрэнсиса Корниша. Профессор Даркур пишет биографию Корниша, — пояснила княгиня, обращаясь к хозяину удивительных зубов. — Вы часто говорили о Корнише.

— Да, действительно. Я присутствовал, когда Корниш одним махом перескочил из положения ученика Сарацини в разряд великих распознавателей подделки. Я видел, как он прихлопнул Жана-Пауля Летцтпфеннига. Пригвоздил ко кресту, можно сказать. Разоблачил его как автора поддельной картины Ван Эйка. Все дело было в неосторожном изображении обезьяны — Летцтпфенниг допустил на полотно обезьяну, которую никак не мог нарисовать Ван Эйк. Я никогда не видел более проницательного и элегантного разоблачения. Но Корниш так и не воспользовался своей славой, хотя все этого ждали. Он погрузился в почти полную безвестность, если не считать работы в той комиссии, которая

пыталась вернуть картины владельцам после войны.

— Да, об этом я знаю, — сказал Даркур. — Меня повергли в ступор те годы жизни Фрэнсиса, о которых ничего не известно, — надо думать, теперь я могу называть их дюстерштейнскими годами. Какой он был тогда? Вы можете мне про него рассказать?

— Я был свидетелем великой сцены разоблачения в Гааге, и, конечно, мы вместе работали в Комиссии по возвращению потерянных и украденных работ. Но мы почти не общались напрямую. Его внешность весьма впечатляла, но об этом вы знаете лучше меня. Высокий, тихий, но в нем было нечто, если можно так выразиться, байроническое. От него как будто едва заметно припахивало серой.

— Совершенно верно, таким и я его запомнила, — подхватила княгиня. — Едва уловимый аромат серы. Неотразим. Байроничен.

— В последние годы жизни он был сутулым шаркающим чудиком, — сказал Даркур. — Приятным человеком, если познакомиться с ним поближе. Но это весьма далеко от *le beau ténébreux.*

— Вполне ожидаемый исход, — заметил Трешер. — Во что превратился бы Байрон, доживи

он до старости? Это был бы лысый толстяк с ужасным несварением желудка, деятель Консервативной партии. Скорее всего, озлобленный женоненавистник. Для романтического героя ранняя смерть — удача. Романтики не рассчитаны на долгую жизнь.

Они беседовали весь вечер, пока Даркур не ушел ровно в одиннадцать, но больше ничего важного о Корнише ему не рассказали. Разговор снова и снова возвращался к Корнишу и тут же перескакивал на какой-нибудь животрепещущий вопрос искусствоведения — у Трешера оказался бесконечный запас намеков и историй, которые могли бы очень многое поведать Даркуру, знай он больше об эпохальных аукционах, великих разоблачениях и ошеломительных ценах.

Но вечер был вовсе не так беден находками, как может показаться. Макс и Амалия старались как могли вознаградить Даркура за привезенные им наброски. Князь и княгиня играли честно, и когда Симон уходил, княгиня отдала ему все фотографии предмета своей юношеской любви. Но весь вечер глаза Даркура снова и снова обращались к «Браку в Кане». На следующее утро, садясь в самолет, Даркур был как в огне — ему не терпелось провести некое расследование, и

он всем сердцем надеялся, что уж теперь точно узнает кое-что о Фрэнсисе Корнише и его книга будет не просто респектабельным, почтительным биографическим трудом.

5

Как отнесся Артур к тому, что такая важная встреча Фонда Корниша проводилась не за Круглым столом, а где-то в другом месте? К тому, что вместо Блюда изобилия с орехами и сластями были крекеры и копченая рыба из баночек на шведском столе, собранном на скорую руку доктором и Шнак? К тому, что пили за этим столом крепкий аквавит, запивая его пивом, и Холлиер особенно усердствовал?

Да, Артур был этим недоволен, но он так хорошо владел собой, что никто и не замечал его недовольства, — он и сам его не полностью осознавал, только чувствовал, что ему слегка не по себе. Он понял, что у него отобрали контроль над оперным проектом — мягко, незаметно — и теперь он лишь консультант, даже не председатель совета директоров фонда.

Они пришли слушать музыку. Рояль был и в роскошном пентхаусе Артура. Если уж рояль необходим, чтобы оценить музыку Гофмана и то, что Шнак способна из нее сделать, почему доктор как-то особо повелительно приказала, чтобы все пришли сюда?

Шнак как раз играла. Для композитора она была вполне компетентным пианистом. Иными словами, она могла сыграть что угодно с листа, но не умела играть по-настоящему хорошо. Она могла играть по оркестровой партитуре, чтобы, как она выразилась, «дать представление» о том, что там написано. Все, что не удавалось воспроизвести с помощью десяти пальцев, она изображала уханьем, свистом и воплями: «Медные духовые!» или «Хор деревянных духовых!» Желая показать, что мелодия предназначается для певца, она пела унылым голосом, а так как слов еще не было, то она пользовалась слогами «я-я-яа».

Еще больше, чем производимые ею шумы, собравшихся поразила ее внешность. Прежде всего, Шнак теперь была чистая. И одета в новое — судя по всему, выбранное доктором, так как новая одежда была весьма строгой и могла бы выглядеть стильно, если бы Шнак умела ее носить. Сама Шнак была уже не истощенной, а пухлой, слегка отечной, как человек, который начал объедаться после длительной голодовки. Волосы приобрели вполне приличный цвет — непримечательный средне-русый. Непокорные пряди летали в воздухе вокруг головы Шнак. Судя по виду, она была счастлива и полностью

поглощена своим теперешним занятием. Шнак Преображенная.

«Интересно, доктор пришлет мне счет за новую одежду или сообразит спрятать эти траты среди других своих расходов?» — подумал Даркур. Он имел на это право. На его стол теперь приземлялось столько странных счетов, что он чувствовал себя каким-то вселенским кормильцем. Но в этом был некий глубинный смысл.

Никто из участников Круглого стола не получил музыкального образования, но все они разбирались в музыке — ходили на концерты, покупали записи. И все они решили, что музыка, исполняемая Шнак, хороша. Безусловно, мелодична и эмоциональна. Музыки, кажется, было очень много, и Шнак играла ее неразработанными, прерывистыми кусками. Когда она прекратила играть, заговорила доктор:

— Вот то, что у нас есть. На основании этого Хюльда должна будет построить новую музыку, сшивая куски вместе и кое-где усиливая вставками, похожими на Гофмана, но не настоящим Гофманом. Он оставил много заметок, поясняющих его намерения. Но это еще далеко не опера. Теперь нам нужно подробное либретто, с действиями и словами. Словами, соответствующими

этой музыке. Пока что мы даже не утвердили окончательно список действующих лиц. Конечно, мы знаем, какая должна быть оркестровка — на тридцать два инструмента: именно такой оркестр Гофман использовал бы в собственном оперном театре. Струнные, деревянные духовые, несколько медных духовых, барабаны — только два барабана, ибо у Гофмана не было сложных современных литавр. Итак, чем занимались все это время наши литераторы?

— У нас есть схема либретто. Точнее, у меня есть. Примерно такая, как я обрисовал несколько недель назад, — сказал Пауэлл. — Что до действующих лиц, у нас есть семь главных ролей: Артур, Гвиневра, Ланселот, Мордред, Моргана Ле Фэй, Элейна и Мерлин.

— А хор? — спросила доктор.

— В качестве мужского хора у нас будут рыцари Круглого стола. Их должно быть двенадцать, с Артуром — тринадцать. Аллюзия на Христа и апостолов.

— О, это весьма сомнительно, — вмешался Холлиер. — Это романтизм девятнадцатого века, ныне полностью дискредитированный. У Артура было больше сотни рыцарей.

— Ну, у нас он точно перебьется, — сказал Пау-

элл. — Кроме Ланселота и Мордреда, мы можем дать ему сенешаля сэра Кея, Гавейна с Бедивером — положительных героев — и Гарета Прекраснорукого; его может играть хорошенький мальчик, если мы найдем такого. Потом нам нужен Лукан, дворецкий, и Ульфиус, распорядитель двора. Для развлечения можно использовать Динадана — он был записной остряк и может время от времени отмачивать шуточки, чтобы оживить действие. И конечно, два негра.

— Негра? — переспросил Артур. — С какой стати в Британии шестого века должны быть негры?

— С такой, что в наши дни невозможно поставить оперу без одного-двух черных певцов, — объяснил Пауэлл. — К счастью, мы можем использовать сэра Пеллинора и сэра Паломида, они оба сарацины, так что наше дело в шляпе.

— Но сарацины же не негры, — возразил Холлиер.

— У нас они будут неграми, — сказал Пауэлл. — Я не хочу неприятностей.

— Это будет неправдоподобно, — не сдавался Холлиер.

— Не будет. В моей постановке все выйдет как надо. Теперь что касается женщин…

— Погодите, — перебил Холлиер. — Вы что,

решили все же сделать из оперы комедию?

— Вовсе нет, — сказала доктор. — Я понимаю, что имеет в виду Пауэлл. Опера представляет собой истину мифа, даже если это опера про шлюх с золотым сердцем, живших в девятнадцатом веке. А истина мифа позволяет на практике делать очень многое. Так что у нас с женщинами?

— По женщине на каждого рыцаря, — сказал Пауэлл. — Им не нужно ни имен, ни персонажей. Кроме леди Клариссаны, наперсницы Гвиневры, — она носит за ней веер, ловит ее, когда та падает в обморок, и все прочее по необходимости. Клариссана, по сути, хористка, по будет получать на пару баксов больше, поскольку играет именованную роль. Вот и все. В общей сложности двадцать девять человек; еще несколько на роли всяких герольдов и трубачей, ну и, конечно, второй состав. Так мы обойдемся менее чем сорока людьми, и на сцене никогда не будет больше тридцати четырех зараз. На сцену в Стратфорде больше не влезет, а то будет похоже на метро в час пик.

— В какую сумму это обойдется? — спросил Даркур.

— Деньги — не главное, — сказал Артур. — Не забывайте, это приключение.

— Поиск. Подлинно артуровский поиск, — сказала Мария. — Поиск сокровища, затерянного в прошлом. Гнаться за дешевизной тут неуместно.

Даркур спросил себя, не сарказм ли это. Со времени их разговора — их *дивана* — в Марии появилось нечто, не новое, но прежнее, от той Марии, которой она была до превращения в миссис Артур Корниш, до ужимания. Она, кажется, обретала свой прежний рост.

— Я рад, что вы такого мнения, — сказал Пауэлл. — Чем больше я думаю об этой опере, тем дороже она становится. Как сказала Мария, погоня за прошлым обходится недешево.

— Какие гонорары запросят певцы? — спросил Даркур.

— У них практически фиксированные ставки, в зависимости от репутации. Для этой оперы вам понадобятся певцы второго разряда…

— А нам обязательно себя так ограничивать? — спросил Артур.

— Вы неправильно поняли. Я сказал «второго разряда», а не «второго сорта». Звезд первой величины вы не сможете заполучить, да они вам и не нужны. Они все законтрактованы на три-четыре года вперед и, кроме того, исполняют роли из узкого репертуара. Они просто не согласятся ра-

зучивать новую роль ради десятка выступлений. Они и репетировать не привыкли. Выпрыгнут из самолета, отбарабанят не глядя свою стандартную Виолетту или Риголетто, хвать деньги, и снова на самолет. Нет, я говорю о певцах, которые понимают, что делают, которые еще и музыканты, умеют играть на сцене и не заплыли жиром. Их сейчас много, и они — будущее оперы. Но они всегда заняты и берут недешево. Будем надеяться, что нам повезет. Я уже навел кое-какие справки и думаю, что все будет хорошо. Хор мы наберем в Торонто: здесь много прекрасных певцов.

Восхитительно, подумал Артур. Именно то, чего ему хотелось. Друг Герант весьма инициативен. И все же… деловой человек в душе Артура не успокаивался — ведь Герант наверняка обещал певцам деньги и, может быть, предлагал заключить с ними контракты, но кто все это санкционирует? Импресарио и покровитель искусств аплодировал Геранту, у банкира же зародились кое-какие неприятные сомнения. Пауэлл продолжал:

— Скажу вам, что певцы — не единственная наша проблема. Театральный художник — где его искать, если наша опера ставится уже следующим летом? Слишком поздно. Но нам чудовищно,

невероятно повезло. Я связался с одной подающей надежды театральной художницей — она второй художник в Валлийской национальной опере и хочет начать работать самостоятельно. Далси Рингголд ее зовут. Я поговорил с ней по телефону, и она пылает энтузиазмом. Но она выставила одно условие.

— Деньги? — спросил Даркур.

— Нет. Далси не жадная. Но она хочет сделать такие декорации, какими они были бы у Гофмана, если бы он ставил эту оперу сам — в Бамберге, например. А это означает стиль раннего девятнадцатого века, когда всем кажется, что декорации меняют пятьдесят рабочих сцены, но на самом деле у нас их будет десять, и им придется выучить старинные методы, которые их удивят. Потому что в те дни рабочие сцены действительно двигали декорации, а не просто нажимали на кнопки. Это обойдется в круглую сумму.

— Надо полагать, вы с ней уже ударили по рукам? — спросил Холлиер.

Чем больше аквавита он в себя вливал и чем больше пива отправлял ему вслед, тем более крепли его сомнения.

— Она согласилась подождать, пока мы не решим, — сказал Пауэлл. — И я молю Бога, чтобы

вы согласились на ее план.

— Это значит — чудовищно тяжелые декорации, длинные перерывы, поросшие травой откосы с искусственными цветами и постоянный грохот за кулисами? — спросил Артур.

— Вовсе нет. Вся эта чепуха появилась с новым типом декораций. Я говорю о системе, когда каждая сцена сопровождается нарисованным задником и пятью-шестью парами кулис, расположенных по обе стороны сцены; все это на колесиках, так что сцену можно менять почти мгновенно — ввезли и вывезли, ввезли и вывезли, почти как в кино, когда кадры сменяются наплывом. В конце каждой сцены актеры уходят — рраз! — и вы уже в следующей сцене. Но для этого нужна очень четкая работа за кулисами.

— Звучит восхитительно, — сказала Мария.

— Это просто волшебство! Я не знаю, зачем мы променяли его на все эти неподвижные декорации и цветные прожектора, которые не показывают ничего, кроме настроения осветителя. Чистая магия!

— По описанию похоже на пантомиму, — заметил Холлиер.

— Да, немножко похоже. Но что плохого в пантомиме? Я вам говорю, это магия.

— Вы имеете в виду — так, как в Дроттнингхольме?[56] — спросил Даркур.

— Именно.

Больше никто из членов фонда не бывал в Дроттнингхольме, и все были впечатлены.

— Но почему это так дорого? — спросил Артур. — По-моему, тут можно обойтись охапкой реек, холстом и краской.

— Именно поэтому. Краска очень дорогая. Хорошие сценические художники нынче редкость, но Далси сказала, что управится, если у нее будет команда из шести студентов художественного училища. Она сама будет ими руководить и возьмет на себя все трудные части. Но это требует много времени и дорого как сто чертей.

— Если это волшебство, то оно у нас будет, — сказал Артур.

— Вот подлинно артуровский дух! — сказала Мария и поцеловала его.

— Я — за, безо всяких оговорок, — сказала доктор. — Тогда у меня — то есть у Хюльды — будет в распоряжении много сцен, а это замечательная

---

[56] Примечания: 56

Дроттнингхольм — дворцовый комплекс в Швеции с придворным театром, построенным в 1766 г. В отличие от других европейских театров XVIII в., в нем сохранились типичные для того времени итальянские машины и механизмы. В 1922 г. театр после реставрации был вновь открыт. С 1953 г. здесь проводится Международный оперный фестиваль.

свобода для композитора. В помещении и на воздухе, в лесу и в саду. Да, да, мистер Корниш, вы человек прекрасного воображения. Я салютую вам.

Доктор тоже поцеловала Артура. В щеку. Засовывать ему язык в рот она не стала.

— Думаю, в такой масштабной постановке вы с удовольствием используете и Искомого Зверя, — сказал Холлиер: он заметно подбодрился, хотя и нетвердо держался на ногах.

— Ради всего святого, что такое Искомый Зверь? — спросила доктор.

— Это чудовище, которое всю жизнь искал сэр Пеллинор, — объяснил Холлиер. — Меня поражает, что вы этого не знаете. Искомый Зверь «с виду был головой — как змей, телом — как леопард, лядвиями — как лев и голенями — как олень, и с огромным хлещущим хвостом. А из чрева у него исходил рев, точно в нем были заключены тридцать пар гончих».[57] Для волшебной оперы — самое то.

— О Клем, ты гений! — воскликнула Пенни Рейвен и, чтобы не отставать от общей поцелуйной тенденции, чмокнула Холлиера, к его величай-

---

[57] Примечания: 57

Цитируется с некоторыми изменениями по изданию: *Мэлори Т.* Смерть Артура. Пер. И. Берштейн.

шему смущению.

— Ну… я не знаю, — сказал Пауэлл.

— Ой, соглашайтесь, соглашайтесь! — воскликнула Пенни. — Хюльда сделает так, чтобы Зверь пел из живота! Столько голосов в чудесной гармонии! Какой *coup de théâtre!*[58] Нет, наверно, надо сказать *coup d'oreille.*[59] Это будет жемчужина спектакля.

— Этого я и боюсь, — возразил Пауэлл. — Совершенно второстепенный персонаж, сэр Пеллинор, будет шататься по сцене со здоровенным чучелом дракона, отвлекая зрителей на себя. Нет уж! Я накладываю вето на Искомого Зверя.

— А я думал, вам нужен полет фантазии, — сказал Холлиер с высокомерием человека, чью блестящую идею только что отвергли.

— Полет, а не бесконтрольное буйство, — объяснила доктор.

— Искомый Зверь — неотъемлемая часть артуровских легенд. — Холлиер повысил голос. — Искомый Зверь — это чистый Мэлори. Вы что, собираетесь и Мэлори выкинуть за борт? Нет уж, скажите. Если я должен участвовать в подготовке

---

[58] Примечания: 58
Эффектный трюк *(фр.).*

[59] Примечания: 59
Пир слуха *(фр.).*

этого либретто, как вы его называете, я должен знать основные правила. Что вы намерены делать с Мэлори?

— Здравый смысл превыше всего, — ответила доктор, тоже не пренебрегавшая аквавитом. — Мы переплавляем миф в искусство, а не рабски воспроизводим его. Если бы Вагнер пошел на поводу у мифа, чудовища и великаны до смерти затоптали бы «Кольцо нибелунга» и никто бы вообще не понял сюжета. На мне лежит ответственность, и я вам о ней напоминаю. На первом плане стоят интересы Хюльды. И вообще, Гофман не оставил нам музыки, сколько-нибудь пригодной для превращения в четырехголосный хор, поющий в животе у чудовища. Такой хор даже дирижера не будет видеть! К черту вашего Искомого Зверя!

Артур понял, что пора ему, как председателю совета директоров, вмешаться. Минут пять Пенни, Холлиер и доктор орали, оскорбляя друг друга, пока наконец Артур не восстановил некое подобие порядка. Однако в воздухе по-прежнему висело ощутимое напряжение.

— Давайте примем какое-нибудь решение и в дальнейшем будем его придерживаться, — сказал он. — Мы говорим о природе либретто. Нам нуж-

но решить, на какой основе мы будем его строить. Профессор Холлиер выступает за Мэлори.

— Я руководствуюсь здравым смыслом, — объяснил Холлиер. — Либретто будет на английском языке. Мэлори — лучший англоязычный источник по королю Артуру.

— Да, но язык! — воскликнула Пенни. — Все эти «преже восписах» и «возверзем печаль»! При чтении — очень красиво, но попробуйте произнести вслух, а тем более спеть! Вы полагаете, что сможете на этом языке сочинять стихи?

— Я согласен, — сказал Даркур. — Нам нужен понятный язык, который допускает хорошие рифмы и несет в себе отзвук романтики. Что это будет?

— Совершенно очевидно, — сказал Пауэлл. — Точнее, очевидно всякому, кроме ученых. Нам нужен сэр Вальтер.

На это имя никто не отреагировал. На лице у всех, кроме Артура, читалось недоумение.

— Он имеет в виду Вальтера Скотта, — пояснил Артур. — Неужели никто из вас не читал Скотта?

— Теперь уже никто не читает Скотта, — сказала Пенни. — Его разжаловали из классиков в современники. Для того чтобы стать предметом научных исследований, он слишком прост, но

пренебречь им полностью не удается.

— Вы имеете в виду — в университетах, — сказал Артур. — Слава богу, что я никогда не учился в университете. Как читатель я бродил по Парнасу, жуя траву там, где она казалась сочнее. Я очень много читал Скотта, когда был мальчиком, и любил его. Думаю, Герант прав. Нам нужен Скотт.

— Почти все большие романы Скотта были переделаны в оперы. Сейчас они почти не ставятся, но в свое время имели большой успех. Россини, Беллини, Доницетти, Бизе и прочие. Я посмотрела. Неплохо сработано, должна сказать.

Это заговорила Шнак. До того она почти не открывала рот, и все посмотрели на нее в изумлении — как в сказке, где какое-нибудь животное вдруг обрело дар речи.

— Мы и забыли, что Хюльда только что получила степень магистра музыковедения, — сказала доктор. — Послушаем ее. Ведь самую важную работу делает она.

— Гофман много читал Скотта, — продолжала Шнак. — Хвалил его. Говорил, что у него оперный дух.

— Шнак права, — сказал Артур. — Оперный дух. «Лючия ди Ламмермур» до сих пор популярна.

— Гофман знал эту оперу. Они были современ-

никами, раз уж вас так интересуют современники, и, может быть, она на него повлияла, — сказала Шнак. — Дайте мне Скотта, и посмотрим, что с ним можно сделать. Конечно, это будет *писташ.*

— Надо говорить «пастиш»,[60] дорогая, — поправила ее доктор. — Но ты права.

— Следует ли это понимать так, что мы отказываемся от Мэлори? — не отставал Холлиер.

— *'Raus mit*[61] Мэлори! — выпалила Шнак. — Я про него сроду не слыхала.

— Хюльда! Ты же сказала, что не знаешь немецкого!

— Нилла, это было две недели назад, — ответила Шнак. — Как, по-твоему, я могла получить степень магистра музыковедения без знания немецкого? Как я, по-твоему, читаю заметки Гофмана? Я даже говорю немножко, на уровне кухни. Честно, вы, важные шишки, все ужасно тупые! Гоняете меня, как экзаменаторы, обращаетесь со мной как с ребенком! Кто тут пишет оперу, позвольте вас спросить?

— Шнак, вы правы, — сказал Пауэлл. — Мы ва-

---

[60] Примечания: 60

Пастиш (*фр.* pastiche, от *ит.* pasticcio) — опера, составленная из отрывков других опер, смесь, попурри, стилизация.

[61] Примечания: 61

Долой *(нем.).*

ми пренебрегали. Простите. Вы попали в самую точку. Это должен быть пастиш из Скотта.

— Если это не будет *пасташ* из Скотта, мне нужно немедленно садиться читать «Мармион» и «Деву озера»,[62] — сказал Даркур. — Но как мы будем работать?

— Хюльда подробно расскажет вам о музыке и даст маленькие планы, которые покажут ход мелодии, чтобы вы могли положить на нее слова. И как можно быстрее, пожалуйста.

— Прошу извинения и разрешения вас покинуть, — сказал Холлиер. — Если вам понадобятся сведения по истории, костюмам или обычаям, вы знаете, где меня найти. Конечно, если вы не намерены руководствоваться исключительно необузданной и неосведомленной фантазией. Позвольте пожелать вам всем доброй ночи.

---

[62] Примечания: 62

«Дева озера» (1810) — поэма Вальтера Скотта, *«Мармион»* (1808) — его роман в стихах.

6

— Что за муха укусила Клема? — спросила Пенни, когда все они уселись в машину Артура и поехали. Машина у Артура была хорошая, но, когда на заднее сиденье втиснулись Пенни, Даркур и Пауэлл, стало тесновато, хоть они все и поджимали зад из вежливости.

— Это голос оскорбленной учености, — сказал Даркур.

— Наверно, кризис среднего возраста, — предположил Пауэлл.

— Это еще что такое? — заинтересовался сидящий за рулем Артур.

— Это такая новая модная болезнь, вроде ПМС, — объяснил Пауэлл. — На нее можно списать что угодно.

— Правда? Может, у меня тоже что-нибудь из этого есть? А то я в последнее время чувствую себя как-то не очень.

— Тебе еще рано, дорогой, — заметила Мария. — И вообще я тебе не позволю в такое впадать, потому что от этого мужчина превращается в младенца. Я так и подумала, что сегодня Клем вел себя просто как ужасный ребенок.

— Он и есть младенец, я это уже много лет знаю, — сказал Даркур. — Крупный, высокоученый, очень красивый младенец, но все же младенец. Но кто меня удивил сегодня, так это Шнак. Она выламывается из скорлупы с треском, а? Уже принялась нами командовать.

— Это все старушка Вдаль-Ссут, — заявила Пенни. — У меня мрачные подозрения по поводу старушки Вдаль-Ссут. Вы знаете, что девочка переехала к ней? Что бы это могло значить?

— Вы явно хотите нам объяснить, — сказала Мария.

— Да тут и объяснять нечего. Они со Шнак — розовенькие. Это очевидно, как нос на лице.

— Кажется, Шнак это идет только на пользу, — сказал Артур. — Она стала мыться, чуточку прибавила в весе, научилась разговаривать и больше не смотрит на нас так, словно желает всех утопить. Если в этом виновато лесбиянство, то мы должны ему спасибо сказать.

— Да, но мы же несем какую-то ответственность? То есть, я хочу сказать, получается, что мы практически связали девочку по рукам и ногам и вручили этой жеребиле! Вы что, не слышали, как они весь вечер ворковали — «Нилла» да «милая Хюльда», аж блевать тянет?

— Ну и что с того? — возразила Мария. — Она ведь, по сути, первый человек в жизни Шнак, который к ней добр — то есть по-настоящему добр. И скорее всего, первый человек в жизни Шнак, который серьезно говорит с ней о музыке — серьезно, а не просто как преподаватель со студентом. Если это время от времени означает кувыркания в койке, нежные объятия и поцелуи, что с того? Я вас умоляю. Шнак девятнадцать лет, причем она очень способная для своего возраста. Я слышала шепотом произнесенное слово «гений».

— Симон, а ты что скажешь? — спросила Пенни. — Ты у нас специалист по морали.

— То же, что и Мария. А как специалист по морали добавлю, что любовь надо ценить, где бы ты ее ни нашел.

— Даже если это означает, что тебя будет мусолить доктор Гунилла Даль-Сут? Благодарю вас, отец Даркур, за весьма передовое мнение.

— Я одного не понимаю, — сказал Артур. — Что они *делают?*

— О Артур, это вечный вопрос любого мужчины, как только речь зайдет о лесбиянках, — ответила Мария. — Да что в голову придет, то и делают. Я, наверно, и сама могла бы много чего придумать.

— Правда? — обрадовался Артур. — Обязательно покажешь. Я буду Шнак, а ты Гуни, и мы выясним, чем они занимаются в койке. Новое откровение чудес земных.

— По-моему, вы все легкомысленные и безответственные люди, — сказала Пенни. — Я все больше уверяюсь, что наш Снарк в конце концов окажется Буджумом.

— Что это за Снарк и Буджум такие? — не выдержал Артур. — Вы их все время поминаете с тех самых пор, как начали работать с нами над оперой. Я полагаю, это какая-нибудь литературная аллюзия. Пенни, просветите меня! Я всего лишь смиренный, хорошо обучаемый денежный мешок. Допустите меня в круг носителей тайного знания.

— Не сердитесь, Артур! Да, наверно, эти термины непонятны для непосвященных, но они позволяют сказать так много в нескольких словах. Видите ли, у Льюиса Кэрролла есть великая поэма под названием «Охота на Снарка». Она повествует о кучке безумцев, которые отправились сами не зная куда искать сами не зная что. Их ведет Кормчий — это вы, Артур, — полный отваги и пыла. Под командой у него — банкир и бильярдный маркер, а также бобр, который пле-

тет кружева, — это, наверно, ты, Симон, потому что он «не раз их от гибели спас, но вот как — совершенно неясно».[63] И еще один необычный персонаж, который считается булочником, но в конце концов оказывается мясником.[64] Он, по-видимому, умеет все:

Но для тех, чей язык к сильной фразе привык,
Имена он другие носил:
Для близких друзей — «Огарки свечей»,
Для недругов — «Жареный сыр».[65]
Он с гиенами шутки себе позволял,
Взглядом пробуя их укорить,
И однажды под лапу с медведем гулял,
Чтобы как-то его подбодрить.[66]

Это, несомненно, вы, Герант, валлийский ча-

---

[63] Примечания: 63
Кэрролл Л. Охота на Снарка. Пер. Г. Кружкова.

[64] Примечания: 64
Пенни допускает неточность, что особенно непростительно для специалиста по сравнительному литературоведению. Булочник (Baker) и мясник (Butcher) — два разных персонажа «Охоты на Снарка».

[65] Примечания: 65
Кэрролл Л. Охота на Снарка. Пер. М. Пухова.

[66] Примечания: 66
Кэрролл Л. Охота на Снарка. Пер. Г. Кружкова.

ровник, потому что вы нас всех завязали в узел и вертите нами как хотите с этой оперой. В общем, это безумная поэма про безумное путешествие, но в ней непостижимым образом присутствует некий странный смысл. Например, среди нас много научных работников — Клем, Симон и я, это немало, — а послушайте, что говорит Кормчий про Снарка:

> *Во-вторых, он не скор в пониманье острот*
>
> *И вздыхает в отчаянье хмуром,*
>
> *Если кто-то рискнет рассказать анекдот*
>
> *Или, скажем, блеснет каламбуром.*[67]

Ведь именно этим мы и занимались весь вечер! Разводили бодягу про Мэлори и научный подход к чему-то такому, что по природе своей совершенно ненаучно, потому что это — Искусство. А искусство — странная вещь. Страннее не бывает. Оно может выглядеть как простой обыкновенный Снарк и вдруг оказаться Буджумом! И тогда — берегитесь!

> *Снарки, в общем, безвредны. Но есть*

---

[67] Примечания: 67
Кэрролл Л. Охота на Снарка. Пер. М. Пухова.

среди них

(Тут оратор немного смутился)

Есть и БУДЖУМЫ… Булочник тихо поник

И без чувств на траву повалился.[68]

Артур, вы понимаете? Вы видите, как это все складывается один к одному?

— Может, и видел бы, будь я вами, а так не вижу, — ответил Артур. — Я слаб в литературных аллюзиях.

— Думаю, в них и сам король Артур оказался бы слаб, если бы Мерлину вдруг вздумалось отмочить пару шуточек с тонкими аллюзиями на «Черную книгу»,[69] — сказала преданная жена Мария.

— Да, но все же у меня предчувствие, что эта история может плохо кончиться, — сказала Пенни. — И сегодня оно только укрепилось. Шнак, бедная девочка, считает себя крепким орешком,

---

[68] Примечания: 68

Кэрролл Л. Охота на Снарка. Пер. Г. Кружкова.

[69] Примечания: 69

«Черная Книга из Кармартена» (*валл.* Llyfr Du Caerfyrddin) — сборник религиозной и эпической валлийской поэзии, считается самым ранним сохранившимся манускриптом из написанных полностью на валлийском языке. Мария допускает анахронизм, так как «Черная книга» написана в середине XIII в., в то время как король Артур, согласно легенде, жил в V–VI вв.

но на самом деле она просто затюканное дитя. А теперь ее втянули во что-то такое, с чем она совершенно явно не справится. Меня это беспокоит. Я не люблю лезть в чужие дела и уж точно не строю из себя спасительницу, но должны же мы что-то делать!

— По-моему, вы завидуете, — сказал Пауэлл.

— Завидую?! Я?! Герант, вы отвратительны! Я это поняла только что. С самого первого раза, как я вас увидела, я не могла понять, как я к вам на самом деле отношусь! Льстивый валлийский краснобай! Но теперь я знаю — вы влезли в это дело ради личной выгоды, а на всех остальных вам плевать с высокой колокольни, и я вас терпеть не могу!

— Знаете что, профессор? Мы все влезли в это дело ради личных выгод, — ответил Пауэлл. — Зачем же еще? Вот вы зачем в него влезли? Вы не знаете, но надеетесь узнать. Ради славы? Ради забавы? Из желания заполнить пустоту в своей жизни? Что представляет собой ваш личный Снарк? Советую вам найти ответ на этот вопрос.

— Я уже приехала, — сказала Пенни. — Артур, спасибо, что подвезли. Герант, выпустите меня.

Пауэлл вылез из машины, склонился и придержал дверцу для разъяренной Пенни.

— Герант, зря ты это сказал, — сказала Мария, когда машина тронулась.

— Почему? Я считаю, что это правда.

— Тем более не следовало говорить об этом вслух.

— Возможно, вы правы насчет Пенни, — сказал Даркур. — Почему у такой привлекательной женщины в таком возрасте никого нет? Почему она так охотно флиртует с мужчинами, но это никогда ни к чему не приводит? Может быть, наша Пенни чего-то не замечает, потому что не хочет замечать.

— Только драки за Шнак нам не хватало, чтобы расцветить унылую простоту затеи с оперой, — заметил Пауэлл. — Искусству как-то не хватает эмоций, вам не кажется? Эпическая битва доктора и Пенни, словно белого и черного ангелов, за тело и душу Хюльды Шнакенбург добавит щепотку соли в безвкусную кашу нашей повседневности.

7
ЭТАГ в чистилище

Так что же они делают? Артур хотел бы это знать, а я, благодаря своему привилегированному положению, знаю точно.

Но с этим привилегированным положением нужна осторожность. «Есть ли более приятное состояние, чем довольство собой?» Мне надо беречься, чтобы не стать похожим на кота Мурра. Надо полагать, даже обитатель чистилища может впасть в грех самодовольного фарисейства.

Но то, чем занимаются доктор Гунилла и Хюльда Шнакенбург, очень далеко и от фарисейства, и даже от стана его противников, к которому я принадлежал в свое время и к которому теперь прикрепили лестный ярлык «движения романтиков». Конечно, тесная и страстная дружба между женщинами тогда не была редкостью, но каким физическим радостям они предавались — было неизвестно или не принималось во внимание. Конечно, иные девицы бросались друг другу на шею при встрече; часто одевались в одинаковые платья; одновременно падали в

обморок или впадали в истерику, ибо истерики и обмороки были популярной женской забавой тех времен и считались признаком утонченности чувств. Но всегда предполагалось, что в конце концов эти юные создания выйдут замуж, а после замужества близость с подругой могла стать еще драгоценней. Когда пора первых брачных восторгов прошла и муж заводит привычку являться в постель пьяным, или отвечает на упреки жены рукоприкладством и не прочь при случае подбить ей глаз, или по возвращении домой от него разит шлюхами, как прекрасно иметь подругу, которая тебя уважает, а по временам, возможно, помогает достичь экстаза, немыслимого, по мнению мужа, для хорошо воспитанной женщины. Видите ли, этот особый экстаз тогда считался прерогативой проституток, и они учились его мастерски имитировать, чтобы польстить клиентам.

В мое время все было не так, как сейчас. Любовь ценилась очень высоко, но она была самоцелью, поэтому несчастливая или мучительная любовь считалась не менее, а может, и более ценной, чем разделенное чувство, которое вкусили в полной мере. Любовь — это экстаз, а половая потребность — нечто вроде голода; голод же не

обязательно удовлетворять в самом лучшем и дорогом ресторане. Бордель в Берлине, куда ходили мы с Девриентом, был скромный; тамошние женщины знали свое ремесло и свое место. Они не претендовали на близость со своими гостями и всегда называли их Mein Herr — за исключением случаев, когда гостю хотелось нежностей или непристойностей (за что полагалась дополнительная плата и повышенные чаевые). Это в России и Польше люди норовят завести фамильярные отношения со шлюхами — и, на мой взгляд, ведут себя как идиоты. Я вот не могу припомнить лица ни одной шлюхи, хотя пользовался очень многими.

Почему? Почему я посещал бордель, даже когда сходил с ума от любви по Юлии Марк, недостижимой ученице? Даже когда страдания, причиняемые любовью, были сильнее всего, я не переставал есть, пить — и ходить в бордель. Любовь это не голод, а экстаз. Шлюхи — не женщины, а служанки.

А что моя жена? По-вашему, я, будучи по уши влюбленным в другую женщину, мог стремиться разделить постель со своей женой, дражайшей Михалиной Рорер? Неужели, по-вашему, я мог ее так оскорбить? Думаете, я совсем не уважал

ни ее, ни все, что она для меня значила? Она была фактом моей жизни, причем одним из важнейших, и я не стал бы наносить ей такое оскорбление даже без ее ведома — а я ни на минуту не сомневался, что она знала о моей страсти к Юлии. Кстати, у моей жены была близкая подруга, и я никогда не интересовался, что между ними происходит, и не пытался вмешиваться. Думаю, то же делал и Данте, вздыхая по своей Беатриче. Данте был отличным семьянином — и я тоже, в духе своего времени. Романтическая любовь и добропорядочная семейная жизнь были вполне совместимы, но смешивать их не следовало. Брак был договором, к которому следовало относиться серьезно, и верность, которой требовал этот договор, была делом нешуточным. Но любовное безумие могло быть, и часто бывало, направлено за пределы брака.

Есть ли любовь между Гуниллой и Хюльдой? Я уверен, что со стороны Хюльды — да, но не могу сказать, ожидает ли кто-то из них двоих, что эта любовь окажется долговременной, подобно браку. Хюльду впервые посвятили в сладкий экстаз; Гунилла же обладает большим опытом. Это она, к примеру, научила Хюльду игре, которую они называют «Любовный напиток».

На самом деле это варенье. Точнее, основу составляет варенье — лучшее клубничное, фирмы «Крэбтри и Эвелин». К нему примешивают мед и рубленые грецкие орехи. Потом Гунилла намазывает дорожку варенья на животик Хюльды, от пупка вниз. Вылизав варенье из пупка, Гунилла продолжает медленно и нежно лизать, продвигаясь на юг, и со временем — все это делается lentissimo e lánguidamente[70] — достигает средоточия наслаждений, и тогда слышатся вздохи, а порой и крики. Партнерши отдыхают, обмениваясь поцелуями, а потом наступает очередь Хюльды — она умащает живот Гуниллы и не спеша выполняет тот же ритуал. В случае Гуниллы процедура всегда заканчивается громкими криками. Гунилла особо ценит грецкие орехи, так как, по ее словам, от них возникает дополнительное трение.

Все эти невинные восторги кончаются совместным приемом ванны (и пары стаканчиков аквавита), а затем следует освежающий сон. Кому это вредит? Никому. И даже в бордель ходить не нужно. Очень удобно.

Как я этому завидую! Потому что именно в

---

[70] Примечания: 70

Очень медленно, изнемогающе (из итальянского; музыкальные термины, обозначающие темп исполнения музыкального произведения).

борделе — уж не помню, в каком из них и в каком из многих городов, где я работал, — я подцепил болезнь, которая, несомненно, тоже помогла ускорить мою смерть. Я, конечно, лечился, но в те дни лечение не помогало ничему, кроме кошелька врача. Я думал, что вылечился, но потом узнал правду. То было в 1818 году, а в 1822 году, когда я тяжело захворал и умер, я знал, что меня убрала на тот свет не только болезнь печени, вызванная любовью к шампанскому, и не только загадочный паралич, наконец диагностированный как tabes dorsalis,[71] *одно из многих имен древней болезни. Она же унесла и беднягу Шуберта — мне было отлично видно из чистилища, как ему под конец жизни пришлось носить нелепый парик, пряча лысину, причиной которой был сифилис. И Шуман умер, сам себя заморив голодом; но к этому привело столь долго владевшее им безумие, порожденное все той же Morbus Gallicus.*[72]

Сначала отказали ноги, потом паралич распространился на руки, и я уже не мог удержать

---

[71] Примечания: 71

Tabes dorsalis — спинная сухотка *(лат.),* форма третичного сифилиса. Характеризуется поражением спинальных нервных корешков и задних столбов спинного мозга.

[72] Примечания: 72

Галльской болезнью *(лат.).* Галльская, то есть французская, болезнь — еще одно название сифилиса.

пера. Я был полон решимости закончить «Артура Британского» и, потеряв способность писать, стал диктовать ноты жене, моей милой, верной Михалине, способной помощнице. Но я успел сделать лишь наброски музыки, которую желал создать, — те самые наброски, по которым Шнак теперь так хорошо угадывает, что было у меня на уме. Отняв у меня возможность держать перо, болезнь, кажется, расширила и обогатила мои композиторские способности. Я всегда считал, что определенные виды ядов — например, табак и алкоголь, если назвать два самых популярных — расширяют благородный ум, если не погружают его в обычный ступор. Кое-кто назовет это убеждением подлинного романтика. Но вместе с полетами вдохновения болезнь принесла мне чудовищные пытки, и именно они ускорили мою кончину.

Сифилис иногда называют болезнью гениев — ведь столько замечательных людей, в том числе моих современников, умерли от него или были раньше времени сведены в могилу какой-нибудь хворью, в основе которой лежал все тот же сифилис. Согласился бы я пожертвовать своим даром, чтобы избавиться от боли и распада заживо? К счастью, мне не нужно отвечать на

этот вопрос.

V

1

— Ой, мне так нравится в Канаде! То есть то, что я видела. Конечно, это не вся Канада. На самом деле я видела только Торонто и Королевскую зимнюю ярмарку. Я хочу по дороге домой задержаться на пару дней в Монреале — опробовать свой французский. Но, может быть, у меня времени не будет. Конюшня не ждет, сами понимаете. В это время года столько работы!

— Я рад, что мы вам понравились, — сказал Даркур. — Давайте поговорим про вашего отца…

— А, да. Про папочку. Мы ведь об этом собирались говорить, правда? За этим вы привели меня обедать в этот замечательно суперский ресторан. Потому что вы пишете книгу про папочку, верно? Я и сама немножко балуюсь писательством, знаете ли. Книжки про пони, для детей. Они расходятся тиражом под сотню тысяч, я сама удивлена. Но до того как мы займемся папочкой, я вам скажу про одну вещь — это большой секрет, но я знаю, что вы никому не расскажете, — про одну вещь, с которой в Канаде не очень, и если с этим что-нибудь не сделать, пока не зашло слишком далеко, то все будет совсем ужасно. Речь идет

о международном престиже, вы же понимаете.

А, политика, подумал Даркур. Политика бушует, как лихорадка, в жилах каждого канадца и мгновенно заражает гостей страны — вот и Малютку Чарли, она же мисс Чарлотта Корниш, не миновала эта участь. Малютка Чарли сидела напротив, вонзая вилку в припущенную лососину.

— И что же это? — неохотно спросил он.

Малютка Чарли заговорщически склонилась к нему, воздев вилку с куском лососины, как фея — волшебную палочку; к нижней губе Малютки Чарли прилипло рыбное волоконце.

— Ваши коноводы, — прошептала она.

От шепота волоконце лососины отклеилось и полетело через стол по направлению к тарелке Даркура. Малютка Чарли принадлежала к тому типу женщин, у которых приемлемые манеры за столом сочетаются с очевидной жадностью в еде; лацканы прекрасного твидового жакета уже покрылись следами торопливого, радостного обжорства.

— Коноводы? — растерянно повторил Даркур.

Неужели канадские коноводы деградировали, а он и не заметил? Может, у этого слова есть какое-то другое, неизвестное Даркуру значение?

— Не думайте, я не виню ваших ветеринаров, —

продолжала Малютка Чарли. — Те, что я видела, просто первый класс. Но беда начинается на одну ступень ниже ветеринаров — с коноводов: это они настоящие спутники и наперсники пони. Да, ветеринар следит за серьезными вещами типа колик, и сапа, и мыта, и всяких ужасных вещей, которые могут погубить прекрасного пони. Но это коновод дает лошадке теплого пойла, если она чуточку закуксилась от простуды или после падения. Это коновод гладит и утешает пони, если на выставке или соревнованиях что-то пошло не так. Я называю коновода няней для пони. Знаете, у меня в конюшне есть замечательная девушка — ну, она моего возраста на самом деле, — ее зовут Стелла, но я всегда зову ее нянюшкой, и, поверьте мне, она оправдывает это имя. Я ей доверяю больше, чем многим ветеринарам, вот что.

— Вам очень повезло с ней. Вернемся к вашему покойному батюшке. Надо думать, вы его помните?

— Да, да, — сказала Малютка Чарли. — Но погодите минутку, я хочу вам рассказать, что случилось вчера. Я судила — точнее, была председателем жюри, — и нам привели совершенно замечательного маленького шетландского жеребчика. Отличный экземпляр! Глаза ясные,

блестящие, широко посаженные; прекрасная морда, большие ноздри, широкая грудь и отличная холка, замечательный круп — просто картинка! Я вам скажу, я бы его купила, если бы могла собрать нужную сумму. Не буду говорить его кличку, не хочу распускать слухи — хотя, конечно, я вам доверяю. И его вел этот коновод, совсем не тот человек, какого можно ожидать увидеть с таким лапочкой, и когда пони встряхнул головой — они это часто делают, потому что они, конечно, знают, когда их оценивают, а они ведь гордые, — этот человек со всей силы дернул за уздечку и сказал: «Стой смирно, сволочь!» Он, конечно, вполголоса сказал, но я-то слышала! И у меня чуть сердце не разорвалось от сочувствия к маленькому. Я спросила этого типа, не сердито, но настойчиво: «Вы коновод?» И он мне ответил: «Угу, я за ним смотрю» — почти хамским тоном! И я подумала, что ж, я за эти дни такого насмотрелась и меня уже с души воротит. И тут он как снова дернул за уздечку, а пони хватанул его зубами! А он ударил его по носу! И конечно, пропали всякие надежды этого пони на чемпионство. Потому что если пони кусается, то я вам сразу скажу, что он может понести, а скорее всего, еще и закидывается. И все из-за этой скотины-коновода!

— Да, это ужасно, вы правы, — сказал Даркур; они уже перешли к клубничному торту — он был из безвкусной импортной клубники, но Малютка Чарли захотела именно клубничный торт, а Даркур пытался как-то разбить лед, чтобы выпустить на волю поток ее воспоминаний. — А ваш отец любил животных?

— Не могу сказать, — ответила Малютка Чарли, усиленно работая ложкой. — Как мне рассказывали, он в первую очередь любил короля и родину. Но вы не думайте, что раз я хотела купить того жеребчика, то я прямо обожаю шетландцев. Конечно, их охотно покупают для детей, потому что они такие миленькие. Но они обманчивы, вот что я вам скажу. У них слишком короткий шаг. Передержав девочку на шетландце, можно погубить ее как наездницу. Как только она дорастет, ее нужно обязательно пересадить на хорошего валлийца с примесью арабской крови. Вот у них и стиль, и скорость! Именно ими я зарабатываю себе на хлеб с маслом. Но они не для поло, имейте в виду! Для поло нужны эксмурские и дартмурские, этих я тоже развожу. Кстати сказать — нехорошо болтать про клиентов, но чего уж там, — пару лет назад я продала эксмурского жеребчика в конюшню Его Королевского Высочества, и Е. К. В. сказал,

со мной по секрету поделились, что это лучший жеребец, какого он видел в своей жизни.

— Я никому не скажу, честное слово. Так ваш отец…

— Ему было четыре года, то есть он как раз входил в самую пору. Только ради бога, это я сказала человеку из конюшни Е. К. В., не перетруждайте его. Дайте ему время, и он будет каждый год, лет до двадцати, давать вам от двадцати пяти до сорока первоклассных жеребят. Но если вы его сейчас перетрудите… Вы не поверите, я однажды видела прекрасного жеребца, которого заставили обслуживать по триста кобыл за сезон, и после пяти лет он только на собачье мясо годился! У них так же, как у людей. Все дело в качестве, а не количестве. Конечно, они будут стараться. Они замечательно охотливые. Но дело в сперме. У перетруженного жеребца количество сперматозоидов падает и падает. Он, может быть, выглядит как донжуан, но на самом деле он просто замученный дохляк. Как говорит Стелла — она иной раз может сказануть, — морковка бы и хотела, да помидоры уже никуда. И все тут. Никогда, никогда не жадничайте с жеребцом!

— Честное слово, не буду. Но, я думаю, нам надо все-таки поговорить про вашего отца.

— Ой, правда. Простите меня, пожалуйста. Я как сяду на своего конька, так и не слезу. Стелла так и говорит. А что до папочки, так я его никогда не видела.

— Никогда?

— Никогда на моей памяти. Он-то меня, наверно, видел, когда я была маленькая. Но в сознательном возрасте — никогда. Но он обо мне заботился. То есть регулярно посылал деньги, а коноводила меня бабушка. Ну вы знаете, Пруденс Глассон. Вся эта компания между собой родня в разной степени. Понимаете, мою мамочку звали Исмэй Глассон, а ее отец был Родерик Глассон, и он приходился папочке родней по другой линии. Будь то моя конюшня, я бы не стала их так случать, но что сделано, того не воротишь. Помню, когда мне подарили самого первого пони — очень миленького, шетландца, — у него на уздечку была привешена записка: «Малютке Чарли от папочки».

— Но матушку свою вы, конечно, помните?

— Нет, ничуточки. Видите ли — это страшная семейная тайна, — мамочка была норовистая и однажды понесла. Вскоре после того, как я родилась, она вскинулась и понесла, бросила меня на папочку и бабушку с дедушкой. Но имейте в

виду, она была не просто норовистая, а вроде как идейная: поехала в Испанию воевать, и я всегда полагала, что ее там и убили, но подробностей мне так никто и не рассказал. Она была, кстати, красавица, но, судя по фото, я бы сказала, ее предков чересчур близко случали: слишком нервная, шарахается, того гляди понесет. И наверняка кусалась, и закидывалась, и все такое.

— Правда? Спасибо, вы мне очень помогли. Я пытался навестить вашего дядю, Родерика Глассона, в министерстве иностранных дел в Лондоне, чтобы расспросить о вашей матушке, но не смог попасть к нему на прием.

— О, дядя Родди с вами ни за что не станет разговаривать. Он — образцовое чучело надутое. Я уже сама потеряла всякую надежду его увидеть, хоть не очень-то и хотелось. Но не думайте, что у меня было несчастное детство или что я бегала без призора. Счастливей детства просто не бывает, хоть Сент-Колумб без конца ветшал и разваливался, пока я в нем росла. Насколько мне известно, папочка все время вливал деньги в это несчастное имение — бог знает почему, — но дедушка был безнадежен в смысле управления хозяйством. За нашими деньгами, которые от папочки, следил поверенный, так что они не

пошли в унитаз и сейчас не идут. Моя маленькая конюшня построена благодаря этим деньгам, и с тех пор, как я нашла Стеллу — она бы вам ужасно понравилась, хоть и может сказануть иной раз, а вы все-таки священник, — я счастлива просто невероятно.

— Так, значит, вы на самом деле ничего не знаете об отце? В письме к здешним Корнишам вы упомянули, что он имел отношение к контрразведке.

— На это намекали, но впрямую ничего не говорили. Думаю, что и не знали. Но, видите ли, папочкин отец, сэр Фрэнсис, сотрудничал с контрразведкой — и очень плотно, насколько мне известно. Но как далеко папочка зашел по его стопам, я не знаю. Это из-за шпионской работы папочка не мог меня навещать. Во всяком случае, мне так сказали.

— Шпионской? Так вы думаете, он на самом деле был шпион?

— Бабушка не позволяла произносить это слово. Она говорила, что у нас — разведчики. А шпионы бывают только иностранные. Но вы же знаете, как дети вредничают. Я часто шутила, что папочка — шпион, чтобы чуть расшевелить взрослых. Ну, как дети это обычно делают. Мне запретили

болтать, сказали, что это очень большой секрет, но теперь, я думаю, уже все равно.

— А вы знали, что ваш отец был художником, прекрасно разбирался в искусстве, пользовался репутацией знатока?

— Никогда ни слова об этом не слышала. Хотя я чуть со стула не упала, когда мне сказали, что он оставил огромное состояние! Мне приходило в голову спросить Корнишей, не хотят ли они вложить часть этих денег в разведение суперских пони — ну знаете, самых лучших. Но потом я сказала себе: заткнись, Чарли, это жадность, а папочка с тобой и без того по-честному обошелся. Так что заткнись! И заткнулась. Ой, блин, мне надо бежать! У меня очень плотное расписание на остаток дня. Спасибо за обед, он был просто супер. Я вас больше не увижу, да? И Артура с Марией тоже. Я улетаю в пятницу. Они просто суперпарочка. Особенно Мария. Кстати, вы же большой друг семьи; вы что-нибудь слыхали про то, что она жеребая?

— Жеребая? А, понял. Нет, ни слова. А вы?

— Нет. Но у меня глаз наметанный, я же заводчица. В кобыле сразу что-то такое появляется. В смысле, когда жеребец сработал. Все, я упорхнула!

И она упорхнула, насколько это возможно для женщины солидного телосложения.

2

Артур рыдал. Последний раз он плакал в четырнадцать лет, когда его родители погибли в автомобильной катастрофе. Но сейчас горе оказалось сильней его. Он сидел в кабинете Даркура, тесном, заваленном книгами, а в окно робко заглядывало маленькое водянистое ноябрьское солнце, словно сомневаясь, рады ли ему тут. Артур рыдал. Его плечи тряслись. Ему казалось, что он воет, хотя Даркур, стоя у окна и глядя во внутренний двор колледжа, слышал только рыдания, идущие словно из самой глубины груди. Из глаз Артура лились слезы, а из носа — соленые струи соплей. Один платок уже промок насквозь, да и второму — Артур всегда носил при себе два платка — уже явно недолго оставалось. Даркур был не из тех, кто держит в кабинете коробки бумажных салфеток. Артуру казалось, что приступ плача никогда не прекратится: стоило ему выплакаться немного, как на сердце валилась новая лавина горя. Но наконец он откинулся на спинку кресла. Нос у него покраснел, глаза опухли, и он остро сознавал, что по дорогому галстуку размазалась сопля.

— У тебя есть платок? — спросил он.

Даркур бросил ему платок:

— Ну что, немножко полегчало?

— Я чувствую себя полным рогоносцем.

— О да. Рогоносцем. Или, как говорит доктор Даль-Сут, рогогосцем. Привыкай.

— Мог бы и посочувствовать. Хреновый из тебя друг. И священник тоже хреновый.

— Вовсе нет. Мне очень жаль тебя, и Марию тоже, но что толку, если я начну вместе с тобой заливаться слезами сирен? Моя работа — сохранять хладнокровие и смотреть на вещи со стороны. А что Пауэлл?

— Я его еще не видел. Что мне делать? Избить его?

— Чтобы весь мир узнал, что у вас случилось? Нет, бить ни в коем случае не следует. И вообще, вы по уши увязли в этом оперном проекте, и Пауэлл незаменим.

— Черт побери, он мой лучший друг!

— Кукушат часто подсовывают лучшим друзьям. Пауэлл тебя любит как друг. И я тебя люблю, кстати, хотя и не демонстрирую этого так явно.

— Ну, это такая любовь. Ты, как священник, обязан всех любить. Тебе, как Христу, это по должности положено.

— Ты ничего не знаешь о священниках. Да, я знаю, нам положено любить все человечество, но я этого не могу. Потому я перестал работать на приходе и начал преподавать. Моя вера требует, чтобы я любил ближнего своего, но я не могу, а притворяться, пуская сладкие слюни — так, как это делают профессиональные любители всего человечества, профессиональные благотворители, газетные сестры-плакальщицы, политики, — не хочу. Понимаешь, Артур, я не Христос и не могу любить так, как Он. Я стараюсь быть вежливым, внимательным к людям, порядочным человеком — и делаю что могу для тех, кого действительно люблю. Ты — один из них. Я уважаю твои слезы, но не помогу тебе, рыдая вместе с тобой. Лучшее, что я могу сделать, — это помочь тебе взглянуть на ситуацию, сохраняя ясность ума и незамыленный взгляд. Я ведь и Марию тоже люблю, знаешь ли.

— Да уж знаю. Ты ведь ей делал предложение, да?

— Да, и она мне отказала — в добрейшей, деликатнейшей манере. И за это я люблю ее еще больше, потому что семья у нас с ней вышла бы чертовски плохая.

— Понятно, ясный ум и незамыленный взгляд.

Тогда зачем ты делал предложение?

— Потому что я был охвачен страстью. У меня были тысячи причин любить Марию и, как я теперь вижу, миллион причин, чтобы на ней не жениться. Я до сих пор люблю ее, но не беспокойся — у меня нет ни малейшего желания играть ту роль, которую в вашем браке сыграл Пауэлл.

— Да, она однажды упомянула, что когда-то была неравнодушна к Холлиеру и что ты делал ей предложение. И более того — выставил себя полным идиотом. У каждой женщины в прошлом найдется подобный эпизод. Но вышла она за меня. А теперь — все губит.

— Чушь! Это ты хочешь все погубить.

— Я?! Это она беременна, будь оно все проклято.

— И ты уверен, что это не твой ребенок?

— Да.

— Почему ты уверен? Вы предохраняетесь? Презервативами, по теперешней моде?

— Я ненавижу эти штуки. Утром проснешься, а они валяются вокруг, на тумбочке у кровати и на ковре, влажно ухмыляясь, — прямо Призраки Былого Непотребства.[73]

---

[73] Примечания: 73

Аллюзия на Призрака Былого Рождества из «Рождественской песни» Ч. Диккенса.

— Так что, Мария чем-то пользуется?

— Нет. Мы хотели ребенка.

— И?..

— Ты же помнишь — у меня была свинка. В тяжелой форме. Врачи мне очень тактично сообщили, что отныне я бесплоден. Не импотент, просто бесплоден. И ничего нельзя сделать.

— Ты, конечно, сказал Марии?

— Я не успел.

— Значит, отец ребенка — кто-то другой?

— Гениально, Холмс!

— И это не может быть никто другой, кроме Пауэлла?

— А кто еще? Понимаешь… мне очень неприятно об этом говорить… ко мне приходил один человек.

— И рассказал?

— Да. Ночной охранник из нашего здания.

— Некий Уолли Кроттель?

— Да. И он сказал, что, когда меня не было, мистер Пауэлл порой оставался у нас в квартире допоздна, а иногда и на ночь, и, может быть, я хочу, чтобы мистеру Пауэллу дали ключ для проезда на стоянку?

— И ты сказал, что нет.

— Я сказал, что нет. Это был просто намек, ты

же понимаешь. Но его хватило.

— Да, не следовало недооценивать Уолли. Значит…

— Из-за этой истории с оперой Пауэлл к нам все время приходит, а если засиживается допоздна, то остается ночевать. В комнате для гостей. Я не знал, что он ею пользовался в мое отсутствие.

— Да, Пауэлл — большой любитель попользоваться.

— Похоже на то.

— А теперь ты сказал Марии? В смысле, что ты бесплоден?

— Да — когда она сказала, что беременна. Мне показалось, она не так уж и счастлива, но я решил, что она просто стесняется. И наверно, у меня был дико ошарашенный вид — это еще мягко сказано — и я не мог выговорить ни слова. Мария спросила, что не так. И я ей сказал.

— И?..

— Прошло несколько минут, и все это время намек Кроттеля вроде как рос, разбухал у меня в голове, и наконец я все выложил. Так прямо и ляпнул: «Это от Пауэлла?» А она не сказала ни слова.

— Очень не похоже на Марию. Чтобы она не нашла что сказать?

— Она только закрыла рот и стала на меня смотреть. Я никогда не видел у нее такого лица. Очень большие глаза и плотно сжатые губы. Но она улыбалась. Этого хватило, чтобы я взбесился.

— А чего ты ждал? Чтобы она пала на колени и омыла слезами твои сшитые на заказ туфли, а потом вытерла их своими волосами? Дорогой, ты плохо знаешь собственную жену.

— Ты чертовски прав. Совсем не знаю. Но это меня взбесило, и я бесился все сильнее, а она только улыбалась этой чертовой улыбочкой и упорно молчала. Наконец я сказал, что молчание — знак согласия. А она ответила: «Ну, если ты так хочешь думать, то да». И все.

— И с тех пор вы не разговаривали?

— Симон, мы не дикари. Конечно, мы разговариваем. Очень вежливо, на нейтральные темы. Но это ад, и я не знаю, что делать.

— И ты пришел ко мне за советом. Весьма разумно.

— Ты отвратительно самодоволен.

— Неправда. Не забывай, мне в жизни приходилось разбираться с такими делами. Так что, начнем?

— Ну, если хочешь.

— Нет-нет: только если *ты* хочешь.

— Ну хорошо.

— Так. Во-первых, имей в виду: я прекрасно понимаю, что тебе больно. Когда тебе заявляют, что ты не в полной мере мужчина, — это невесело. Но ты не первый. Взять хоть Джорджа Вашингтона. По-видимому, еще одна жертва свинки. Записной дамский угодник, а вот детей у него не было. Но все же он прожил жизнь не совсем зря. Отец отечества и все такое.

— Не остри.

— Даже не думал об этом. Но вставать в трагическую позу я тоже не буду. Способность зачинать детей — важное биологическое качество мужчины, но с развитием цивилизации на передний план выходят другие, по меньшей мере столь же важные качества. Ты не какой-нибудь кочевник-пастух или средневековый крестьянин, для которого дети — нечто вроде примитивной системы социальной защиты. Всю эту бодягу с зачатием сильно переоценивают. В природе производить потомство умеют все, и человек далеко не чемпион. Если бы не свинка, ты бы выстреливал по нескольку миллионов живых спермиев зараз, и один из них, может быть, попал бы в цель. Но любимому жеребцу твоей кузины Малютки Чарли ты и в подметки не годишься — он

производит в среднем десять миллиардов потенциальных маленьких жеребят каждый раз, как покрывает кобылу. В этом его предназначение. Впрочем, настоящий чемпион в этом — кабан: восемьдесят пять миллиардов — а потом он забывает о своей самке и невозмутимо трусит прочь в поисках желудей, а она продолжает валяться в грязи. Но Человек, гордый Человек — нечто совершенно иное. Даже у самого жалкого человека есть душа, то есть живое сознание своего «я», а ты, Артур, человек незаурядный. К сожалению, человек также и единственное существо, которое сделало из секса хобби и фетиш. Кровать — это великая игровая площадка мира сего. А теперь слушай…

— Я слушаю.

Ты пришел ко мне как к священнику, верно? Ты надо мной шутил и называл меня аббатом Даркуром. Ручной клирик. Ученый-богослов у тебя на жалованье. Я англиканский священник, и даже римско-католическая церковь наконец признала, что мое священство не хуже любого другого. Когда я венчал вас с Марией, у тебя случился приступ ортодоксии и ты хотел, чтобы все было строго как положено. Ну так будь и сейчас ортодоксален. Может быть, Бог уготовал для тебя

какое-то другое занятие — и это важнее, чем делать детей. Пускай их делают любители, ходоки, которые ничего другого не умеют. А ты лучше спроси Бога, чего Он от тебя хочет.

— Вот только не надо читать мне проповеди. И совершенно напрасно ты тащишь в эту историю Бога.

— Дурак ты! Думаешь, у меня хватило бы могущества вытащить Его из этой истории? Или откуда бы то ни было еще? Ну хорошо, раз ты такой глупый, можешь не говорить «Бог». В любом случае это слово — лишь обозначение. Говори «Судьба», или «Предопределение», или «Кисмет», или «Жизненная сила», или «Оно», да называй его как хочешь, только не делай вид, что его не существует! И что бы ты ни делал, это «Называй-как-хочешь» вершит часть — очень крохотную часть — своего замысла через тебя, и как бы ты ни притворялся, что живешь свою собственную жизнь под диктовку своего разума, это полная чушь, самообман для идиотов.

— Значит, о свободе воли можно забыть?

— О да. У тебя есть свобода делать то, что велит «Называй-как-хочешь», и свобода выполнить его повеление хорошо — или из рук вон плохо, как тебе будет угодно. Короче, свобода играть теми

картами, которые тебе розданы.

— Опять проповедуешь!

— И буду проповедовать! Не думай, что сможешь вывернуться. Если ты не спросишь Бога — это мой профессиональный термин для обозначения той силы, о которой мы говорим, — если ты не спросишь Его, чего Он от тебя хочет, Он сам тебе объяснит, совершенно недвусмысленно, а если ты не послушаешь, то тебе будет так плохо, что теперешнее горе покажется детской истерикой из-за конфетки. Тебе нравилось быть ортодоксальным, когда это выглядело красиво. Сейчас это совсем некрасиво, и я советую тебе помнить, что ты мужчина, а не воображать себя конкурентом жеребца Малютки Чарли или какого-нибудь кабана, который кончит свои дни дежурным блюдом в баварском ресторане.

— Так что мне делать?

— Примирись со своим горем и хорошенько, внимательно пересчитай свои удачи.

— Проглотить неверность, измену? Измену Марии, которую я люблю больше жизни?

— Чушь! Люди так говорят, но это чушь. Больше всего на свете ты любишь Артура Корниша, потому что именно его вручил тебе Бог и о нем велел заботиться как следует. Если ты не будешь

любить Артура Корниша истинной, глубокой любовью, ты не годишься в мужья Марии. Она ведь тоже живая душа, а не просто филиал твоей, как какой-нибудь филиал твоего Корниш-треста. Может быть, у нее есть своя судьба и этой судьбе нужен факт, который ты называешь неверностью. Ты когда-нибудь думал об этом? Артур, я серьезно. Твоей первой и главной заботой должен быть Артур Корниш. Твоя ценность для Марии и всего остального мира зависит от того, как ты будешь обращаться с Артуром.

— Мария украсила Артура Корниша рогами.

— Тогда решайся, у тебя два выхода. Первый: ты избиваешь Пауэлла — может быть, убиваешь его — и тем создаешь такое количество несчастья, которого хватит на несколько поколений. Второй: ты берешь пример с героя той самой оперы, из-за которой все получилось, и становишься Великодушным Рогоносцем. К чему это приведет, знает только Бог, но в истории великого Артура Британского это помогло создать духовный капитал, которым уже много веков живет лучшая часть человечества.

Артур молчал. Даркур опять подошел к окну и посмотрел, какая на улице погода, — солнце уже сменилось унылым осенним дождем. Подобные

паузы кажутся длинными тому, кто их держит, но на самом деле прошло не больше четырех-пяти минут.

— Почему она так странно улыбалась? — спросил наконец Артур.

— Когда женщины так улыбаются, этим не следует пренебрегать, — ответил Даркур. — Это значит, что они ушли очень глубоко в себя, погрузились намного глубже уровня повседневности, в безжалостный ум Природы, которая видит правду, но не обязательно открывает все, что видит.

— А что же она видит?

— Надо полагать, она видит, что собирается родить этого ребенка, что бы ты ни думал по этому поводу, и заботиться о нем, даже если из-за этого ей придется расстаться с тобой, потому что эту работу поручило ей «Называй-как-хочешь» и она знает, что приказ надо выполнять. Она знает, что в следующие пять-шесть лет это будет ее ребенок — в той мере, в какой он никогда не будет ребенком ни одного мужчины. Потом мужчины, конечно, поставят на нем свою печать — но только на поверхности, а воск, принимающий форму печати, все равно сотворен матерью. Мария улыбается, потому что знает свои намерения, и еще она смеется над тобой, потому что ты

— не знаешь.

— Так что мне с ней делать? — спросил Артур.

— Веди себя так, словно по-настоящему ее любишь. Что она делала, когда ты последний раз ее видел?

— Не очень похоже на самодостаточного индивидуума, честно говоря. Расставалась со своим завтраком, склонившись над унитазом.

— Очень хорошо и правильно, так и подобает молодой матери. Ну так вот мой совет: люби ее и оставь в покое.

— Может, предложить ей зайти к тебе?

— Не вздумай! Но она придет — либо ко мне, либо к своей матери, и я готов биться об заклад, что она выберет меня. Мы с ее матерью более или менее коллеги, но я с виду цивилизованней, а Марию все еще сильно тянет к цивилизации.

3

Даркур не привык к тому, чтобы его развлекали женщины; точнее, к тому, чтобы женщины водили его в рестораны и платили по счету. Он знал, что это смешно: несомненно, счет за сегодняшний прекрасный ужин доктор Гунилла Даль-Сут предъявит Корниш-тресту. Доктор поглощала еду быстро и эффективно, а вот Даркур относился к категории терпеливых, неторопливых жевунов. Но все равно доктор в роли хозяйки была совершенно другим человеком, разительно отличным от строптивой гостьи на артуровском ужине. Она была внимательна, добра, прекрасно вела беседу, но не отличалась особой женственностью. Если в двух словах, подумал Даркур, она держится как свой парень. Но она проявила себя необычной собеседницей.

— Какие грехи вы хотели бы совершить? — спросила она.

— Почему вы спрашиваете?

— Это ключ к характеру, а я хочу узнать вас получше. Конечно, вы священник, поэтому, надо думать, изо всех сил изгоняете греховные мысли. Но я уверена, что они у вас бывают. Как у всех.

Какие же? О сексе? Вы не женаты. Может быть, мужчины?

— О нет. Я очень люблю женщин. У меня много друзей-женщин, но зов плоти меня не мучает, если вы об этом. Во всяком случае, не часто. Если бы Дон Жуан был университетским преподавателем, заместителем декана своего колледжа, секретарем крупного благотворительного фонда и писателем-биографом, он не снискал бы славы великого соблазнителя. Для любовных побед нужна куча свободного времени, даже не сомневайтесь. И большая целеустремленность. Думаю, когда Дон Жуан не шел по следу очередной женщины, он был довольно скучным собеседником.

— Фрейдисты думают, что Дон Жуан на самом деле ненавидел женщин.

— Тогда у него это очень странно проявлялось. Мне трудно представить себе секс с человеком, которого ненавидишь.

— Иногда не догадываешься, что ненавидишь человека, пока не попробуешь его в деле. Я выражаюсь идиоматически, а не пошло. Надеюсь, вы понимаете.

— О, конечно.

— Я тоже однажды была замужем. Меньше недели. Фу!

— Мои соболезнования.

— Почему? На ошибках учатся. Я научилась быстро. Решила, что быть фру Бергграв — не мое призвание. Так что — развод, и я вернулась к своей жизни и своему собственному имени. Которым, кстати говоря, я очень горжусь.

— Конечно-конечно.

— Здесь многие смеются, когда его слышат.

— Некоторые имена плохо поддаются переносу на другую почву.

— Сут — очень почтенный род в Норвегии, откуда происходят мои Суты. В прошлом веке жил один очень хороший художник, носивший эту фамилию.

— В самом деле?

— Над моей фамилией могут смеяться только люди, которые мало бывали в свете.

— Да-да.

— Такие, как профессор Рейвен. Она ваш большой друг?

— Я ее хорошо знаю.

— Глупая женщина. Вы знаете, что она мне телефонировала?

— По поводу либретто?

— Нет, по поводу Хюльды Шнакенбург. Она говорила какую-то ерунду, но ясно было — она

думает, что я себя очень нехорошо веду с этой девочкой.

— Да, я в курсе. А вы действительно себя нехорошо ведете?

— Конечно нет! Но я пытаюсь выманить ее обратно в жизнь. До сих пор она вела жизнь… как это сказать?

— Полную лишений?

— Да, именно. Без доброты. Без нежности. Я уж не говорю — любви. Ужасные родители.

— Я их видел.

— Истинные последователи кота Мурра.

— Никогда не думал о нем как о вероучителе.

— О, вы о нем не слыхали. Он — творение нашего Э. Т. А. Гофмана. Кот. Его философское кредо — «Есть ли более приятное состояние, чем довольство собой?» Это религия миллионов.

— Воистину.

— Хюльда — человек искусства. Насколько велик ее талант — кто знает? Но, безусловно, она творец. Кот Мурр — враг истинного искусства, религии, науки, всего сколько-нибудь важного. Коту Мурру нужна прежде всего определенность, а все великое произрастает на поле битвы меж ис-

тиной и ошибками. *‘Raus mit Kater Murr!*[74] — так говорит теперь Хюльда. Если я с ней немножко играю — вы меня понимаете? — то лишь ради посрамления кота Мурра.

— Только ради этого?

— О, вы хитрец! Нет, не только. Мне это очень приятно, и ей тоже.

— Я вас не обвиняю.

— Но вы очень умны. Вы перевели разговор с грехов, которые хотели бы совершить сами, на грехи, в которых меня обвиняет эта глупая провинциальная женщина. С Хюльдой все будет хорошо. Как это она говорит? О’кей. С ней все будет о’кей.

— Наверно, чуть лучше, чем просто о’кей?

— О, но вы понимаете. У нее очень плохо с языком. Она говорит ужасные вещи. Например, что она «олицетворяет себя» с каким-нибудь персонажем. Или что она «дубютирует» этой оперой. Она имеет в виду «дебютировать» и к тому же употребляет это слово неправильно. Но она не дура и не вульгарна. Просто не обращает внимания на язык. Для нее в языке нет загадки, нет обертонов.

— Я знаю. В обществе таких людей мы с вами

---

[74] Примечания: 74
Долой кота Мурра! *(нем.)*

чувствуем себя замшелыми, нудными грамматиками.

— Но она не может быть творцом в музыке и хулиганкой в речи. Вот вы уважаете язык.

— Да.

— Я поняла по тому, что вы сделали с либретто. Оно очень хорошо.

— Спасибо.

— Эта глупая женщина вам не помогает?

— До сих пор не помогала.

— Наверно, она вспоминает обо мне и у нее пересыхает перо. И этот красивый глупец, профессор Холлиер, — он слишком ученый, чтобы быть хоть капельку поэтом. Но то, что вы дали Хюльде, — вполне приличная поэзия.

— Нет-нет, вы мне льстите.

— Нет, не льщу. Но я хочу знать — это все ваше?

— А чье же еще?

— Это может быть пастиш. Я как раз только что убедила Хюльду не говорить «писташ». Если так, это первоклассный пастиш. Но пастиш чего?

— Послушайте, доктор Даль-Сут, вы чересчур настойчивы. Вы меня обвиняете в плагиате. А если я вас обвиню в краже музыкальных идей?

— Я буду с негодованием отрицать. Но вы

слишком умны, чтобы обмануться, и знаете, что многие музыканты заимствуют идеи, видоизменяют их и обычно лишь самые проницательные музыкальные критики могут догадаться, что произошло. Потому что чужая музыка проходит через собственный творческий желудок композитора и выходит в совершенно другом виде. Знаете старую историю про Генделя? Его кто-то обвинил в краже мелодии у другого композитора. А он пожал плечами и ответил: «Да, но что он с ней сделал?» Где вы проводите границу между плагиатом и влиянием? Когда в музыке Гофмана звучат отголоски Моцарта, как с ним иногда случается, — это не кража, а дань великому таланту. Так что, на вас кто-нибудь влиял?

— Если мы собираемся это обсуждать, я настаиваю, чтобы мы перешли на «ты» и я мог звать вас Ниллой.

— Я почту за честь. И буду называть тебя Симоном.

— Ну что ж, Нилла, меня очень обижает твое предположение, что я не поэт, притом что я, несомненно, поставляю стихи.

— Пусть обижает, но это правда.

— Из этого следует, что я жульничаю.

— Все творцы — дети Гермеса, верховного жу-

лика.

— Позволь мне ответить на твой первый вопрос: какие грехи я хотел бы совершить. Так уж и быть, признаюсь: я самую малость склонен к подлогу, мистификации. Мне ужасно хочется подсунуть что-то не стопроцентно аутентичное, не совсем подлинное в мир, где от любой неподлинности шарахаются в священном ужасе. Именно таков мир искусства. Критики, которые сами ничего не порождают, так ополчаются на пойманных за руку обманщиков! Кстати сказать, человек, чью биографию я пишу и чьи деньги стоят за Фондом Корниша, однажды разоблачил обманщика — подделывателя картин: все его преступление состояло в том, что он выдал шедевр своей кисти за работу другого художника, давно умершего. Уж наверно, это не самое ужасное преступление?

— Значит, ты жулик? Ты очень интересный человек. Я тебя не выдам. Вот: мы пьем за твою тайну.

Доктор взяла бокал в правую руку, а левую продела в изгиб правой руки Даркура, согнутой в локте. Оба подняли бокалы и осушили их.

— За тайну, — сказал Даркур.

— Так кого же ты обкрадываешь?

— А кого бы ты обворовала, если бы работала над этим либретто? Поэта, конечно, но не очень известного. Обязательно современника Гофмана и родственную ему душу, а то законченное целое будет фальшивить. И еще тебе придется перемежать стихи этого поэта строками собственного сочинения, но в том же духе, потому что никто ведь не написал либретто про короля Артура просто так, на всякий случай, поэтому не стоит ждать, что где-нибудь вдруг отыщется готовое. А в результате получится…

— Пастиш!

— Да, а искусство будет состоять в том, чтобы заделать швы, чтобы никто не заметил и не обличил все творение как…

— …писташ! О Симон, какой ты умный! Мы с тобой будем большими друзьями!

— Давай за это выпьем, — сказал Даркур.

Они снова сцепили руки и выпили. Люди, сидящие за соседним столиком, откровенно пялились, но доктор пронзила их ледяным взглядом, и они поспешно склонились над тарелками.

— Ну, так кто же это?

— Не скажу. Я не боюсь, что ты проболтаешься, просто для меня очень важно, чтобы никто больше не знал, и если я проиграю в этом, то проиграю

все. К тому же его имя тебе наверняка ни о чем не скажет. Его стихи давно вышли из моды.

— Но они хороши. Когда Мордред замышляет убийство Артура, он у тебя говорит:

Пусть обопрется он
На жизнь свою:
На хрупкий промежуток
Меж нами и Ничем.
На скользкой почве
Своего дыханья
Рисует он бесцветные мечты
И наблюдает стылые надежды.

Я похолодела, когда это читала.

— Хорошо. А ты видишь, как это ложится на музыку Шнак? Подлинный Гофман сливается с моим настоящим поэтом, и при некотором везении мы создадим нечто подлинно прекрасное.

— Мне очень хотелось бы знать, кто твой поэт.

— Тогда ищи его. Он не то чтобы совершенно неизвестен. Просто чуть в стороне от проторенной тропы.

— Он — этот Вальтер Скотт, о котором говорил Пауэлл?

— Все лучшее у Скотта уже давно использовали,

а не лучшее и воровать не стоит.

— Но конечно же тебя разоблачат, когда опера выйдет.

— Не сразу. Может быть, далеко не сразу. Часто ли зрители прислушиваются к либретто? Слова пролетают мимо, они — лишь предлог для музыки и абрис сюжета.

— Ты изменил сюжет, который тогда пересказал нам Пауэлл?

— Не сильно. Я его подтянул и укрепил. Опере нужен хороший, крепкий сюжет.

— А музыка должна поднять его в воздух и оживить.

— Ммм… Только не в эпоху Гофмана. В его собственных операх и в тех, что ему нравились, сначала идет кусок сюжета — как правило, на очень простую мелодию, почти речитативом, — а потом действие останавливается, чтобы певцы могли разразиться роскошными ариями о своих чувствах. Именно чувства, а не сюжет составляют оперу. Большинство оперных сюжетов, даже после Вагнера, просты до омерзения.

— Просты и немногочисленны.

— Поразительно немногочисленны, как их ни приукрашивай.

— Кто-то говорил, что во всей литературе не

наберется больше девяти сюжетов.

— Он с тем же успехом мог бы сказать «во всей жизни». Удивительно — и очень полезно для излечения от гордыни — думать о том, как мы ходим древними тропами, не узнавая их. Человечество удивительно эгоцентрично.

— К счастью для него. Симон, не ругай человечество за жалкие крохи индивидуализма. Ты совсем как эта женщина, Мария Корниш, с ее воском и печатью. А она каким путем идет? Как ты думаешь?

— Откуда мне знать, пока ее история не завершилась? А когда это случится, меня, скорее всего, уже не будет на свете и я не смогу высказать свое мнение.

— Она меня очень интересует. Нет, не в этом смысле. Я вовсе не хочу разбивать ее брак, хотя она прекрасна. Но кто-нибудь его разобьет.

— Думаешь?

— Этот муж ей совершенно не подходит.

— Я бы не сказал.

— Да. Он холодная рыба. В нем нет ни капли чувств.

— Ага, Нилла, теперь я вижу тебя насквозь. Ты хочешь, чтобы я начал тебе противоречить и выложил все, что знаю про Артура. Но я скажу

только одно: ты ошибаешься.

— Ты удивительно хорошо хранишь тайны.

— Это моя работа, иначе какой же я священник.

— Ну хорошо. Не говори. Но эта женщина — совсем другой коленкор, чем Артур Корниш, у которого за душой ничего, кроме денег, тщательно продуманных планов и кота Мурра.

— Ты права насчет нее. Но не права насчет него. Как раз сейчас он со всех ног улепетывает от кота Мурра.

— Да ну? Значит, он женился на Марии, чтобы сбежать от кота Мурра? Но ты проговорился. Эта женщина — не канадка.

— Нет, канадка. Кто угодно может быть канадцем. Это один из наших немногочисленных даров. Понимаешь, каждый из нас привозит с собой в Канаду что-то свое, и нескольких лет недостаточно, чтобы это стереть. Даже нескольких поколений недостаточно. Но я вижу, что тебя снедает любопытство, а гостю подобает быть вежливым, так что я все же кое-чем с тобой поделюсь. Мария наполовину полька, а на другую половину — венгерская цыганка.

— Вот это крепкий настой! Цыганка, значит?

— Если бы ты видела ее мать, ты бы не усомни-

лась. Мария этого ни за что не признает, но она очень похожа на мать. И Артур хорошо относится к матери своей жены. Умный человек не возьмет в жены женщину, мать которой ему неприятна.

— И эта мать еще жива? Она здесь? Я хочу с ней познакомиться. Обожаю цыган.

— Собственно говоря, почему бы и нет. Но не думай, что она тебе непременно понравится. Мамуся за милю чует покровительственное отношение и обойдется с тобой коротко. Она, если пользоваться лексиконом Шнак, старая стерва. И мудра, как змея.

— Ага, вот теперь ты заговорил! А Мария — молодая стерва, как бы она ни притворялась любезной женой богача и синим чулком. Ты проболтался, отец Даркур!

— Все потому, что вино уж очень хорошее. Но я рассказал тебе только то, что и так все знают.

— Так давай выкладывай, что там с Артуром?

— Артур — способный финансист, председатель правления огромной финансовой империи и человек, подлинно любящий искусство. Щедрый человек.

— И хлюпик? Ботан? Видишь, я тоже набралась лексикона у Хюльды.

— Нет, он вовсе не хлюпик и никакой не ботан,

и у Хюльды нет подходящих для него слов. А что он такое — тебе придется выяснить самой.

— Но что за сюжет плетут он и его жена? Который из девяти? Скажи, а то я ведь могу тебя и треснуть!

— Не затевай драку в ресторане, а то нас выкинут. И это будет совершенно не по-канадски. Я, кажется, разнюхал их сюжет, но тебе не скажу, даже не надейся. Ты умная женщина; догадайся сама.

— Непременно, и вот тогда, скорее всего, я тебя тресну. Или поцелую. Для мужчины ты неплохо пахнешь. Но ты хотя бы отведешь меня к матери этой твоей Марии?

— Если хочешь.

— Хочу.

— Ты и сама старая стерва, Нилла.

— Не такая уж старая. Но, безусловно, стерва.

— Мне нравятся грубые женщины.

— Хорошо. Выпьем коньяку?

— Думаю, арманьяку, если ты не против. Он больше подходит стервам.

4

Даркур не сомневался: Мария что-то затеяла. А то с чего бы она вдруг заявилась к нему среди бела дня, в половине пятого, делая вид, что просто шла мимо и решила выпить с ним чаю? Она прекрасно знала, что Даркур не увлекается светскими файв-о-клоками и для него это будет целое дело — найти чайник, раскопать завалявшиеся остатки чая и вскипятить воду на плитке. Даркур прекрасно знал, что если Марии хочется выпить чаю, ее с радостью встретят в общей гостиной ее старого колледжа, где чай всегда в изобилии. Оба знали, что Мария пришла поговорить про свою измену. Но она явно не собиралась играть кающуюся Магдалину. На ней был красный брючный костюм, волосы повязаны красным платочком. Она улыбалась, встряхивала волосами и закатывала глаза — Даркур раньше не замечал у нее такой манеры. Она пришла не исповедоваться и каяться, но бросить вызов и защищаться.

— Артур у тебя был, — сказала она после нескольких фраз ни о чем — оба не скрывали, что это лишь дань условности, ничего не значащая прелюдия к настоящему разговору.

— Он тебе сказал?

— Нет, но я догадалась. Бедный Артур сейчас в ужасном состоянии, а в таких случаях ты — его неизменное прибежище.

— Он был расстроен.

— И ты его утешил?

— Нет. Это было бы неуместно. Артур не из тех, кого можно утешить конфеткой, а утешения, как правило, большего и не стоят.

— Значит, ты все знаешь?

— Никоим образом. Я знаю то, что он мне рассказал.

— И собираешься меня отчитать?

— Нет.

— И хорошо. Я сейчас не в настроении слушать, как меня отчитывают.

— Тогда зачем ты пришла?

— А что, нельзя уже зайти к старому другу на чашку чая?

— Слушай, Мария, не валяй дурака. Если ты хочешь поговорить о нынешнем положении дел, я к твоим услугам. Но я вовсе не сторож твоей совести, знаешь ли.

— Но ты думаешь, что я поступила плохо.

— Не объясняй мне, что я думаю. Если хочешь, расскажи, что думаешь ты.

— Откуда мне было знать, что Артур бесплоден? Он мне не сказал.

— А это что-нибудь изменило бы?

— Ты просто не понимаешь, что случилось.

— В таких вещах никто в точности не понимает, что случилось, кроме непосредственных участников, а они не всегда способны объяснить.

— Значит, это ты знаешь?

— Да, я кое-что знаю о жизни. Немного, но кое-что. Я знаю, что иногда друг семьи подбрасывает кукушонка в гнездо и что это очень древняя история. И еще я знаю: когда ты вот так встряхиваешь волосами и закатываешь глаза, словно пони из конюшни Малютки Чарли, это значит — ты думаешь, что кто-то обошелся с тобой плохо. Кто, Артур?

— Он от меня скрыл.

— Он страдал и стыдился, и ты должна была бы это понять. Он бы сказал тебе в свое время. А как много ты скрыла от него?

— Да, кое-что скрыла. Подходящий момент не подворачивался.

— Мария, что за семью построили вы с Артуром? Подходящий момент можно организовать.

— Подходящий для того, чтобы приползти на коленях, рыдая, и чтобы меня простили. Я не

потерплю, чтобы меня прощали.

— Ты сделала то, что сделала, и за это нужно заплатить определенную цену. Принятие чужого прощения может быть частью этой цены.

— Значит, я не буду ее платить.

— Ты готова скорее разрушить свой брак?

— До этого не дойдет.

— Судя по тому, что я знаю об Артуре, — наверно, не дойдет.

— Он меня простит, и до конца нашей совместной жизни счет в нашем браке будет один — ноль не в мою пользу. А я этого не потерплю. Я не собираюсь в течение многих лет отвечать «да, дорогой» по всем важным вопросам только потому, что за мной долг, с которым я не могу расплатиться. У меня будет ребенок — это ты, надо полагать, знаешь. И каждый раз, когда он нашалит или не оправдает ожиданий, Артур будет вздыхать, закатывать глаза и вообще проявлять чудесное великодушие, черт побери все на свете!

— Ты думаешь, что он будет так делать?

— Я не знаю, что он будет делать, но именно этого я не потерплю.

— У тебя дьявольская гордость, ты знаешь?

— Надо полагать.

— Ты не можешь ошибаться. Мария должна

быть всегда права. Ну хорошо. Живи так, если не можешь по-другому. Но честное слово, гораздо проще и удобнее быть человеком, который имеет право на ошибку.

— Удобнее! Ты говоришь, как кот Мурр. Ты знаешь, кто такой кот Мурр?

— Что меня все всё время об этом спрашивают? Ты же сама мне о нем рассказала.

— Верно. Извини. Но с тех пор я дочитала этот поразительный роман, и мне кажется, что кот Мурр пробрался в мою жизнь и корежит ее. Кот Мурр и его омерзительная уютная философия слишком подходят к моему браку.

— Ага.

— Я тебя умоляю, не говори «ага», как будто тебе все ясно. Ты ничего не понимаешь в браке. Я думала, что счастлива. Потом я узнала, чем может быть счастье. Для меня оно означало — стать меньше себя самой и меньше чем женщиной. Знаешь, как говорят феминистки? Счастливая жена — перебежчица в войне за женское равноправие.

— В самом деле? Но о каком счастье ты говоришь? Счастье — непростая вещь.

— Мне уже начало казаться, что оно — именно то, что о нем говорит кот Мурр, уютное местечко,

где можно быть полностью довольным собой.

— Ну, для очень многих людей это так и есть. Но не для тебя. И не для Артура, — можно подумать, ты этого не знаешь. Ты недооцениваешь своего мужа.

— Я его недооцениваю? Ну так он недооценивает меня! Всё эти чертовы деньги! Они отрезали меня от всего, чем я была, и от всего, чем я хочу быть.

— А именно?

— Я хочу быть Марией, кто бы она ни была! Но в этом браке я не выясню, кто она такая, потому что, куда я ни ткнусь, я не Мария: я миссис Артур Корниш, богачка и синий чулок, точнее — сильно выцветший чулок, потому что миссис Артур Корниш только и делает, что горбатится на этот сраный Фонд Корниша, раздает деньги людям, желающим сделать тысячи вещей, которые меня совершенно не интересуют. Я все отдала этому фонду, и теперь меня больше нет!

— Ну, я надеюсь, что-то от тебя все-таки осталось. А что у вас с Артуром?

— Он стал очень странный. Чудовищно внимательный и заботливый.

— И теперь ты знаешь почему.

— Из-за этой свинки? Ну почему вдруг свин-

ка? Какая-то ерунда, а потом оказывается такая гадость.

— Ну, можешь называть ее двусторонним орхитом, если тебе нужно более торжественное название. Лично мне больше нравится «свинка», потому что это слово намекает на капризы и плохое настроение. Именно то, что сейчас происходит с Артуром. Он недоволен собой, у него плохое настроение, и как раз поэтому он старается быть с тобой вдвойне вежливым, чтобы компенсировать то, что ты вышла замуж за пустышку. Он считает себя слабаком и хлюпиком и жалеет тебя. Он знает, что с возрастом его яйца сморщатся и высохнут и для него это будет совсем невесело. Он боялся тебя потерять, а сейчас он думает, что это уже случилось. Это случилось?

— Как ты можешь такое спрашивать?

— А как я могу не спрашивать? Совершенно очевидно, ты спала с кем-то, кто не страдает бесплодием, и была настолько неосторожна, что забеременела.

— Господи, Симон, какой ты гадкий! Ты говоришь как типичный мужчина!

— Ну так я и есть мужчина. Ты явно считаешь, что на эту историю можно посмотреть под каким-то особым женским углом. Тогда расскажи

мне, как ты ее видишь.

— Во-первых, я ни с кем не «спала». Это не была цепочка измен за спиной Артура. Только один раз. И я тебе клянусь, что это произошло как будто с совершенно незнакомым человеком: мы с Пауэллом не обменялись ни единым словом, которое могло бы к такому привести. Он мне даже не нравится. Один-единственный раз, и я залетела! Какая ирония судьбы! Должно быть, Старый Шутник животики надорвал!

— Расскажи.

— Да, да — древнюю и вечно новую быль, как поется в твоей любимой песне. Но это вовсе не та древняя история, которую ты подозреваешь. А другая, гораздо старше — она уходит в глубь веков и, наверно, эпох, во времена, когда женщины только-только перестали быть недочеловеками, жмущимися в глубине пещеры.

— Мифическая?

— Да, клянусь Богом! Именно мифическая. Как в тех мифах, в которых бог сходит к смертной женщине. Помнишь, как-то вечером Пауэлл рассказывал сюжет оперы и там Моргана Ле Фэй пару раз появлялась переодетой и плела интриги?

— Да. Мы тогда говорили о сценическом переодевании.

— И Артур сказал, что его всегда раздражал этот прием в старинных пьесах, когда персонаж надевает плащ и шляпу и все остальные принимают его за другого. Артур тогда сказал, что переодевание невозможно. Мы узнаем людей по походке, по осанке, по тысяче неосознаваемых вещей. Еще он сказал, что спину замаскировать невозможно — ни один человек не видит себя со спины, зато все остальные его видят, и со спины человека гораздо легче узнать, чем лицом к лицу. Помнишь, что на это ответил Пауэлл?

— Что-то вроде того, что люди хотят обманываться?

— Да. Что мы сами навлекаем на себя обман, как и в тех случаях, когда смотрим выступление фокусника. Он рассказал, как однажды участвовал в концерте в сумасшедшем доме. Очень талантливый иллюзионист выбивался из сил, но ему совсем не хлопали. Почему? Потому что сумасшедшие не были его сообщниками по обману. Для них кролик, появляющийся из пустой шляпы, — в порядке вещей. А вот здоровые люди — доктора и медсестры, живущие в том же пространстве аксиом, что и фокусник, — были в восторге от его выступления. И с маскировкой то же самое. На сцене людям можно отвести

глаза чисто условным переодеванием, потому что настоящий обман творят они сами, своей волей. Покажите Ланселоту и Гвиневре ведьму, и они поверят, что это ведьма, потому что в их ситуации ведьма гораздо уместней, чем Моргана Ле Фэй в лохмотьях.

— Да, я помню. Мне тогда показалось, что это довольно хлипкий аргумент.

— Но ты наверняка помнишь, что он сказал после этого? Что мы обманываемся, потому что сами хотим обмануться. Это для нас по каким-то причинам необходимо. Это — аспект судьбы.

— Кажется, помню. Пауэлл несет завораживающую кельтскую чепуху в огромных количествах, верно?

— Ты так цинично к нему относишься, потому что он потрясающе убедителен, а ты ему завидуешь. Если ты так настроен, мне незачем продолжать.

— Нет-нет, продолжай. Я обещаю на время отложить свое неверие в идеи Геранта Пауэлла.

— Да уж придется. А теперь слушай внимательно. Месяца два назад Пауэлл зашел ко мне по делу. Как ты знаешь, он сейчас заключает договоры с певцами и другими участниками постановки и перед подписанием — он очень щепетилен на

этот счет — всегда показывает их Артуру или мне, если Артур в отъезде. В тот вечер Артур был в отъезде. В Монреале, он там часто бывает, и я не знала, когда он должен вернуться. Поздно ночью или на следующее утро. Мы с Пауэллом работали допоздна, а потом пошли спать.

— Прямо так, без предисловий?

— Да нет, не в том смысле, что легли вместе. Пауэлл часто ночует у нас в гостевой комнате, если задерживается в городе. А утром рано встает и сразу едет в Стратфорд. Это уже заведенный порядок и очень удобно для Пауэлла.

— Вот и Уолли Кроттель так подумал.

— К черту Уолли Кроттеля. Ну вот, я пошла к себе и заснула, а часа в два ночи вошел Артур и лег ко мне в постель.

— Я полагаю, в этом не было ничего необычного.

— Это было не совсем обычно. Понимаешь, после болезни Артур отселился в отдельную комнату и там же обычно спит, а ко мне приходит только по случаю секса. Так что я не удивилась.

— И это был Артур?

— Кто же еще? На нем был халат Артура. Ты наверняка помнишь этот халат. Я его подарила Артуру вскоре после свадьбы. Его шили по моему

заказу, геральдических цветов короля Артура и с его гербом — зеленым драконом в красной короне на золотом поле. Этот халат ни с чем не спутать. Я нащупала вышитого дракона на спине. Пришедший скользнул в мою постель, распахнул халат — и вуаля.

— Все как по писаному.

— Да.

— Мария, я не верю ни единому слову.

— Но я поверила. Или очень важная часть меня поверила. Я приняла его за Артура.

— А он взял тебя, как Артур?

— Именно это мне трудно объяснить. Если к тебе в очень темную спальню входит мужчина, и ты на ощупь узнаешь так хорошо знакомый тебе домашний халат твоего мужа, и этот мужчина доставляет тебе такое наслаждение, что все сомнения и недовольство прошедших недель развеиваются, как дым, — неужели ты потребуешь, чтобы он назвался?

— Он ничего не говорил?

— Ни слова. Слова были не нужны.

— Мария, все это чертовски подозрительно. Я невеликий специалист, но у любой пары бывают какие-то привычные, ожидаемые вещи — ласки, звуки и, конечно, запахи. От него пахло

Артуром?

— Я не помню.

— Ну, Мария, так не пойдет.

— Ну… и да и нет.

— Но ты не протестовала.

— Разве в такие минуты протестуют?

— Надо думать, нет. Знаешь, я, наверно, тебя понимаю.

— Спасибо, Симон. Я надеялась, что ты поймешь. Но не была уверена. Мужчины в таких вещах совершенно непредсказуемы.

— Ты же сама все сказала несколько минут назад. Эта история уходит в глубь веков и не стареет. Демон-любовник. Ты рассказала Артуру?

— Как я могла, когда он весь такой выдержанный и, черт бы его побрал, святой?

— Уж постарайся. Он многое понимает — ты и не подозреваешь, сколько именно. К тому же он и сам небезупречен. Он скрыл от тебя то, что ты имела полное право знать. Устройте-ка *диван.* Ничто так не оздоравливает атмосферу, как хороший цыганский *диван.*

5

Есть особый род отчаяния, известный писателям, которые не могут выкроить время для собственного труда. Даркур был необычно раздражителен, потому что вообще не продвигался в работе над биографией покойного Фрэнсиса Корниша. Внезапную идею, озарившую его в гостиной княгини Амалии, нужно было развить дальше, раскопать, а он чем занимался? Отнюдь не этим, а семейными несчастьями Артура и Марии. Будучи подлинно сострадательным человеком — хотя и презирая то, что свет считает состраданием, — Даркур много думал об Артуре и Марии и, правду сказать, переживал за них. Как многие, чье ремесло — давать советы другим, Даркур никогда не исполнял собственные предписания. Он сказал обоим друзьям, что беспокоиться и грызть себя — бессмысленно и вредно, а когда они ушли, увяз в беспокойстве за них. По идее Даркур был в саббатическом отпуске, то есть отдыхал от университетской работы, но любой преподаватель знает, что, не уехав из университета, невозможно полностью отрешиться от своих обязанностей.

Взять, например, Пенни Рейвен. Ее, вроде бы идеальную женщину-ученого, чудо организованности и разумного подхода к жизни, повергло в полное смятение то, что происходило между Шнак и доктором Даль-Сут. Что же именно между ними происходило? «Симон, ты что-нибудь знаешь?» Даркур старался хранить терпение во время ее продолжительных звонков. «Я знаю, что доктор и Шнак работают над оперой и со страшной скоростью выдают на-гора музыку, безжалостно погоняя меня, чтобы я приносил новые и новые куски либретто или поменял что-то в написанном ранее; я захожу к ним раз в день, а то и чаще, и мы препираемся из-за кусков речитатива; я никогда не думал, что у либреттиста такая собачья жизнь. Верди по сравнению с Гуниллой показался бы ангелом. Они работают, Пенни, работают!» — «Да, да, Симон, я понимаю, но не могут же они работать все время. Какая там атмосфера? Мне чудовищно больно думать, что бедную девочку втянули в ситуацию, с которой ей не справиться». — «С атмосферой там все в порядке; учительница направляет ученицу, но не подавляет ее, а ученица цветет, как роза, — ну, может, и не как роза, но на ней проклюнулось несколько робких бутонов. Она вымыта, на-

кормлена и по временам даже смеется — тихим, пыльным смешком». — «Да, Симон, но как это достигается? Какой ценой?» — «Не знаю, Пенни, и, честно говоря, мне все равно, потому что это не мое дело. Я не нянька. Сходи посмотри сама, если тебя это так волнует. Кстати говоря, ты должна была писать либретто вместе со мной, но пока что совершенно ни хрена не сделала». — «Да, но у тебя так хорошо получается, а мне надо готовить огромный доклад к следующему заседанию научного общества, и, честно, у меня совсем нет времени. Но я приду в самом конце и положу несколько завершающих штрихов». — «Черта с два! Раз я пишу либретто, никто, кроме меня, не будет вносить в него завершающие штрихи. Все штрихи, которые нужны, я получаю от Ниллы, а в том, что касается английской поэзии, ее штрихи больше похожи на удары кузнечного молота». — «Ну хорошо, значит, ты отказываешься нести ответственность за юную особу, вверенную твоему попечению — во всяком случае, до определенной степени». — «Нет, Пенни, она не вверена моему попечению; если она кому и вверена, то это Уинтерсену, а от него ты не добьешься выступлений в защиту высокой морали. А если будешь и дальше совать нос не в свое дело, то не

исключено, что Шнак заедет по нему кулаком. Я тебя предупредил». — «Ну что ж. Ну что ж. Но я обеспокоена и разочарована». — «Прекрасно! Продолжай в том же духе. Кстати, ты, случайно, не знаешь какого-нибудь двусложного слова, чтобы заменить „печаль“? „Печаль“ не подходит, плохо ложится на музыку: у меня тут четвертная нота, за которой следует восьмушка. Вот о таких вещах мне все время приходится думать. О, я знаю! „Скорби“! Прекрасное слово, прямо из Мэлори, и ударение на первом слоге, а потом безударный второй. Его можно спеть! Прекрасный ударный открытый слог, а за ним безударный маленький». — «Нет, Симон, это совсем не годится. Слишком архаично и театрально». — «Господи, Пенни! Оставь меня в покое, ты… критик!»

И такие диалоги повторялись все время. Пауэлл был прав. Пенни ревнует, как мокрая кошка, потому что Гунилла взяла Шнак в… ученицы? Да, конечно, но еще и в… как это назвать? Для мужчины в таком положении существует множество слов. Тапетка, миньон, бардаш… а для женщины? Даркур не знал. Может быть, *petite amie*[75] подойдет. Хочет ли Пенни прибрать Шнак к рукам?

---

[75] Примечания: 75
Любовница *(фр.).*

Нет, это вовсе не ее стиль. Пенни, конечно, лесбиянка, но в материнском, удушающе-заботливом стиле, из тех, что всецело живут успехами своих миленьких деточек. В сексуальном плане она — собака на сене, сама не ест и другим не дает. Пенни просто завидовала успешному пиратскому наскоку доктора Гуниллы, ее уверенности в себе и презрению к коту Мурру.

Но каждый день, весь день, а иногда и ночью, во сне, биография Фрэнсиса Корниша не давала покоя Даркуру. Неужели его книге суждено так и остаться достойной, нудной, непримечательной жвачкой? Шпионский колорит — это неплохо, но Даркуру хотелось большего.

Все дело в той картине, «Брак в Кане». Где он видел эти лица? Точно не среди огромных пачек рисунков и набросков, которые сам же отправил в Национальную галерею. Картина, безусловно, была замком, надежно охраняющим настоящую жизнь Фрэнсиса Корниша. Но где же ключ? Оставалось только искать его, искать, искать без устали. Но где?

Даркуру повезло, что его так радушно привечали в университетской библиотеке, где под замком лежали все остатки из битком набитых квартир Фрэнсиса Корниша, ожидая, когда до них

доберутся составители каталогов. Безусловно, до этих материалов очередь дойдет не скоро, так как они именно то, чем назвал их Даркур, когда привез в библиотеку. Остатки, объедки. Все прекрасные картины, собрание канадской современной живописи, завидная коллекция современных иностранных художников, рисунки старых мастеров, редкие книги, дорогие альбомы по искусству, куча нотных рукописей (настолько беспорядочная, что не заслуживала имени коллекции) и все остальное мало-мальски ценное отправилось в галереи и в библиотеку. Несомненно, в свое время всю эту огромную массу внесут в каталоги — каталогизация обычно движется со скоростью наступающего ледника. Но осталась еще огромная куча, которую Даркур мельком просмотрел и по недостатку времени не стал исследовать подробно, — на нем лежали обязанности исполнителя завещания, и приходилось торопиться.

Не питая особых надежд, Даркур решил просмотреть эти остатки. Он объяснил приятелю-библиотекарю, что намерен делать, и получил обещание всяческой помощи. Но именно помощи он и не хотел. Он хотел вынюхивать, он хотел совать нос в документы и ждать, не всплывет ли

вдруг какой-нибудь намек на ту поразительную картину.

Сама картина была известна в мире искусства, хотя мало кто ее видел своими глазами. Конечно, многие читали статью Эйлвина Росса в «Аполло» — окончательное решение загадки. Статья вышла несколько лет назад, еще при жизни Фрэнсиса Корниша, так что он точно ее читал. Наверняка она вышла с его одобрения или, по крайней мере, с молчаливого согласия. Статья была хорошо проиллюстрирована, и картина заново поразила Даркура, когда он выкопал статью в библиотечных подшивках «Аполло». Он несколько раз перечитал элегантные пассажи Росса, подробно разъясняющие исторический смысл картины (что-то про Аугсбургское соглашение и попытки примирить римско-католическую церковь с протестантской реформационной). Росс делал вывод, что картина принадлежит кисти неизвестного, но весьма талантливого мастера, которого он решил называть просто Алхимическим Мастером из-за каких-то алхимических мотивов, обнаруженных им в картине.

Но эти лица! Они показались Даркуру знакомыми, когда он видел картину живьем в Нью-Йорке. На репродукциях в «Аполло» они не так притяги-

вали взгляд, хотя репродукции были подробны и хороши. Но в оригинальном холсте есть нечто такое, чего не может передать ни одна, даже самая лучшая, репродукция. Люди на картине жили, а люди на страницах «Аполло» — нет. Эти лица! Даркур точно где-то видел по крайней мере кого-то из этих людей, а у него прекрасная память на лица. Но где?

Делать нечего, придется скрупулезно перебирать весь отвал из Корнишевой «лавки древностей», бумажку за бумажкой. Все, что привезли сюда после того, как Даркур, Клемент Холлиер и недоброй памяти покойный Эрки Маквариш выполнили свой долг и разобрали наследство покойного. Мог ли Эрки прикарманить что-нибудь важное? Вполне возможно, ибо он принадлежал к редкой, но не вымирающей породе жуликов от науки. (Даркур с болью в сердце осознал, что и сам теперь не последний представитель этой категории, хотя, конечно, он — совсем другое дело.) Но он не имеет права предполагать, что в этой куче отсутствуют ключи к великой картине, пока не просмотрит все до единой папки и пачки. Лучше всего перерыть эту кучу, начав снизу.

Итак, облачившись в слаксы и свитер — одежду для грязной работы, — Даркур отправился в биб-

лиотеку и, после сердечного напутствия Арчи, начал снизу.

Внизу лежали бумаги, до которых еще не дотрагивались ни сам Даркур, ни Холлиер, ни Маквариш, так как они, по-видимому, не имели прямого отношения ни к коллекциям Корниша, ни к самому Корнишу. Секретаршу, которую прикомандировал к ним Артур Корниш, попросили сделать грязную работу — такова обычно участь секретарш. «Упаковать весь этот мусор…» — «А дальше что?» — «Мм… ну положите его вместе с тем, что предназначено для университетской библиотеки. Когда тамошние сотрудники дойдут до этого хлама, они сами его выкинут, но до тех пор пройдут годы. Мы торопимся закончить объемную работу, порученную нам нетерпеливым Артуром Корнишем».

Вот он, весь этот хлам, аккуратно завернутый и перевязанный в пачки умелой рукой секретаря. Пачки предвещали долгие часы нудных поисков. Даркур почти двадцать лет пробыл приходским священником, прежде чем устроился на должность преподавателя греческого языка и смог покинуть уже нелюбимую работу. Но годы труда на приходе оставили свою печать — взявшись за первую пачку, Даркур поймал себя на том, что

мурлычет какую-то мелодию.

Мелодии, которые мы напеваем себе под нос, очень важны. Они сигналят о состоянии духа, неведомом верхнему слою сознания. Даркур напевал давно любимый гимн:

Иегова всемогущий,
Поддержи меня в пути,
Проведи меня чрез пустошь,
От неверья защити.
Пред Тобой я слаб и грешен,
Мой Спаситель Всеблагой.
Накорми, согрей, утешь мя,
До конца пребудь со мной.

Прекрасная молитва. А поскольку она шла из глубины души, а не из суетливого, вечно чем-то занятого мозга, Даркур тут же получил на нее ответ. Не может быть? Говорите, никаких ответов на молитвы не бывает? Конечно, современный ум не признает ничего подобного.

Секретарша надписала каждую пачку аккуратным, безликим почерком. Писем в этих бумагах не было, и вообще Даркур еще раньше просмотрел все сохранившиеся письма Фрэнсиса Корниша. Но здесь были пачки газет со статьями

о разных делах, связанных с миром искусства. Газеты были сложены как попало, но во многих статьях речь шла о подделках, предполагаемых или же доказанных. У Фрэнсиса была ужасная привычка — сохранять всю газету, отметив нужную статью синим карандашом, вместо того чтобы вырезать ее и поместить в картотеку, как сделал бы любой человек, уважающий своих наследников. Желтеющие газеты заполняли несколько свертков. Даркура кольнуло чувство вины — он, как биограф, обязан был просеять всю эту кучу в поисках жемчужин. Он это непременно сделает, но не сейчас. В некоторых статьях речь шла о делах или о смерти совершенно неизвестных Даркуру людей. Подозреваемые из тех времен, когда Корниш работал в контрразведке? Возможно. Ясно, что в роли шпиона Фрэнсис был неаккуратен и неметодичен. И еще в самом низу лежали шесть больших свертков, помеченных «Фотографии. Неличные». Наверняка там нет ничего интересного. Даркур уже нашел фотографии всех людей, нужных ему для книги. Фотографы обычно ведут аккуратные картотеки, так что это было несложной, хотя и нудной, задачей. Но раз уж Даркур решил просмотреть все, он распаковал свертки, и это оказались старомодные семейные

фотоальбомы.

Они были аккуратные, даже чересчур; каждая фотография заботливо подписана старомодным почерком. Ах да: это рука Фрэнсисова дедушки, а сами альбомы — дело рук и любимое хобби старого сенатора, Хэмиша Макрори. Должно быть, он не пожалел денег на эти альбомы, так как они явно были сделаны на заказ и на каждом значилось золотым тиснением (буквы не потускнели со временем, так что золото было настоящее): «Солнечные картины».

Фотографии оказались более личными, чем решила при беглом осмотре секретарша. Первые три альбома, по-видимому, запечатлели жизнь городка в Онтарио на рубеже веков: улицы, утопающие в грязи или в снегу или обожженные до трещин летним солнцем; перекошенные, словно пьяные, телефонные столбы с паутиной проводов; на улицах — конные экипажи; огромные подводы, запряженные четверкой и груженные бесконечно длинными бревнами; и жители городка, одетые по тогдашней моде, — местами расплывчатые там, где объектив сенатора не успел остановить их на ходу. Были тут и сцены в лагере лесорубов, где мужчины цепями и примитивными подъемниками грузили эти

самые бревна на подводы. И сами лесорубы, здоровяки с огромными бородами и большими топорами, рядом с деревьями, которые они только что повалили или распилили. И лошади, гигантские першероны, плохо ухоженные, но хорошо откормленные. Клички лошадей тоже были аккуратно вписаны в альбомы: Ромашка, Старый Ник, Леди Лорье, Томми, Большой Юстас. Эти лошади — терпеливые, надежные и сильные, как слоны, — таскали бревна из лесу. Так начиналось богатство Корнишей, подумал Даркур. С леса, хотя тогда лесопильное дело было совсем не то, что сейчас. Дальше на фотографиях были пильные ямы, в которых верхний пильщик стоял на бревне, над чудовищно огромной пилой, а нижний выглядывал из ямы. Гордились ли они, что сенатор хочет их снять? Застывшие лица не выдавали ничего, но в позах была гордость: это люди, которые знают свое дело. Отличные фотографии. Запечатлели Канаду, ушедшую навсегда. Какой-нибудь социальный историк будет счастлив прибрать их к рукам. Но лиц, которые Даркур надеялся отыскать, тут не было.

Следующие три альбома. Эти, кажется, обещают больше. Священники в сутанах и биреттах неловко сидят у столика, на котором лежит

раскрытая книга. Невысокого роста мужчина с проницательным взглядом — явно врач, судя по старомодному прямому стетоскопу и человеческому черепу у него на столе. Но что это за женщина в странном чепчике? А эта, что стоит у кухонной двери с тазиком и поварешкой? Именно эти лица искал Даркур. Неужели?..

Да, это они. Вот, в пятом альбоме! Очаровательная девушка, несомненно, мать Фрэнсиса в юности. Мужчина с очень прямой спиной — солдатская выправка и монокль в глазу. Без сомнения, это дама и одноглазый рыцарь с картины «Брак в Кане». Под фотографиями рукой сенатора было написано: «Мэри-Джим и Фрэнк, первая неделя в Блэрлогги». Это родители Фрэнсиса, но не такие, какими Даркур их знает по более поздним фотографиям: это Мэри-Джим и Фрэнк, какими их видел в детстве Фрэнсис. А потом — вот сокровище, вот решающая деталь! — фотография красивого темноволосого юноши лет восемнадцати: «Мой внук Фрэнсис перед выпуском из Колборн-колледжа, 1929 г.»

Вот оно! Ключ наконец у Даркура в руках! Но что же Даркур? Он ликовал, вне себя от радости? Нет, он был очень спокоен, как человек, отбросивший сомнения и тревоги. Он подумал, что

его терпение вознаграждено, а потом отбросил эту мысль как недостойное проявление гордыни. Остался последний альбом.

«А ты хорошее вино сберег доселе».[76] Надпись на ленте, которая вилась из уст необычного ангела на картине, оправдалась. Даркур в полном изумлении переворачивал страницы. «Мой кучер Зейдок Хойл»: молодцеватый мужчина с солдатской выправкой, но — если всмотреться — с несчастным лицом стоит возле отличной кареты, запряженной парой гнедых. Без сомнения, это *huissier*[77] с картины, жизнерадостный человек с кнутом. А за ним — тут с Даркура слетело все спокойствие, флегматичное приятие огромной удачи — среди фотографий бородатых, древних, молодых, полных сил и трясущихся от немощи жителей Блэрлогги начала века красовалась фотография карлика: он стоял перед убогой лавкой, щурясь на солнце и подобострастно ухмыляясь сенатору, местному великому человеку, который снимал его для «солнечной картины». Под фотографией было написано: «Ф. Кс. Бушар, портной». Тот самый карлик, который так гордо, прямо сто-

---

[76] Примечания: 76
Ин. 2:10.

[77] Примечания: 77
Привратник, распорядитель *(фр.).*

ял на полотне «Брака в Кане», и — не исключено — прототип «Дурачка Гензеля».

Может быть… возможно ли… может быть, это и есть «пробуждение маленького человечка»?

Из-за перегородки высунулось доброе лицо младшей библиотекарши.

— Профессор Даркур, не желаете ли кофе?

— Клянусь Богом, желаю, — ответил тот, и она, несколько потрясенная таким эмоциональным всплеском, поставила перед ним бумажный стаканчик с жидкостью, которую персонал библиотеки — с широтой души, свойственной истинным ученым, — именовал «кофе».

Даркур поднял этот стакан едва теплой черной жижи за свою удачу. Вот он сидит, окруженный свидетельствами, раскрывающими тайну, немаловажную для мира искусства. Он, Симон Даркур, только что идентифицировал персонажей картины «Брак в Кане», тем самым доказав, что она — продукт нашего времени, утонченная загадка, повествующая о жизни самого художника. Он разрушил затейливые построения Эйлвина Росса и раз и навсегда идентифицировал Алхимического Мастера.

Это — покойный Фрэнсис Корниш.

Но Даркур думал не о сенсации, которую про-

изведет его открытие в мире искусства. Он думал о своей книге. О биографическом труде. Книга не просто слегка приподнялась из болота скуки, как надеялся Даркур, — она обрела крылья и взлетела.

Он, как подобает ученому, аккуратно сложил альбомы стопкой на большом столе в отведенной ему нише. Никогда не оставляй за собой беспорядок. Он благословил Фрэнсиса Корниша и первую заповедь ученого: никогда ничего не выбрасывать. Завтра он вернется и сделает подробные записи.

Работая, он снова принялся напевать. На этот раз — один из метрических псалмов:

И камень, что отвергнут был,
Лег во главу угла.
Господь то чудо сотворил,
Вовек Ему хвала.[78]

[78] Примечания: 78

Шотландский гимн, стихотворное переложение псалма 117. Пер. Д. Никоновой.

6

Оттава в конце ноября — не то место, куда ездят ради удовольствия. По слухам, этот город — самая холодная столица в мире; в Москве по сравнению с ней всего лишь зябко. В это время здешняя природа готовится к ежегодной яростной атаке на выносливость, добродушие и находчивость местных жителей. Даркур был рад, что в Национальной галерее царит роскошное тепло. Он, с поднятым воротником, шмыгал из гостиницы в галерею и обратно, пытаясь защититься от ледяных ветров, дующих с реки и канала. Даркур мерз телом, но огромная радость согревала его душу. Все, что он нашел при новом, более тщательном исследовании той части коллекции, которую Фрэнсис Корниш назвал рисунками старых мастеров, подтверждало великое открытие, сделанное в университетской библиотеке.

Как все, что осталось после Фрэнсиса, многочисленные папки и конверты смешались в беспорядочную кучу, но это была куча сокровищ — важнейших и менее важных. Подборки собственных рисунков Фрэнсиса были аккуратно подписаны. В основном ученические этюды:

неплохие, с тщательно проработанными деталями. По странной причуде художник отыскал для этой работы настоящую старую бумагу и особым образом подготовил ее к рисованию серебряным карандашом. Зачем столько труда ради простых ученических упражнений? На каждом рисунке был указан оригинал, с которого он сделан, и дата создания копии. Но в рисунках было нечто, намек — Даркур не дал ему перейти в уверенность — на то, что эти рисунки ничуть не хуже оригиналов, а иногда и лучше, пусть они и значатся копиями. Живи Фрэнсис в другом веке и имей необходимость зарабатывать себе на хлеб, он, пожалуй, преуспел бы, терпеливо создавая и продавая туристам копии понравившихся им картин. Копиист может быть весьма одарен — в техническом смысле он может быть талантливее многих художников, не снисходящих до такой работы и не имеющих к ней склонности. Но все же копиист делает всего лишь копии.

Среди документов был один коричневый конверт, который Даркур открыл последним: он предчувствовал, что искомое может оказаться именно там. Даркур хотел подразнить себя, распалить почти до лихорадки, как ребенок, что приберегает один сверток из кучи рождествен-

ских подарков, надеясь, что там скрыто именно то, чего ему хочется больше всего на свете. Этот конверт, в отличие от прочих, был запечатан: клапан приклеен на место, а не просто засунут внутрь. Надпись на конверте гласила не «Рисунки старых мастеров», а «Мои рисунки в стиле старых мастеров, для Национальной галереи». Галерейное начальство, скорее всего, не позволило бы его открыть — во всяком случае, потребовало бы присутствия какого-нибудь уполномоченного представителя, чтобы дышал Даркуру в затылок. Но Даркур, уже считающий себя опытным жуликом, пробрался на кухоньку, где сотрудники галереи делали себе чай и кофе и прятали тайные запасы печенья, и попросту отпарил клапан, быстро и без лишних слов. Да, то, что он искал, было в этом конверте. Будь Даркур склонен к обморокам, он бы сейчас упал в обморок.

Здесь были предварительные наброски к «Браку в Кане»: несколько планов группировки фигур, этюды голов, рук, одежд и доспехов — и каждая голова носила сходство (хоть и не всегда полное) с кем-нибудь изображенным на «солнечных картинах» дедушки, Джеймса Игнациуса Макрори. Впрочем, нет, не каждая: женщину, стоящую посреди центральной панели, дедушка не узнал

бы, но Даркур узнал прекрасно. Это была Исмэй Глассон, жена Фрэнсиса Корниша и мать Малютки Чарли. Фигура Иуды тоже происходила не с «солнечных картин»: это был Танкред Сарацини, шаржи на которого, аккуратно подписанные, часто попадались в блокнотах Фрэнсиса. И карлик, так гордо выступающий на створке картины, так униженно держащийся на фотографии: Ф. Кс. Бушар, без сомнения. А *huissier* — это Зейдок Хойл, кучер дедушки. Чем он был так важен, почему попал на картину? Даркур надеялся когда-нибудь это узнать, но даже если и не узнает, ничего страшного.

Самыми загадочными были этюды с изображением ангела, уверенно парящего над центральной панелью — столь уверенно, что его влияние явно распространялось на все три. Вот он; один из этюдов подписан «Ф. К.». Это собственные инициалы Фрэнсиса Корниша, но ангел, несомненно, не он. Может, Корниш просто от нечего делать подписал рисунок? Или эта безумная, но неумолимо притягательная, сильная фигура — некое представление Фрэнсиса о самом себе? Неужели он так странно себя видел? Еще одна загадка. Даркур надеялся когда-нибудь найти на нее ответ, но знал, что это не обязательно. Перед

ним лежали прототипы людей, изображенных на картине «Брак в Кане»; даже если не всех их удастся отождествить со знакомыми Фрэнсиса и дедушки Макрори, это ничуть не умаляет его открытия. С легким сердцем Даркур снова заклеил конверт и покинул галерею, по дороге расточая всяческие любезности тем, кто позволил ему искать среди галерейных материалов, — эти люди предположили, что он ищет что-то связанное с биографией их покойного благотворителя, для своей книги, и были совершенно правы.

Даркуру нужно было время, чтобы освоиться со сделанным открытием — несомненно, самой большой удачей его жизни. Поэтому он вернулся в Торонто поездом, и путешествие заняло почти целый день, хотя самолетом он долетел бы меньше чем за час. Именно долгое путешествие и нужно было Даркуру. Народу в поезде было мало, и тропическая жара от батарей, перемежаемая пронзительными ноябрьскими сквозняками, была гораздо приятнее герметически замкнутой атмосферы самолета. Скудость буфета — в поезде предлагали обычные железнодорожные бутерброды — Даркур компенсировал тем, что захватил с собой большую плитку шоколада с орехами. На коленях у него лежала книга, ибо он

был из тех, кто постоянно имеет при себе книгу, как талисман. Но Даркур не читал. Он думал о своей находке. Он упивался ею. Он смотрел в окно, на безжизненный, плоский ландшафт восточного Онтарио в ноябре, на унылые городки; убогие, непривлекательные, в глазах Даркура они были подобны саду Эдемскому, а мерзнущие прохожие — Адамам и Евам. Он мысленно строил фразы; тщательно подбирал эпитеты; пресекал собственные поползновения на литературную экстравагантность. Он придумал несколько скромных способов представить свое открытие, которое должно было полностью изменить образ покойного Фрэнсиса Корниша в глазах света. Во все время путешествия Даркур был как никогда близок к неземному блаженству.

Но путешествие кончилось, и блаженство вместе с ним. По прибытии Даркура в колледж привратник сообщил, что ему звонили: он должен как можно скорее связаться с Артуром.

— Симон, я прошу тебя об очень важном одолжении. Я знаю, что ты занят, но, пожалуйста, брось все и немедленно поезжай в Стратфорд к Пауэллу.

— Чего ради?

— А ты не знаешь? Ты что, газет не читал? Он в

больнице, в плохом состоянии.

— Что случилось?

— Авария, вчера ночью. Видимо, он неосторожно вел машину. Точнее, он поехал через парк, рядом с Фестивальным театром, на большой скорости и врезался в дерево.

— Машина сошла с дороги?

— Он не был на дороге. Он был в самом парке, вилял меж деревьев и орал, как дикарь. Мне сказали, что он был очень пьян. Он сильно разбился. Мы за него ужасно беспокоимся.

— Конечно. Но почему ты сам не поедешь?

— Это деликатный момент. Возможны осложнения. Оказывается, под наркозом он начал болтать, и хирург позвонил мне, чтобы я объяснил… ну и, наверно, ему интересно было, что я скажу. Пауэлл наболтал про Марию и меня, и теперь, если мы помчимся его проведать, театральный мир получит новую пишу для сплетен. Ты же знаешь этих людей. Но кто-то должен к нему поехать. Иначе будет просто неприлично. Поедешь, а? Возьми машину, конечно, это ведь связано с делами фонда. Поезжай, Симон. Ну пожалуйста!

— Конечно, я поеду, раз нужно. Только… ты хочешь сказать, что он все разболтал?

— Очень многое. Конечно, хирург сказал, что

под наркозом люди фантазируют и никто не воспринимает всерьез то, что они говорят.

— Но он воспринял это достаточно всерьез, чтобы известить тебя.

— Пока он штопал Геранта, вокруг крутились всякие ассистенты и медсестры — а ты знаешь, что такое больничные сплетни.

— Я знаю, что такое любые сплетни, если людям попадет на зубок лакомый кусочек.

— Так ты поедешь? Симон, ты настоящий друг! И позвонишь нам, как только вернешься?

— Мария беспокоится?

— Мы оба беспокоимся.

Вот это хорошо, думал Даркур, несясь в Стратфорд в наемном лимузине. Если они оба беспокоятся об одном и том же, о передряге, в которую попали с Пауэллом, это может снова свести их вместе, и тогда конец вежливым разговорам ни о чем. Даркур был настроен отчасти цинично, так как перекусил наспех, ожидая машины, и этот перекус вместе со съеденным в поезде шоколадом явно не нравился его желудку.

Несварение желудка — великий прародитель цинизма. На заднем сиденье машины, пронзающей ноябрьскую тьму, Даркур утратил сегодняшнее счастливое расположение духа. Он снова

стал добряком-стариной Симоном, придворным аббатом Фонда Корниша, испытанной пожарной командой, высланной тушить огонь сплетен, к которым Артур и Мария отнеслись всерьез.

Мы живем в век сексуальной раскрепощенности, думал он. Уже никто не ожидает от людей серьезного отношения к брачному обету, никто не видит ничего особенного в прелюбодеянии, блуде и всяческой нечистоте — за исключением случаев, когда они касаются тебя самого. А в этом случае поднимается крик, от которого пробуждаются авторы колонок светских сплетен и адвокаты по бракоразводным делам, и порой доходит даже до уголовного суда. Особенно если дело касается известных людей, а Мария, Артур и Герант Пауэлл — известные люди, каждый в своем роде, и уязвимы для сплетен, как любой человек. Даркур был из старой онтарийской семьи, потомок имперских лоялистов, и порой ему на ум приходила старая лоялистская поговорка, не теряющая актуальности: «Все зависит от того, чьего быка прободали». На этот раз прободали корнишевского быка, и рану скрыть, пожалуй, не удастся.

Но все же Даркуру надо нестись в Стратфорд, чтобы залепить кровоточащее место пластырем.

Пауэлла положили в «полуотдельной» палате — это значило, что он лежал в той части палаты, которая была ближе к двери; палата была разгорожена белой занавеской, и обитатель другой половины, судя по звукам, взял напрокат больничный телевизор. Он смотрел хоккей, видимо решающий матч, на полную громкость. Ведущие в большом волнении комментировали игру и обсуждали ее важность.

— О, Сим-бах, какой ты молодец, что приехал! Как я рад тебя видеть! Попроси, пожалуйста, этого козла прикрутить свою адскую машинку!

Голова Геранта была вся в бинтах, но лицо оставалось свободным; на лице виднелись синяки, но ран Даркур не заметил. Одна рука была в гипсе, а левая нога, тоже в какой-то медицинской обертке, приподнята на подвесе, приделанном к раме кровати.

— Простите, вы бы не могли немного уменьшить громкость? Мой друг очень плохо себя чувствует, и нам с ним надо поговорить.

— А? Что вы сказали? Говорите погромче, я глуховат. Отличная игра, а? Хаттеры дают жару советской сборной! Моя любимая команда! Из

Медисин-Хат![79] Лучшие в своей лиге. Если они выиграют этот матч, то, может, кубок все-таки нам достанется! Важная встреча, а?

— Да, но не могли бы вы сделать потише? Мой друг очень плохо себя чувствует.

— Правда? Ну ничего, это его подбодрит. Хотите, отдерните занавеску, чтоб ему было видно!

— Спасибо, вы очень добры. Но ему на самом деле плохо.

— От этого ему точно полегчает. Ого! Видели? На волосок промахнулся! Донникер сегодня в отличной форме. Он покажет этим русским, что такое защита! Ого! Смотри! УХ ТЫ!

По-видимому, ничего нельзя было сделать. Сосед Пауэлла пылал всепоглощающей страстью, и говорить с ним было бесполезно.

— Ну что, как ты себя чувствуешь? — спросил Даркур.

— Я нахожусь в предгорьях Ада, у входа в Расселину Скорби, — ответил Пауэлл.

Он заранее заготовил текст, подумал Даркур. Похоже, мне придется нелегко.

— Я приехал, как только узнал. Что с тобой случилось, ради бога?

---

[79] Примечания: 79

Медисин-Хат — город на юго-востоке провинции Альберта (Канада).

— Кара небесная, Сим-бах. Я все погубил и испортил! Моя жизнь лежит в руинах, и мне некого за это винить, кроме себя самого. Таково наказание за грех, и мне ничего не остается делать, кроме как смиренно проглотить его, взять на плечи свой крест, искупить вину страданием, пасть ниц пред небесным Престолом и умереть! Это семейное: мой прадедушка и мой дядя Давид оба умерли от позора и отчаяния. Отвернулись к стенке и умерли. Я пытаюсь умереть. Это самое меньшее, что я могу сделать при сложившихся обстоятельствах. О боже, моя голова!

Даркур пошел искать медсестру. Она сидела на посту в конце коридора, где сестры и практиканты сбились в кучку у крохотного телеэкрана, смотря судьбоносную игру. Но медсестра оторвалась от экрана достаточно надолго, чтобы зайти за белую занавеску к соседу Пауэлла и убавить громкость телевизора вопреки громким жалобам хоккейного фанатика, что так ему ничего не слышно. Она также по настоятельной просьбе Даркура принесла стакан алка-зельцера, бальзам на его растревоженный желудок. На несколько сниженном шумовом фоне Даркур попытался утешить Пауэлла:

— Ну, Герант, не надо так убиваться. Все могло

быть гораздо хуже. Ты не умрешь, даже не думай об этом. Врачи сказали, что недели через три ты уже будешь на ногах, но тебе надо лежать смирно и делать все, чтобы понравиться.

— Позитивное мышление! Они это все время долдонят. «Смотрите на вещи позитивно, потому что это очень способствует выздоровлению, и через несколько недель вы будете в полном порядке». А я не хочу быть в порядке! Я этого не заслуживаю! Пусть ярится буря!

— Герант, я тебя умоляю! Ты делаешь из мухи слона.

— Из мухи?! Слона?! Сим-бах, ты уязвляешь меня до глубины души. О, как у меня болит голова!

— Конечно, и будет болеть, когда ты так орешь. Говори шепотом. Я сейчас подвинусь к тебе поближе и все прекрасно услышу. А теперь расскажи, что случилось.

— Мэлори, Сим-бах. Мэлори — вот что со мной случилось. Позапрошлой ночью я читал Мэлори: он успокаивает душу, и я словно становлюсь ближе к Артуру — к королю Артуру, я имею в виду, к его двору, его великим замыслам и его бедам. Книга открылась на сцене безумия Ланселота. Знаешь ее? Наверняка; ее все знают.

— Да, помню.

— Тогда ты должен помнить и эти слова: «…он из верхнего окна выпрыгнул прямо в сад, и шины и колючки исцарапали ему все лицо и тело, а он бросился бежать куда глаза глядят, обезумевший от своего горя. Он скрывался, блуждая, целых два года, и никто из встречавшихся ему не мог угадать в нем сэра Ланселота».[80]

— И ты последовал его примеру?

— Да, в переводе на современные реалии. Я, конечно, был слегка нетрезв и размышлял о своем бедственном положении, и чем больше я думал, тем ясней осознавал его бедственность, и вдруг я понял, что больше не могу. Я выскочил в окно — хорошо, что оно не верхнее, а, по милосердию Божьему, располагается на первом этаже. Я сел в машину и погнал как безумный не помню куда, но в конце концов оказался в этом парке, а ты знаешь, каким зловещим кажется лес ночью, и чем дальше я ехал, тем более артуровским и мэлориевским казалось мне все происходящее, и я мчался среди деревьев, мотор ревел, я выписывал зигзаги и круги — все на невероятной скорости, во мне погиб великий автогонщик… и я узрел соразмерный павильон, что возвышался в лесу

---

[80] Примечания: 80

Мэлори Т. Смерть Артура. Пер. И. Берштейн.

справа от меня…

— Это был парковый туалет, насколько я понимаю. Ты в него чуть не врезался.

— Черта с два туалет! Это был великий шатер, достойный короля, с реющими знаменами…

— А, значит, это был Фестивальный театр.

— Вооруженные рыцари и крестьяне сновали меж деревьев, дивясь на меня.

— Это, конечно, полиция. Уж не знаю там насчет крестьян, но свидетелей было более чем достаточно. Твою машину легко опознать.

— Не принижай мою агонию, Сим-бах! Не своди ее к банальной повседневности. Мое безумие было подлинно артуровским, ланселотовым. Потом я лишился чувств.

— Ты врезался в дерево. Ты был пьян как свинья и ездил на машине в общественном месте, подвергая опасности публику, а потом врезался в дерево. Я почитал газеты по дороге. Слушай, Герант, я не хочу преуменьшать твой темперамент или твое увлечение Мэлори, но факты остаются фактами.

— Да, но что такое факты? Я говорю не о тех фактах, которыми оперирует суд, и не о газетном вранье, но о психологических фактах. Я находился во власти великого архетипа, и мне все равно,

как это выглядело в глазах окружающих. Слушай меня, слушай.

— Я слушаю, но не жди, что я начну бегать как безумный вместе с тобой. Ты должен это понять.

— Сим, милый старый друг! Из всего человечества я от тебя в первую очередь жду сочувствия и понимания. Ты очень жесток. Твой язык до того остер, что ранил бы и ветер. Сим, ты не знаешь, что я такое. Я сын служителя Божьего. Мой отец, что ныне поет роскошным басом в хоре ангелов, был известным кальвинистским, методистским священником в Уэльсе. Он вырастил меня в сознании и страхе Бога. Ты знаешь, что это значит. Ты и сам служитель Божий, хоть и епископального, обрядолюбивого толка, за что я тебя прощаю, но хоть где-то в тебе должна быть крупица подлинного знания.

— Надеюсь.

— Сим! Я так и не забыл, не бросил всего, чему меня учили в детстве, хоть жизнь и привела меня в мир искусства, — это тоже Божий мир, хотя во многих отношениях он чудовищно греховен. Я много грешил, но никогда — против искусства. Ты знаешь, что было моим падением?

— Знаю. Пьянство.

— О Сим, как это низко! Да, я время от време-

ни пропускал капельку, чтобы утишить боль сердца, но не это было моим падением. Нет; им была плоть.

— То есть женщины?

— Не женщины, Сим. Я никогда не был неразборчив в связях. Не женщины, а Женщина, сие высочайшее воплощение Божьей славы и милосердия Божия! Через Женщину я пытался подняться и стать лучше. Но по греховности своей выбрал неверный путь. Плоть, Сим, плоть!

— Жена твоего лучшего друга?

— Последняя — и, несомненно, величайшая — из многих. Видишь ли, Сим, Господь нас искушает. И еще как. Не будем делать вид, что это не так. Иначе зачем же мы молимся «не введи нас во искушение»?

— Мы молимся, чтобы нас не подвергали испытанию.

— Да, но нас ему подвергают, и иногда это испытание чертовски тяжело. Верь мне, Сим-бах. Вот погляди: зачем Господь наделил меня байроновским темпераментом, байроновской красотой лица и байроновской неотразимостью?

— Не знаю.

— Ты не знаешь. У тебя великая душа, Сим, великая, непоколебимая душа, но в плане физи-

ческой привлекательности — ничего особенного. Я как друг говорю, без церемоний. Поэтому ты не знаешь, каково смотреть на прекраснейшую женщину и говорить себе: «Она моя, если я только захочу протянуть руку и взять ее». Ты никогда такого не ощущал?

— Честно сказать, нет.

— Вот видишь! А у меня всю жизнь так. О, плоть! Плоть!

Человек, лежащий по другую сторону занавески, принялся дергать ее изо всех сил.

— Эй, а ну потише! Вы так орете, что мне тут ничего не слышно!

— Ш-ш-ш! Тихо, Сим, не повышай голос. У нас с тобой личный разговор. Можно даже назвать его исповедью, если хочешь. На чем я остановился? Ах да, плоть!

Люби не так, как любит узник плоти.
Чьи сны — о ласке горькой за гроши,
Кто нежность девы любит без души,
Лишь на любовь ответную в расчете.
Ты любишь одного себя — в охоте
За славой.[81]

---

[81] Примечания: 81
Джордж Сантаяна (1863–1952), сонет VI. Пер. Елены Калявиной.

Знаешь эти стихи, да? Сантаяна — а ведь кое-кто не считает его хорошим поэтом! Это точно про меня: вся моя любовь была лишь ради того, чтобы меня любили в ответ, и я был узником плоти.

Лицо Геранта было мокро от слез. Даркур чувствовал, что беседа пошла в неверном направлении, но он был мягкосердечен, а потому принялся вытирать слезы Геранта собственным носовым платком. Надо как-то ввести этот поток эмоций в приемлемое русло.

— Ты хочешь сказать, что соблазнил Марию лишь для испытания собственной власти? Твой дешевый байронизм принес великое несчастье Артуру, которого ты называешь своим другом.

— Это все опера виновата. Нечего притворяться, что она лишь постановка. Если наша опера хоть чего-то стоит, ее влияние неодолимо. А она стоит многого, я точно знаю. Это опера вновь столкнула меня с Мэлори, а Мария — которую я на самом деле люблю любовью друга, а не страстью мужчины к женщине — подлинно героиня Мэлори. Так свободна и пряма, так проста и все же так велика духом и так очаровывает. Ты ведь не мог этого не почувствовать?

— Да, я знаю, о чем ты говоришь.

— А я это почувствовал при первой же встрече.

Как там у Мэлори? «Прекрасна собой и замечательно мудра».[82] Но я не сказал с ней ни слова. Я был верен Артуру.

— Но не сохранил ему верность.

— Помнишь тот вечер, когда мы говорили о переодеваниях? Я сказал, что в особо напряженных ситуациях зритель — соучастник обмана. Он сам желает, чтобы его вера совпала с намерениями обманщика. А Мария с этим не согласилась. Что меня удивило, ведь она так хорошо знает людей Средневековья и, конечно, должна понимать: очень многое из того, что лежало в основе средневековых верований, еще живо в душах современных людей и ждет лишь нужного слова или стечения обстоятельств, чтобы пробудиться и заработать. Так мы и подпадаем под власть архетипов, и тогда наши поступки, вроде бы бессмысленные на поверхностный взгляд, имеют неодолимый, притягательный смысл, если смотреть вглубь вещей. Разве Мария может такого не знать? Никогда не поверю.

— Что ж, может быть, в этом ты и прав.

— И вот настала ночь, когда Артур был в отъезде, а мы с Марией поужинали и до полуночи

---

[82] Примечания: 82
Мэлори Т. Смерть Артура. Пер. И. Берштейн.

работали: просматривали контракты, договоры, заказы на материалы и всякие прочие бумаги, нужные для такого сложного проекта, как постановка оперы. Мы не обменялись ни одним словом, какого не могли бы сказать при Артуре. Но она на меня поглядывала время от времени, и я прочел ее взгляд. Но не ответил ей таким же. Ни разу. Если бы ответил, думаю, на том бы все и кончилось, потому что Мария поняла бы, что происходит, и положила этому конец в себе, ну и во мне, конечно.

— Надеюсь, что так.

— Потом я пошел в постель, но понял, что не могу забыть эти взгляды. И еще я не мог забыть, как смеялась благоразумная Мария над моей теорией переодевания. И я лежал и вспоминал ее взгляды. В общем, я проскользнул в спальню Артура, надел его халат, очень артуровский халат, который Мария сшила ему на заказ, когда они только поженились и шутили про Круглый стол, Блюдо изобилия и все такое, и я прикрыл наготу этим халатом и прокрался босиком в спальню к Марии, где она спала или почти спала. Видение, Сим, видение. И так я доказал правоту своей теории.

— В самом деле? Ты можешь поклясться, что

она действительно приняла тебя за Артура?

— Откуда мне знать, что она думала? Но она не сопротивлялась. Была ли она во власти заблуждения? Я — да, я точно знаю. Мною владел миф, подобный тому, какой мог бы сочинить Мэлори. Это было колдовство, чары.

— Погоди-ка, Герант. Это не Артурову королеву, а Элейну Ланселот навещал таким образом.

— Не придирайся. Ситуация была мэлориевская.

— Но Мария должна была узнать твой голос.

— О Сим, какой ты невинный! Мы не произнесли ни слова. Слова были не нужны.

— Ну, будь я проклят.

— Нет, Сим, ты не проклят. Вот я, скорее всего, проклят. Это было больше чем прелюбодеяние. Я пришел, аки тать в нощи — похититель чести. Я обманул доверие друга.

— Наверно, все-таки двух друзей?

— Не думаю. Одного друга. Артура.

— Ты ставишь Артура прежде Марии, которую ты соблазнил?

— Я знаю, что обманул Артура. Не могу сказать, обманул ли я Марию.

— Короче говоря, если оставить в стороне тонкости, у Марии будет ребенок, и, несомненно, от

тебя. Ты об этом знаешь?

— Знаю. Артур мне сказал. Он рыдал, Сим, и каждая его слеза была как капля крови из моего сердца. Я этого никогда не забуду. Лучше бы я умер.

— Хватит упиваться собственным несчастьем! Ты не умрешь, Мария родит твоего ребенка, а Артуру придется как-то проглотить эту пилюлю.

— Ты смотришь со стороны.

— Конечно. Я и стою в стороне, но я был другом Артура и Марии задолго до тебя, и мне придется приложить все силы, чтобы исправить дело.

— Неужели ты не считаешь себя и моим другом, а, Сим? Ведь я нуждаюсь в тебе не меньше, чем они двое? Я же узник плоти?

— Хватит все валить на плоть, как будто она — сам дьявол.

— А что же она такое, по-твоему? Враг Божий, Отрава Человека, одеяние ада, образ скота, Возлюбленная Грешника, убежище лицемера, Паутина Паука, Поработительница Душ, дом пропащих, дьяволово гноище.

— Боже, ты в самом деле так думаешь?

— Так думал мой отец. Помню, как он гремел с амвона. Он цитировал одного из наших валлийских поэтов-боговидцев, великого Моргана

Луйда.[83] Правда, прелестно? По-моему, лучше не скажешь.

Пауэлл, чей голос впечатлял даже при нормальной громкости, уже не говорил, а декламировал, как древние барды, звучно и величаво, с чисто мильтоновской торжественностью. Сосед за занавеской орал в полный голос. Хаттеры выиграли! Непобедимый Донникер спас положение в последнюю минуту!

В палату ворвалась маленькая медсестра, ставшая как будто выше ростом от гнева и начальственного авторитета.

— Что здесь происходит? Вы что, с ума посходили? Весь этаж жалуется! У нас тут лежат по-настоящему больные люди, если вы не знаете! Ну-ка, выйдите отсюда!

Она взяла под руку Даркура, как единственного ходячего из буянов, и твердо подтолкнула его к двери. Даркур, растерянный и пораженный выходками Геранта, не сопротивлялся и позволил себя, мягко выражаясь, вывести.

---

[83] Примечания: 83

Морган Луйд (1619–1659) — валлийский пуританский проповедник, поэт и прозаик.

7

Даркур с нетерпением ждал рождественских каникул. Он размышлял о том, что эта осень совершенно его измотала. Действительно, каша, которую заварили Артур, Мария и Пауэлл, истощала его духовные ресурсы: он не был участником их истории, но каждый из троих считал Даркура своим наперсником и советником, а потому Даркуру приходилось выслушивать каждого из них, давать советы, а потом снова выслушивать, как эти советы отвергают. Из всей троицы Мария доставляла ему меньше всего хлопот. Ее планы были ясны: она должна родить ребенка, но для женщины умной, образованной и с достаточно незаурядной биографией, ставящей ее выше буржуазных условностей, ей понадобилось удивительно долгое время, чтобы с этим свыкнуться. Мария решила, что нанесла Артуру непоправимый вред. Артур предавался великодушию: он взял на себя роль Великодушного Рогоносца и полностью вжился в нее. Великодушие бывает совершенно невыносимым для окружающих, ибо насильственно загоняет их во вспомогательные роли, играть которые отнюдь не весело. Пауэлл

же наслаждался собой, изыскивая новые риторические обороты для выражения своего чувства вины и пробуя их на своем друге Симе каждый раз, как тот навещал его в больнице.

Все было бы гораздо проще, не будь все трое полностью искренни. Они не сомневались, что каждое их слово идет от чистого сердца, даже Пауэлл, который говорил очень много, сильно переигрывал и получал от этого большое удовольствие. Если бы они вели себя глупо, Даркур обличил бы их и призвал к порядку. Но они не были глупцами: они были просто современные люди, которые запутались и не могли освободиться: а их поверхностно-современные взгляды на жизнь не предлагали выхода из этой путаницы. У современных взглядов не было ни единого шанса в борьбе с какофонией голосов — откуда?.. по-видимому, из прошлого. Даркур делал все, что мог, всячески утешая всех троих.

Главная его трудность заключалась в том, что сам он утешение не очень ценил. Он видел в нем соску с сахарной водой, какую глупая мать сует плачущему младенцу. Ему хотелось бы, чтобы друзья наконец включили мозги, но прекрасно понимал, что мозги в такой беде не очень помогут, ведь именно мозги каждый раз под-

талкивают человека поковырять больной зуб — вдруг сегодня будет не так больно, как вчера. А поскольку Даркур не любил утешать, он мог советовать только терпение и слушал, как ему говорят в ответ (с разной степенью грубости), что ему-то хорошо советовать. Ну что ж, думал он, пусть я буду их грушей для битья. По крайней мере, им повезло, что у них есть хорошая, надежная боксерская груша.

Ему повезло в том, что он мог время от времени сбрасывать с себя личину мальчика для битья и наслаждаться ролью торжествующего сыщика-искусствоведа и — в будущем — успешного писателя-биографа. Он написал княгине Амалии с мужем, что нашел некие данные, которые могут пролить новый свет на их замечательную картину. Они ответили осторожно. Хотели узнать, что он знает, и он в ответном письме предложил все объяснить, когда полностью соберет материал. Они были вежливы, но сдержанны, что вполне естественно, когда кто-то обещает пролить новый свет на фамильную ценность. Пока что Даркур выстраивал в нужном порядке свои доказательства. Он еще сам не очень понимал, что они значат, но они должны будут выглядеть убедительно для людей, которые могут воспри-

нять их в штыки.

Неудивительно, что Даркур с нетерпением ждал двух недель каникул. Он надеялся выкинуть из головы чужие беды, ходить на долгие прогулки, читать детективы, поглощать обильную вкусную пищу и питье. Он зарезервировал номер в дорогом отеле в северных лесах: наверняка там будут и другие отдыхающие, но не столь полнокровного, атлетического склада.

Он совсем забыл о своем обещании — сводить доктора Гуниллу Даль-Сут в гости к мадам Лаутаро, ясновидящей, *пхури дай,* части биографии Марии, от которой та по-прежнему старалась убежать.

— Тебе в самом деле надо поговорить с матерью, — сказал он Марии во время очередного *дивана,* на котором они обсуждали насущную проблему уже в двадцатый, как казалось Даркуру, раз. (На самом деле — максимум в четвертый.) — Она очень мудра. Я бы на твоем месте больше доверял ей.

— Что она может об этом знать?

— Ну, если уж на то пошло, а что я могу об этом знать? Я говорю тебе, что думаю, а ты отвечаешь, что я ничего не понимаю. Мамуся хотя бы смотрит с другой точки зрения. И еще она знает тебя.

Лучше, чем ты думаешь.

— Моя мать жила относительно цивилизованной, современной жизнью, пока была замужем за моим отцом. Когда он умер, она почти сразу же вернулась к старому цыганскому образу жизни. Конечно, в нем тоже что-то есть, но он не имеет отношения к моему браку.

— Ты просто не хочешь признаться сама себе, насколько ты похожа на мать. Мне кажется, ты с каждым днем становишься все больше и больше на нее похожа. Ты была вылитая она, когда первый раз пришла ко мне поговорить об этом несчастном деле, вся разодетая в красное, как Безнравственная Девица из плохой пьесы девятнадцатого века. Но с тех пор ты непрерывно глупеешь.

— Спасибо тебе огромное.

— Ну извини, я вынужден обходиться с тобой прямо, раз ты не слушаешь доводов здравого смысла. Я имею в виду твой здравый смысл, а не свой. А твой здравый смысл восходит прямиком к мамусе.

— Почему не к отцу?

— К набожному поляку, совершенно закованному в условности? Это из-за него тебе даже не пришло в голову поступить по-современному и

сделать аборт? Разрубить узел, вытереть доску начисто и начать сначала?

— Нет, не из-за него. Из-за меня. Мое тело сотворило нечто, не посоветовавшись с головой, и я не намерена убивать это нечто.

— Хорошо. Но то, что ты сейчас сказала, совершенно в духе твоей матери, хотя она, скорее всего, выразилась бы намного проще. Слушай, Мария, ты пытаешься похоронить мать, и у тебя ничего не выйдет: то, что хоронят, всегда жиреет, а хоронящий сохнет. Посмотри на Артура: он похоронил свои вполне оправданные гнев и ревность и очень натурально изображает щедрого человека, который ни на что не жалуется. Вообще ни на что. Но у него ничего не выходит — ты, я думаю, видишь. Посмотри на Пауэлла: он самый счастливый из вас троих, потому что способен обратить все происходящее с ним в своего рода искусство, и сейчас он исторгает из себя чувство вины, облекая его в сочные валлийские риторические обороты. В один прекрасный день он возьмет да и упорхнет, свободный, как птичка. А вы с Артуром останетесь тут с малышом имярек.

Мы с Артуром называем его Немо. Ну ты знаешь — «никто».

— И очень глупо. Он уже кто-то, и у вас уйдет

много лет, чтобы узнать, кто он есть. Не забывай, «что в костях заложено…» и тэ дэ и тэ пэ. А что заложено в костях малютки Немо, как вы его зовете? В числе прочего — тот самый папаша Геранта, яростный ханжа и святоша.

— Слушай, это смешно, в конце концов!

— Все, что я тебе говорю и что, на мой взгляд, разумно, ты объявляешь смешным. Тогда что толку перемолачивать старую солому?

— Перемолачивать старую солому! Это, надо полагать, еще одна твоя старая онтарийская поговорка. Очередная народная мудрость лоялистов.

— Эта мудрость заложена у меня в костях, Мария. А если она тебе не нравится — что ты все время приходишь ее слушать?

8

Даркур и доктор Даль-Сут прибыли в цыганский табор, раскинутый в подвале дома Корнишей. Прибыли они с солидным запасом пищи и питья — на этом настоял Симон, и доктор тоже согласилась, что лучше избежать эксцессов цыганской кухни — *савьяко, сарми* и тому подобного. Но и Даркур, и доктор понимали, что в таком случае нужно принести какие-нибудь лакомства с собой, поэтому они запаслись копченой индейкой и большим, жирным и сладким рождественским пирогом — это был фундамент их угощения, а прилагалась к нему корзина разных деликатесов, полдюжины шампанского и бутылка хорошего коньяка. Мамуся пришла в восторг:

— Вы сама доброта! Я была ужасно занята в последние дни. Перед Рождеством нужно столько наворовать в магазинах, вы же понимаете, — призналась она Гунилле, которая и бровью не повела.

— Для этого, наверно, нужна большая ловкость, — сказала доктор.

— Да. Меня не должны поймать. Мария говорит, если меня поймают и все узнают, что она моя

дочь, она меня убьет.

— Потому что Корниши верные ученики кота Мурра?

— Я не знаю, что это такое. Но Артур занимает очень высокое положение.

— Да, конечно.

Мамуся зашлась в густом, гортанном смехе.

— Нет-нет, ни в коем случае, это не годится, чтобы его позорила собственная теща. — Она пытливо взглянула на Даркура. — Но вы-то все знаете об этом деле, отец Даркур.

— О каком деле вы говорите, мадам Лаутаро?

— Святой отец, мы ведь старые друзья, а? Неужели мы будем притворяться? О, вы целуете мне руку, все очень вежливо, и зовете меня «мадам», но мы ведь с вами друг друга понимаем по-настоящему, верно? Мы старые друзья, стреляные воробьи? Или нам надо соблюдать приличия из-за этой очень знатной дамы, которую вы сегодня привели? Она шокируется? С виду она вроде бы не из таких.

— Мадам Лаутаро, я вас уверяю, что не шокировалась уже много лет.

— Конечно нет! Шокируются глупые люди. А вы — женщина, повидавшая свет, как и я. Так что, вы оценили эту шутку? Я не должна позо-

рить великого Артура, потому что воровство в магазинах — это преступление против денег, а деньги — это Большой Бог. Зато позор постели и сердца не считается. Отличная шутка, правда? Таков мир *гаджё.*

Открылась дверь, и вошел Ерко. Небритый, длинноволосый, неряшливый, в кожаном картузе и грубом кожухе. Он снова стал совсем цыганом, подумал Даркур. Кто бы, глядя на Ерко теперь, поверил, что когда-то он был деловым человеком, талантливым, изобретательным технологом?

— Что там про мир *гаджё?* — спросил Ерко, встряхнув заснеженный картуз и щедро осыпав снегом все вокруг.

— Мы говорим про этого маленького *ракло*[84] наверху. Уж не буду называть его *бивужо.*[85]

— Не будешь, сестра, а то получишь моего ремня. И ты знаешь, что очень невежливо — использовать цыганские слова в беседе с друзьями, которые не *романи.* Ты все никак не можешь заткнуться, все твердишь про этого ребенка, что наверху.

— Шутка уж очень хороша.

---

[84] Примечания: 84
Мальчик нецыганского происхождения *(цыг.).*

[85] Примечания: 85
Бивужо — нечистый *(цыг.).*

— Мне не нравится такая шутка.

Ерко взглянул на доктора и низко поклонился ей:

— Мадам, для меня это большая честь. — Он поцеловал ей руку. — Я знаю, что вы — очень великий музыкант. Я тоже музыкант. Я уважаю величие в нашей профессии.

— Я слышала, что вы хорошо играете на *цимбалом,*[86] мистер Лаутаро.

— Ерко. Зовите меня Ерко. Я никакой больше не «мистер».

— Брат, они принесли угощение.

— Хорошо! Я хочу пировать. Я наконец победил этих бандитов из страховой компании.

— Они дадут нам денег?

— Нет; они не подадут на нас в суд. Это уже победа. Я пришел к ним вот в таком виде и сказал: «Я бедный цыган. У меня ничего нет. Неужели вы бросите меня в тюрьму? Неужели вы бросите мою сестру в тюрьму? Мы старые. Мы больные. Мы не понимаем ваших правил. Помилосердствуйте». Вот так я говорил и говорил. В конце концов им это надоело, и я тоже надоел, и они велели мне убираться и никогда больше не приходить в их

---

[86] Примечания: 86

Цимбалом (цыг.) — цимбалы, струнный ударный музыкальный инструмент наподобие гуслей.

величественное здание. «О, как вы милосердны, — сказал я, рыдая. — Сейчас Рождество. Вас осеняет дух Беби Исуса, и Он вознаградит вас в Царствии Небесном». Я даже попытался поцеловать ногу самого важного человека, но он ее отдернул. Чуть не лягнул меня в нос. Я сказал: «Вы нас простили перед этими свидетелями, чьи имена я записал. Больше я ничего не прошу». Теперь они не могут нас судить. Таков закон *гаджё*. Мы победили.

— Чудесно! Мы победили этих жуликов! — На радостях мамуся схватила Даркура за руки и проплясала с ним несколько па, а он следовал за ней как мог.

— Но как же те превосходные инструменты, что погибли на пожаре? — спросил он, пыхтя.

— Сгорели. На то Божья воля. Люди, которым они принадлежали, должны были их застраховать. Но простые цыгане ничего не знают о таких вещах. — Мамуся снова рассмеялась. — А теперь мы будем пировать. Садитесь на пол, великая дама. Так делают наши настоящие друзья.

И они сели на пол и немедленно принялись за индейку, оливки и ржаной хлеб, пользуясь приборами, какие принес Ерко, — не везде хорошо промытыми.

Даркур подумал, что трапеза недурна, особенно если обильно запивать ее шампанским. Гунилла радостно вгрызалась в еду — ни следа тех утонченных манер, которые Даркур привык у нее видеть. Он подумал, что именно так, должно быть, молодой Лист пировал с цыганами. Доктор уделяла особое внимание шампанскому. Она пила, не отставая от Ерко, — прямо из горлышка.

— Вы настоящая благородная дама! — воскликнул Ерко. — Не гнушаетесь нашей скромной трапезой! Это — высочайшая учтивость. Только простолюдины поднимают шум из-за манер за столом.

— Особенно когда я сама принесла эту трапезу, — ответила Гунилла, обгладывая индюшачью ножку.

— Да, да, я просто хотел сказать, что вы у нас гостья. Не хотел обидеть.

— Ее не обойдешь, — сказала мамуся и обратилась к Даркуру: — Я знаю, кто это. Она — та женщина, которую показали карты. Помните, в левой части расклада? Она — Сила. Очень большая сила, но без всякой грубости. Вы ведь в этой опере, как ее там, из-за которой так изводится мой зять?

— Так вы об этом знаете? — спросила доктор.

— Чего я только не знаю! Вы слышали про мое гадание? Наш отец Симон заставил меня разложить карты в самом начале этого приключения, и вы тоже были в том раскладе, хотя тогда я не знала, что это вы. Что, святой отец, теперь вы поняли, кто был кто в тех картах? Тогда вам ничего не пришло в голову, кроме того, что моя дочь Мария может быть Императрицей. Она — Императрицей! Я смеюсь!

Мамуся засмеялась, обрызгав всех шампанским и ошметками индейки.

— Если она не Императрица, то, может, Папесса? Она должна быть одной из женщин в том гадании.

— Я думаю, она — третья из карт-оракулов: помните, Страшный Суд? Она — Правосудие, та, кто всех взвешивает и судит. Но не спрашивайте меня, как именно. Все станет известно, когда придет время.

— Я вижу, вы обдумывали то гадание, — сказал Даркур. — Вы опознали кого-нибудь еще из карт?

— Они не люди, — объяснила мамуся. — Они — *сморо.* Ерко, как по-английски *сморо?*

— Такие штуки… не знаю, большие штуки, — ответил Ерко с полным ртом.

— Может быть, можно сказать, что это — Пла-

тоновы идеи? — спросил Даркур.

— Если хотите. Вы мудрый человек, поп Симон.

— Как ты думаешь, он — Отшельник? — спросила мамуся. — Тогда я так сказала, но теперь я не знаю. В нашем добром отце Симоне слишком много от дьявола, он не годится в Отшельники.

— Стойте, стойте, — вмешалась доктор Гунилла. — Это было гадание про нашу оперу? Что обещают карты — хороший исход?

— Неплохой, — ответила мамуся. — Не плохой и не хороший. Трудно сказать. В тот вечер я была не в лучшей форме.

Доктор нахмурилась:

— Неужели мы собираемся родить посредственность? Провал я переживу. Успех я люблю, но не слишком. Но от посредственности меня тошнит.

— Я так и знала: вы не из тех, кто живет посреди дороги, — заметила мамуся. — Мне и карты не нужны, чтобы это увидеть. Ваша одежда, манеры, то, как вы пьете, — все вместе. Дайте-ка я угадаю. Вы и в постели с причудами?

— С причудами — да. Но не для того, чтобы кого-то развлечь. Я та, кто я есть.

Она взглянула на Даркура:

— Эта самая Рейвен опять мне звонила. Мне

пришлось проявить жесткость. Я спросила: «Вы знаете Бодлера?» Она сказала: «Вы меня оскорбляете. Я профессор сравнительного литературоведения. Конечно, я знаю Бодлера». — «Ну тогда, — сказала я ей, — проглотите-ка вот это: Бодлер говорит, что неповторимое и высочайшее наслаждение в любви проистекает от сознания, что ты творишь зло; и мужчины, и женщины от рождения знают, что зло — источник всевозможных наслаждений. А вы разве не знаете этого от рождения? Может быть, вы неправильно родились? В семь месяцев?» Она бросила трубку с сильным грохотом.

— А вы творите зло в любви? — спросила мамуся.

— Зло, добро — меня не волнует. Я это оставляю специалистам, вот таким, как Симон. Я делаю то, что делаю. Я не прошу мир ни судить то, что я делаю, ни узаконивать это, ни предоставить этому особое место — ничего такого. Слушайте меня, мадам Лаутаро: еще совсем юной девушкой я встретила Жана Кокто, и он мне сказал: «Культивируйте в себе то, за что вас пинает толпа, потому что это и есть ваше истинное „я“». И я следую его совету. Я — Гунилла Даль-Сут, и это все, на что хватает моих сил. И этого довольно.

— Только очень великие люди могут такое сказать, — подхватил Ерко. — Я и сам всегда так говорю.

— Не называйте меня специалистом по морали, — сказал Даркур. — Я давно перестал морализировать. Мораль никогда не срабатывает два раза подряд одинаково.

Шампанское уже туманило ему голову, и сигарный дым тоже. Хорошие сигары недоступны для магазинных воров, даже таких ловких, как мамуся. Поэтому сигары, которыми угощал Ерко, были не просто неприятными: их дым въедался в горло, словно дым костра, где горят ядовитые травы. Даркур избавился от своей сигары, как только смог это сделать, оставаясь в рамках вежливости, но все остальные дымили с наслаждением.

— Мадам, — сказал он, ибо его биографический труд не шел у него из головы. — Когда вы раскладывали карты, вас посетили некоторые озарения. Вы тогда сказали, что мы «разбудили маленького человечка» и должны готовиться к последствиям. Кажется, теперь я знаю, кто этот маленький человечек.

— И расскажете нам? — спросила мамуся.

— Не сейчас. Если я прав, то в свое время об этом узнает весь мир.

— Отлично! Отлично, отец Симон. Вы принесли мне загадку, а это — прекраснейшая вещь. Люди приходят за тайнами ко мне, но ведь мне и самой нужны тайны. Я рада, что вы не забыли про маленького человечка.

— Тайны, — повторила доктор, которая как-то нахохлилась и стала похожа на философствующую сову. — Тайны — кровь жизни. Она вся — одна большая тайна. Я вижу, шампанское кончилось. Где коньяк? Симон, мы ведь принесли коньяк? Нет-нет, Ерко, зачем новые бокалы? Мы прекрасно обойдемся этими стаканами.

Доктор щедро разлила коньяк по стаканам:

— За тайну жизни, а? Выпьете со мной?

— За тайну, — сказала мамуся. — Люди вечно требуют, чтобы им все объяснили, но это чушь. О, эти люди, что приходят ко мне со своими тайнами! В основном о любви. Помните ту глупую песню?

О, сладкая загадка бытия!

Я наконец-то разгадал тебя!

Они думают, что тайна жизни — в любви, а любовь, по-ихнему, — это значит устроиться уютно с кем-нибудь мягким и теплым и конец всему. Чушь! Да, я это еще раз повторю. Чушь!

Тайна — повсюду, а если ее объяснить, то в чем же тайна? Лучше не знать ответа.

— «...Царствие Отца распространяется по земле, и люди не видят его»,[87] — процитировал Даркур. — Вот что такое тайна.

— Тайна — это сахар в чашке, — сказала доктор.

Она достала из корзины деликатесов коробочку с белыми кристаллами, которую в магазине приложили к угощениям, открыла и щедро сыпанула себе в коньяк.

— Гунилла, я бы не стал этого делать, — заметил Даркур.

— Тебя никто и не просит. Я это делаю, и вполне достаточно. Таково проклятие жизни — когда люди хотят, чтобы все делали одну и ту же мудрую глупость. Слушайте: вы знаете, что такое жизнь? Я вам расскажу. Жизнь — это драма.

— Гунилла, Шекспир тебя опередил. «Весь мир — театр», — продекламировал Даркур.

— У вашего Шекспира мышление лавочника, — парировала Гунилла. — Да, он был поэт, но с душой лавочника. Он пытался нравиться людям.

— Таково было его ремесло, — сказал Даркур. —

---

[87] Примечания: 87
Евангелие от Фомы, 117.

И твое, кстати, тоже. Ты ведь хочешь, чтобы наша опера понравилась людям?

— Да, хочу. Но это не философия. Гофман — не философ. А теперь замолчите все и слушайте, это очень важно. Жизнь — драма. Я знаю. Я ученица божественного Гёте, а не этого вашего лавочника Шекспира. Жизнь — драма. Но это драма, которую мы никогда как следует не понимали, и притом большинство из нас — очень плохие актеры. Поэтому наши жизни как будто бы лишены смысла, и мы ищем его в игрушках — деньгах, любви, славе. Как будто бы лишены, но, — тут доктор подняла палец, чтобы подчеркнуть важность своего великого откровения, — но на самом деле не лишены.

Казалось, ей трудно сидеть прямо; обычно бледное лицо совсем посерело.

— Тебя не туда завело, Нилла, — заметил Даркур. — Я считаю, что у каждого человека есть свой личный миф. Может, не ахти какой, но в любом случае это миф, и его форма, его узор разворачиваются где-то за пределами нашего обыденного мира.

— Для меня это все слишком глубоко, — сказал Ерко. — Я рад, что я цыган и мне не обязательно иметь философию и объяснение для всего. Мадам,

вам нехорошо?

Доктору совершенно явно было нехорошо. Ерко, большой специалист по такого рода недомоганиям, поднял ее на ноги и бережно, но быстро вывел через наружную дверь на уличную стоянку машин. Оттуда донеслись ужасные звуки, словно кто-то захлебывался, давился и выворачивался наизнанку, и жалостные крики на иностранном языке — видимо, шведском. Наконец Ерко привел сильно притихшую Гуниллу обратно к месту пира, усадил на пол и на всякий случай прислонил к стене. Гунилла немедленно завалилась на бок.

— Это был не сахар, а соль, — заметил Даркур. — Я ей сказал, но она не пожелала слушать. Видимо, ее роль в великой драме жизни на этом этапе требует длительной паузы.

— Когда она оживет, я налью ей стопку моей собственной сливовицы, — сказал Ерко. — Хотите сейчас рюмочку, поп Симон?

— Спасибо, Ерко, но лучше не надо. Мне еще придется тащить великого философа домой, к ученице.

— Это та девушка, которая делает вашу опер у? — спросила мамуся.

— Она самая. Сейчас по виду ни за что не скажешь, но, я считаю, наша доктор на нее бла-

готворно влияет.

— Теперь, когда она нас не слышит, — что там с этим ребенком? — спросила мамуся.

— А что с ребенком? Он — факт.

— Да, но странный факт. Ребенок не от ее мужа.

— Если мне позволено будет осведомиться, откуда вы знаете?

— Он не может делать детей. Я увидела сразу, как он пришел из больницы. По глазам всегда видно. Это тот актер, который все время околачивается у них дома, сделал этого ребенка.

— Откуда вы знаете?

— Уолли Кроттель так говорит.

— Мамуся, Уолли Кроттель — враг Марии и враг Артура, и вы не должны ему доверять, не должны его слушать. Он хочет их уничтожить.

— О, нечего предупреждать меня про Уолли. Я гадала ему по руке. Мелкое ничтожество, но у таких людей можно кое-что выяснить. Не беспокойтесь из-за Уолли. У него на ладони написано, что его ждет несчастный случай. Может быть, Ерко позаботится об этом несчастном случае.

— Боже, Ерко! Неужели вы собираетесь его замочить?

— Поп Симон, что вы, это было бы преступ-

ление! Но если этого Уолли ждет несчастный случай, то надо сделать так, чтобы случай вышел правильный. Положитесь на меня.

— Этот ребенок… — продолжала мамуся. — Мария хочет ребенка больше всего на свете. Глубоко в душе она — настоящая цыганская девчонка, и ей нужен ребенок у груди. Теперь у нее есть ребенок, и она будет счастлива, если Артур тоже будет счастлив.

— А не слишком ли это — требовать, чтобы он был счастлив?

— Мы живем в странное время. Теперь люди нанимают женщин, чтобы рожали им детей, если жена не может рожать. Почему бы не нанять и отца? Ведь этот Пауэлл на них работает?

— Надо думать, его нанимали для работы несколько иного рода.

— Этот Пауэлл — не обычный человек. Я думаю, он — Любовник из моего гадания. Помните эту карту? Молодой мужчина между двумя другими людьми. Справа от него — женщина, а кто слева? Кое-кто говорит, что это другая женщина, а на самом деле? Они говорят, что это женщина, потому что у нее нет бороды, но что такое мужчина без бороды? Он мужчина не во всех смыслах, но все же он достаточно важен, чтобы

властвовать над красивой женщиной. На нем корона. Конечно, это король. Любая раскладка карт неповторима. Может быть, в этой раскладке этот человек — король Артур, и он выглядит так, словно подталкивает молодого мужчину к красивой женщине. А красивая женщина указывает на любовника, словно спрашивая: «Этот?» А у них над головой летает бог любви и целит стрелой прямо в сердце красивой женщины.

— У вас очень убедительно выходит.

— О, карты могут быть очень мудры. И очень хитры. Значит, вы знаете, кто этот маленький человечек? И не скажете?

— Пока нет.

— Что ж, будьте осторожны. Может быть, Дурак связан с маленьким человечком, известие о котором я вам сообщила. Отец Симон, вы когда-нибудь смотрели пристально на эту карту, Дурака?

— Я ее, кажется, очень хорошо помню.

— Что делает собака?

— Я не помню собаку.

— Ерко, принеси карты. И может быть, по наперстку сливовицы.

Пока Ерко выполнял поручение, Даркур взглянул на лежащую Гуниллу. Цвет лица у нее стал несколько лучше, и она — насколько это возмож-

но для женщины с ее изысканными манерами — храпела.

— Смотрите, вот он. Дурак. Видите, он куда-то идет, в путешествие, и очень доволен. Дурак, он всегда куда-нибудь идет. И у него хороший шутовской костюм, но посмотрите, штаны продраны сзади. Просвечивает голая задница. И это очень правильно, потому что, когда в нашей жизни проявляется Дурак, мы всегда оказываемся чуточку с голой задницей. А что делает собачка при виде голой задницы? Может быть, она ее покусывает. Что такое вообще собака? Тварь природы, верно? Она не учится, не думает, это природа в ее самой простой форме, и собачка покусывает задницу Дурака, чтобы заставить его двигаться такой дорогой, о которой ум и не подумает. Более удачной дорогой. Естественной дорогой, которую выбирает судьба. Может быть, такой дорогой, которую не одобряет ум, потому что ум тоже может быть дураком — но не великим, утонченным Дураком, идущим в этот особый путь. Собачка покусывает, но, может быть, она также и нюхает. Потому что нельзя кусать без того, чтобы нюхать. Знаете, как собаки всех обнюхивают? Ширинку? Задницу? Их специально учат, чтобы они этого не делали, но они забывают, потому что им дан великий

дар обоняния, почти убитый мудрым, мыслящим Человеком. Нос вещает, когда глаза слепы. Когда человек считает себя цивилизованным, он притворяется, что не пахнет. А если боится, что от него воняет, то мажет на себя что-нибудь, чтобы перебить свою вонь. Но собачка знает, что задница и вонь — часть настоящей жизни и часть путешествия Дурака и что от природных вещей нельзя избавиться, если хочешь жить в настоящем мире, а не в полумире глупых, довольных собой людей. Дурак спешит со всех ног к чему-то такому, что он считает хорошим. Что говорят, когда кто-нибудь спешит к цели изо всех сил?

— Говорят, что он бежит сломя голову.

— Люди, которых я знаю, говорят «бежит, теряя штаны».

— Видите, отец Симон? В этой судьбе, которую предсказала моя колода карт, кто-то бежит, теряя штаны, за чем-то очень важным. Может, это вы?

— Мамуся, вы меня изумили, и в своем изумлении я скажу правду. Да, я думаю, что это я.

— Хорошо. Я думала, что вы Отшельник, но теперь я уверена, что вы — Дурак. Вы идете куда-то далеко, и инстинкт покусывает вас за задницу, и вам придется усвоить, что инстинкт знает вас лучше, чем вы сами себя знаете. Инстинкт зна-

ет, как пахнет ваша задница — ваше седалище, которого вы сами никогда не увидите. Скажите, сколько платит вам мой зять за все, что вы делаете?

— Платит! Мамуся, мне время от времени возмещают кое-какие расходы — то, что я заплатил из своего кармана, служа Фонду Корниша. Но, черт бы его побрал, мне не платят ни ломаного гроша. Мне вечно не хватает денег. И мне это уже надоело. Они думают, если я их друг, я обязан на них горбатиться задаром, просто ради счастья быть одним из них. И настоящая беда — в том, что они правы!

— Отец Симон, не кричите! Вы очень счастливый человек, и теперь я точно знаю, что вы — Дурак. Великий Дурак, который царствует над всем раскладом! Не берите ни гроша за свою работу! Ни единого гроша! Таков путь Дурака, потому что его фортуна делается не так, как у других людей. Ваш фонд платит всем. Этому Пауэллу, делателю детей. Этой докторше, она хорошо знает свое дело, но на самом деле она всего лишь Сила и иногда заходит совсем не туда, куда надо. И девочке, ей дают столько денег на эту самую оперу, и, может быть, эти деньги пойдут ей во вред. Но вы — свободны! Вы не скованы золотой

цепью! Вы — Дурак! О, я должна вас поцеловать!

И она его поцеловала. Ерко тоже настоял на том, чтобы поцеловать Даркура. Это было колючее и пахучее объятие, но Даркур уже понимал, что реальность и истина иногда оказываются весьма пахучими. На этом пиршество кончилось, Даркур погрузил Гуниллу в такси, отвез ее, все еще обмякшую и молчаливую, домой и сдал на руки Шнак.

— Ой, Нилла, бедненькая! Что они с тобой сделали? — воскликнула она, поддерживая свою учительницу, подобную увядшему цветку.

— Я была дурой, Хюльда, — сказала доктор, когда дверь закрылась.

Да, но не Дураком! Даркур, такой счастливый, каким не был уже много лет, заплатил таксисту и пошел домой пешком, наслаждаясь холодным зимним воздухом и своим новым положением в жизни.

Он стал подыскивать слова, чтобы выразить свою всепоглощающую радость, новое ощущение полноты бытия. Из глубин сознания выплыла старая онтарийская поговорка.

Он чувствовал себя таким героем, что и дохлую собаку пополам разрубил бы.

9
ЭТАГ в чистилище

У меня рвется сердце от жалости к Даркуру. Жизнь либреттиста — собачья жизнь. Еще хуже, чем у драматурга, которому приходится умасливать эгоистичных чудовищ новыми сценами, новыми шутками, возможностью повторять привычные штуки, стяжая привычный успех; но драматург до некоторой степени волен выбирать форму сцен и речей. Либреттист же обязан повиноваться тирану-композитору, который по литературному вкусу, возможно, недалеко ушел от крестьянина и не думает ни о чем, кроме своей музыки.

И он, конечно, в своем праве. Опера — это музыка, а все остальное должно музыке подчиняться. Но на какие жертвы приходится идти литератору!

Взять, например, психологию. Акварельная тонкость чувства и двойственность даже самой честной души; порывы горячих эмоций, что хлещут из самых глубин, уничтожая рассудок. Может ли музыка вместить все это? Да, в каком-

то смысле может, но по точности выражения она никогда не сравнится с истинной поэзией. В музыке слишком силен голос чувств; она не годится для изображения личности. Можно ли чисто музыкальными средствами дать персонажу неповторимый голос? Попытаться — можно, но, как правило, это будет голос композитора. Если композитор велик — например, божественный Моцарт или, помоги нам Господь, штурмующий небеса Бетховен, — мы любим этот голос и не променяем его даже на мастерски созданные образы Шекспира.

Видите ли, моя беда в том, что я разрываюсь между Гофманом — поэтом и рассказчиком и Гофманом-композитором. Я могу с равным жаром отстаивать любую из сторон. Мне хочется вознести поэта на престол, а музыканту отвести роль аккомпаниатора. Но мне равно хочется, чтобы музыкант изливал свое вдохновение, а поэт строгал тексты с правильным расположением гласных, послушные музыке и не лезущие на первый план. Процитирует ли кто-нибудь хоть одну гениальную поэтическую строку из оперного либретто? Даже от Шекспира останется жалкий огрызок, когда ловкий либреттист обломает его строки, чтобы уложить их в требования

маэстро Ктопопалло. А потом всякие дураки будут повторять, что маэстро Ктопопалло даст Шекспиру сто очков вперед.

Если музыкант подлинно чувствителен к поэзии, то рождается магия, как в песнях Шуберта. Но, увы, оперы Шуберт писал чудовищные, а у Вебера был просто фатальный талант — выбирать в либреттисты самых неподходящих людей. Вроде этого Планше, который погубил «Оберона». О, какое счастье, что я избежал тупых куплетцев доброжелательного Планше!

Теперь у меня есть Даркур, и какую же ношу взвалили на плечи ему, бедному! Он должен создать либретто под уже написанную музыку — точнее, под музыку, которую Шнак и гениальная доктор Гунилла напишут на основе моих заметок.

Он неплохо справляется. Конечно, нелегко найти слова, которые выдержат сюжет, придуманный этими людьми для моего «Артура». Не совсем тот сюжет, какой мне хотелось бы. Он попахивает современностью — их современностью, не моей. Но он неплох. В нем больше психологии, чем осмелился бы вложить я, и я этим очень доволен, так как я был весьма тонким психологом для своего времени. Мои таинственные сказки

не просто фантазии, над которыми юная дева может скоротать незанятый вечер.

Но Даркур нашел отличный выход. Когда только можно, он занимает стихи у истинного поэта. Не очень известного, по его словам, но я, так или иначе, не могу об этом судить, ибо не достигаю подлинного понимания того, что читаю по-английски, и английская поэзия для меня — неизведанный край. Но то, что Даркур надергал из творений неизвестного поэта, мне нравится. Как он прав, что никому не открывает имени этого незнакомца! Если его узнают, то каждый захочет сказать свое слово, а беспорядочная груда слов — погибель искусства и вечное проклятие театральной постановки. Нет! Пусть тайна остается тайной, а если кто-нибудь хочет разнюхать ответ — что ж, удачи ему, но, скорее всего, это будет означать неудачу Даркура.

Любая возня с произведениями искусства, их переделка — адовый, рабский труд. Я-то знаю. Однажды я из дружбы согласился на нечто подобное. Я адаптировал шекспировского «Ричарда III» для своего друга Людвига Девриента. И это чуть не погубило нашу дружбу, ибо Людвиг требовал от меня такого, что моя совесть художника восставала. «Но у Шекспира именно так», — говорил

я, а Людвиг в ответ орал: «К черту Шекспира! Сделай мне вот тут поразительный эффект, чтобы я взял зрителей за горло и задушил их своим великолепием! А потом, в следующей сцене, сделай так, чтобы я опять их задушил, чтобы от них осталось мокрое место, пропитанное обожанием!» На это я отвечал: «Мой дорогой Луи, ты должен доверять своему поэту и мне». И он говорил такое, чего я никак не мог стерпеть: «Шекспир давно умер, а ты… не тебе придется каждый вечер выходить на сцену с горбом и шпагой и выигрывать битвы. Поэтому делай, что я говорю!» И тут, конечно, мне ничего не оставалось, кроме как пойти и напиться. Людвиг вымучил из меня то, что хотел, но Ричард Третий так и не стал его величайшей ролью, и я знаю почему. Зрители остались незадушенными, а критики сообщили им, что Людвиг — артист погорелого театра и жалкий шут. Кого же он за это винил? Конечно, Шекспира — и меня вместе с ним.

Даркур мне симпатичен, и не только потому, что мне его жалко. Старая цыганка говорит, что он получит большую награду, но старые цыганки иногда ошибаются. Кому интересен либреттист? Разве на празднике после премьеры

кто-нибудь захочет непременно с ним познакомиться? К чьим ногам падают хорошенькие дамы? Кого хватают за лацкан импресарио, требуя новых, еще более гениальных свершений? Точно не либреттиста.

Старая цыганка ошибается. Или я чего-то не знаю обо всем этом деле (очень надеюсь).

Как бы то ни было, мне нужно «переждать момент», как говорит Шекспир. Или не Шекспир? Свериться негде — в чистилище нет библиотек.

VI

1

Рождественские каникулы Даркура превзошли его самые смелые ожидания. Гостиница в северных лесах притворялась простой лесной хижиной, но на самом деле оказалась роскошным обиталищем. Даркуру отвели большую комнату с большими окнами, из которых открывался прекрасный вид на поросшую елями долину. Правильную комнату, с письменным столом и хорошим мягким креслом, и с кроватью, конечно, и еще — что весьма редко и ценно для гостиницы — с хорошим светом для чтения. А также с комодом, встроенным шкафом для одежды и санузлом, где было все, что нужно Даркуру, и даже то, что было ему совершенно не нужно, как то: биде и строгое объявление, запрещающее бросать предметы женской гигиены в унитаз. С чувством глубокого удовлетворения Даркур разобрал чемодан и повесил в шкаф одежду, полностью скрывающую тот факт, что ее владелец — священник. Даркур потратил деньги на две-три рубашки, достаточно крикливые для отпуска в сельской местности, и несколько красивых шейных платков, которые можно было заправлять в расстегнутый ворот. Он

также запасся хорошими вельветовыми брюками и парой сапог для долгих прогулок — продавец клялся, что сапоги надежно защитят его от холода и сырости. Еще у Даркура было с собой два твидовых пиджака, один — с кожаными заплатками на локтях; эти пиджаки четко сигнализировали, что он — научный работник, причем не из тех, что любят кататься на лыжах или на санях или вести светские разговоры ни о чем. Среди постояльцев были молодые люди — любители всех этих удовольствий, а также люди постарше, которые желали сидеть в баре, притворяясь, что на самом деле хотят кататься на лыжах или на санях; но ненавязчивая дама, отвечавшая за то, чтобы всем было весело, сразу поняла, что Даркуру будет веселее всего, если его оставят в покое. Итак, он был вежлив с другими постояльцами, подчинялся правилам, требующим поддерживать разговор о погоде и улыбаться детям, но в целом его оставили в покое, и он, преисполненный глубокой благодарности, освоился на новом месте и приготовился провести две недели в своем собственном обществе.

После завтрака он гулял. И перед ужином тоже. Он читал, иногда детективные романы, а иногда — толстые сложные книги, которые подталкива-

ли его на путь нужных размышлений. Он делал заметки. Но большую часть времени он только думал, созерцал, взирал внутрь себя; размышлял о том, что он — Дурак, и о том, что это может значить.

Дурак; веселый шут, идущий куда-то в рваных штанах, в компании собачки, которая покусывает открытое взорам седалище, подгоняя Дурака вперед и иногда подталкивая в направлении, которое он сам никогда не выбрал бы. Дурак, которому не соответствует никакое число, кроме могущественного нуля, который, будучи добавлен к любому другому числу, увеличивает его вдесятеро. У мамуси в подвале Даркур был искренен, когда делился своей верой в персональный миф каждого человека и в то, что этот миф, как правило, ничего особенного собой не представляет. Собственный миф Даркура виделся ему историей слуги, верного, но не хватающего звезд с неба; он — ценный помощник, но никогда не породит ничего важного, не будет значительной фигурой ни в чьей жизни, кроме своей собственной. Если бы Даркура попросили выбрать в колоде Таро символизирующую его карту, он, скорее всего, выбрал бы Пажа Жезлов, *Le Valet de Baton* — верного, преданного служителя. Разве не

эту роль он играл всю свою жизнь? Как священник он был предан своей вере и своему епископу, пока мог, а когда уже больше не мог, то ушел в преподаватели. Как преподаватель он был великодушен к студентам и всячески помогал им, а также выполнял работу заместителя декана по административным делам; работы было очень много, а благодарности за нее — мало. Как друг он был терпеливым помощником Корнишам и трудился на благо их безумного фонда и затеянной фондом безумной истории с оперой, которой на самом деле не существовало — лишь обрывки идей, нацарапанные умирающим в муках Гофманом. Конечно, он, Даркур, — Паж Жезлов. Но мамуся подтвердила то, что он уже давно ощущал нутром. Он — нечто лучшее. Он — Дурак. Не угодливый слуга с салфеткой в руке, а вольный путник, подгоняемый вперед чем-то лежащим за пределами интеллекта и осторожности.

Разве сам он не чувствует, как это истинно? Разве чутье, которое вывело его на «солнечные картины» и запечатанный конверт в сокровищнице Национальной галереи, не рождается где-то в глубинах, неподотчетных разуму, логике, инструментарию ученого? Разве создаваемая им биография старого приятеля, Фрэнсиса Корни-

ша, за которую он взялся только из дружбы, из одолжения Артуру и Марии, не расцвела в нечто совершенно неожиданное, такое, чего ни один потомок Фрэнсиса Корниша не мог бы предсказать? Если Даркур сумеет собрать головоломку, сопоставить людей с фотографий дедушки Макрори, жителей Блэрлогги (вот уж никто не подумал бы, что это — колыбель искусства), и фигуры с великой картины «Брак в Кане», датированной «около 1550 г.» и приписанной неизвестному Алхимическому Мастеру, разве это не докажет, что Фрэнсис был как минимум гениальным подделывателем картин, а как максимум — гениальным художником редкой, эксцентричной породы? И как же Даркур этого добьется? Тем, что будет не жуликом, обворовавшим библиотеку и галерею, а Дураком, чьи моральные законы неподвластны общим правилам. Он — Дурак, единственная из фигур Таро, которая движется — не падает, как Башня, и не вращается бесконечно на месте, как Колесо Фортуны, и не влачится церемониальными конями, как Колесница, но шагает вперед, навстречу приключениям.

К человеку после сорока подобное открытие себя приходит не как внезапное озарение. Нет, оно робко стучится, и поначалу его отвергают

как нескромное. Оно проявляется во внезапных, необъяснимых вспышках радости бытия. Оно приходит как шутка, и его встречают недоверчивым хохотом. В конце концов оно не позволяет себя отрицать, но и тогда к нему не сразу привыкают. Даркур обладал смирением человека, всем сердцем принявшего призвание священника. Он был священником в духе Эразма, в духе неуправляемого Сиднея Смита, который, как говорили, прошутил свои шансы на епископскую митру. Священником того же типа, что и могучий Рабле. Но разве не был Рабле истинным священником и в то же время Шутом Божиим? Может быть, и Симон Даркур, профессор, заместитель декана своего колледжа, бесплатный мальчик на побегушках при Фонде Корниша и (как он иногда думал) единственный вменяемый человек среди толпы очаровательных лунатиков, на самом деле Дурак Божий, юродивый Христа ради? Он был слишком скромен, чтобы приветствовать такое открытие воплями и скачками.

Так он размышлял во время долгих одиноких прогулок по сосновым лесам, окружавшим гостиницу. Он был не из тех, чьи рассуждения выстраиваются в прямую линию с неумолимой логикой, — да и существуют ли такие люди иначе

как в книгах? Ходьба помогала ему думать, но это значило, что, расхаживая, он качался на волнах в теплой ванне разрозненных обрывков мыслей. Эту ванну приходилось подогревать ежедневно, и каждый день он подходил чуть ближе к выводу и наконец достиг счастливой уверенности. Соседи по гостинице, неисправимые сплетники, как любые отдыхающие, иногда спрашивали друг друга, почему это мужчина в твидовом пиджаке с кожаными заплатками на локтях так часто улыбается сам себе, а не в ответ на их улыбки и почему он раз или два рассмеялся — тихо, но отчетливо — за обеденным столом, где сидел, как обычно, в одиночку.

Именно в лесу Даркур зашел дальше всего в потрясшем его осознании себя и жизни, которую ему суждено вести отныне. Весь мир думает о канадцах — если вообще о них думает — как об обитателях северной лесной страны. Но канадцы живут в сообществах, больших и малых, и жизнью их управляют заботы общества и навязанные им идеи. В леса же канадцы приходят если не с намерением их вырубить и использовать, то с желанием промчаться вниз по склону на лыжах или санях, трудолюбиво попыхтеть, занимаясь зимними видами спорта, а по окончании днев-

ных трудов хорошенько погудеть в баре или на дискотеке. Иными словами, они направляются в леса не для того, чтобы искать свое истинное «я», но чтобы изжить любые намеки на него. Физическое усилие заглушает все заботы, привезенные из города. Люди не просят леса, чтобы те с ними говорили. Но леса будут говорить, если найдут слушателей, и Даркур слушал, шагая по одиноким тропам, проложенным среди огромных сосен. И когда, казалось бы, в совершенно безветренную погоду снег сеялся с деревьев Даркуру на плечи, ему слышался голос из глубин, ничего общего не имеющий с миром слов.

Он размышлял не только о себе, но и о людях, от которых приехал отдыхать. Что за кашу заварила Хюльда Шнакенбург своим вроде бы невинным желанием — составить нечто целое из рукописных заметок композитора, чтобы получить степень доктора музыковедения, которая позволит ей занять определенное место в мире музыки! Стремление Артура найти отдушину от бизнеса и выступить в роли интеллектуала и покровителя искусств! Хитроумный замысел Геранта Пауэлла, желающего обрести лавры постановщика необычной оперы! Совращение Хюльды Шнакенбург аморальной, но поразительно

вдохновляющей Гуниллой Даль-Сут! Внезапная беспомощность Клемента Холлиера, гениального ученого и известного палеопсихолога, при столкновении с любой работой воображения, не запертой накрепко в темном и туманном прошлом! Злость профессора Пенелопы Рейвен, поставленной лицом к лицу с аспектом своего «я», который она полжизни благополучно маскировала! Буря чувств, сотрясающая Марию, которая пытается примирить свои обязанности жены очень богатого человека и сопутствующие цепи светских условностей со стремлением к научной работе и попытками убежать от своего цыганского наследства! И конечно, ребенок — он пока неизвестная величина, хотя уже живой; а живет он только благодаря Хюльде, которая, роясь в нотных рукописях, наткнулась на остов «Артура Британского, или Великодушного рогоносца». Каждого из этих людей что-то влечет, и будь Даркур на самом деле Пажом Жезлов, он был бы слугой их влечений. Но предположим, что он — Дурак; влечения над ним не властны, но он готов идти своим путем и уверен, что судьба и озорная собачка укажут ему путь. Ведь это неизмеримо лучше! Миф Дурака — поистине миф, и Даркур воплотит его своей жизнью в полной

мере и со всей радостью, на какую способен.

Его, как любого человека, стоящего на пороге великих изменений, одолевали перепады чувств. Что за ерундой он тут занимается — современный человек, почтенный наставник молодежи, сотрудник университета, то есть храма разума и интеллектуального прогресса? Не сошел ли он с ума, поверив бредням старой цыганки и ее картам Таро? Это мышление, если его вообще можно назвать мышлением, — суеверное, архаическое. Но, с другой стороны… эта теория очень заманчива, она покоится на авторитете веков, она тысячелетиями служила людям, прежде чем их обуяла современная страсть к логике. Причем не к логике как системе, применимой к тому, что подвластно логическим выводам и научному методу. Нет, к логике извращенной, используемой для отцеживания из любой проблемы любого намека на шепот интуиции, то есть возможности видеть в темноте. Туманные предсказания мамуси и ее карты Таро — лишь пути выражения ее интуиции, которая в сочетании с интуицией самого Даркура может открыть двери, запертые для логики. Пусть логика занимает свое почетное место, на котором она до сих пор верно служила человечеству, но ей не следует заноситься, про-

возглашая себя единственным методом решения задачи или поиска пути. Логика может стать оружием, позволяющим страху победить судьбу.

В голове у Даркура все время всплывало одно слово — его использовала Гунилла, когда посвящала Шнак в тонкости музыкальной композиции. *Sprezzatura.*[88] По словам Гуниллы, это означает презрение к очевидному, к проторенным тропам, к тому, что кажется обязательным для новичков в музыке; благородная небрежность, внезапный скачок в искусстве — прыжок к дальнему берегу, куда не доберешься на пароме привычных правил.

Конечно, такие прыжки могут окончиться на дне канавы. Ведь именно *sprezzatura* Артура Корниша — порожденная, видимо, первыми симптомами свинки, жаром, раздражительностью больного — завела их всех в авантюру с оперой. Совершили они грациозный прыжок или плюхнулись на дно канавы? Только время покажет.

Может, Фонд Корниша по неведению забрел в какую-то часть Артурова мифа, а этому мифу нужен был великий король, которого предали

---

[88] Примечания: 88

Определенное презрение к условностям, нарочитая небрежность *(ит.).*

лучший друг и возлюбленная? За временем, которое некогда столь повелительно объявляла каждый полдень большая обсерватория в Оттаве, временем, что дирижирует миллионами людских действий, лежит Время Мифа, время души, где живут все девять сюжетов, о которых они тогда говорили с Гуниллой, и простирается пейзаж совершенно иного рода. Конечно, подлинная жизнь людей протекает в уме, и тем они отличаются от животных; а ведь ум сотворен не тиканьем часов, но коловращением планет и дыханием огромной вселенной, раскрывшей нам до сих пор лишь немногие из своих тайн?

Все это лирика и чепуха, думал Даркур. Может, и так; логики-любители презирают лирику, ибо она угрожает тому, что им дорого, — робкой уверенности, которая, если докопаться до сути, уверена в очень немногом. Эти люди презирают лунный свет, потому что никогда не смотрят на луну. Сколько знакомых Даркура смогут сказать, в какой фазе на момент вопроса находится луна? Интересно, путешествует ли Дурак при лунном свете. Если да, то ему повезло — он видит, куда идет, в отличие от тех, кто никогда не смотрит на луну.

Да, снимать ливрею слуги, Пажа Жезлов, и

надевать пестрый наряд Дурака — страшно и в то же время увлекательно. За всю свою респектабельную жизнь испытал ли Даркур хоть одно настоящее приключение? По-видимому, именно этого требует от него Время Мифа. Когда настанет черед Истины говорить, она может выбрать незнакомый тебе язык, но очень важно уловить, что она скажет.

Симон Даркур вернулся из лесов к повседневной жизни новым человеком. Не полностью обновленным, таким же вовлеченным в свои обязанности и жизнь своих друзей, но человеком, яснее осознающим, кто он такой.

2

Если Даркуру затея с оперой казалась безумием, то для Шнак и доктора она проявлялась все четче и влекла их все сильнее. У них уже хватало готовой музыки, настало время ее подрезать, подтягивать, укладывать и трамбовать, чтобы получилась опера. Она еще не обрела окончательную форму, но очертания уже обрисовались. Все до единой темы и заметки Гофмана были учтены, и на них строилась большая часть музыки. Но, конечно, тут и там зияли прорехи, требующие заплат; нужно было навести мостики от одного куска подлинного Гофмана к другому и законопатить трещины. Это испытание должно было показать, хороша ли Шнак в своем деле. Доктор ничего не предлагала, но безжалостно отвергала все предложения Шнак, которые казались ей неподходящими или недостойными целого. Разработка и оркестровка заметок Гофмана была для Шнак детской игрой; найти голос Гофмана и выразить его в новой музыке — другое дело.

Придирчивость доктора и постоянное раздражение Шнак превращали жизнь Даркура в ад. Даркур возился со словами и кусочками слов

нужной длины, подлаживая их к музыке, которая писалась каждый день и редактировалась тоже каждый день. Наконец Даркуру стало казаться, что он вовсе утратил дар связного рассказа и членораздельной речи. Порой доктор бранила его за банальность приготовленного текста; иногда отвергала текст за излишнюю литературность, сложность восприятия при пении, чрезмерную поэтичность, туманящую смысл.

Разумеется, доктор, талантливый композитор, так выражала недовольство собой и тем, что ей удавалось выжать из ученицы; Даркур это понимал и был готов терпеть. Но чего он не собирался терпеть, так это нападок и хамства Шнак, вообразившей, что она имеет право капризничать и требовать невозможного.

— Это херня!

— Откуда вы знаете?

— Я тут композитор!

— Вы — малограмотная хамка! Это не херня, а стихи великого поэта, которые я немного изменил. Вы просто не способны их оценить. Берите и скажите спасибо!

— Нет-нет, Симон, Хюльда права. Это не годится. Нужно что-то другое.

— Что?

— Не знаю что, но другое. Знать, что именно, — это твое дело. Здесь нужно что-то с тем же смыслом, но с хорошей открытой гласной на третьей доле второго такта.

— Но тогда придется все перекраивать.

— Ну, значит, перекрои. И прямо сейчас, а то мы не сможем пойти дальше. Не сидеть же нам тут до завтра, пока ты тужишься над словарем.

— А что бы вам не перекроить музыку?

— Симон, запомни раз и навсегда: ты ничего не смыслишь в музыке.

— Очень хорошо! Но чтобы эта девчонка мне больше не хамила.

— Херня!

— Хюльда! Я запрещаю тебе использовать это слово в разговорах с профессором. И со мной тоже. Мы должны работать бесстрастно. Искусство рождается не из страсти, но из преданности делу.

— Херня!

Тут доктор отвешивала Шнак оплеуху — или начинала обнимать ее и нежничать. Даркур не поднимал руки на Шнак, но порой был на волосок от этого. Правда, не всегда они работали с таким накалом чувств, но достигали его по меньшей мере раз в день, а иногда доктору приходилось

поить всех шампанским. Даркур думал, что счет за шампанское, должно быть, растет со страшной скоростью.

Он упорствовал. Глотал оскорбления, и часто — в своем новом образе, Дурака, — отвечал на них оскорблениями, но не сдавался. Он твердо решил стать профессионалом. Если художники работают именно так, он тоже будет художником — насколько либреттист смеет претендовать на это имя.

Но так работали явно не все художники. Не реже раза в неделю из Стратфорда в красненьком автомобильчике прилетал Пауэлл, а его художественный метод заключался в излиянии масла и бальзама.

— О, какая красота! О Симон, это очень хорошо. Знаешь, когда я работаю над своей другой постановкой — я ставлю «Двенадцатую ночь», она должна открыться в мае, — мне в голову приходят слова, которые не принадлежат Шекспиру. Это — чистый Даркур. Ты упустил свое призвание, Симбах. Ты поэт. Без всякого сомнения.

— Нет, Герант, я не поэт. Я пользуюсь чужими стихами. Все арии, все длинные куски — это его. Конечно, с небольшими изменениями. Только речитативные пассажи мои, и то лишь из-за Ниллы:

она требует черт знает чего, речитатив должен укладываться в свободный аккомпанемент, и потому ударения в словах падают противно любым законам поэзии. Почему бы певцам просто не проговаривать этот текст? Они были бы похожи на людей, а не на сумасшедших попугаев.

— Ну, ну, Сим-бах, ты прекрасно знаешь почему. Потому что Гофман так хотел. Он был новатором, искателем приключений. Он хотел, задолго до Вагнера, создать оперу, которая будет сплошным пением — без костылей для сюжета в виде разговорных вставок и речитативов. Мы должны быть верны заветам Гофмана, понимаешь? Нам нельзя подводить старину Гофмана.

— Ну ладно. Но это меня убьет.

— Не убьет. Ты прекрасно выглядишь, я никогда не видел тебя в лучшей форме. Но сейчас я собираюсь опровергнуть все, что говорил до этого. В третьем акте нам нужна большая ария для Артура, в которой он скажет ясно и доходчиво, что такое любовь и почему он прощает Гвиневру и Ланселота. А у Гофмана нет ничего подходящего, ни единого обрывка.

— И?..

— Ну, все очевидно. Нашей милой Шнак придется написать музыку самостоятельно, а тебе

— найти для нее слова.

— Нет-нет, — вмешалась доктор. — Вот это действительно будет измена Гофману.

— Нилла, слушай меня. Ты знаешь, сколько опер погубила слишком развитая совесть их создателей? Давай на минуточку забудем про Гофмана. Хотя нет, я не это имел в виду. Подумай о том, что сделал бы Гофман, будь он жив. Я его прямо вижу — маленький человечек с острыми блестящими глазами — он жует перо и думает: «Что нам нужно в третьем акте, так это большая, сногсшибательная ария для Артура, которая стянет всю оперу воедино и вынет душу из зрителей. Именно ее запомнят все, ее будут играть шарманщики на улицах». В наше время шарманщиков уже нету, но Гофман этого знать не мог. Эта ария должна задеть за живое всех, и старых и молодых; может быть, критики втопчут ее в грязь, но критики следующего поколения объявят ее гениальной.

— Я не согласна ни на какие дешевые завлекаловки, — объявила доктор.

— Дорогая моя принципиальная Нилла-фах! Есть дешевое искусство, и мы все знаем, что оно такое. Но есть и другое искусство, оно превыше того, что критики называют хорошим вкусом.

Хороший вкус — это, знаешь ли, нечто вроде вегетарианства от эстетики. За его пределы выходишь на собственный страх и риск. И иногда получаются сопли с сахаром вроде «M'appari» из «Марты».[89] А иногда — гениальные вещи вроде «Voi che sapete»[90] или «Porgi amor».[91] Или ария «Вечерней звезде» из «Тангейзера»,[92] или «Хабанера» из «Кармен»[93] — а ведь Вагнера никак нельзя обвинить в том, что он искал дешевого успеха, или Бизе — в том, что он потворствовал вкусам публики. Хватит уже вам, деятелям искусства, презирать публику. Она не сплошь состоит из дураков. Вам нужно вложить в эту гофмановскую штуку нечто такое, что поднимет ее выше обычных ученических экзерсисов, цель которых — заработать для Шнак ученую степень.

---

[89] Примечания: 89

«Марта, или Ричмондская ярмарка» (1847) — романтико-комическая опера в четырех актах немецкого композитора Фридриха фон Флотова на либретто Вильгельма Фридриха.

[90] Примечания: 90

Ария Керубино из оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро» (1786).

[91] Примечания: 91

Ария графини из той же оперы.

[92] Примечания: 92

«Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге» (1845) — пятая по счету опера Рихарда Вагнера.

[93] Примечания: 93

«Кармен» (1875) — опера Жоржа Бизе по мотивам одноименной новел-

лы Проспера Мериме.

Мы должны сделать так, чтобы у людей челюсти отвисли, понимаешь, Нилла? Неужели ты будешь возражать?

— Знаешь, Пауэлл, это опасные разговоры. Мне бы следовало приказать Хюльде выйти из комнаты. Она не должна слышать таких непристойностей.

— Нилла, послушай. Я знаю, это голос Искусителя, но Искуситель уже многих вдохновил на создание подлинно прекрасных вещей. Слушай меня внимательно. Ты знаешь эти стихи?

Пусть критики искусством дорожат
И я смиренно перед ним склоняюсь,
Но не оно, а сердца честный жар
На самом деле души подчиняет.

Даркур, который до сих пор слушал как завороженный, расхохотался. Он возвысил голос, подражая бардовскому напевному речитативу Пауэлла, и продолжил:

Не песнь поэта сладостно звучит
И колокольным звоном отдается,
А сердце, что в стихах его стучит
И в ритм, и в рифму неустанно бьется.

— Это английская поэзия? — вопросила доктор, подняв брови почти до корней волос.

— Господи Исусе! По-моему, это прекрасно! — воскликнула Шнак. — Ой, Нилла, как здорово сказано, ты когда-нибудь слыхала такое?

— Я не очень хорошо разбираюсь в английской поэзии, — сказала доктор, — но это звучит как полная… я, как правило, не пользуюсь словечками Хюльды, но это полная херня. Это слово я переняла у Хюльды, и оно весьма полезно. Херня!

— Сами стихи, безусловно, херня, — отозвался Даркур. — Но в них кроется драгоценная жемчужина истины. В этом беда поэзии. Даже ужасный поэт может сказать правду. Порой и слепая свинья желудь найдет.

— Профессор, как всегда, наставил нас на путь истинный, — подхватил Пауэлл. — Единым сердцем не создашь Искусства. Искусству — горе, коли сердце пусто. Надо же, а из меня вышел бы неплохой либреттист! Ну так что — вы согласны?

— Я попробую, — сказала Шнак. — Мне уже обрыдло путаться в старом халате Гофмана.

— Я определенно попробую, — сказал Даркур. — Но при одном условии. Я должен написать стихи раньше, чем Шнак напишет музыку.

— Сим-бах, они у тебя уже есть! Я по глазам вижу!

— По правде сказать, да. — И Даркур прочитал им стихи.

— Ну-ка, еще раз, — сказала Шнак, впервые за все их знакомство глядя на Даркура без подозрения и злости.

Даркур снова продекламировал стихи.

— Это оно! — воскликнул Пауэлл. — Мы снова оседлали свинью.

— Но это — хорошие английские стихи? — спросила доктор.

— Я не раздаю оценки поэтам, как будто они школьники, — ответил Даркур. — Это — одно из лучших творений очень хорошего поэта и намного превышает уровень оперных текстов.

— Но ты скажешь нам, кто этот поэт? — спросил Пауэлл.

— Мы о нем говорили, когда в самый первый раз обсуждали, чьи стихи взять для оперы. Это сэр Вальтер Скотт.

3

Даркур сидел и думал: вот я сижу и ем холодную жареную курицу с салатом в шикарном пентхаусе, в воскресенье вечером. Неужели я действительно делю эту трапезу с тремя персонажами артуровской легенды? С тремя людьми, отыгрывающими, в переводе на современные реалии, великий миф о преданном короле, чаровнице-королеве и выдающемся искателе приключений?

Верна ли аналогия? Чего добивался король Артур? Он стремился улучшить мир и потому требовал, чтобы его рыцари, безусловно принадлежащие к элите по рождению, повиновались кодексу рыцарства и таким образом стали элитой по заслугам. Сделать мир лучше, но не просто силой, а разумным, бескорыстным применением силы — в этом заключалась его идея.

А что же Артур Корниш, который сидит напротив меня и накладывает себе желе из красной смородины? Он принадлежит к своего рода элите по рождению: к канадской элите, для которой трех поколений денег уже достаточно, чтобы причислить человека к знати, что бы он из себя

ни представлял. Но Артур хочет быть интеллектуалом и продвигать культуру своей властью, то есть своими деньгами; точнее — деньгами покойного Фрэнсиса Корниша, загадочным капиталом неизвестного происхождения. Несомненно, это можно рассматривать как попытку, причем весьма успешную, перехода в элиту по заслугам? Вероятно, в распоряжении Артура Корниша больше денег и власти, чем когда-либо было у Артура Британского.

Королева Гвиневра осталась в легендах как соучастница преступной любви, принесшей великое горе королю Артуру. Не во всех легендах она предстает как женщина, живущая только своей любовью: иногда она — жена, которой пренебрегает муж, иногда — честолюбивая женщина с неутоленным духом. В целом более живая и противоречивая фигура, чем образ, нарисованный Теннисоном.

Мария, несомненно, подходит. Она сама сказала — недавно, перед свадьбой с Артуром, — что полюбила его за прямоту, великодушие и привлекательную для нее свободу от научного мира, которым ограничивались собственные устремления Марии. Артур предложил ей любовь, а сверх любви — еще и дружбу, и она не устояла.

Но женщина не может жить только в царстве любви: ей нужна своя жизнь; она должна светить, а не только отражать чужой свет. Похоже, что замужество несколько затмило свет Марии. Она слишком много сил вложила в то, чтобы быть женой Артуру; это во-первых, во-вторых и в-последних. И ее душа взбунтовалась. Сколько времени они женаты? Год и восемь месяцев? Год и восемь месяцев растворения в муже, с полным забвением всего прочего? Конечно, так не пойдет. Любая женщина, стоящая того, чтобы на ней жениться, — больше, чем просто жена, если, конечно, мужчина не отъявленный эгоист. Артур, конечно, не отъявленный эгоист, хоть и привык, чтобы все выходило по его, — типично для богача. Даркур сам не был женат, но видел много браков и обвенчал много пар — столько, подумал он очередной онтарийской поговоркой, что и палкой не разгонишь. Лучше всего работали те браки, в которых единение допускало некоторую отдельность, — не то чтобы супруги были яростно независимы друг от друга, но каждый из них полностью владел собственной душой.

Стоит ли говорить с Артуром и Марией о душах? Наверно, нет. Души сейчас не в моде. Люди с покорным изумлением слушают научные лек-

ции о невидимых частицах, которые, если верить ученым, находятся повсюду и ужасно важны. Но от разговора о душах люди шарахаются. Слово «душа» стало неприличным в мире, овладевшем ядерной энергией.

Но для Даркура души существовали. Не как туманное облачко и неосязаемое олицетворение чего-то благородного, но как сила, отличающая живого человека от мертвого сырья для похоронных дел мастера. Душа как совокупность сознания — то, что человек знает о себе, и то, что скрыто от него, но знает его и движет им; это слово затаскано до дыр, его принимают или отвергают, но деваться от него некуда.

А что же Пауэлл? Он как раз из тех, кто станет страстно доказывать, что у него-то душа есть. Но им явно движет неосознаваемая им самим часть души — часть, которую кое-кто, например мамуся, назвал бы его судьбой. Судьба человека в нем самом — в большей степени, чем он сам знает. Мы притягиваем к себе подобное себе. И именно судьба Пауэлла заставила его соблазнить жену друга, причем, вероятно — нет, точно, Даркур не сомневался, — к этому причастна и судьба Марии; точно так же, как Ланселот соблазнил Гвиневру — или был ею соблазнен.

— Симон, тебе долить заправки в салат? — спросила Мария.

Они с Артуром и Пауэллом о чем-то беседовали, пока Даркур сидел, погруженный в мысли.

Да, он хочет еще заправки в салат. Надо следить за собой и не уплывать в туман размышлений, пока другие о чем-то говорят. О чем, кстати?

Конечно, о будущем ребенке. Они много о нем говорили, причем с поразительной для Даркура открытостью. Мария, уже на шестом месяце, ходила в красивых платьях, которые не подчеркивали, но и не скрывали ее беременность, в отличие от женщин, виденных Даркуром на улице: те носили брюки, словно пихая свой раздутый живот в лицо всему миру.

Артур и Герант были равно озабочены. Каждый из них называл себя неопытным молодым отцом: иногда это была шутка, но все равно в ней сквозил тайный страх. Они тряслись над Марией — заставляли ее садиться, когда она не прочь была постоять, и бегом приносили ей вещи, без которых она вполне могла обойтись. Они настаивали, чтобы она не водила машину, чтобы клала ноги на табуретку, когда садится, чтобы много отдыхала, чтобы пила молоко (чего доктор ей не советовал), чтобы ела побольше, чтобы ела здо-

ровую пищу, чтобы пила самую капельку вина и совсем не пила крепких напитков, чтобы пропускала неприятные новости в газетах. Их слегка разочаровало, что она не требовала причудливой еды, — они были бы счастливы исполнять ее странные капризы, вроде соленых огурцов с мороженым. Мария смеялась и говорила, что это все бабкины сказки. Но они, как любые будущие отцы, превращались в надоедливых старых бабок, и чем дальше, тем больше. Их дружба стала прочнее прежнего.

Интересно, Артур и Ланселот в давние времена тоже так суетились? Конечно нет: у них ведь не было двусмысленного дитяти.

— Встреча с родителями Шнак прошла успешно, — отрапортовал Пауэлл.

— А кто с ними встречался? Прошу прощения, меня там не было, — сказал Даркур.

— Нилла настояла, чтобы Шнак позвала их в гости. Нилла держит Шнак в строгости и учит ее хорошим манерам. Не позволяет ей ругать родителей. Она сказала: «Хюльда, дорогая, ты должна позвать своих родителей сюда, и мы будем с ними очень, очень любезны». Так они и сделали.

— И ты тоже там был? — спросила Мария.

— А как же! Я бы не пропустил этого ни за какие

коврижки. Я был, если можно так выразиться, звездой этого вечера, вишенкой на торте. Я замечательно поладил с родителями Шнак.

— Расскажи, — попросила Мария.

— Ну вот, Шнак пригласила их по телефону — Нилла в это время стояла над ней с кнутом, если не ошибаюсь. Вы их видели. Я бы не назвал их душой общества, к тому же они явно заранее приготовились указать Нилле ее место и хорошенько отчитать Шнак. Но у них ничего не вышло. Нилла очаровала их; она создает вокруг себя атмосферу старой европейской аристократии. Достаточно для того, чтобы старшие Шнаки распознали в ней настоящую гранд-даму. Не просто богачку вроде вас, Корнишей, но подлинную аристократку. Просто удивительно, как это до сих пор неотразимо действует. Нилла беседовала с ними на немецком языке — и таким образом исключила Шнак из разговора, потому что та понимает по-немецки, но почти не говорит. Я слаб в немецком — кое-как разберу вагнеровское либретто, и все, — но я понял, что Нилла была с ними подлинно любезна. Не снисходительна — она говорила с ними как с равными, как одна представительница старшего поколения с другими, и дала им понять, что ее искренне заботит судьба Шнак. Она говорила об

искусстве и о музыке, и они слегка оттаяли — от этих разговоров, и от жирных сладких пирожных, и от кофе с большим количеством взбитых сливок. Но оттаяли не совсем, хотя их явно впечатлило огромное количество исписанной Шнак нотной бумаги. Они поняли, что она в самом деле трудится. Но им все еще не давал покоя ее мятеж против того, что они считают религией. И тут вступил я со своей ударной партией.

— Ты, Герант? Ты согласился с этими заскорузлыми пуританами в вопросах веры?

— Конечно, Артур-бах. Не забывай, что меня взрастили методистом кальвинистского толка и мой отец был могучим шаманом этой веры. Конечно, я им об этом сказал. Но, сказал я, поглядите на меня: я глубоко погружен в мир искусства, и театра, и музыки, и отцовство и великолепие Бога являются мне каждый час моей жизни и проницают все, что я делаю. «Неужели Господь говорит одним-единственным языком? — вопросил я их. — Неужели Его всепобеждающая любовь не простирается также и на тех, кто еще не пришел к полноте веры, к религиозной жизни? Разве не может Он говорить где угодно, и в театре, и в опере, обращаясь к тем, кто бежал от Него в мир с виду легкомысленный, посвященный удоволь-

ствиям? Друзья мои, вы имеете благодать — вам открыта полнота данного Господом Слова. Вы не встречали, как встречал я, Господа, говорящего с падшими и заблудшими языком искусства; вы не сталкивались с хитростью Бога, коей Он проникает и в души людей, затворивших слух для Его истинного голоса. Наш Господь суров с такими, как вы, — теми, кого Он с рождения избрал себе в паству; но Он действует деликатно и нежно с теми, кто уклонился на мирские пути. Он говорит многими голосами, и самый победительный из них — голос музыки. У вашей дочери огромный музыкальный дар, и неужто вы осмелитесь сказать, что она не избрана Богом как Его дитя, Его арфа сионская, что призывает к Нему Его заблудших чад? Осмелишься ли ты, Элиас Шнакенбург, утверждать, что через музыку твоей дочери не может говорить — и я утверждаю это со всем возможным смирением, — не может говорить Сам Господь? Осмелишься ли? Возьмешь ли на себя такое тяжкое суждение? О Элиас Шнакенбург, заклинаю тебя, умоляю тебя, поразмысли об этих тайнах, а потом отвергни музыкальный дар своей дочери, если посмеешь!»

— Господи боже, Герант, неужели ты такое сказал?

— Воистину я это сказал, Мария. И это, и много большее. Я дал им отведать валлийского красноречия, проповеднического экстаза: я не говорил, а выпевал. Сработало на загляденье.

Мария была обезоружена.

— Герант! Ах ты, жулик! — выговорила она, когда наконец обрела дар речи.

— Мария-фах, ты ранишь меня в самое сердце. Я был искренен в каждом слове. И более того, правдив. Сим-бах, ты же знаешь, что такое проповедь. Разве я сказал хоть слово, которое ты не мог бы произнести с амвона?

— Мне понравилось про хитрость Бога, Герант-бах. Что до всего остального — скажу только, что не сомневаюсь: ты был искренен, когда все это говорил, и меня не удивляет, что старшие Шнаки клюнули. Да, если подумать, я согласен — все, что ты им говорил, правда. Но я не уверен, что твои намерения были искренними.

— Мои намерения заключались в том, чтобы Шнакам понравилась наша опера, и чтобы они провели приятный вечер, и чтобы разодранный хитон семейного мира Шнаков был наконец зашит.

— И как, получилось?

— Мамаша Шнакенбург была счастлива, что ее

дитя отмыто и прибавляет в весе; папаша Шнак — надеюсь, я к нему справедлив — обрадовался, что Хюльда проводит время в столь элегантной компании: в каждом человеке дремлет сноб, а панаша Шнак явно еще помнит сиятельный мир аристократической Европы. Ну а я только добавил розочек на торт своей пышной теологией.

— Не теологией, Герант, риторикой, — поправил Даркур.

— Сим-бах, перестань уже пинать риторику. Что она такое? Прибежище поэта, когда его муза спит. Прибежище проповедника, когда ему надо пощекотать уши невнимательных слушателей. Мы, обитатели мира искусства, все время садились бы в лужу, если бы нас не выручала риторика. Риторика низка лишь тогда, когда ею пользуются низкие люди. Для меня это лишь способ возбудить древние, вечные элементы духовной структуры человека с помощью размеренной, ритмичной речи. Ты отвергаешь мою риторику лишь из низкой зависти, и я очень разочарован в тебе.

— Конечно, Герант, ты прав: люди, не умеющие болтать языком, завидуют тем, кто умеет. Но это всего лишь гипноз.

— Всего лишь гипноз! О Сим-бах! О, сколь жал-

кая низость духа звучит в этом нищенском «всего лишь»! Я рыдаю от жалости к тебе!

И Пауэлл положил себе еще кусок курицы.

— Одно из двух — либо рыдать, либо набиваться едой, — заметил Даркур. — А Шнаки не унюхали ничего подозрительного между Ниллой и их чадом?

— Думаю, они и не знают о существовании подобного разврата. Сколько я помню Библию, там ничего не говорится о шалостях женщин между собою. Потому у этого занятия греческое название. Старые суровые израильтяне считали извращение исключительно мужской привилегией. Шнаки думают, что их дочь прибавляет в весе благодаря Хорошему Влиянию.

— Я как женщина не могу понять, что в Шнак привлекательного, — заметила Мария. — Будь у меня те же наклонности, что у Ниллы, я бы нашла девочек посимпатичнее.

— О, Шнак обладает прелестью невинности, — объяснил Пауэлл. — Конечно, она злобная маленькая дрянь, но под этой коркой прячется нетронутое дитя, способное удивляться миру. Вероятно, она давала себя лапать каким-нибудь морлокам-студентам, поскольку таков обычай их круга, а дети боятся идти против обычая. Но

настоящая, подлинная Шнак, которая прячется в глубине, еще подобна цветку, и Нилла как раз тот человек, который может его деликатно сорвать. Вы ведь знаете, как это бывает, — впрочем, вы не знаете, потому что никто из вас не садовник; это я трудился в мамкином саду все свое детство. Первый цвет всегда срывают, и новые цветы, крепче и сильнее, распускаются на его месте. Именно это сейчас происходит со Шнак.

— Какие там еще цветы? — возмутился Артур. — Боже сохрани, чтобы мы содержали дом свиданий для лесбиянок! Даже для Фонда Корниша есть пределы. Симон, разберись, пожалуйста, в этом вопросе.

— Правильно! Я оплачиваю совершенно дикие счета за шампанское и маленькие хорошенькие пирожные из кондитерских. Эти женщины прекрасно могут поддерживать свою страсть гамбургерами!

— Вы совершенно не правы, — вмешался Пауэлл. — Ничего подобного там не происходит. Нилла пробудила дремлющую нежность Шнак, и, скажу я вам, ребята, это был нелегкий труд. Куда теперь Шнак обратит свои разбуженные силы? По-моему, Сим-бах, она положила глаз на тебя.

Даркур вздрогнул. Его совсем не обрадовало,

что Артур и Мария встретили предположение Пауэлла взрывом хохота.

— Не вижу, что тут смешного. Само предположение чудовищно.

— В любви не может быть ничего чудовищного, — заметил Пауэлл.

— Прости, Симон. Я вовсе не имел в виду, что в тебя нельзя влюбиться и что мысль об этом смешна. Просто Шнак… — Не договорив, Артур сложился пополам от смеха, закашлялся, и пришлось стучать его по спине.

— Тебе нужно перекрасить волосы и бежать на запад, — предложила Мария.

— Симон прекрасно сам за себя постоит, и он должен быть здесь, — сказал Пауэлл. — Он нам нужен. Если совсем приспичит, он может бежать, когда опера будет готова. В опере все дело. И в тех стихах, которые Симон читал Шнак. Вы видели, как она переменилась в лице?

— Это ты читал ей стихи, — возразил Даркур. — Ты, валлийский манипулятор, ты продеклами-ровал девочкам Эллу Уилер Уилкокс, и Ниллу чуть не стошнило (и правильно), зато Шнак все проглотила и запросила еще.

…Но не оно, а сердца честный жар

На самом деле души подчиняет.

Ты хотел пошутить, но Шнак приняла все за чистую монету.

— Потому что это правда. Банально, но правда. И надо полагать, это первые стихи в жизни Шнак, которые попали ей в самое сердце, как стрела Амура. Но именно ты прочитал настоящие стихи и подарил их Шнак для кульминации нашей драмы. Симон нашел слова для великой арии Артура, — пояснил он, обращаясь к Артуру и Марии. — Именно то, что надо. Подходящая эпоха и дивные стихи, в которых прекрасно сформулирована забытая истина.

— Ну-ка, Симон, давай послушаем, — сказал Артур.

Даркур вдруг застеснялся. Эти стихи точнейшим образом описывали положение людей, сидящих вместе с ним за столом; в стихах говорилось о благородстве, о верности и, как он незыблемо верил, о сущности самой любви. Симон не решился на полногласную бардовскую манеру, свойственную Пауэллу. Он тихо продекламировал:

Блаженства служит нам залогом
Лишь чувство, посланное Богом.

Оно не жар воображенья,
Что остывает в свой черед,
Не жгучий пламень вожделенья,
Что, утолив себя, умрет.
В нем душ сродство и пониманье,
В нем уз и нитей сочетанье,
В нем сердце с сердцем, ум с умом,
Душа и тело — все в одном.[94]

Слушатели молчали. Нарушила тишину Мария; как истинный научный работник, она принялась критиковать прозвучавшие слова, ибо так ее учили; верный критический инструментарий помогал ей свести поэзию к набору технических приемов и легко пренебречь содержанием. В умелых руках эта система могла укротить Гомера и обратить сонеты Шекспира в сырье для критиков. Эта система, единожды освоенная, пусть и с иными целями, навсегда освобождала ее носителя от любого влияния любого поэта, как бы он ни был благороден и о чем бы ни желал поведать миру.

— Херня! — сказал Пауэлл, когда Мария закончила.

---

[94] Примечания: 94

Скотт В. Песнь последнего менестреля. Песнь V, строфа 13. Пер. Вс. Рождественского.

И начался жаркий спор, в котором Пауэлл стоял насмерть за стихи, Артур помалкивал и о чем-то думал, а Мария твердо решила объявить всего Вальтера Скотта второсортным, а его легко льющиеся стихи — продуктом нескромной, поверхностной души.

«Она борется за свою жизнь, — подумал Даркур, — и извращенным образом использует орудия, полученные в университете. Но разве можно узнать что-нибудь о любви на лекциях и семинарах?»

Сам он в драку не полез. Это было несложно, так как вклиниться между Пауэллом и Марией удалось бы только громким и упорным криком. Интересно, подумал Даркур, не было ли такой сцены в Камелоте? Случалось ли Артуру, Гвиневре и Ланселоту сойтись вместе и спорить о сделанном — и о том, что послужило ему причиной?

А если эти трое в самом деле современные версии главных героев великого рыцарского сюжета, как они выглядят в свете рыцарских законов? Рыцари — и, надо думать, их дамы тоже — должны были обладать двенадцатью рыцарственными добродетелями (или хотя бы стремиться к ним). Списков этих добродетелей известно много, причем разных, но во все списки входят Честь,

Доблесть и Учтивость. Если вдуматься, у Артура, Марии и Пауэлла этих добродетелей хоть отбавляй. Упование, Справедливость и Упорство? Это испытание мужчины, похоже, выдержали лучше, чем Мария. Веру и Верность, видимо, лучше не обсуждать, раз Мария беременна. И о Целомудрии упоминать бестактно. Прямота, то есть искренность и отсутствие коварства: ею, видимо, в той или иной степени обладают все трое. Щедрость, нестяжательство, одно из первых добродетелей рыцаря, — главная идея Фонда Корниша. Все это шампанское и венские пирожные — не что иное, как щедрость, и огромные суммы денег, как раз сейчас идущие на постановку оперы, — тоже. Но Милосердие — этой добродетелью, кажется, обладает только Артур, и она лишний раз проявляется в том, как он суетится вокруг беременной Марии. Мария же, кажется, напрочь лишена этого свойства. Или нет? Может быть, она встретила сэра Вальтера Скотта в штыки лишь из страха перед своими истинными чувствами? *Débonnaireté* — вот это хорошая добродетель для рыцаря, да и для любого, кто ею обладает: бодрость сердца, благородное равнодушие к мелким неприятностям, прямо сказать — *sprezzatura.* Пауэлл — образец этой добродетели; по временам его еще одоле-

вают припадки красноречивого раскаяния в содеянном, но он уже стремится преодолеть их. Он рассматривает себя как со-отца, совместно с Артуром, и достойно играет эту роль.

Интересно, что тут кроется? Убежденный фрейдист почти наверняка объявил бы, что Артура и Геранта связывает тайное гомосексуальное влечение, получающее выход в обладании одной и той же женщиной. Но Даркур был не склонен к фрейдовским интерпретациям. В лучшем случае они — угрюмые полуправды; они на удивление мало что объясняют и исцеляют. Они ковыряют то, что Йейтс назвал «затхлой лавкой древностей сердца моего», но не источают Аполлонова света, который Йейтс и многие другие поэты проливают на гноище человеческого сердца. Сэр Вальтер, столь откровенно писавший о своей милой Шарлотте, знал нечто такое, чего не знал несчастливо женатый венский мудрец. «Уз и нитей сочетанье».

Может быть, Артур тоже это знал. Мария устала спорить и явно готова была расплакаться.

— Пойдем, милая. Тебе пора спать, — сказал Артур.

И это окончательно решило вопрос с Милосердием.

4

Все канадцы ждут весны, но Даркур на этот раз ждал с особым нетерпеньем. Он не мог завершить поиски персонажей «Брака в Кане», пока не сошел снег, а в Блэрлогги снежный покров лежал и даже обновлялся вплоть до середины апреля.

Пока что Даркур проводил долгие часы в библиотеке, просеивая последние остатки бумаг из квартиры Корниша. Точнее, из трех квартир, битком набитых произведениями искусства. Вооружившись плодами своего биографического золотоискательства — сведениями о Корнишах, О'Горманах, Макрори, их чадах и домочадцах, — Даркур смог опознать почти всех персонажей великой картины.

Кое-кого из них «опознавали» и раньше. Даркур вызубрил почти наизусть статью Эйлвина Росса, опубликованную двадцать пять лет назад в «Аполло». Она довершила репутацию Росса как великого искусствоведа и убедила всех, что молодого канадца надо принимать всерьез. Каким, должно быть, хитроумным считал себя Росс, усмотрев параллель между картиной и Аугсбургским соглашением 1548 года между католиками

и протестантами. Как убедительно он доказывал, что на картине изображены граф Майнхард из Дюстерштейна со своей графиней, ученый Иоганн Агрикола и Парацельс! Последнее было чрезвычайно знаменательно, так как портретов Парацельса известно крайне мало. И даже веселого карлика Росс опознал совершенно точно, ибо не сомневался, что он — «Дурачок Гензель», который, без сомнения, был не кем иным, как знаменитым карликом-шутом в услужении у банкирской семьи Фуггеров. Такая романтичная история тронула бы и сердце сэра Вальтера Скотта. Но Даркур теперь знал, что все это чушь и чепуха.

«Граф Майнхард с графиней» были, несомненно, родителями Фрэнсиса Корниша, а Иоганн Агрикола — преподавателем из Колборн-колледжа, впервые направившим стопы Фрэнсиса на путь исторических изысканий: его фотография нашлась между страницами рисовального блокнота Фрэнсиса эпохи Блэрлогги. Как там его звали? Рамзи. Данстан Рамзи. Что же до Парацельса, востроглазого человечка в мантии врача, со скальпелем в руках, сомнений быть не могло: это доктор Джозеф Амброзиус Джером, о котором Дар-кур знал только, что он был семейным вра-

чом Макрори и дедушка Макрори его однажды сфотографировал. На фотографии доктор сидел, держа в одной руке скальпель (именно такой, как на картине), а другую положив на человеческий череп.

Наброски. Их были десятки, и у многих нашлись двойники среди «солнечных картин» дедушки. Карлик — это, несомненно, Франсуа Ксавье Бушар, маленький портной из Блэрлогги. Дедушка запечатлел его полностью одетым, но Фрэнсис нарисовал лежащим на столе, совершенно голым и явно мертвым. Может, видел его у бальзамировщика? Среди ранних рисунков обнаженной натуры попадались намеки — лишь абрис из нескольких линий, но весьма красноречивый — на человека, напоминающего *huissier* с картины. На картине он стоял с кнутом, а дедушка сфотографировал его возле упряжки отличных лошадей. Представительный мужчина, но потрепанный жизнью. На всех рисунках у него в глазах светилась жалость — к мертвым, но также и рыцарственное сострадание ко всему человечеству.

Наброски и фотографии, раскопанные Даркуром в университетской библиотеке, в совокупности с этюдами, по прямому распоряжению

Фрэнсиса Корниша отосланными в Национальную галерею, создали полную картину. Две женщины, спорящие над кувшинами с вином, между которыми стоит коленопреклоненный Христос: конечно, это мисс Мэри-Бенедетта Макрори, тетя Фрэнсиса, а ссорится она с дедушкиной кухаркой, Викторией Камерон. О чем же они могли спорить? Поскольку сцепились они над фигурой Христа, возможно, Он и был причиной их несогласия. А кто же святой Иоанн, с пером и чернильницей? Его опознать не удалось, но, может быть, с годами секрет раскроется. Что до выразительного портрета Иуды, вцепившегося в денежный кошель, тут секрета не было: во Фрэнсисовых альбомах дюстерштейнской эпохи хватало изображений этого человека, чтобы опознать в нем Танкреда Сарацини, крестного отца Фрэнсиса в живописи, двусмысленную фигуру, «серого кардинала» в мире искусства сорокалетней давности: гениального реставратора картин, который, может быть, иногда заходил чуть дальше простой реставрации.

Были на картине и другие люди, которые совсем не поддавались опознанию или позволяли только строить догадки. Например, толстый купец с женой: это мог быть Джеральд Винсент О'Горман,

известный по своим блэрлоггским делам как хитроумный делец на службе Корниш-треста; женщина, соответственно, Мэри-Тереза Макрори, в начале жизни — истовая католичка, позднее же — сияющий светоч среди торонтовских англикан. Но что за женщина держит астрологическую карту? Ее не оказалось нигде — ни на фотографиях, ни среди набросков. А эти кошмарные дети на заднем плане? Видимо, юные жители Блэрлогги, но со злыми, порочными лицами, особенно ужасными у детей. Они как будто говорили нечто о детстве — такое, что не часто услышишь.

Центральные фигуры картины — разумеется, жених и невеста — не представляли собой никакой загадки и не оставляли места для сомнений. Они напоминали, но никоим образом не имитировали чету Арнольфини на портрете Ван Эйка. Сходство крылось в пристальных взглядах, в серьезности лиц. Невеста, конечно же, Исмэй Глассон. Даркур перевидал ее на сотнях набросков, голую и одетую, и уже знал не хуже любого другого лица в мире ее лицо — не то чтобы красивое, но отраженный на нем напор чувств притягивал сильнее любой красоты. Это — жена Фрэнсиса, мать Малютки Чарли, беглянка, фанатичка: Фрэнсис на картине простирал к ней руку,

но не касался ее — она как будто отстранялась, устремив глаза не на мужа, но на красивого молодого человека, нарисованного в облике святого Иоанна.

Мужем был Фрэнсис Корниш. Исповедь в форме автопортрета. Изображений Фрэнсиса сохранилось мало: если не считать этой картины, он никогда не рисовал себя, и никто из современников не счел его достаточно интересным, чтобы сделать хотя бы набросок. Дедушкины фотографии запечатлели хрупкого темноволосого мальчика, уродливо одетого — по моде его детства и юности. Фрэнсис в матроске стоит на огромном стволе поваленного дерева, над группой могучих бородатых лесорубов; Фрэнсис в лучшем воскресном костюмчике сидит у стола, на котором лежат его четки и молитвенник; Фрэнсис щурится от солнца на улицах Блэрлогги. Фрэнсис рядом с красавицей-матерью ежится в неудобном крахмальном воротничке. Несколько групповых фотографий времен Колборна, запечатлевших Фрэнсиса как получателя каких-то наград. Снимок с любительской театральной постановки — похоже, студенческого капустника: Фрэнсис, худой и длинный, торчит в заднем ряду, среди помощников режиссера и оформителей;

его едва видно из-за девушек в коротких юбках и мальчиков в блейзерах, которые явно напелись и натанцевались всласть. Но все это ровно ничего не говорило о Фрэнсисе Корнише.

А вот на картине «Брак в Кане» его фигура доминировала; вся остальная композиция была привязана к ней. Ни расположение, ни позу нельзя было бы назвать агрессивными; фигура на картине вовсе не кричала: «Поглядите на меня!» Но пристальный взгляд этого мужчины, одетого в коричневые и черные тона, вновь и вновь притягивал зрителя, как бы того ни интересовали другие персонажи картины. Чаще всего автопортреты впиваются глазами в зрителя. Художник, рисующий себя, обычно глядится в зеркало и потому вынужден хотя бы одним глазом смотреть прямо в глаза смотрящему. Чем больше не по себе художнику, тем пронзительней становится взгляд. Рембрандтов, смеющих рисовать себя как есть, — мало. Фрэнсис на картине смотрел не на жену: его взгляд был направлен за пределы холста. Но он глядел не в лицо зрителю, бросая ему вызов, а куда-то поверх голов. Лицо было серьезное, почти печальное, и по контрасту с другими людьми на картине — уклончивой, слегка надутой невестой, неуемно жаждущим приключений

святым Иоанном, важными Рыцарем и Дамой, двумя спорящими женщинами, старым ремесленником (дедушкой Макрори в образе святого Симона Зилота, с плотницкими инструментами в руках) — казалось, что Фрэнсис смотрит из их мира в какой-то другой, свой собственный мир. Даркуру приходилось видеть такой взгляд у старого Фрэнсиса, которого он знал.

Последним — хотя нет, не совсем последним — персонажем картины была женщина, стоящая рядом с новобрачными. У нее одной на всей картине был нимб. Богоматерь? Да, рамки сюжета требовали, чтобы она присутствовала на картине. По, может быть, вернее было бы назвать ее Великой Матерью. Как мать всех и вся, она не обязана была походить ни на кого в отдельности. Ее серьезная красота была всеобъемлющей, а улыбка сияла безмятежностью, взмывающей превыше мирских забот.

Призвана ли эта безмятежная улыбка исцелить боль, явно сквозящую в изображениях жениха и невесты? Жених на картине протягивал кольцо, желая надеть его на безымянный палец левой руки невесты, а та словно отстранялась или, может быть, отдергивала руку. Даркуру, уже знающему многое и совершившему погружение

в «солнечные картины» и бесчисленные копии чужих рисунков, наброски и собственные рисунки Фрэнсиса — все, что осталось от истины Фрэнсисовой жизни, — эта необычайная картина казалась аллегорией гибели человека, уничтожения его духа. Неужели норовистая беглянка Исмэй в самом деле так сильно ранила Фрэнсиса? После этой картины он до конца жизни не брался за кисти всерьез.

Неужто я зачахну и угасну
Лишь потому, что женщина прекрасна?

Автор этих строк и стоящей за ними философии легкого отношения к любви был душой крепче Фрэнсиса. Но не все мужчины и не все влюбленные обладают крепостью души. Даркуру казалось: Фрэнсис умер не потому, что Исмэй решила идти за собственной звездой. Что-то внутри Фрэнсиса было смертельно ранено, и смерть, нагнавшая его много лет спустя, одного в захламленной квартире, стала второй по счету; Даркур не мог бы сказать, которая из смертей, первая или вторая, стала в большей степени прекращением бытия.

Даркур охотно признавал, что несведущ в любви. Юношей он не влюблялся — разве лишь

поверхностно. Он не знал иных страстей, кроме любви к Марии — как он теперь понимал, безумия, от которого ему посчастливилось излечиться. Но у него был дар, нечастый у людей, умеющих глубоко чувствовать, — способность понимать и радости, и убийственные удары судьбы, постигающие других. Чем дольше он смотрел на большую репродукцию всей картины и на увеличенные фрагменты, иллюстрирующие гениальную и совершенно ошибочную статью в «Аполло», тем больше задумывался, не нанесла ли Мария, питающая под сердцем ребенка Пауэлла, именно такой удар Артуру Корнишу. Если это правда, то Артур держится на удивление хорошо, но он потерял всю свою *débonnaireté*. Безусловно, Артур — Великодушный Рогоносец. Но он уже не тот кристально четкий, щедрый и безжалостный человек, каким был при первом знакомстве с Даркуром. Если это так — кого винить? Чем больше узнавал Даркур, тем менее был склонен винить или хвалить кого бы то ни было.

А вот самой последней фигуре на картине придется ждать до весны — тогда ее, может быть, получится опознать раз и навсегда.

Это был ангел, летящий над головами супругов и Всеобщей Матери на центральной панели три-

птиха. Может быть, не совсем ангел, но почему он тогда висит в воздухе без помощи ангельских крыльев? С первого взгляда казалось, что он пускает насмарку всю композицию. Прочие фигуры на картине были человечны, нарисованы с любовью, иногда прекрасны, иногда благородны, иногда самодовольны, иногда — как святой Симон — мудры мудростью превыше мирской. А летающее создание было смешным и страшным. Заостренная головка, почти идиотическое выражение лица, явные признаки больного ума и уродливого тела — все в нем было неуместно. И все же чем больше зритель смотрел на это существо, тем больше казалось, что оно на своем месте и незаменимо для высказывания, которым была эта картина.

Изо рта существа выходил свиток, отчасти похожий на облачко со словами, как в комиксах. Надпись на свитке гласила: «Tu autem servasti bonum vinum usque adhuc». Не очень элегантно звучит, но эти слова сказал распорядитель пира жениху на свадьбе в Кане: «А ты хорошее вино сберег доселе».[95] Первое чудо Христа; загадка, ибо ничто в Евангелиях не намекает, что тайна

---

[95] Примечания: 95
Ин. 2: 10.

была известна кому-либо, кроме Христа, Его Матери и нескольких слуг.

Может быть, эта картина тоже предмет великой красоты и загадка? Шутка, очень глубокая и серьезная шутка над будущими зрителями?

Апрель принес ответы, как и надеялся Даркур. Он совершил мучительное путешествие на поезде в Блэрлогги, а там, вооружившись лопатой, метлой и фотоаппаратом, отправился на католическое кладбище и вновь поднялся на мрачный голый холм, чтобы навестить семейный участок Макрори. Там высились три больших, безвкусных памятника — сенатору, его жене и Мэри-Бенедетте Макрори. Но были тут и несколько надгробий поскромнее. Один был даже не надгробием, а просто мемориальным камнем в честь некоего Зейдока Хойла — надпись на камне именовала его верным слугой семьи. И вот оно — в дальнем конце, за большим каменным надгробием: небольшая мраморная плита. Вровень с землей. Даркур счистил с нее остатки снега и льда, наслоения лишайника, и открылась короткая простая надпись: ФРЭНСИС.

Вот оно, значит. Среди набросков детских лет Фрэнсиса попадалось изображение уродливой фигуры, заключенной в кровать — почти клетку.

Жалкий урод, из тех, что злые люди называют «безмозглыми», — пустой взгляд, редкие волосы, выражение лица (если это можно так назвать) пробудили бы искру жалости и у людоеда. Эти наброски — торопливые, но очень живые — помечались только буквой «Ф». Кроме одного, на котором рукой мальчика, желающего, но еще не умеющего быть каллиграфом, почерком, явно скопированным с какой-нибудь королевской подписи, значилось: «Фрэнсис Первый».

Фрэнсис Первый? Ну вот, подумал Даркур. Теперь я знаю все, что мне нужно, и, наверно, больше мне и не суждено узнать. Воистину хорошее вино сберегли до последнего.

5

— Краны должны прийти, — сказал голос Уинтерсена в телефоне. — Они собирались сегодня прибыть.

Какие краны? Водопроводные? Звонок завкафедрой оторвал Даркура от работы над биографией, и ему не сразу удалось переключиться на заботы, волнующие Уинтерсена. Так какие там еще краны? Ах да! Краны. Ведь Даркур сам согласился, чтобы какие-то люди по фамилии Кран приехали из университета на западном побережье США, чтобы сделать что-то непонятное, связанное с постановкой оперы! Но это было уже давно, несколько месяцев назад, и Даркур, дав согласие и четко обозначив, что Фонд Корниша не заплатит этим Кранам ни копейки, выкинул их из головы. Он предпочитал решать проблемы по мере их возникновения. И вот теперь Краны должны были приехать.

— Вы про них, конечно, помните, — сказал завкафедрой.

— Не совсем…

— Они — асессоры из университета Помело, — сказал Уинтерсен. — Мы согласились, что они

будут наблюдать за постановкой оперы. Про оперу вы, надеюсь, помните?

О да! Про оперу Даркур помнил. Кто, как не он, трудился не разгибаясь над либретто уже четыре месяца?

— Но за чем они собираются наблюдать? — спросил Даркур.

— За всей постановкой. За всем, что связано с оперой, — от того, как Шнак пишет музыку, до последней детали декораций на сцене. А потом — за реакцией критиков и публики.

— Но зачем?

— Чтобы Эл Кран мог защитить диссертацию. Он учится на кафедре режиссуры в Помело и специализируется по опере. Когда он соберет все нужные материалы, то сделает *Regiebuch*[96] и представит ее на защите.

— Что сделает?

— *Regiebuch.* Это по-немецки. Там будут все никому не нужные подробности о постановке оперы.

— С ума сойти! Он похож на фигуру Божественного Всеведения из средневековой пьесы. А доктор Даль-Сут знает? А Пауэлл?

---

[96] Примечания: 96

Букв. «Книга режиссуры», суфлерский экземпляр пьесы с режиссерскими указаниями и купюрами *(нем.).*

— Наверно, знают. Вы же наш связной. Во всяком случае, я так понял. Разве вы им не сказали?

— По-моему, я не знал. Или не осознавал в полной мере.

— Тогда надо им сообщить как можно скорее. Эл и Мейбл сразу приедут к вам. Они горят энтузиазмом.

— Кто такая Мейбл?

— Затрудняюсь сказать. Она не то чтобы миссис Кран, но они вместе. Ничего страшного. Они не пропадут, у Эла большой грант от Фонда передовых исследований университета Помело. Кафедры музыковедения разных университетов часто оказывают друг другу такие взаимные услуги. Все будет хорошо.

Как легкомысленно Уинтерсен относится к подобным делам! Без сомнения, в этом секрет пребывания на посту завкафедрой. Часа через два после его звонка Даркур смотрел на Эла и Мейбл Кранов, сидящих у него в кабинете, и думал, что хорошо, похоже, не будет.

Нельзя сказать, что Краны источали угрозу. Отнюдь. У них был выжидающий взгляд, хорошо известный Даркуру и свойственный определенному типу студентов. Они хотели, чтобы сделалось нечто, и ждали от Даркура, чтобы

он это организовал. Им было лет по двадцать пять, но они сохраняли незрелый, студенческий вид. Похоже, они путешествовали налегке и без особых церемоний. Стояла еще прохладная канадская весна, но Эл Кран оделся как будто с расчетом на жару. На нем были брюки чино, очень мятый пиджак из хлопка в блестящую полосочку и грязная рубашка. Нагрудный карман пиджака отвис под тяжестью нескольких шариковых ручек. Сандалиям, надетым на босу ногу, осталось, похоже, недолго. Впалые щеки покрывала темная двух-трехдневная щетина. Что же до Мейбл, то при взгляде на нее первым делом бросалась в глаза ее чудовищная беременность. Нерожденный ребенок уже словно сидел у нее на коленях. Как и Эл, Мейбл оделась с расчетом на лето в южной Калифорнии, и с обувью у нее тоже были явные проблемы. Оба улыбались по-собачьи — словно надеясь, что их погладят.

Но Эл знал, чего хочет. Он хотел провести несколько дней с Хюльдой Шнакенбург, чтобы разобрать с ней все ноты оперы и исследовать все материалы Гофмана, которые он называл «документация». После этого он хотел провести несколько дней с доктором Даль-Сут — Эл сказал, что ее присутствие «просто шикарно». Сама воз-

можность поговорить с доктором чрезвычайно обогатит его опыт участия в проекте. Еще Элу нужен был доступ к ксероксу, чтобы снять копии со всего — с каждого дюйма бумаг Гофмана, с каждого черновика Шнак, с каждой страницы законченной партитуры. Он хотел проработать либретто с тем, кто его писал, и сравнить со всеми доступными материалами Планше, на которые опирался (или не опирался) либреттист. Он хотел поговорить с режиссером, оформителем, осветителем и артистами. Он хотел получить копии всех декораций и всех отвергнутых набросков декораций. Он хотел сфотографировать сцену, на которой будет ставиться опера, и обмерить ее со всех сторон.

— Это для начала, — объяснил он. — Потом, конечно, я буду сидеть на всех репетициях и музыкальной подготовке. И мне нужно будет получить резюме всех участников. Но сейчас мы хотели бы узнать, где мы будем жить.

— Понятия не имею, — сказал Даркур. — Поговорите с Уинтерсеном, это заведующий кафедрой. В городе полно гостиниц.

— Боюсь, гостиница нам не по карману, — сказал Эл. — Нам приходится следить за деньгами.

— Насколько я понял Уинтерсена, у вас боль-

шой грант от Помело.

— Большой для одного, — объяснил Эл. — Едва-едва для двоих. Точнее даже, для троих. Сами видите, что с Мейбл.

— О Эл, ты думаешь, кто-то что-то напутал? — воскликнула Мейбл.

Даркур встревожился, поняв, что она из породы плакс.

— Не беспокойся, Лапуля, — утешил ее Эл. — Я уверен, что профессор все устроил.

«Разбежался», — подумал Даркур. Когда-то — до того, как Даркур осознал себя Дураком — он ринулся бы в бой и принял на себя полную ответственность за этих младенцев, затерявшихся в лесу. Но Дураку приходилось нести иную ношу. Так что он назвал Кранам имя секретарши Уинтерсена и телефон доктора Даль-Сут и благодаря хорошо развитой профессорской силе духа — духовному эквиваленту китайского цигуна — приподнял их со стульев и удалил из своего кабинета.

Они ушли, обильно благодаря и уверяя, что с нетерпением ждут новой встречи. По их словам, само знакомство с ним было просто потрясающим.

6

Даркур не знал, как рассказать Артуру и Марии об открытии, теперь уже несомненном, подлинной сути «Брака в Кане». Да, Фонд Корниша никоим образом не финансировал написание биографии Фрэнсиса Корниша, но дружба с Артуром и Марией, а также простая порядочность по отношению к семье, с которой Даркур был тесно связан, требовали, чтобы он сообщил им о находке раньше, чем княгине Амалии и князю Максу. Картина принадлежит княгине и князю, а кто знает, как они отреагируют на новости о своем сокровище? Сочтут Даркура гениальным детективом от искусства или решат, что он чересчур бесцеремонно развенчал фальшивку? А если картина — фальшивка, ее владельцы понесут денежные потери? Все это тяготило Даркура, но хуже того — Корниши были чрезвычайно щепетильны во всем, что хоть как-то касалось незапятнанной репутации их финансовой империи, и могли повести себя непредсказуемо. Так что Даркур тянул время, расставлял точки над «i» в бумагах и надеялся, что благоприятный момент представится сам.

Благоприятный момент настал внезапно, и решение пришло, откуда его не ждали. Уолли Кроттеля поймали на сбыте марихуаны школьникам. Он бойко торговал косяками во дворе школы имени губернатора Симко, и кое-кто из школьников, с характерной для некоторых детей смесью невинности и глупости, направлялся домой, гордо попыхивая. Но полицейские не успели заковать Уолли в наручники, он рванулся к свободе — и попал под машину. Он сильно пострадал и теперь лежал в Центральной больнице. У дверей палаты дежурил полицейский, и Уолли ничего не оставалось делать, как лежать и читать книгу — «Миддлмарч», как мистер Карвер сообщил Даркуру. Весьма неожиданный выбор. Это мистер Карвер сообщил полиции о побочном заработке Уолли и откровенно радовался постигшей Уолли каре.

— Надо сказать, что у него все было на мази, — рассказывал мистер Карвер. — Он растил травку в углу автостоянки за зданием меблированных комнат, где жил сам. Маленький клочок, но на пару косяков много травки и не надо, к тому же Уолли щедро добавлял мяту — и чтобы вышло побольше, и чтобы запах детям нравился. У него неплохо шли дела — ну, для его масштабов. Не

знаю, где уж детишки брали деньги, чтоб ему заплатить, но в том районе много небедных семей, и еще, я думаю, кое-кто из детей перепродавал его товар в розницу своим одноклассникам, разбодяживая сушеной травой и бог знает чем еще. Вот ведь засранцы! Подумать только: дети-пушеры! Но мы живем в очень странном мире, профессор.

— Да уж. А вы-то как узнали про Уолли?

— В том доме, где у мистера и миссис Корниш пентхаус, в подвале, живет один тип — я уже много лет его знаю. Он выглядит почти как бомж, но на самом деле вовсе не бомж. По-моему, у него был зуб на Уолли — тот все крутился вокруг их подвальной квартиры, пытался выяснить, как это так получилось, что мой знакомый и его сестра там живут. А она — экстрасенс, по временам помогает полиции, когда надо. Да-да, мы в полиции не брезгуем подсказками от экстрасенсов, иногда они очень полезны. В нашем деле никакой информацией нельзя пренебрегать.

— Как вы думаете, Уолли тяжко придется на суде?

— Этот жулик Гуилт, конечно, трудится вовсю. Он собирается заявить, что Уолли происходит из неблагополучной семьи и все такое. Сделает все возможное, чтобы продержать Уолли в больнице,

пока не подвернется судья подобрее. Только черта с два! Когда речь идет о продаже наркотиков детям, добрых судей не бывает. Уолли всласть наотдыхается за счет королевы.[97]

— А конкретнее?

— Ну, в законе сказано, что за сбыт можно получить пожизненное. Пожизненного, конечно, не дадут, но могут дать много. Будем оптимистами. Допустим, Уолли выйдет из больницы хромой, или с дыркой в голове, или еще с чем-нибудь таким же зрелищным. Тогда, может быть, судья его пожалеет. Конечно, его все равно посадят, но, если он будет хорошим мальчиком, настучит на пару-тройку своих дружков, хорошенько подлижется к тюремному начальству и капеллану, лет через семь он, может быть, снова окажется на улице. Но ни минутой раньше. Я бы надеялся на девять-десять. Сбыт наркотиков детям — на это очень, очень косо смотрят. Как говорят китайцы, Уолли потерял лицо. Ваша знакомая с книгой, про которую он тогда ныл, может о нем забыть. Кстати, как поживает эта приятная дама?

— Она ждет ребенка.

— Прекрасно! Передайте ей мои наилучшие

---

[97] Примечания: 97

То есть за счет государства. См. прим. № 36.

пожелания.

В тот же вечер Даркур поспешил к Корнишам, думая, что это сообщение подготовит благоприятную почву для настоящей новости. Но его ждал неприятный сюрприз: Пауэлл прибыл раньше его и уже устроился как дома. При нем Даркур никак не мог обсуждать историю «Брака в Кане». Но он рассказал Артуру и Марии о судьбе Уолли и прогнозе Карвера.

— Бедный Уолли, — сказала Мария.

Артур был потрясен:

— Бедный!.. Мария, ты что, не понимаешь? Это полностью решает вопрос с книгой! Уолли теперь ничего не добьется в суде.

— Разве суды не должны судить нелицеприятно, если кто-то пал жертвой несправедливости?

— Они, конечно, должны, но они этого не делают. Отныне об Уолли можно забыть.

— Вы, мужчины, удивительно жестокосердные существа. Неужели для тебя главное — чтобы вышло по-твоему, даже ценой страданий ближнего?

— Я ни в коей мере не возражаю, чтобы выходило по-твоему, ценой страданий любого ближнего. Кроме меня, конечно, — ответил Артур.

— Уолли страдает по собственной глупости, —

вмешался Даркур. — Пытался сбежать от полицейских при аресте! О эти непрофессионалы! Совершенно очевидно, что преступник из него никакой.

— А ты бы на его месте не попытался сбежать?

— Если бы я околачивался по школьным дворам, толкая травку детям? Я бы думал, что делаю. Если бы я был преступником, я бы старался использовать мозги, которые дал мне Бог.

— Ну ладно. Уолли — паршивая овца. И притом глупая. Но разве пристало тебе, христианскому священнику, насмехаться и превозноситься? Где твое сострадание?

— Мария, прекрати изображать Всеобщую Матерь и источать сострадание, как сломанная труба — воду. Ты шутишь. На самом деле ты радуешься не меньше нашего.

— Я действительно вскоре стану матерью и считаю, что сострадание мне пристало. Я знаю свою роль.

Мария улыбнулась деланой улыбкой Мадонны.

— Отлично! Тогда я тоже буду играть свою роль. Артур, звони своему адвокату, пускай он защищает Уолли. А я пока свяжусь с газетными сестрами-плакальщицами, пускай прольют

пару слез о горькой участи Уолли. Герант, ты подай от его имени жалобу на нарушение Хартии прав и свобод. Уолли работал в этом здании, а следовательно, был наемным работником Корниш-треста, главой коего является Артур. Следовательно, Артур должен броситься на помощь жертве нашей социальной системы. Мария, готовься выступить в суде — беременная, под вуалью. Расскажешь, каким милым всегда был Уолли и как он страдал комплексом анонимности оттого, что Уистлкрафт отказался дать ему свою фамилию. Уолли, конечно, все равно посадят, но зато он доплывет в тюрьму, а потом выплывет оттуда на волне наших слез. Конечно, мы никому не скажем, как Уолли пытался растрясти вас на миллиончик. Ну-ка, давайте за дело. Наверняка у вас во дворце не один телефон.

— О, я вовсе не предлагала что-либо делать, — запротестовала Мария. — Я только хотела, чтобы мы говорили о нем с большим состраданием.

— Сим-бах, ты не понимаешь современной концепции сострадания. Это пассивная добродетель. Я вот понимаю, что хочет сказать Мария: давайте все пожалеем Уолли и, может, пошлем ему в кутузку апельсинов. А если кто и должен жестоко обращаться с преступниками, это все

ужасные полицейские и бяки-судьи. За то мы им и платим. Чтобы нам жилось уютненько. Мы раздавим Уолли, как червя, но нам не обязательно пылать к нему гневом и мщением — у нас есть слуги, которые берут это на себя.

— Вот новая грань философии кота Мурра, — заметил Даркур. — Спасибо, Герант-бах, что просветил меня.

— После того как родится ребенок, я хочу написать целый том про кота Мурра, — сказала Мария. — Гофман, можно сказать, и не начал с ним разбираться. Кот Мурр на самом деле — величайший социальный философ нашего времени.

Лучшего Даркур и желать не мог. Это была почти прежняя Мария, вдохновляемая Франсуа Рабле; Мария, чей дух, просвещенный животворящим юмором, стремился к высотам научного познания. Даркуру показалось, что и Артур выглядит чуть лучше. Неужели на семейство Корнишей снизошло некое спокойствие? Однако Пауэлл по-прежнему был тут и, кажется, устроился надолго.

— Мне скоро уходить, — сказал он, — но пока что дайте насладиться мирным покоем вашего дома. Это единственное место, где до меня не доберется ужасный Эл Кран.

— От него и тут не укрыться, — заметил Артур. — Вчера ночью Эл и Лапуля явились сюда, и он допрашивал меня два часа. И каждый раз тратил пять минут, чтобы сформулировать очередной вопрос. Выражаясь современным языком, Элу не хватает вербальных навыков; а по-простому, он косноязычен. Он принес магнитофон, так что все его «э-э-э» и «мм» навеки останутся в анналах истории. Он хотел знать, какова была моя «мотивация», когда я решил поддержать оперу средствами фонда. Он не понимает, что люди совершают поступки по совокупности причин; ему нужна одна большая, толстая мотивация. Он говорит, что это будет значительная, оплодотворяющая нить в сложном разнообразии артистического вдохновения. Он хочет выявить все нити, сплетающиеся в сложный гобелен, который есть искусство, — это я его слова цитирую, как вы поняли, — но некоторые нити, очевидно, являются более оплодотворяющими, чем другие, а моя нить просто невероятно оплодотворяющая. Она может оказаться основой — или даже утком — всего гобелена. Я думал, упаду в обморок со скуки, но мне все-таки удалось его выпроводить.

— Артур не один страдал, — вмешалась Мария. — Все время, пока Эл мучил его, Лапуля

изводила меня — я думала, с ума сойду, пока она сначала благодарила меня за прием в нашем Гостеприимном Доме, а потом завела шарманку о том, что она назвала Нашим с Вами Положением. При беременности может тошнить по разным причинам, но, кажется, Лапуля ни одной не пропустила.

— О, Лапуля от тебя в восторге, она сама мне сказала, — заверил Даркур. — Конечно, потому, что ты тоже ждешь ребенка. Ты и она, глубоко беременные, — это, как она выразилась, «объективные корреляты»[98] трудов по рождению нашей оперы. И твой ребенок, и ее ребенок, и наша опера должны появиться на свет примерно в одно и то же время.

— Избавь меня от научных прозрений Лапули, — попросила Мария. — Она ничей не объективный коррелят, и она мне противна — людям всегда противны пародии на них самих. Она ждет, что я распахну ей объятия как товарке по тягости, но, если она обрушит на меня еще хоть чуть-чуть сестринской любви, у меня будет

---

[98] Примечания: 98

Объективный коррелят — в поэзии способ передачи субъективных переживаний в интеллектуальной, универсальной форме, а не в индивидуально-чувственной, характерной для романтизма; термин введен Т. С. Элиотом.

выкидыш. Она непременно истолкует это как дурное предзнаменование для нашей оперы, так что, боюсь, будет недовольна. Но я больше не пущу ее и на порог своего Гостеприимного Дома.

— В Гостеприимном Доме Ниллы их не особенно любезно приняли, — сказал Пауэлл. — Нилла не знает, что такое асессор, а я не могу ей объяснить. Я всегда думал, что это означает должностное лицо, облеченное судебной властью. Сим-бах, что в точности значит асессор?

— Это нечто новое в научном мире. Человек, который наблюдает за тем, как что-то делают, и составляет чрезвычайно подробный отчет; он как бы испытывает все те же чувства, что и творцы, но при этом ничего не творит. Нечто вроде лицензированного соглядатая.

— Но кто выдает ему лицензию? — спросил Артур.

— В этом случае, видимо, Уинтерсен. Он говорит, что наблюдение за созданием оперы неизмеримо обогатит Эла, а если Эл превратит свою диссертацию в книгу, это увековечит чрезвычайно интересный и глубоко оплодотворяющий опыт.

— Нилла недовольна, — заметил Пауэлл. — Она знает только одно значение слова «оплодотво-

ряющий» и считает, что Эл несет похабщину в стиле, типичном для мужских шовинистов. Она решительно заявила ему, что в их со Шнак работе нет и не будет ничего оплодотворяющего, а когда он начал спорить, обошлась с ним весьма резко. Сказала, что у нее нет времени на ерунду. Лапуля разразилась слезами, а Эл сказал, что прекрасно понимает всю меркуриальность артистического темперамента, но акт творения является оплодотворяющим, а его задача — понять природу этого акта в силу своих возможностей. Кажется, он считает, что его возможности весьма широки. Надеюсь только, что он не сыграет роль презерватива в нашем оплодотворяющем акте.

— Не беспокойся, — сказал Артур.

— Я и не беспокоюсь. Нилла и Шнак работали как лошади. На самом деле я не удивлюсь, если Уинтерсен пригласил этих соглядатаев, чтобы они измерили всю энергию, затраченную участниками проекта. А кстати, он-то сюда каким боком?

— Он завкафедрой музыковедения, — объяснил Даркур. — Думаю, он видит себя крупным оплодотворителем культурных проектов. А вы знаете, что Эл и Лапуля ходили к Пенни Рейвен?

— Как к соавтору либретто?

— Соавтор она, как же! Если соглядатаи хотят узнать про нашу работу, они ко мне должны обращаться. Но Пенни — закаленный профессорский кадр. Она навешала Кранам высокоученой лапши на уши. Потом позвонила мне и так хохотала, что едва могла говорить. Цитировала «Охоту на Снарка», как всегда.

— Опять этот «Снарк», — заметил Артур. — Надо будет все-таки его прочитать. Что она сказала?

— Эта поэма — просто удивительный источник цитат.

И со свечкой искали они, и с умом,
С упованьем и крепкой дубиной,
Понижением акций грозили притом
И пленяли улыбкой невинной.[99]

— Невинные улыбки — это по части Лапули, — сказала Мария. — Интересно, смогу ли я удержаться и не убить ее каким-нибудь хитроумным способом. Какие есть способы убить и не попасться?

— А при чем тут вообще Лапуля? — спросил Артур. — Они что, вместе занимаются этим асессорством?

---

[99] Примечания: 99
Кэрролл Л. Охота на Снарка. Пер. Г. Кружкова.

— Ответ знает Холлиер, — сказал Даркур. — Они и к нему ходили, но ничего не добились. Он, однако, исследовал их весьма тщательно. Он говорит, что, по его мнению, Лапуля — в антропологическо-психологическо-исторических терминах — представляет собой Внешний Образ Души Эла.

— Какая ужасная мысль, — заметила Мария. — Представьте, каково смотреть в слезливые глаза Лапули и говорить себе: «Боже, это — лучшая часть моего „я“!» Лапуля говорит, что Эл не хочет без нее делать ничего важного. Не помню, говорила ли она, что она — его муза. Но с нее станется.

— Лучше бы я не знал «Охоту на Снарка», — пожаловался Пауэлл. — Я по уши увяз в постановке оперы, а у меня все время крутится в голове:

Все же править пришлось в основном на авось.

Бедный Кормчий промолвил уныло:

«Коль подул ветерок прямиком на восток,

Мы, поди, не на запад поплыли!»

— Герант, ты, случайно, не намерен поднять лапки? — спросил Артур.

— Нет, не намерен. Не больше обычного для этой стадии любой крупной постановки. Но я

просыпаюсь ночью в холодном поту и вижу себя в образе Кормчего. Понимаете, у нас все готово. Партитура, певцы, декорации — все. И наконец я должен приступить к тому, что Эл называет оплодотворяющей частью. Если будет на то милость Господня, мне хватит сил для этого оплодотворения. А теперь я с величайшей неохотой должен покинуть вашу уютную норку и вернуться за свой рабочий стол. Мне еще надо утрясти миллион деталей.

Он неловко поднялся со стула. «Он все еще хромает, — подумал Даркур. — Это идет к его байронической личности. Он даже скользящую походку выработал, чтобы скрыть хромоту, — совсем как Байрон. Интересно, он сознательно ему подражает или просто по-другому не может?»

Когда Пауэлл очистил поле боя, настало время выложить новости о «Браке в Кане». Даркур старался рассказывать как можно убедительней: он хотел открыть своим друзьям новый мир, а не испугать их внезапным взрывом. Он впервые рассказал им, как ездил к княгине Амалии с целью убедиться, что ее рисунок старого мастера — на самом деле ее собственный портрет в девичестве, сделанный человеком, в которого она была по-детски влюблена. Даркур решил не

упоминать о том, что обокрал университетскую библиотеку и даже Национальную галерею: он уже успел убедить себя, что это были вовсе не кражи, но дорожные приключения Дурака, ведомого интуицией и управляемого моралью, которая не всем придется по вкусу. Если все выйдет так, как он задумал, то его поступки получат оправдание, ну а если не повезет, то он окажется в тюрьме. Он деликатно, но решительно поведал о своем изумлении в гостиной княгини, где увидел, среди вполне убедительных работ старых мастеров, также вполне убедительный «Брак в Кане» и был потрясен, узнав на картине лица с «солнечных картин» дедушки Макрори и из старых, позабытых альбомов Фрэнсиса. Он настойчиво повторил, что сомнений нет: Алхимический Мастер — это Фрэнсис и великий шедевр был написан не более пятидесяти лет назад.

Артур и Мария слушали почти в полном молчании, только Артур время от времени присвистывал. Пора было переходить к главному.

— Вы понимаете, что это значит для моей книги. Это — ее оправдание. Кульминация. У нас есть доказательства, что Фрэнсис — великий художник. Работавший в манере далекого прошлого, но тем не менее великий.

— Но работавший в манере далекого прошлого, — сказал Артур. — Может, он и великий художник, но это значит, что он — автор фальшивки.

— Вовсе нет! У нас нет ни грамма доказательств, что Фрэнсис собирался кого бы то ни было обмануть. Он не выставлял эту картину на продажу. Если бы не война, он бы, несомненно, забрал ее с собой, покидая Дюстерштейн, и меня никто не убедит, что он собирался продать ее как картину шестнадцатого века. Княгиня об этом знает. Картина лежала в чулане в замке, а когда замок был захвачен во время оккупации Германии, пропала вместе с уймой других картин. После войны комиссия, которая занималась возвращением пропавших произведений искусства, вернула ее в Дюстерштейн. Фрэнсис был членом этой комиссии. Тут может быть что-то нечисто, но мы не знаем подробностей. И до сих пор картина хранится в семье, то есть у княгини Амалии.

— Это не отвечает на мой вопрос, — заметил Артур. — Почему он писал в манере шестнадцатого века? И еще, посмотри на эту статью в «Аполло», с объяснениями. Если Фрэнсис никого не хотел обмануть, зачем он написал картину именно так?

— Тут мы подходим к моменту, судьбоносному

для моей книги, — сказал Даркур. — Ты почти не помнишь Фрэнсиса. А я его очень хорошо помню. Я не встречал человека, сильнее обращенного внутрь себя. Он прокручивал мысль в голове, пока не приходил к заключению. Эта картина — самое важное из его заключений. Она показывает то, что он считал самым важным в своей жизни, — влияния, супротивные течения, в общем — гобелен, как сказал бы Эл Кран, будь у него шанс. Написав эту картину, Фрэнсис построил свою душу — так же верно, как какой-нибудь медитирующий отшельник или монах-затворник. То, что вы видите на картине, — это весь Фрэнсис, во всей полноте, как он сам себя видел.

— Да, но зачем подражать стилю шестнадцатого века?

— Потому что это последний период, когда художник мог сделать то, что хотел сделать Фрэнсис. Вы знаете хоть одну картину, написанную после эпохи Возрождения, которая открывала бы все, что автор о себе знает? Есть, конечно, великие автопортреты. Но даже Рембрандт, рисуя себя в старости, мог показать только, что сделала с ним жизнь, но не то, как она это сделала. В эпоху Возрождения живопись изменилась — отбросила все аллегорическое, метафизическое, весь язык

символов. Вы, наверно, не знаете, что Фрэнсис был знатоком иконографии — это метод, позволяющий понять, что хотел сказать художник, а не только увидеть то, что видно всякому. В «Браке в Кане» Фрэнсис хотел поведать собственную истину, и как можно яснее. Причем не кому-либо другому, а самому себе. Эта картина — исповедь, подведение итогов, обращенное к себе самому. Она — шедевр в нескольких смыслах сразу.

— А кто этот странный ангел? — спросила Мария. — Ты всех персонажей опознал, а его пропустил. По-моему, ясно, что он чрезвычайно важен.

— Я практически уверен, что это старший брат Фрэнсиса. Из набросков, изображающих его, подписан только один, и подпись гласит: «Фрэнсис Первый». Можно только догадываться, что он оказал огромное влияние на всю жизнь Фрэнсиса Второго.

— Как это? Он выглядит идиотом, — заметил Артур.

— По-видимому, он и был идиотом. Ты не знал своего дядю. Он был глубоко сострадателен. О да, его считали мизантропом, и он терпеть не мог глупцов, а порой казалось, что он вообще людей не переносит. Но я его знал — он был невероятно

добрым человеком. Надо сказать, что сплошь и рядом, говоря «добрый человек», имеют в виду «слюнявый сентиментальный дурак». Фрэнсис же как никто сознавал глубочайшую трагедию хрупкости человеческой жизни. И я совершенно уверен, что причиной тому именно присутствие в его жизни этого уродливого существа, пародии на самого Фрэнсиса. В юности он был романтиком — посмотрите, как он изображал девушку, свою будущую жену, что нанесла ему такую рану. Посмотрите на карлика: Фрэнсис знал этого беднягу и живым и мертвым и сделал что мог, чтобы своей кистью уравновесить весы Судьбы. Все портреты на картине — это суждения о людях, которых знал Фрэнсис, причем суждения человека, которого грубым пинком вышвырнули из юношеского романтизма в глубоко сострадательный реализм. Артур, я тебя умоляю, не спрашивай меня больше, почему он нарисовал это резюме своей жизни в стиле ушедшей эпохи. Старые мастера были глубоко верующими людьми, и это — картина глубоко верующего человека.

— Мне никогда и словом не намекали, что дядя Фрэнк был верующим.

— Это слово в нашу суетливую эпоху обрело совсем другой смысл, — пояснил Даркур. — Но

постольку, поскольку оно означает поиски знания, желание жить не на поверхности, жажду осознавать реальность, которая кроется в глубине, — я даю тебе слово, Фрэнсис был истинно верующим.

— Дядя Фрэнк — великий художник! — произнес Артур. — В голове не укладывается.

— Но это же замечательно! — воскликнула Мария. — Гений в нашей семье! Артур, разве ты не рад?

— У нас в семье было немало способных людей, но их гений — во всяком случае, талант — проявлялся в финансах. И если кто-нибудь скажет, что финансовый гений — это лишь низкая хитрость и жадность, не верь. Это — интуиция, подлинный дар. Но гений такого рода, как дядя Фрэнк… для семьи финансистов это настоящий скелет в шкафу.

— Судя по всему, скелету в шкафу не нравится, — заметил Даркур. — Фрэнсис Корниш громко требует, чтобы его выпустили.

— Тебе еще придется говорить с этими людьми в Нью-Йорке. Как они отнесутся к твоему открытию? Драгоценный шедевр старинной живописи, единственный известный труд Алхимического Мастера, вдруг оказался фальшивкой.

— Артур, это не фальшивка, — вмешалась Ма-

рия. — Симон только что объяснил нам, что такое эта картина, и она ни в коем случае не фальшивка. Это — поразительная личная исповедь в форме картины.

— Артур в чем-то прав, — заметил Даркур. — К князю и княгине нужно подходить очень осторожно. Я не могу вдруг свалиться им на голову и заявить: «Слушайте, у меня для вас новость». Они должны сами захотеть, чтобы я приехал. Они должны захотеть узнать то, что я им расскажу. Разница как между «Джек приехал!» и «Джек приехал…».

— Снова народная мудрость обитателей Онтарио? — спросила Мария.

— Да, и притом очень мудрая, если вдуматься. Я не могу просто вывалить на них свое открытие и на том остановиться. Я должен намекнуть, к чему может привести это открытие.

— И к чему же?

— Ну, во всяком случае, не к тому, чтобы объявить картину ничего не стоящей и лишить ее права называться произведением искусства. Я должен показать им новый путь.

— Симон, я тебя знаю. Я по глазам вижу — у тебя что-то припрятано в рукаве. У тебя есть план. Ну же, расскажи.

— Нет, я бы не сказал, что это план. Так, неоформленная идея. Настолько дурацкая, что мне даже неудобно о ней говорить.

— Ты скромничаешь, чтобы спрятать подлинно даркуровскую хитрость. Рассказывай.

И Даркур — робко, но не безыскусно, ибо он репетировал эту речь несколько дней, — рассказал.

Воцарилось долгое молчание. Чуть погодя Мария принесла напитки: для мужчин — виски, а для себя — стакан с жидкостью, напоминающей молоко, но насыщенного золотого цвета. Они молча потягивали напитки. Наконец заговорил Артур:

— Очень изобретательно, только я не доверяю изобретательности. Чересчур хитро.

— Не просто хитро, а гораздо лучше, — ответил Даркур.

— Слишком много неосязаемых факторов. Неконтролируемых величин. К сожалению, я не могу на это пойти.

— Я не готов принять это за окончательный ответ. Подумай. Забудь, а потом вспомни и еще подумай. Мария, что ты скажешь?

— Это очень коварный план.

— Пожалуйста, не говори так! «Коварный» — нехорошее слово.

— Я не в обидном смысле. Но согласись, ты собираешься навешать лапшу на уши простакам.

— Лапшу на уши простакам? Это что, тоже из Рабле? — поинтересовался Артур.

— Садись, пять, — ответила Мария. — Это выражение — раблезианское по духу, хотя я не знаю, как он выразился бы в точности. Наверно, *avalleur de frimarts*[100] или что-то вроде этого. В общем, попытка обмануть доверчивых людей. Мне нужны раблезианские словечки — должна же я как-то противостоять Симону с его потоком народной мудрости про Джека и свиней.

— Ты что, действительно думаешь, что князь и княгиня — доверчивые простаки? Да ты с ума сошла!

— Но ты же считаешь нас с Артуром доверчивыми простаками.

— А разве нет? Что же вы тогда связались с этой оперой?

— Это тут ни при чем.

— А я думаю, очень даже при чем. Что она вам дала?

— Мы пока не знаем, — ответил Артур. — Подождем — увидим.

---

[100] Примечания: 100

Глотатели густого тумана *(фр.);* выражение взято из романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», кн. 1, гл. XX.

— Но пока вы ждете, ты обдумаешь мой план?

— Ну, раз ты нас в него посвятил, что нам остается делать?

— Отлично, больше я ничего не прошу. Но мне надо поговорить с князем и княгиней. Ведь это их картину я собираюсь развенчать. Ну, с определенной точки зрения развенчать.

— Слушай, Симон, а ты не можешь спустить все дело на тормозах?

— Нет, не могу и не хочу. Это не просто сердцевина моей книги. Это истина, а истина всегда рано или поздно выходит на свет. Скелет решительно барабанит по двери шкафа изнутри. Либо ты его выпустишь моим способом, либо, и даже не сомневайся, кто-нибудь разломает шкаф и все равно его выпустит. Не забудь о набросках, которые Фрэнсис завещал Национальной галерее.

— Но ведь тогда это нас не коснется? Мы же не владельцы картины.

— Да, но к тому времени выйдет моя книга. Если я умолчу о «Браке в Кане», книга окажется глупой и бесполезной. Почему я должен на это идти ради твоих котомурровских убеждений?

— Ты прямо помешался на своей дурацкой книге.

— Моя дурацкая книга будет стоять на полках,

когда мы все уже давно обратимся в прах. Я хочу оставить после себя лучшее, на что я способен. И я хочу, чтобы ты, Артур, как мой друг, задумался об этом. Потому что книгу я напишу, и напишу ее так, как считаю нужным, а ты делай что хочешь. Если это убьет нашу дружбу, значит такую цену мне придется заплатить за создание книги, вот и все.

— Симон, не ораторствуй. Мы с Марией высоко ценим твою дружбу, но, если надо будет, обойдемся и без нее.

— Ну-ка, прекратите! — вмешалась Мария. — Почему вы, мужчины, не можете просто не согласиться друг с другом, без трагических поз? И трагических разрывов. Артур, я тебя предупреждаю: если ты поссоришься с Симоном, я уйду к нему и буду жить с ним во грехе. Так что хватит! Симон, выпей еще.

— Нет, спасибо. Мне уже надо идти. Но скажи, что ты такое пьешь? Выглядит восхитительно.

— Оно и на вкус восхитительно. Это молоко с хорошей добавкой рома. Мне доктор посоветовал пить его перед сном. Я плохо спала, а он говорит, это лучше, чем снотворное, хотя дамы в моем положении от него и толстеют.

— Восхитительно! Может, ты нальешь мне пол-

стакана такого? Я ведь тоже беременен — своей книгой, и тоже нуждаюсь в маленьких радостях для подкрепления сил.

— Артур, сделай ему молока. Или это ниже твоего достоинства — поухаживать за бедным Симоном в его деликатном положении? Я пила это вчера вечером, когда пришли Эл с Лапулей, и Лапуля была шокирована.

— Молоком с ромом? Спасибо, Артур. Что именно ее шокировало?

— Она долго и несвязно рассказывала мне об алкогольном синдроме плода: если мать пьет во время беременности, у нее может родиться урод, анацефал, умственно отсталый ребенок. Я об этом кое-что знаю: чтобы такое случилось, надо выпить очень много. Но Лапуля — фанатик. И еще она, бедная, страдает от беременности по полной программе. Я выслушала подробный отчет о том, как ее мучают газики, не желая выйти ни с одного конца. И как она совершенно ничего не может сделать с волосами — даже голову помыть не может, судя по ее виду; и еще ей приходится каждые полчаса бегать в то, что она деликатно именует дворцом пись-пись, потому что в ее мочевой пузырь теперь ничего не помещается. Мать-природа, гадкая старуха, взимает с нее пол-

ную цену за ребенка Эла. Надеюсь хотя бы, что ребеночек выйдет хороший.

— А она не сказала, почему они не поженились, раз так друг друга любят?

— А как же. У нее для всего найдется штамп. Они считают, что их союз и так свят и несколько слов, которые над ними пробормочет какой-нибудь священник, ничего не изменят.

— Почему это, если послушать людей, священники вечно бормочут? Я очень многих венчал и при этом произносил слова отчетливо. Я не позволяю себе бормотать.

— Ты не уважаешь штампы. Как тебе не стыдно! Ты просто обязан бормотать при отправлении своих презренных, отсталых обрядов.

— Ясно. Я запомню. Кстати, а на ваших крестинах я буду бормотать? Я с удовольствием.

— Конечно, милый Симон. Обязательно побормочешь.

— А вы уже выбрали имена? Это лучше делать заранее.

— Мы с Артуром еще ничего не решили, но Герант все время предлагает какие-то валлийские имена. Они прямо лопаются от древней рыцарственности и красноречия бардов, но весьма трудны для неповоротливых канадских языков.

Даркур допил молоко с ромом и собрался уходить. Мария попрощалась с ним нежно, Артур — дружески, но сдержанно. В целом Даркур счел, что ему удалось выполнить намеченное.

По дороге домой он думал об уродах, анацефалах и умственно отсталых детях. Таков был Фрэнсис Первый. Но была ли его мать алкоголичкой? Пока что Даркур не нашел тому свидетельств. Впрочем, исследователь-биограф вынужден свыкнуться с мыслью, что каких-то вещей он так никогда и не узнает.

7

— Да… похоже, что *le beau ténébreux* был еще более темной лошадкой, чем мы подозревали, — произнесла княгиня Амалия.

— Честное слово, я потрясен! Потрясен! — сказал князь Макс, который любил преувеличенные речевые эффекты. — Я хорошо помню Корниша. Располагающий к себе, но сдержанный; мало говорил, но прекрасно умел слушать; красавец, но будто не сознавал своей красоты. Я считал, Сарацини повезло с таким талантливым ассистентом; портрет карлика Фуггеров был просто шедевром. Жаль, что у нас его больше нет. И в самом деле, карлик Фуггеров был очень похож на карлика в «Браке в Кане».

— Я помню, тот забавный тип Эйлвин Росс именно это сказал, когда Комиссия по искусству при антигитлеровской коалиции рассматривала обе картины. Росс был отнюдь не дурак, хотя и кончил жизнь по-дурацки.

Это сказал Аддисон Трешер. «Именно за ним я должен наблюдать, его должен убедить», — подумал Даркур. Князь и княгиня Амалия знали много всего о картинах и очень много — о бизнесе, но

этот человек знает мир искусства, и его «да» или «нет» будет решающим. До этого дня он даже словом не обмолвился, что видел картину «Брак в Кане» еще в Европе. «Даркур, будь предельно осторожен».

— Вы хорошо знали Фрэнсиса Корниша? — спросил он.

— Неплохо. То есть я познакомился с ним в Гааге, когда он вынес то поразительное заключение о неподлинности Ван Эйка. Он из тех, кто не раскрывает своих карт до последнего. Но мне выпало несколько случаев поболтать с ним позже, в Мюнхене, когда там заседала Комиссия по искусству. Тогда он открыл мне кое-что, и это откровение согласуется с вашим неожиданным истолкованием картины, которой мы все любовались столько лет. Вы знаете, как он учился рисовать?

— Я видел прекрасные копии старых мастеров, которые он делал в Оксфорде, — ответил Даркур. Он решил этим ограничиться.

— Да, но до того? Его рассказ был самой поразительной исповедью, какую я когда-либо слышал от художника. Мальчиком он многому научился по книге некоего Гарри Фернисса, карикатуриста и иллюстратора девятнадцатого века. Корниш

рассказал мне, что рисовал трупы в похоронном бюро. Бальзамировщиком был конюх его деда. Фернисс потрясающе умел пародировать чужой стиль: однажды он организовал гигантскую выставку-мистификацию своих пародий на всех великих художников поздней викторианской эпохи. Разумеется, художники его возненавидели, но хотел бы я знать, где эти картины сейчас… Конечно, умение рисовать лежит в основе всех великих картин — но вообразите ребенка, который научился так рисовать по книге! Эксцентричный гений. Впрочем, все гении эксцентричны.

— Вы действительно думаете, что нашу картину нарисовал *le beau ténébreux?* — спросила княгиня.

— Фотографии, которые нам показывал профессор Даркур, исключают любую другую возможность.

— Это значит, что жемчужина нашей коллекции уничтожена. Стерта в пыль, — сказал князь Макс.

— Возможно, — согласился Трешер.

— Почему «возможно»? Разве нам не доказали, что это фальшивка?

— Умоляю, только не фальшивка, — сказал Даркур. — Именно это я очень хочу доказать.

Картина создавалась не с целью обмана. У нас нет ни клочка доказательств, что Фрэнсис Корниш когда-либо пытался ее продать, выставить или получить от нее какую бы то ни было выгоду. Это глубоко личное произведение, в котором он запечатлел и сбалансировал самые важные элементы своей жизни, и сделал это единственным способом, каким умел, — кистью. Упорядочил то, что хотел рассмотреть, в форме и стиле, наиболее близких ему. Это не значит подделывать.

— Попробуйте объяснить это знатокам искусства, — сказал князь.

— Именно это я намерен сделать в своей биографии Фрэнсиса. И сделаю, простите за нескромность. Не для того, чтобы развенчать фальшивку или опорочить вашу картину, но чтобы показать, каким необычайным человеком был Фрэнсис Корниш.

— Да, дорогой профессор, но невозможно сделать одно без другого. Мы понесем ущерб. Мы будем выглядеть идиотами — или сообщниками в обмане. Вспомните о статье Эйлвина Росса в «Аполло», обо всех исторических параллелях шестнадцатого века. Эта картина хорошо известна в мире искусства. Вы проделали гениальную детективную работу. Люди решат, что мы молча-

ли ради спасения картины — или что мы пали жертвой шутки Фрэнсиса Корниша. Шутки в духе Гарри Фернисса, как только что объяснил нам Аддисон.

— Кстати сказать, теперь я вижу, что толстый художник, рисующий на табличке из слоновой кости, — вылитый Гарри Фернисс, — заметил Трешер.

— Да, юмора Фрэнсису было не занимать. Он обожал шутки, особенно мрачные и не всем понятные, — ответил Даркур. — Но это опять аргумент в мою пользу. Если бы Фрэнсис задумал обман, неужели он поместил бы на картину портрет такого известного художника, причем изобразив его именно как художника за работой? Я повторяю: эта картина была предназначена исключительно для ее автора. Это исповедь, глубоко личная исповедь.

— Аддисон, как вы думаете, сколько стоила бы эта картина, если бы мы не знали то, что рассказал сегодня профессор Даркур?

— На это могут ответить только в «Кристи» или «Сотбис». Они знают, что можно выручить за такую картину. Наверняка — много миллионов.

— Несколько лет назад мы были готовы продать ее Канадской национальной галерее за три

миллиона, — сказал князь Макс. — Нам нужен был капитал на расширение дела Амалии. Директором галереи тогда был Эйлвин Росс, но в последний момент ему не удалось найти деньги на покупку, а вскоре после этого он умер.

— Три миллиона — это почти даром, — сказал Трешер.

— Мы подпали под чары Росса, — объяснила княгиня. — Он был такой красавец. Мы предложили ему несколько картин за одну цену. Эта была самая дешевая. Но в конце концов они все ушли к другим покупателям. Эту мы решили оставить. Она нам очень нравится.

— А ведь у вас столько других картин, — не очень дружелюбно сказал Трешер. — Но три миллиона — это практически даром. Если бы не то, о чем нам рассказали сегодня вечером, сейчас вы могли бы получить втрое, вчетверо больше.

Момент настал.

— А вы согласились бы продать картину теперь, за сходную цену? — спросил Даркур.

— Продать ее как изысканную фальшивку?

— Продать ее как величайший шедевр Алхимического Мастера, чья личность теперь установлена, — то есть покойного Фрэнсиса Корниша. Позвольте, я открою вам свой замысел.

И Даркур открыл им свой замысел — так убедительно, как только мог.

— Конечно, это зависит от множества факторов, — так он закончил свою речь.

Князь, княгиня и Трешер глубоко задумались.

— Да, очень подозрительный план, — сказал Трешер. — Но идея чертовски хорошая. По-моему, за сорок лет в мире искусства я лучшей и не слышал.

— Торопиться некуда, — сказал Даркур. — Вы позволяете мне действовать в этом направлении?

На том и порешили, и Даркур улетел обратно в Канаду.

8

— Я считаю, что одно из имен должно быть Артур. В конце концов, так звали моего отца, так зовут меня, и это хорошее имя. Оно всем знакомо, в нем нет никаких странностей, его легко произносить. С ним связаны разные хорошие вещи, в том числе наша опера.

— Я совершенно согласен, — сказал Холлиер. — Как крестный отец, я вправе выбирать имя, и я голосую за Артура.

— А Клементом ты его не хочешь назвать? — спросил Артур.

— Мне это имя не очень нравится.

— Ну, слава богу — одно имя выбрали. Нилла, ты — крестная мать. Какое имя ты предлагаешь?

— Мне нравится Хакон, потому что это имя моего отца и в Норвегии оно овеяно славой. Но канадского ребенка оно может стеснять. То же касается Олафа — это другое мое любимое имя. Как насчет Николааса? Даже не обязательно писать его через два «а», если он не захочет. Это хорошее имя; это имя святого, а я считаю, что у каждого ребенка должно быть имя святого, даже если оно не используется.

— Превосходно! И весьма разумно. Значит, Николаас, и я прослежу, чтобы он писал его с двумя «а», в память о тебе.

— О, я ему и так не дам о себе забыть. Я всерьез отношусь к обязанностям крестной матери.

— Ну хорошо. Герант?

Так, подумал Даркур. Это опасный момент. Выражаясь театрально, здесь кроется тайная язва. Герант пылает типично валлийской страстью к именам и генеалогии и все время пытается намекнуть, что это он настоящий отец ребенка. Артуру придется пустить в ход все свое искусство главы собрания.

— Конечно, я первым делом подумал про свое имя, — начал Пауэлл. — Это прекрасное, поэтическое, благозвучное имя, и я ношу его с наслаждением. Но Сим-бах горячо возражал. Конечно, я хотел бы дать мальчику валлийское имя, но вы все время ноете, что валлийские имена трудно произносить. Кому трудно? Мне — нет. Видите ли, для меня имя имеет огромную важность; оно окрашивает все самовосприятие ребенка и дает ему роль, которую он может играть. Кадвал, например: это имя означает «великий вождь»…

— Да, и злобные саксы наверняка будут дразнить мальчика «подвалом», — вмешался Ар-

тур. — Вспомни, как страдал несчастный Най Бивен.[101] Ситуэллы[102] его называли не иначе как Аневризм.

— Ситуэллы — очень вульгарные люди, — отпарировал Пауэлл.

— К сожалению, вульгарных людей много.

— Но есть и другие прекрасные имена. Айдан, например: слышишь, Нилла, это имя святого! Или Селуин, что означает жаркую преданность великому делу; это, несомненно, будет вдохновлять нашего мальчика. Или Овайн, «высокорожденный»: это имя указывает на благородное происхождение, особенно со стороны отца. Или Хьюго, очень популярное имя в Уэльсе; я выбрал эту форму, а не валлийское Хюв, которое может показаться странным непросвещенному уму. Но имя, которое я предлагаю с особой гордостью, — Гилвайтуи. Он играет не самую выдающуюся

---

[101] Примечания: 101

Най (Аневрин) Бивен (1897–1960) — британский политик-лейборист валлийского происхождения, один из лидеров левого крыла лейбористов, создатель Национальной системы здравоохранения Великобритании.

[102] Примечания: 102

Ситуэллы (Эдит, Осберт и Сашеверелл) — два брата и сестра, английские аристократы-литераторы, создавшие литературно-художественный кружок в Лондоне (1916–1930).

роль в «Мабиногионе»,[103] но это имя весьма уместно по другим причинам, о которых не стоит сейчас говорить.[104] Гилвайтуи! В этом есть некое благородное буйство, верно?

— Повтори, пожалуйста, — попросил Артур.

— Очень простое имя. Гил-вай-ту-и, с легким ударением на «ва». По-моему, восхитительное имя. Ведь правда, оно воскрешает в памяти великие дни легенд, еще до Артура, когда по земле ходили полубоги, в пещерах прятались драконы, а великие волшебники вроде Мата Матонви карали и награждали по заслугам! Древние, славные времена.

— Как это пишется? — спросил Холлиер, приготовивший карандаш и бумагу.

Герант сказал по буквам.

---

[103] Примечания: 103

«Мабино́гион» (правильнее «Мабиноги») — главный валлийский эпос, цикл повестей, созданных в основном в средневаллийский период, но отчасти восходящих, по всей видимости, к древним традициям железного века.

[104] Примечания: 104

Согласно четвертой книге из «Четырех ветвей Мабиноги», Мат ап Матонви (Мат, сын Матонви), король Гвинеда, чтобы не умереть, был вынужден держать свои ступни на коленях девственницы, кроме того времени, когда находился на войне. Племянник Мата Гилвайтуи влюбился в Гэвин, девушку, обязанностью которой было держать ступни Мата. Маг Гвидион, брат Гилвайтуи, подстроил войну с соседями. Пока Мат ап Матонви был на войне, Гилвайтуи пробрался во дворец и овладел Гэвин. Обнаружив случившееся, король Мат взял Гэвин в жены, чтобы защитить ее честь, а племянников наказал, превращая

их в течение нескольких лет поочередно в пары разных животных (оленя и олениху, кабана и свиноматку и пр.).

— На бумаге выглядит совершенно варварски, — заметил Холлиер.

Пауэлл очень обиделся:

— Варварски, говорите? И это в стране, где детям каждый день дают самые разные имена со всех концов света, и даже нелепые, выдуманные, сляпанные бог знает как! Варварски! Слушайте, Холлиер, вам следовало бы знать, что валлийцы уже пятьсот лет как освоили все достижения римской цивилизации, когда ваши предки еще жрали козлятину прямо со шкурой и подтирали зад пучками чертополоха! Варварски! И я должен такое сносить от кучки морлоков, для которых главное в имени — то, что оно должно легко выговариваться, или какие-нибудь сентиментальные ассоциации! О вашем невежестве я сожалею, а вас презираю.[105]

— Это, вообще-то, из Диккенса, — заметил Холлиер. — Я уверен, вы способны подыскать для выражения своих чувств что-нибудь более бардовское.

— Ну-ка, ну-ка, давайте не будем ссориться, — вмешался Даркур. — И давайте придем к решению, потому что я должен сказать вам — и

---

[105] Примечания: 105

Диккенс Ч. Николас Никльби. Глава XV. Пер. А. Кривцовой и Е. Ланна.

родителям, и крестным — нечто важное.

Но Пауэлл надулся, и пришлось его долго улещивать, прежде чем он согласился продолжать.

— Ну хорошо, если вы настаиваете, пусть мальчик получит самое расхожее из валлийских имен, — сказал он наконец. — Пускай его зовут Дэвид. Даже не благородный валлийский Дафид, а пошлый английский Дэвид.

— Вот это хорошее имя, — сказала Гунилла.

— И еще одно имя святого, — заметил Даркур. — Пусть будет Дэвид. А в каком порядке? Артур Николаас Дэвид?

— Нет, потому что тогда монограмма на его чемоданах будет «AND»,[106] — заметил Холлиер, охваченный, по-видимому, внезапным приступом практичности.

— На чемоданах! Вот странная идея! — сказал Пауэлл. — Если вас так интересуют сокращения, почему бы сразу не назвать ребенка ГРЕХ?

Артур с Даркуром мрачно переглянулись. Неужели Герант хочет разболтать? Это никому не нужно, кроме самого Геранта с его валлийским гонором.

— Грех? — переспросил Холлиер. — Почему

---

[106] Примечания: 106
И *(англ.).*

грех?

— Потому что так его будет называть эта чертова страна! — заорал Пауэлл. — Номер сто двадцать три четыреста пятьдесят шесть семьсот восемьдесят девять по Государственному Регистру Единого Хозяйствования! А чтобы получать пенсию, он превратится в ПРАХ сто двадцать три четыреста пятьдесят шесть семьсот восемьдесят девять! Пенсионный Регистр Администрации Хозяйствования! К тому времени, как он станет ПРАХом, имен не будет ни у кого, останутся только эти кретинские номера, присвоенные государством! Так давайте их опередим и сразу назовем его Прах! Эта страна глуха к поэзии, провались она в пекло!

Герант гневно осушил стакан и снова наполнил его до краев.

Настало время преодолеть раздоры, поэтому Даркур произнес самым медовым голосом:

— Значит, Артур Дэвид Николаас? Прекрасно. Поздравляю. Я с большим удовольствием провозглашу эти имена при крещении. Теперь пойдем дальше.

— Позвольте, я вам сразу напомню, что я убежденный атеист, — перебил Холлиер. — Я слишком много знаю о религиях, меня уже не обдурить.

Так что бросьте свои поповские замашки. Я согласился только ради дружбы с Артуром и Марией.

«Ну да, — подумал Даркур, — и еще потому, что ты был первым, кто плотски познал мать этого ребенка. Ты меня не обманешь». Но вслух он сказал:

— Ничего страшного, мне часто приходится иметь дело с неверующими крестными. Я вас не обижу. Единственное, что вы должны пообещать, — любить этого ребенка, помогать ему по возможности, давать советы, когда он будет в этом нуждаться, и сделать для него все, если его родители не доживут до его совершеннолетия, от чего боже сохрани.

— Разумеется, это я обещаю. Я приму участие в церемонии ради интереса к древнему обряду. Но не просите меня присоединиться в качестве духовной силы.

— Нет-нет, ничего такого. Но если церемония состоится, она должна иметь какую-то форму, и я точно знаю какую. Нилла, а вы что скажете?

— Я согласна без оговорок. Меня вырастили, выражаясь словами вашего лавочника Шекспира, «неистовой лютеранкой»,[107] и я очень люблю

---

[107] Примечания: 107
Шекспир У. Генрих VIII. Акт III, сц. 2. Пер. В. Томашевского.

детей, особенно мальчиков. Я счастлива, что у меня будет крестный сын. Можете быть спокойны.

— Я в вас не сомневаюсь, — сказал Даркур. — А ты, Герант?

— Сим-бах, ты же меня знаешь. Я кальвинист до мозга костей. Но я тебе не очень доверяю. Что я должен пообещать?

— Я попрошу тебя отречься за ребенка от Сатаны и всех деяний его, от тщеславия и суеты этого мира, от всех его похотей житейских и похотей плоти.

— Прекрасно сказано. Ты это сам сочинил?

— Нет, Герант, это сочинил архиепископ Кранмер.[108]

— Этот Кранмер неплохо пишет. И я отрекаюсь от всего этого за ребенка, а не за себя?

— По идее, да.

— Потому что, видишь ли… Как человек театра, как художник, я не могу на самом деле отречься

---

[108] Примечания: 108

Томас Кранмер (1489–1556) — один из отцов английской Реформации, архиепископ Кентерберийский. Содействовал установлению королевского верховенства в церковных делах (в 1534 г. парламент провозгласил Генриха VIII главой Церкви Англии), проведению реформации и секуляризации церковного имущества. Провел ряд церковных реформ в духе протестантизма. Издал две Книги общих молитв (1549 и 1552 гг.), ставших обязательными для богослужения в соответствии с Актами о единообразии. После восстановления католицизма при Марии Тюдор был обвинен в государственной измене, заключен в тюрьму и сожжен на костре как еретик.

от тщеславия и суеты, потому что я ими живу. Что же до похотей житейских, то всю мою жизнь и работу ограждают контракты, составленные жадными агентами и чудовищами, регулирующими экономику театра. Но за мальчика — за юного Дафида, которого я буду звать Тафи, когда познакомлюсь с ним поближе, я отрекусь так, что только пыль столбом.

— Мы серьезно должны все это обещать? — осведомился Холлиер. — Мне понравилось про Сатану. Я не думал, что крещальная служба так глубоко уходит корнями в древность. Симон, обязательно дашь мне требник почитать. В нем много интересного.

— До чего же вы, мужчины, банальны, — заметила Гунилла. — Пауэлл, что до тщеславия и суеты, говори только за себя. Симон, то, что ты сказал, кажется, значит, что мы должны воспитать мальчика на принципах высокой морали. Сделать из него мужчину. Можешь во мне не сомневаться.

— Хорошо, — сказал Даркур. — Значит, в воскресенье, в часовне, в три часа дня. Приходите трезвыми и прилично одетыми.

Пока гости уходили, а Пауэлл удалялся в свою привычную спальню, Даркур перемолвился сло-

вечком с Марией.

— Ты молчала, когда мы говорили про имена. Тебе разве все равно, как назовут мальчика?

— Симон, милый, я храню цыганские обычаи. Когда ребенок вышел из меня и закричал, его положили мне на грудь, и я назвала его. Настоящим именем. Шепнула ему на ушко. И что бы вы там ни делали в воскресенье, именно это будет его настоящим именем.

— А ты мне его скажешь?

— Конечно нет! Я даже мальчику не скажу, пока он не вырастет, — а тогда я снова шепну ему это имя. У него есть настоящее цыганское имя, оно всюду будет с ним и будет хранить его, покуда он жив. Но это — тайна между ним и мной.

— Значит, ты меня опередила?

— Конечно. Я сама не ждала, что так будет, но в самый миг перед тем, как он покинул мою утробу, поняла. Что в костях заложено… ну ты знаешь.

9

Если не считать маленького инцидента, крестины прошли гладко. В церкви были только родители, крестные и младенец: Краны рвались прийти, и пришлось сказать открытым текстом, что их не приглашают. Эл что-то бормотал про объективные корреляты и связь рождения ребенка с рождением оперы. По его словам, это была бы потрясающая, совершенно неожиданная сноска в *Regiebuch*. Мейбл умоляла, чтобы ее пустили, — оказывается, ей хотелось посмотреть, как крестят. Даркур сказал, что она может это легко устроить, окрестив своего будущего ребенка, но Эл и Мейбл торопливо заявили, что несколько слов, которые пробормочет священник над их ребенком, ничего не изменят в его будущей жизни.

Даркур не стал спорить, хотя знал, что они заблуждаются, причем глупо заблуждаются. Он настороженно относился ко многому, во что, как священник, был обязан верить и что должен был открыто отстаивать, но в благотворности крещения не сомневался. Даже если оставить в стороне чисто христианские соображения, крестины — это символическое принятие новой жизни в

общество, тем самым объявляющее, что в нем есть место для этой новой жизни; крестины — утверждение отношения к жизни, выраженного в Символе веры, который входит в крещальную службу в архаичной форме — несколько сокращенной, но полной важнейшего смысла. Родители и крестные, читая вслух Символ веры, могут даже не верить в него — но, как отчетливо осознавал Даркур, они живут в обществе, которое коренится в этом Символе веры; не будь его и причины, по которой он был составлен, огромные части нашей цивилизации никогда не появились бы на свет. И даже те, кто насмехается над Символом веры или вообще его не замечает, тем не менее твердо стоят на его фундаменте. Символ веры — один из великих верстовых столбов на пути человечества от первобытного общества к тому, что грядет; может быть, цивилизация прошла мимо победным маршем, а столб остался позади, но он — веха, отступление за которую уже невозможно.

Холлиер смирился с крещальным обрядом, увидев в нем ритуал перехода и принятия нового человека в племя. Пусть так, думал Даркур, но подобные ритуалы отдаются дальним эхом, не слышным глухому уху рационалиста. Даркур

считал рационализм элегантным, высокоумным способом заметания под ковер разных важных, но беспокоящих вещей. Впрочем, последствий обряда не отменяет то, что некоторые чересчур умные люди их не видят.

Пауэлл согласился быть крестным отцом, но держит кукиш в кармане. Он хочет дать обещания, которые не собирается выполнять, — и действительно, разве можно сдержать все обещания, что дает крестный отец, во всей их сложности? Допустим. Но Пауэлл решил стать крестным отцом, потому что эта роль ближе всего к роли настоящего отца ребенка. Пауэлла неотразимо влекут любые торжественные церемонии. Значит, он из тех, кто желает, чтобы серьезным аспектам внутренней жизни придавались торжественные внешние формы. Такое желание, впрочем достойное уважения, означает, что Пауэлл — истинный сын театра, который есть не что иное, как овеществление важных аспектов внутренней жизни человека. Даркур решил, что понимает Пауэлла лучше, чем сам Пауэлл.

Насчет Гуниллы у него сомнений не было. Вот женщина, которая видит слова Символа веры насквозь, прозревая за ними суть. Гунилла — чистое золото.

Что же до Артура и Марии, то рождение ребенка, судя по всему, сблизило их еще сильнее прежнего. То, что дети — благословение брака, — это штамп. Такой же банальный, как стишки Эллы Уилер Уилкокс об искусстве. Но образованному, высокоумному человеку очень трудно признать, что иные штампы на самом деле — важные истины.

Другой штамп — то, что рождение ребенка — это символ новой надежды, хоть она и может обратиться в горькое разочарование. А крещение — церемония, в которой эту надежду возвещают. Надежда, или Упование, — одна из рыцарских добродетелей в том смысле, который Краны, например, не поняли и, может быть, никогда не поймут. В маленьком теле Артура Дэвида Николааса, которое Даркур принял на руки и осенил крестным знамением, воплотилась, в частности, надежда на будущее брака Артура и Марии. Уз и нитей сочетанье.

Небольшой инцидент произошел уже после того, как Даркур произнес благословение на младенца и перекрестил его пальцами, смоченными святой водой. Следуя древнему обычаю, ныне возрождаемому поборниками старой обрядности, Даркур зажег три свечи от одной большой

свечи, стоящей рядом с купелью, и протянул их крестным родителям со словами: «Приимите свет Христов, ибо вы перешли от тьмы к свету».

Холлиер и Гунилла поняли, что делают это от имени младенца, и с достоинством приняли свечи; Гунилла — почтительно склонив голову.

Пауэлл же вздрогнул от неожиданности, уронил свечу, залив воском одежду, и принялся шарить по полу, бормоча совершенно неподходящее «о господи!». Мария захихикала, а дитя, которое до этого вело себя как ангел, даже когда ему окропляли голову водой, громко взвыло.

Даркур отобрал у Пауэлла свечу, снова зажег ее и произнес:

— Приими свет Христов в изумлении сердца своего, ибо ты перешел от тьмы к свету.

Потом, когда они отмечали крестины, Пауэлл сказал Даркуру:

— Сим-бах, это был отличный экспромт. Лучшего я и в театре не слыхал.

— Герант-бах, по-моему, твой был еще лучше, — ответил Даркур.

10

Артисты и мастера, которые трудятся над постановкой оперы, — тесный кружок, куда простых смертных не допускают. В этом нет злого умысла; просто в акт творения погружаются с головой; внешний мир становится призрачным и вновь обретает осязаемость, лишь когда творение завершено, афиша составлена, а крепчайшая связь творцов несколько ослабла.

Недопущенные в святая святых остро чувствуют это. В последние недели работы над «Артуром Британским» Артур и Мария ощутили некоторый холодок. Конечно, их всюду встречали с радостью (на деле это значило, что всем было неудобно их выгонять). Они были ангелами-спонсорами. Они оплачивали счета и всевозможные расходы, не говоря уж о выплате жалованья артистам, значит к ним следовало относиться с вежливостью. Но эта вежливость была холодной. Даже любезный друг Пауэлл шептал другому другу, Даркуру: «Неужели Артуру с Марией обязательно тут околачиваться, когда мы работаем?»

Даркур по нраву участвовал в приключении: он был автором либретто. Конечно, менять слова

на этой стадии было уже поздно, но все равно Даркур имел право присутствовать в зале; более того, если его не было и он вдруг требовался Пауэллу, чтобы объяснить певцу какой-нибудь не очень понятный отрывок, это оказывалось очень неудобно. Даже Пенни Рейвен, в силу своего (пускай призрачного) отношения к либретто, могла приходить на репетиции, не возбуждая ничьих вопросов. Но не «ангелы».

— Я чувствую себя совершенно не на месте. Как бежевые туфли на похоронах, — сказал Артур, который обычно не увлекался сравнениями.

— Но я хочу смотреть, что они делают! — сказала Мария. — Есть же у нас какие-то права? Ты вообще видел, какие деньги мы платим по счетам?

Наверно, они думали увидеть оживленное движение: Пауэлла, который управляет полной артистов сценой, размахивая руками, как полицейский во время беспорядков. Ничего подобного они не увидели. На репетициях царила тишина и спокойствие. Безалаберный Пауэлл всегда приходил за полчаса до начала и строго выговаривал опоздавшим, хотя опоздания были редки и всегда по уважительным причинам. Кипучий Пауэлл был тих и сдержан; он никогда не кричал и неиз-

менно сохранял учтивость. Он обладал полной властью и умело применял ее. Неужели это и есть художественное творчество? Видимо, да. Артур и Мария поражались тому, как быстро и уверенно опера обретала форму.

Правду сказать, в первые две недели репетиций это было не очень похоже на оперу, как Артур и Мария ее себе представляли. Репетиции проходили в больших грязных комнатах, снятых для этой цели в консерватории и на кафедре музыковедения. Заведовал ими Уолдо Харрис, первый помощник Пауэлла; это был крупный молодой мужчина без особых примет, никогда не терявший спокойствия среди бури. Он, кажется, знал все. У него была ассистентка, Гвен Ларкин, которую называли сценариусом; у нее, в свою очередь, были две девушки на посылках. Мисс Ларкин по временам выходила из себя (что было вполне простительно), а неопытные ассистентки бегали и суетились, потрясая клипбордами, пока мисс Ларкин не взглядывала на них сердито и не велела (шепотом) заткнуться. Но эти девицы были воплощенным спокойствием по сравнению с тремя студентками на побегушках — их полагалось посылать за кофе, бутербродами или срочно нужным человеком. Они были низшей,

самой незначительной формой жизни в театре. На репетициях все семеро липли к Пауэллу, как железные опилки к магниту, и говорили шепотом. Они все изводили огромное количество бумаги и беспрестанно что-то записывали. Остро заточенными карандашами их снабжали те же девочки на побегушках.

Но все они в театральной иерархии стояли ниже, чем мистер Уоткин Бурк, которого именовали *répétiteur*. Его обязанностью было разучивать партии с певцами.

Уотти должен был сделать так, чтобы певцы знали свои партии, а это означало все, что угодно: от долгих часов у рояля с исполнителями, которые уже знали партии, но хотели получить совет по фразированию, до работы с певцами, которые с трудом читали ноты (хотя и не признавались в этом), — с ними приходилось разучивать партии практически наизусть. В обязанности Уотти входило обучение хора, то есть десяти джентльменов из числа рыцарей короля Артура (не считая Джайлза Шиппена, ведущего тенора, и Гаэтано Панизи, который исполнял роль Мордреда) и всех придворных дам. Все хористы были хорошими певцами, но двадцать два певца — это еще не хор. Их нужно было бережно подтолкнуть к то-

му, чтобы они пели вместе: не просто выводили мелодию, но выводили ее как единое целое и чуть-чуть меняли тон, подстраиваясь под солистов, которые могли от сценического испуга взять чуточку ниже или выше. Уотти, настойчивый человечек с крысиной мордочкой, гениальный пианист, был мастером в этом деле.

Уотти, подобно Пауэллу, никогда не кричал и не выходил из себя, хотя порой тень великой усталости пробегала по умному острому личику. Например, такое случилось после его разговора с мистером Наткомом Прибахом, бас-баритоном, исполнителем роли сэра Дагонета.

— Я прекрасно понимаю мистера Пауэлла, который желает, чтобы мы создали индивидуальные образы рыцарей Круглого стола, — сказал Прибах. — С другими ребятами все ясно, так? Они рыцари. Храбрые парни, и все тут. Но сэр Дагонет — шут Артура, и именно потому я получил эту роль. Потому что я не хорист и не исполнитель мелких ролей, вовсе нет: я — компримарио[109] и пользуюсь репутацией недурного комика. Мой Фрош из «Летучей мыши» известен всему оперному миру. Очевидно, что мне дали роль сэра

---

[109] Примечания: 109
Исполнитель вторых ролей в опере.

Дагонета, чтобы привнести в оперу комедийный оттенок. Но как? У меня нет ни единой комедийной строчки. Так что нам надо обязательно что-нибудь придумать, понимаете? Разрядка смехом. Я много об этом думал и нашел как раз нужное место. Финал первого акта, когда Артур расписывает рыцарям все прелести рыцарства. Это тяжеловатая сцена. Музыка, конечно, прекрасная, но сцена тяжеловата. Именно туда мы и вставим разрядку. Так что мне выбрать — чих или прыск?

— Извините, я не понял, — сказал Уотти.

— Вы что, меня ни разу не видели? Это мои верные приемы. Когда Артур начинает распространяться о рыцарстве, разве я не могу налить себе бокал вина? А потом, в нужный момент, прыснуть? Я поперхнусь вином, прысну во все стороны и обрызгаю всех рядом стоящих. Верное дело. Но если это слишком, я могу ограничиться чихом. Мой чих на самом деле — комическое продолжение моего прыска, и, конечно, я не хочу отвлекать на себя слишком много внимания, так что чих, возможно, будет уместней. Но ни в коем случае не решайте окончательно, пока не увидите мой прыск. Понимаете, мне нужно знать сейчас, до того как мы начнем репетиции на

сцене: тогда я смогу хорошенько все продумать и выбрать самый подходящий момент для чиха. Или прыска. Потому что подходящий момент в комедии — это главное, как вы, конечно, знаете.

— Обратитесь к мистеру Пауэллу, — сказал Уотти. — Я не имею отношения к постановке.

— Но вы поняли, что я хочу сказать?

— О да, конечно.

— Понимаете, я не хочу быть навязчивым; просто стремлюсь делать что могу.

— Это к мистеру Пауэллу.

— Ну хотя бы что вам больше нравится? Чих или прыск?

— Не могу сказать. Это не ко мне.

Артура и Марию (и Даркура тоже) поразило, что Уотти играл по полной оркестровой партитуре, показывая певцам, что́ они будут слышать во время пения или мимолетной паузы; певцы работали по наброскам музыки, в которых была показана их вокальная партия и примерная оркестровка. Подготовка всех нот (переписанных рукой Шнак) обошлась в небольшое состояние.

На музыкальных репетициях присутствовала доктор Даль-Сут, но голоса не подавала. Она говорила только с Уотти и только шепотом. Иногда она что-то шептала Шнак, которая тенью ходила

за ней, жадно и быстро вбирая знания.

Первая общая репетиция состоялась в грязной, плохо освещенной комнате в подвале консерватории. В стены за много лет въелся аромат экономных студенческих обедов — едва съедобных перезрелых бананов и арахисового масла. В комнате было тесно, так как вдоль стены стояли три комплекта литавр, а в углу — куча пустых футляров от контрабасов, напоминающая съезд сенаторов.

— Как же мы будем работать? — спросил Натком Прибах. — Тут повернуться негде.

— Садитесь, пожалуйста, — объявила Гвен Ларкин. — Стульев хватит на всех.

Пауэлл обратился к труппе:

— Так как это новая опера и либретто непростое, сегодня мы начнем с того, что прочитаем вслух все три акта.

— Без пианино, — сказал Натком Прибах, у которого был подобающий оперному комику дар констатировать очевидное.

— Это не музыкальная репетиция, — объяснил Пауэлл. — Вы все знаете свои партии — во всяком случае, должны знать. В течение одного-двух дней мы петь не будем. Я хочу, чтобы вы просто прочитали вслух свои слова, как будто играете в

пьесе. Либреттист присутствует здесь и разъяснит все непонятные места.

Собравшиеся певцы были в основном неглупы — возможно, потому, что это не был «звездный состав», но обычному выражению музыкальных критиков. Большинство певцов составляли молодые североамериканцы — у них был большой опыт работы в опере, но они почти не имели дела с крупными оперными театрами в других странах. Они не боялись чтения вслух. Небольшая кучка певцов во главе с Наткомом Прибахом не видела, с чего бы им читать то, что можно спеть, но готова была попробовать, чтобы угодить Пауэллу, — они поняли, что он опытный, мыслящий режиссер. Некоторые не очень хорошо читали по-английски — например, Ганс Хольцкнехт, исполнитель роли Артура; а мисс Клара Интрепиди, которая должна была петь Моргану Ле Фэй, запиналась на словах, которые без всякого труда пропевала на репетициях с Уотти. Но один певец — Оливер Твентимэн — читал, как актер, причем как умный актер. К началу второго акта лучшие артисты в группе поняли, что пытаются (с разной степенью успеха) подражать ему.

В основном певцы были молодые, но Оливер Твентимэн уравновешивал средний возраст

труппы: он был стар. Не дряхл, как утверждали некоторые: он еще не разменял десятый десяток. Но говорили, что ему уже за восемьдесят, и он был одним из чудес оперного света. Критики называли его исключительный серебристый тенор «скромным», но он отчетливо звучал во всех великих оперных театрах мира. Твентимэна обожали в Глайндборне[110] и на нескольких американских оперных фестивалях для узкого круга. Лучше всего ему удавались фантазийные персонажи — Селлем в «Похождениях повесы»,[111] Звездочет в «Золотом петушке»,[112] Оберон в «Сне в летнюю ночь».[113] Заполучить его на роль Мерлина было большой удачей. Слушать, как он читает свою роль, — чистым наслаждением.

— Восхитительно! — провозгласил Пауэлл. —

---

[110] Примечания: 110

Глайндборнский фестиваль — ежегодный оперный фестиваль, проходящий в Англии, в имении Глайндборн близ городка Льюис, графство Восточный Сассекс. Первый организатор фестиваля — владелец имения Джон Кристи (1882–1962). Фестиваль проводится с 1934 г.

[111] Примечания: 111

«Похождения повесы» («Карьера мота») — опера в трех действиях (1951) на музыку И. Ф. Стравинского (1882–1971) и либретто У. Одена и Ч. Колмена, основанное на одноименной серии литографий У. Хогарта. Селлем, фамилия героя-аукциониста, дословно означает «Продай их».

[112] Примечания: 112

«Золотой петушок» — последняя опера Н. А. Римского-Корсакова (1844–1908), написанная в 1908 г. по одноименной сказке А. С. Пушкина (либретто В. И. Вельского).

[113] Примечания: 113

«Сон в летнюю ночь» (1960) — опера композитора Бенджамена Бриттена (1913–1976) по одноименной пьесе У. Шекспира (либретто создано на основе пьесы Питером Пирсом).

Леди и джентльмены, я прошу вас прислушаться к английскому произношению мистера Твентимэна: оно соответствует высочайшей традиции.

— Да, но мне кажется, что он сильно искажает гласные, — сказала Клара Интрепиди. — Они — не чистые звуки, пригодные для пения. У нас есть гласные, верно? Пять гласных. А, и, э, о, у. Их можно спеть. Неужели вы потребуете, чтобы мы пели нечистые звуки?

— В английском языке двенадцать гласных, — объяснил Пауэлл. — Поскольку это не мой родной язык и мне также пришлось его учить, не считайте, что я предвзят. Что за гласные? Они все — в этой фразе:

В чащах юга жил-был цитрус, и-йо!
Но фальшивый экземпляр.

Каждый звук можно прекрасно пропеть, и ни один не звучит так тонко, как «й», который на конце слова может превратиться в «и». «Йо» должно звучать как один короткий и один длинный слог, а не как два длинных. Имейте в виду, я буду пилить вас, пока не добьюсь правильного произношения.

Мисс Интрепиди слегка надулась, словно намекая, что варварские причуды английского языка

не повлияют на ее пение. Но мисс Дональда Рош, американка, приглашенная на роль Гвиневры, тщательно записывала.

— Повторите, пожалуйста, фразу, — сказала она, и Герант пропел для нее всю последовательность слогов.

К нему присоединился Оливер Твентимэн, желая показать мисс Интрепиди, что в этой фразе действительно двенадцать разных гласных звуков и ни один из них нельзя назвать «нечистым».

В целом певцы получили удовольствие от чтения либретто. К концу дня можно было с уверенностью сказать, кто из них — актеры, обученные пению, а кто — певцы, которых научили играть на сцене. Марта Ульман, миниатюрная женщина, приглашенная на маленькую, но впечатляющую роль Элейны, очень выразительно прочитала:

Ни словом, вздохом, ни слезой,
Улыбкой жалкой и несмелой
Не намекну тебе, друг мой,
Как сердце бедное болело,
Как было пусто.
Я сейчас

Тебе кажусь вполне спокойной.
Румянец на моих щеках.
Но, милый друг, как это больно.

Мир не увидит скорбь мою,
Но о тебе моя Печаль.
Свою любовь к тебе храню.
Прощай, любовь моя, прощай.

Но когда Дональда Рош и Джайлс Шиппен читали в унисон, у них получилось далеко не так удачно:

Любовь!
Вот мчится время на могучих крыльях,
Непостоянно;
Будь верной,
И навек его ты обуздаешь.

Да и мисс Интрепиди, прославленная укротительница аудиторий, слегка опешила, когда ей пришлось читать свои слова, обращенные к негодяю Мордреду:

Я знаю — скрыт в твоих словах
Секрет ужасный.

Каждый поворот
Твоей коварной мысли
Я наблюдаю с содроганьем.
В черепе твоем плодятся мысли —
Они, как корневища,
Стремятся вглубь
И разрушают камни,
Рептилий душат,
Что в беззвучном вопле
Заходятся, крича про смерть Артура.

Но мисс Интрепиди была крепким профессионалом; запутавшись в словах, она воскликнула:

— Я разберусь! Не волнуйтесь, я разберусь!

И Пауэлл заверил ее, что в этом никто ни в малейшей степени не сомневается.

Вечером, когда чтение было закончено, Гунилла впервые обратилась к труппе.

— Вы поняли, чего добивается наш режиссер? — спросила она. — Он хочет, чтобы вы пели слова, а не звуки. Звуки может спеть кто угодно; чтобы спеть слова, нужен артист. Того же хочу от вас и я. Симон Даркур нашел нам прекрасное либретто; Хюльда Шнакенбург создала замечательную музыку на основе заметок Гофмана. В

этой опере мы должны видеть среди прочего совершенно новый образ Гофмана-композитора: это — музыкальная драма, созданная задолго до Вагнера. Так что пойте ее, как раннего Вагнера.

— А! Вагнер! — воскликнула мисс Интрепиди. — Теперь я знаю.

Краны жадно впитывали все это и последующие репетиции «на полу», как называл их Пауэлл, целью которых было спланировать движения и при необходимости жесты певцов. (Асессоров всегда называли Кранами, хотя Мейбл каждый раз принималась объяснять, что она все еще Мейбл Маллер и не поступилась своей индивидуальностью в их высокодуховном союзе, хотя, несомненно, поступилась своей фигурой.) Эл загонял всех в угол и допрашивал. В своем желании быть незаметным он мозолил глаза. Он, как тигр на охоте, жадно кидался на каждую мотивацию и записывал ее. Его заметки для великой *Regiebuch* приобрели угрожающий объем. Оливер Твентимэн оказался для Эла золотым дном.

Вот это кладезь традиций! Твентимэн в молодости пел со множеством знаменитых дирижеров, и его подготовка вошла в легенду. Еще юношей, почти мальчиком, он работал со знаменитым

Дэвидом Ффранконом-Дэвидом[114] и воспроизвел для Эла множество заповедей этого великого мастера. Что еще более замечательно, он три года работал с блистательным Вильямом Шекспиром — не драматургом, объяснил он, когда у Эла отвисла челюсть, а учителем пения, который родился в 1849 году и обучил многих величайших певцов, пока не скончался в 1931-м. Шекспир всегда настаивал, что пение, даже сложнейшее, основано на словах, на словах, на словах.

— Да это прямо как сон! — воскликнул Эл.

— Это мастерство, мой мальчик, — сказал Натком Прибах, который пока не дождался решительного выбора между чихом и прыском. — И не забывайте про комическую струю. Вагнер не любил комического; впрочем, он считал «Мейстерзингеров»[115] комической оперой. Видели бы вы моего Бекмессера в Сент-Луисе пару лет назад! Я два раза останавливал представление!

Особенно Эл донимал Даркура:

---

[114] Примечания: 114

Дэвид Ффранкон-Дэвид (1855–1918) — известный валлийский оперный певец, баритон.

[115] Примечания: 115

«Нюрнбергские мейстерзингеры» (1868) — опера Рихарда Вагнера в трех действиях на собственное либретто на немецком языке. Считается одной из вершин творчества Вагнера. *Бекмессер* — один из второстепенных персонажей этой оперы.

— Это ваше либретто… Оно кой-где смахивает на стихи, а?

— Возможно, местами, — согласился Даркур.

— А вы что-то совсем не похожи на поэта, — не отставал Эл.

— Может быть, и не похож. А что, когда у вас ожидается прибавление?

— Мы уже замучились. Лапуля ужасно устала. И беспокоится. Мы оба беспокоимся. Нам повезло, что мы вместе работаем над этим замечательным проектом. Помогает отвлечься от всякого такого.

Мейбл кивнула — потная, тяжелая и замученная. Ей хотелось, чтобы труппа наконец переехала в Стратфорд, подальше от жуткой влажной жары торонтовского лета. По ночам, лежа на кровати в дешевой меблирашке и слушая, как Эл читает вслух зловещие гофмановские сказки, она иногда задумывалась: понимает ли Эл, какую жертву она приносит его карьере? Как и другие женщины до нее — с тех самых пор, как человечество впервые соблазнилось блеском того, что мы теперь называем наукой и искусством.

— Эл, ты не разотрешь мне ноги? У меня ужасно болят лодыжки.

— Конечно, Лапуля, вот только дочитаю до конца.

Через двадцать минут он наконец принялся растирать ей ступни и удивился: почему она плачет?

11
ЭТАГ в чистилище

Какая забавная драма — жизнь, когда ты не обязан быть одним из актеров! Нет, нет, это звучит похоже на кота Мурра. Но за последние несколько недель я получил больше удовольствия, чем за все время, прошедшее после моей смерти. Гомер был совершенно не прав, когда говорил об унылом полу существовании мертвых. Мне очень приятна отстраненность моей теперешней жизни. Я вижу всех людей, работающих над моей оперой; я понимаю их чувства, но не обязан разделять их и так же страдать. Я аплодирую их стремлениям и сожалею об их ошибках. Но поскольку я абсолютно ничем не могу им помочь, меня не мучает чувство вины или сознание своей ответственности. Именно так, полагаю, боги смотрят на человечество. (Я прошу меня извинить, если, говоря о «богах» во множественном числе, я как-то задену то, того или тех, что ждут меня в следующей фазе посмертного существования.) Но боги, конечно, могли вмешиваться, и весьма часто вмешивались, хоть и не

всегда со счастливым исходом — с точки зрения людей.

Невзгоды Пауэлла и Уоткина Бурка мне весьма близки. Как часто я сражался с певцами, которые считали итальянский единственным языком, пригодным для пения, и презирали наш благородный немецкий как язык варварства! Да, иные из этих певцов рождали сладостные звуки, но вложить в них достаточно смысла уже затруднялись; итальянский прекрасен, мы многим ему обязаны, но наши северные языки богаче поэтическими тонкостями, оттенками, а оттенки — суть моей работы как композитора и как писателя. Как я боролся с певцами, желающими «вокализировать», — это словечко как раз вошло в моду и казалось им вершиной элегантности и утонченности в музыке. Как восхитительно они орали — как раз тогда, когда нужно было выразить смысл! Как настойчиво требовали, чтобы я заменил одни немецкие слова на другие, которые они могут спеть красивей! И каким неузнаваемым становилось слово, которое валялось, истерзанное, на самом дне производимых ими звуков, то есть рева, воркования, воплей или рыданий, исторгнутых с обильной и бессвязной музыкальностью! «Милостивая госпожа непре-

взойденная артистка, — объяснял я жирной капризной сопрано, — если вы пропоете это слово так громко, как обычно разговариваете, этого будет вполне достаточно, а слово будет исполнено смысла, который покорит ваших слушателей». Но они мне не верили. Ничто так не раздувает самоуверенность, как успех певца у зрителей.

Впрочем, отчего бы и нет? Если можешь до слез тронуть слушателей своим ля третьей октавы, к чему другие ухищрения?

А если можешь рассмешить их, не диво, что скоро тебе станет все равно, чем смешить. Этот человек, желающий чихнуть или прыснуть вином в лицо другим, мало чем отличается от площадных шутов моего времени. Для них вся комедия заключена в колбасе; дайте им колбасу, и они заставят большинство зрителей пять минут надрывать животики от смеха; прибавьте к колбасе луковицу, и хохот будет продолжаться восемь минут. Но как грустно подобное веселье! Как далеко оно от Духа Комедии!

Я начинаю привязываться к Шнак, насколько дух способен привязаться: она стала чище с тех пор, как эта шведка ее соблазнила, но она лишена шарма. Меня пленяет ее музыкальный гений. Да, я намеренно употребляю слово «гений». Я

подразумеваю, что она обладает достаточной индивидуальностью, чтобы наложить отпечаток на музыку своего времени как подлинно серьезный композитор, и может достичь славы, хотя бы и посмертной. Ведь и Шуберт теперь известен как гений первой величины, а когда я впервые узнал о его трудах, очень мало кто в нашей части Германии о нем слыхал, и он пережил меня едва на пять лет. Изо всех, кого я знаю, творения Шнак, воздвигнутые на заложенном мною фундаменте, больше всего напоминают Шуберта. Когда она в ударе, наша совместная работа обладает меланхоличной безмятежностью, приятием скорбей земной юдоли, характерным для Шуберта. Доктор Даль-Сут это знает, но остальные говорят, что музыка оперы похожа на Вебера, поскольку знают, что Вебер был моим другом.

Этот причудливый осел Кран выводит всю оперу из Вебера. Он из тех ученых, которые уверены: все, что есть в искусстве, старательно выведено из чего-нибудь существовавшего ранее. Да, мне нравилась музыка Вебера, но у меня не возникает желания поставить свою подпись ни под одной его оперой.

Бедный Шуберт — он умирал медленно, как

я, и, в сущности, от той же болезни. До сих пор, кажется, никто не объяснил, почему одна и та же болезнь одного сводит в могилу в бреду и чудовищных муках, а другому дает в последний год жизни написать три сонаты для фортепиано, лучшие во всем царстве музыки.

Не следует сурово судить Крана. Возможно, он беспокоится о ребенке или о своей разбухшей женщине, Мейбл Моллер. В нем есть некая эротическая елейность, которой не следует пренебрегать. Бедняжка Мейбл займет невысокое место в списке жертв, принесенных на алтарь искусства.

Я вижу и другие жертвы — большие, как мне кажется. Я печалюсь за Артура и Марию. Они смиренно желают быть своими среди артистов, но им не дают даже того статуса, который дарован Наткому Прибаху. Артисты (и даже послушницы от искусства — девушки на побегушках) не намеренно жестоки, они отвергают Артура и Марию лишь потому, что те как будто ничего не делают для оперы, хотя именно их деньги лежат в основе всей затеи. «Ничего не делают»? Они каждый день выписывают чеки, расплачиваясь за то и за се. Потому что они подлинно любят искусство и желают ему процветания! Потому

что, если бы они могли петь, они бы пели! Если бы им разрешили, они раскрасили бы лица гримом и вышли на сцену!

Я видал подобных людей в театрах, где работал режиссером — как сейчас Пауэлл. Богатые купцы или мелкие дворяне — они оплачивали счета, и не всегда для того, чтобы заработать вес в обществе, но порой из истинной любви к тому, на что сами не были способны. Покровитель искусств может выбрать одну из двух дорог: подмять все под себя и испортить суп, пересолив его или переперчив, либо делать то, к чему предназначил его Бог, то есть платить, платить, платить! И я в свое время был таков же, как все: целовал ручки, нижайше кланялся, говорил комплименты, но в душе яростно желал благодетелям провалиться и не путаться у меня под ногами, когда я работаю. Видя себя в своем творении — музыканте Иоганне Крейслере, я презирал своих покровителей и видел в них лишь последователей мерзкого кота Мурра! Словно среди артистов не встретить людей, ищущих лишь своего интереса! О, если бы я мог утешить Артура и Марию, ощущающих холодок презрения, исходящий от артистов. Но в моем положении я и этого не могу.

Но я вижу, что их судьба — другая, а кто может избежать судьбы? Они проживают — как фарс — историю Артура и Гвиневры, но когда тебя влечет фарсовая судьба, это не то же самое, что чувствовать себя персонажем комедии. Такова их участь — быть богатыми и казаться могущественными, но в мире искусства, где богатство имеет не первостепенную важность, а могущество ничего не дает.

Как и все прочие, я томлюсь и жду переезда в Стратфорд.

VII

1

Когда труппа наконец переехала в Стратфорд и, как выразился Пауэлл, покатила к премьере на самой высокой передаче, легко было не заметить, что Шнак по уши влюблена в Пауэлла. Она ходила за ним по пятам — но точно так же за ним ходили сценариус, ее ассистентки и девушки на побегушках. Она ловила каждое его слово — но то же делали помреж Уолдо и оформитель Далси Рингголд. Никто не замечал влюбленности Шнак, кроме Даркура; никто, кроме него, не видел, *как* она таскается за Пауэллом и слушает его. Никто не видел света любви у нее в глазах.

В таких глазах его обычно и не ищут. У нее были маленькие, вечно сощуренные, тусклые глазки. И вообще одеяние любви ее не украсило: двигалась она неуклюже, ибо была кривонога, как свинья, идущая на войну (по очередной онтарийской пословице Даркура); голос не утратил скрипучести, хотя Гунилле удалось расширить словарный запас Шнак и отучить ее сквернословить; изящества в ней не было ни капли, а что до шарма, тут она в подметки не годилась даже младшей из девиц на побегушках. Но Шнак

полюбила; это было не пробуждение тела и утоление его желаний, как с Гуниллой, но овеянная романтикой страсть. «Пока Шнак работала над оперой, она и сама пропиталась пресловутым романтизмом, — думал Даркур. — Наверняка она по ночам мечется на бессонном ложе и поверяет подушке имя возлюбленного».

Даркур рискнул спросить Гуниллу, в курсе ли она.

— О да, — ответила доктор. — Это было неминуемо. Ей надо перепробовать все, а Пауэлл — совершенно очевидная мишень для любви молодой девушки.

— И ты не против?

— А почему я должна быть против? Девочка не моя собственность. Да, мы мило забавлялись, к великому шокированию этой толстой кумушки, профессора Рейвен. Но это было то, что бывает между учеником и учителем. А не любовь. Я знала любовь, Симон, в том числе и к мужчинам; я знаю, что это такое. Я не настолько романтик, чтобы считать любовь полезной для просвещения — расширение горизонтов, ценный опыт и тому подобная чушь. Но любой человек, если он не полный кочан капусты, когда-нибудь испытывает подобное. Я присмотрю за тем, чтобы

любовь не помешала ей работать: все, кажется, забыли, что цель этой усложненной затеи — защита диссертации, и Хюльда должна получить свое ученое звание, иначе выйдет лишь колоссальный перевод денег.

И действительно, это была усложненная затея. Труппе повезло: в последние три недели репетиций в ее распоряжении оказался весь театр. Правда, кроме сцены. На сцене еще неделю должна была идти пьеса, в которой использовался лишь один несложный набор декораций. Все мастерские и репетиционные теперь были посвящены «Артуру». А в последние две недели перед премьерой певцы завладели и сценой — кроме случаев, когда она нужна была декораторам и техникам.

Техники орудовали с размахом. Даркуру казалось, что они почти поглотили оперу. В одной мастерской на огромных каркасах были натянуты холсты, на которых рисовали декорации, — Пауэлл требовал достойных декораций, а не висячих линялых тряпок, создающих впечатление, что небо село при стирке.

— Во времена Гофмана сценического освещения — в нашем теперешнем понимании — не существовало и все световые эффекты приходи-

лось рисовать на декорациях. Именно это сейчас делает Далси.

Далси Рингголд была совсем не похожа на театральных оформителей, как их представлял себе Даркур. Маленькая, застенчивая, смешливая, она как будто сама не воспринимала свою работу всерьез.

— Ничего гламурного, на самом деле я просто портниха, — говорила она с полным ртом булавок, обматывая чем-то Клару Интрепиди. — Я — «та симпатичная мисс Далси, у которой такая легкая рука».

В ее руках Клара Интрепиди каким-то образом стала выше и стройнее.

— Вот, дорогая: если вы только самую чуточку втянете живот, будет просто замечательно.

— Я дышу животом, — ответила мисс Интрепиди.

— Тогда мы это задрапируем капельку посвободнее… и сделаем вот тут ма-а-аленькую вставочку…

Еще Далси видели в люльке, качающейся перед огромным каркасом: на каркас был натянут очередной задник, раскрашенный по акварельным эскизам Далси, аккуратно расчерченным на квадратики. Обвязав голову грязной банданой,

она рукой мастера клала завершающие штрихи. Иногда она оказывалась в подвале, где изготавливались доспехи — не со звоном кузнечного молота, но с химической вонью прессуемого плексигласа. Здесь же изготовили все мечи, и скипетр Артура, и короны для Артура и Гвиневры, усаженные стеклышками с фольговой подкладкой — это были драгоценные камни, придавшие послеримской Британии восхитительную кельтскую пышность.

Далси была повсюду, ее вкус и воображение накладывали отпечаток на все.

— Ненавижу, когда зрителям велят задействовать воображение, — говорила она. — Это халтура. Зрители платят, причем немаленькие деньги, за чье-то чужое воображение — платят людям, у которых воображения столько, что зрителям и не снилось. Вроде меня. Воображение — мое ремесло.

Говоря это, она заканчивала прекрасный маленький набросок головы шута, которую должны были изготовить якобы из металла и прикрепить к рукоятке меча сэра Дагонета. Но ремесло Далси этим не ограничивалось.

Даркур взял с ее рабочего стола большую книгу.

— Что это? — спросил он.

— О, это мой любимый и обожаемый Джеймс Робинсон Планше. Это его «Энциклопедия костюмов», книга, которая совершила революцию в театральном оформительстве. Вы не поверите, но он был первым, кто попытался одевать артистов в одежду, хоть как-то подходящую к историческому периоду. Это он оформил первую постановку «Короля Иоанна» действительно в стиле той эпохи. Конечно, я не копирую его дизайн. Точное воспроизведение исторического костюма, как правило, выглядит нелепо. Но дорогой Планше просто потрясающе стимулирует воображение.

— Надо полагать, даже Планше не знал, что носили во времена короля Артура, — сказал Даркур.

— Нет, но он сделал бы предположение, и весьма обоснованное, — сказала Далси, нежно поглаживая два огромных тома. — Я подпитываюсь от милого Планше и еще, конечно, строю догадки. Множество драконов — это самое подходящее для Артура. Я надену Моргане Ле Фэй головной убор в форме дракона. Звучит как ужасный китч, но вот увидите — когда я закончу, это будет очень красиво.

«Значит, всеведущий Планше все-таки пролез

в нашу оперу, хоть мы и отказались от его ужасного либретто», — подумал Даркур. Он уже начал чуточку влюбляться в Далси — как и любой другой мужчина, оказавшийся рядом с ней. Впрочем, оказалось, что в сексе она — единомышленница доктора Даль-Сут: она бесстыдно флиртовала со всеми мужчинами, но ужинать пошла с Гуниллой.

«Это мир, в котором секс занимает не первое, не второе и даже, может быть, не третье место, — подумал Даркур. — Освежающая новизна».

Однако секс в полной мере брал свою дань с жертвы семейной жизни, Мейбл Маллер. В Стратфорде оказалось так же жарко, как в Торонто, у Мейбл распухли ноги, волосы потускнели и слиплись, и она с явным трудом таскала свое бремя, устремленное в будущее. Она плелась за Элом, который носился туда-сюда, делая заметки и фотографируя «поляроидом»; изо всех сил стараясь никому не мешать, он страшно путался у всех под ногами. Нельзя сказать, что Эл забывал про Мейбл или игнорировал ее: он давал ей носить свой тяжелый портфель, и еще они всегда вместе ели сэндвичи, принесенные Мейбл из ближайшей закусочной; Эл в это время распространялся («экстраполировал», как выражался он сам) о

том, что успел записать и сфотографировать.

— Это чистое золото, Лапуля, — время от времени повторял он.

Но для нее это было золото фей — тронь его, и оно обратится в сухие листья.

Когда схватки Мейбл наконец стали невыносимо болезненными и ее пришлось везти в больницу, Эл даже не обиделся на нее за зря потраченное время. «Уже каждые двадцать минут», — со слезами прошептала она, и Эл закончил только одну очень важную запись, прежде чем схватить Лапулю за руку и вывести ее из репетиционной. Такси им искан Даркур, и он же велел водителю ехать как можно скорее. Договоренности с больницей не было, Лапуля даже ни разу не побывала у доктора, поэтому ее взяли в приемный покой «скорой помощи».

— У Мейбл что-то не так, — сказала Мария Даркуру чуть позже. — Схватки прекратились.

— Эл вернулся к концу репетиции. Я думал, все идет гладко.

— Эла я удушить готова! Вот в чем вся беда с этими «гражданскими браками». Чуть что — и люди идут на попятный. Я бы побыла в больнице, но Артуру нужно на пару дней вернуться в контору, и я еду с ним. Новое в деле Уолли Кроттеля.

Я тебе потом расскажу. На самом деле тут нам делать нечего. Герант, кажется, считает, что мы мешаем.

— Не может этого быть.

Еще как может. Но ты приглядишь за Мейбл? Конечно, ее дела нас не касаются, но я все равно беспокоюсь. Дай знать, если мы сможем чем-то помочь.

Так Даркур и оказался в унылом приемном покое родильного отделения в четыре часа утра. Эл ушел в половине одиннадцатого, пообещав позвонить наутро. Даркур был не один. После ухода Эла явилась доктор Даль-Сут.

— Это ну совсем не по моей части, — сказала она. — Но бедняжка — чужая в земле чужой, как и я, вот я и пришла.

Даркур знал, что хвалить ее за это неуместно.

— Меня Артур и Мария попросили приглядеть, — сказал он.

— Они мне нравятся, — ответила доктор. — С первого взгляда не очень понравились, но при ближайшем рассмотрении они выглядят лучше. Очень крепкая пара. Думаешь, это из-за ребенка?

— В том числе. Ребенок замечательный. Мария кормит грудью.

— В самом деле? Это старомодно. Но, я считаю,

очень хорошо.

— Не знаю. Как говорим мы, ученые, «это не моя область». Но зрелище прекрасное.

— У тебя мягкое сердце, Симон. И хорошо. Я терпеть не могу мужчин, в которых совсем нет мягкости.

— Гунилла, как ты думаешь, мы, одиночки, склонны к сантиментам, когда дело касается любви, детей и прочего?

— Я вообще не склонна к сантиментам. Но иногда сентиментальна. Это очень полезное различие в языке. Если человек не чувствует — он почти мертв.

— Но ты… прости за откровенность… выбрала путь, начисто исключающий детей.

— Симон, ты слишком умен, чтобы быть таким провинциалом, каким иногда притворяешься. Ты же знаешь, что в мире есть место для всего и всех. Что, по-твоему, значит брак? Два человека едят с одной вилки и вместе делают детей?

— Боже сохрани! Сейчас уже так поздно — или так рано, — что я буду откровенен. Брак — это не только домашняя жизнь, продолжение рода, узаконенный секс или форма собственности. И это, совершенно точно, не счастье в том смысле, как это слово обычно понимают. Думаю, это — способ

найти свою душу.

— В мужчине или женщине?

— С мужчиной или женщиной. Вдвоем, но в конечном счете — в одиночку, как все в жизни.

— Тогда почему ты не нашел свою душу?

— О, это не единственный путь. Но возможный.

— Значит, ты думаешь, что и я когда-нибудь найду свою?

— Почти не сомневаюсь. Люди обретают души самыми разными способами. Я сейчас нишу книгу — биографию моего очень хорошего друга, который, несомненно, свою душу нашел. В живописи. Он хотел найти ее в браке, и вышла трагедия, потому что он тогда был сопливым романтиком, а она — из числа сирен, после которых у мужчины только и остается что кубок слез сирены в руках.[116] Прохиндейка, если судить по обычным меркам. Но в этой трагедии Фрэнсис Корниш нашел свою душу. Я знаю. У меня есть доказательства. Об этом я и пишу.

— Фрэнсис Корниш? Один из этих Корнишей?

— Дядя Артура. Именно на его деньги мы сейчас

---

[116] Примечания: 116

Кубок слез сирены — аллюзия на шекспировский сонет 119. В сонете говорится о превратностях любви, укрепляющих и обогащающих душу человека. См. также прим. № 125.

устраиваем этот фантастический цирк.

— Но ты думаешь, Артур найдет свою душу в этом браке?

— И Мария тоже. И если хочешь знать, я считаю, что король Артур нашел свою душу — или ее большой кусок — в браке с Гвиневрой, которая тоже была та еще штучка, если верить Мэлори. И наша опера в значительной мере именно об этом. «Артур Британский, или Великодушный рогоносец». Он нашел свою душу.

— А этот Артур тоже великодушный рогоносец?

Даркуру не пришлось отвечать, так как в этот момент вошел врач в белом халате и шапочке:

— Это вы с миссис Маллер?

— Да. Что там?

— Мои соболезнования. Вы отец?

— Нет. Просто друг.

— Там плохо. Ребенок родился мертвым.

— В чем причина?

— Она, кажется, ни разу не показывалась врачу за все время беременности. Иначе мы бы сделали кесарево. Но когда мы обнаружили, что у ребенка слишком большая голова для родового канала, он был уже мертв. Это называется «угнетение плода». Очень жаль, но такое случается. Как я уже

сказал, она вообще не наблюдалась у врача.

— Можно ее видеть?

— Не рекомендуется.

— А она уже знает?

— Она в сумеречном состоянии. Роды были долгие. Утром кто-нибудь должен будет ей сказать. Вы сможете?

— Я могу, — сказала доктор Гунилла, и Даркур был ей благодарен.

2

Утром доктор Даль-Сут пришла в больницу, но нужда сообщать дурную весть уже отпала. У Мейбл был Эл. Мейбл была в истерике.

— Произошла, как говорят англичане, сцена, — рассказывала доктор Даркуру. — Эл, этот мерзкий педант, даже не позаботился выяснить, был ребенок мальчиком или девочкой. А когда Мейбл потребовала, чтобы ей показали ребенка, медсестра объяснила, что это невозможно. Мейбл спросила почему. Потому что тело уже недоступно, сказала медсестра. Почему, спросила разъяренная Мейбл. Потому что никто не попросил выдать тело для похорон, объяснила медсестра. Мейбл поняла. «Вы хотите сказать, что моего ребенка выкинули в мусор?» — спросила она. Медсестра объяснила, что в больнице это называют по-другому и именно так чаще всего поступают с мертворожденными детьми. Но деталей она не сообщила, кроме того, что это был мальчик, совершенно здоровый, если не считать необычно большой головы. Никаких аномалий. Видимо, это у Мейбл в голове аномалия. Ты ее знаешь. Она мягкотелая дура, но такие люди

могут поднять ужасный шум, если их разозлить. Она готова была убить Эла. А он — честное слово, это его надо было выбросить в мусор при рождении! — только твердил: «Успокойся, Лапуля, завтра ты все увидишь в другом свете». Ни нежного слова не сказал, не обнял ее и вообще вел себя так, будто он совершенно ни при чем! Я его выставила и немного поговорила с Мейбл, но ей очень плохо. Что ты намерен делать? Это к тебе, кажется, все бегут, если случилась настоящая беда. Ты пойдешь к Мейбл?

— Наверно, лучше сперва сходить к Элу.

Эл считал, что Мейбл ведет себя совершенно неразумно. Она знает, как он занят и как эта работа важна для его карьеры, то есть для их общей карьеры, если они намерены держаться вместе. Разве он не поехал с ней в больницу и вернулся только после ужина, как прекрасно известно Даркуру? Врач же сказал, что роды могут продлиться несколько часов, потому что с первым ребенком никогда не знаешь. Неужели Эл должен был сидеть там всю ночь? Ведь ему потом целый день работать по заранее намеченному плану, с полной самоотдачей. Если бы не этот несчастный случай — этот мертворожденный ребенок, — все было бы в порядке. А теперь Мейбл отчего-то

скандалит.

Вся беда, объяснил Эл, оттого, что Мейбл так и не поднялась над уровнем своей семьи. Узкий кругозор, не блещут интеллектом — Эл с ними так и не поладил. Все время спрашивали, почему они с Мейбл не поженятся, как будто несколько слов, которые над ними пробормочет… и т. п. Эл думал, что помог Мейбл интеллектуально вырасти, но под влиянием стресса (Эл готов был признать, что потеря ребенка — это стресс) все вернулось на круги своя, и Мейбл снова стала дочерью страхового агента из Фресно. Она хотела, по ее словам, «похоронить ребенка по-человечески». Как будто несколько слов, которые пробормочет и т. п. что-то изменят для существа, которое никогда не жило.

— Буду с вами откровенен. После этой истории стало ясно, что мне с Мейбл не по пути. Надо смотреть правде в глаза: людям с таким разным уровнем образования, как мы — хотя Мейбл, конечно, учится на социолога, — не найти общий язык.

Эл, конечно, хотел бы поступить как порядочный человек. Мейбл рвется домой, к маме. Подумать только! Женщина двадцати двух лет просится к маме! Конечно, Маллеры — очень

дружная семья. Но Элу это не по карману. Его гранта от университета хватает на одного, едва-едва — на двоих, и билет во Фресно подорвет его финансы. Не может ли Даркур уговорить Мейбл подождать пару дней и не очень расстраиваться, а тогда, может быть, она все увидит в другом свете.

Даркур сказал, что рассмотрит вопрос и поступит наилучшим образом.

Это означало, что он позвонил Марии в Торонто и все ей рассказал.

— Я немедленно выезжаю, — ответила она.

Именно Мария забрала Мейбл из больницы, оплатила все счета, поселила ее в гостинице рядом с собой и хорошенько прочистила Элу мозги — их обоих поразило, насколько банальной была ее отповедь и по тону, и по содержанию. Именно Мария отправила Эла в аптеку за молокоотсосом, в котором срочно нуждалась Мейбл. Это был ужаснейший день в жизни Эла. Молокоотсос! Эл запросто мог зайти в аптеку и спросить презервативы. То был эпатаж. Но молокоотсос! Это какой-то апофеоз домовитого мещанства. Когда Мейбл оправилась, именно Мария довезла ее до аэропорта и купила ей билет во Фресно, к маме. Слезливая благодарность Мейбл, которая все

время пыталась говорить с Марией «как женщина с женщиной» или «как несчастная мать со счастливой», была для Марии тяжелым испытанием, но она снесла все без единой насмешки или жалобы — даже в разговорах с Даркуром. Даже постоянные слезливые намеки Мейбл, что судьба благоволит к богачам и преследует бедняков, не вывели Марию из себя. Хоть она и думала при этом, что от такого, пожалуй, молоко в груди свернется.

— Ты вела себя героически, — сказал Даркур. — Ты заслуживаешь награды.

— А я ее и получила, — сказала Мария. — Помнишь, я говорила про новости в деле Кроттеля? Нам сказочно повезло — книга нашлась!

— Но ты же ее выбросила.

— Да. Но то был оригинал — мятая, грязная, исчерканная охапка листов, что оставил Парлабейн. Когда я посылала книгу издателям, один из них подумал, что литературный негр сможет что-то выжать из этого текста. Поэтому он сделал копию — непростительно, конечно, но таковы издатели — и послал своему любимому литературному негру, который ответил, что это безнадежно. Но недавно этот негр послал копию обратно — нашел ее у себя на столе; видимо, он не

отличается литературной аккуратностью. И издатель запоздало поступил как честный человек, то есть отправил ее мне. А я отправила ее Уолли.

— Но ведь Уолли в тюрьме, ждет суда.

— Я знаю. Я послала ее Мервину Гуилту с длинным письмом, полным дразнилок и ехидных латинских цитат. Разрешила ему публиковать книгу — если сможет.

— Мария! Он же тебя теперь по судам затаскает!

— Не затаскает. Я показала письмо Артуру, и он долго смеялся, но потом велел одному из своих юристов все переписать, и получилась сухая нудная бумага. Ни слова по-латыни. С тех пор как адвокаты не знают латыни, они стали гораздо скучнее. В общем, это стопроцентно надежное письмо — в нем мы ничего не признаём и не предоставляем никаких прав, но даем Уолли то, чего он хотел, — «глянуть на книгу маво папки».

— И делу конец.

— Ну, поскольку Уолли дадут не меньше семи лет, точно конец.

— Мария, тебе сам черт ворожит!

Эл не сказал Марии ни слова благодарности. Ему это и в голову не пришло — так он погрузился в свой *Regiebuch;* а если бы и пришло, он бы не

рискнул, ибо от женщины, которая *так* с ним говорила, лучше держаться подальше. В душе Эл был в первую очередь музыковедом. Ведь есть, кажется, опера под названием «Все хорошо, что хорошо кончается»? Он посмотрел в справочнике. Точно, есть такая. Композитор Эдмон Одран. И его лучшая оперетта называлась «La Poupée» — ведь это, кажется, означает «Младенец»?[117] Удивительно, как в человеческой судьбе, и в музыке, и в жизни все переплетается. Поневоле задумаешься.

[117] Примечания: 117

Эл немного путает. У французского композитора Эдмона Одрана (1842–1901) есть оперетта «Жилетта Нарбоннская» (1883), сюжет которой основан на комедии У. Шекспира «Все хорошо, что хорошо кончается» и ее литературном первоисточнике, одной из новелл «Декамерона» Боккаччо. У Одрана есть также оперетта «La Poupée», что, однако, в переводе с французского означает не «Младенец», а «Кукла».

3

Инцидент не помешал работе над оперой. Приготовления к премьере по-прежнему шли полным ходом. Представления пьесы, которая занимала сцену, окончились, и театром полностью завладел Пауэлл с компанией. Декорации подвесили на колосниках; все сорок пять наборов веревок, управляющих декорациями, подогнали по размеру и сбалансировали для удобства. С театрального склада принесли взятые напрокат роскошные занавеси и повесили перед просцениумом, чтобы их можно было подхватить в стороны и вверх в пышной манере девятнадцатого века. Пауэлл потребовал, чтобы на рампе установили нижние софиты, и добился своего. Напрасно Уолдо Харрис утверждал, что такое уже никто не использует.

— Их использовали в театре Гофмана, и они очень льстят внешности дам, — объяснил Пауэлл. — Если свет только сверху, лица дам будут похожи на черепа, а это недопустимо. И снимите эти чертовы прожектора с передней части просцениума — они совершенно не в стиле, и мы без них прекрасно обойдемся. Света с передней

части балкона вполне достаточно.

Пауэлл был намерен, насколько это возможно, превратить маленький театр, принадлежащий Стратфордскому фестивалю, в очаровательный оперный театр начала девятнадцатого века.

— Мы используем эти хорошенькие дверцы, открывающиеся на авансцену, — сказал он Даркуру, — и не будем гасить свет в зале, а только приглушим его — во времена Гофмана зрители сидели при свете, видя своих соседей, и могли болтать или флиртовать, если пьеса им не нравилась. Флирт — прекрасное занятие, надо бы его возродить.

Пауэлл с Далси Рингголд приготовили красивые картуши для украшения маленьких лож рядом со сценой: на одном картуше был герб города, а на другом — провинции, но не в официальном, а в игривом стиле. Они выглядели как изящная алебастровая лепнина, но на самом деле были выпрессованы из того же легкого пластика, что и доспехи Артуровых рыцарей.

Все эти занятия производили много шума, но певцы время от времени поднимались на сцену, орали или визжали в глубины зала и соглашались, что акустика прекрасная. Они пока еще работали в репетиционных под руководством

Уоткина Бурка, который, кажется, перешел на двенадцатичасовой рабочий день.

Труппа сильно оживилась, когда театр перешел в ее полное распоряжение. Возникали дружеские связи, обострялась вражда, звучали тайные насмешки.

Одним из насмешников был Альберт Гринло, чернокожий певец, игравший сэра Пеллинора. Он нашел великую забаву в лице Наткома Прибаха, который был по профессии комедиантом, но отнюдь не считал себя комичным.

— Ты знаешь, что Прибабах получает письма от своей собаки? — спросил Гринло у Винсента Лемойна, другого чернокожего рыцаря. — Я не шучу! От своей собаки! Она, конечно, в Англии, но пишет ему два раза в неделю. Да еще с простонародным акцентом! *«Дарагой хозяин, я потибе ужасно скучаю, но хазяйка говорит, что мы должны крепицо и ходить гулять кажный день, как если б ты был тут. Мой рувматизм стал хужей, но я пью таблетки и заноч встаю всего раза два-три. Хазяйка говорит эта более лучше. Скорей приижай домой в лавровых венках и привизи кучу красивых зеленых косточек. Твой Бобик. Хазяйка присоединяица».* Как ты думаешь, почему собака так изъясняется?

— Это классовый вопрос, — объяснил Уилсон Тинни, исполнитель роли Гэрета Прекраснорукого. — Собака любит хозяина, а он — ее, но социально они не равны. И тем более собака не может стоять выше хозяина. Представьте себе Прибабаха с титулованной собакой. *«Дорогой Прибах, Ваша супруга прекрасно за мной ухаживает в Ваше отсутствие. Я с нетерпением жду двенадцатое августа, когда откроется сезон охоты на куропаток. Примите мои уверения в совершеннейшем почтении не как от пса к хозяину, но как от смиренного друга».* Это совершенно не годится.

— А знаете что? — спросил Винсент Лемойн. — Мне кажется, что эти письма пишет жена Прибабаха! И что собака на самом деле неграмотна!

— Поразительно! — воскликнул Гринло. — Как ты думаешь, Прибабах что-нибудь подозревает?

Некоторая напряженность царила в отношениях между мисс Вирджинией Пул — леди Клариссаной, которая одна из всех женщин-хористок играла именованную роль, — и Гвен Ларкин, сценариусом. Мисс Пул считала, что ей должны дать отдельную грим-уборную, но вместо этого ее поместили («засунули», как она выразилась) вместе со всем хором в большую комнату в под-

вале. Она участвует во всех трех актах, у нее два костюма, и все же Марта Ульман, которая поет Элейну и участвует только в одной сцене, получила собственную грим-уборную на одном этаже со сценой. Если это намеренное оскорбление, чем оно вызвано? А если недосмотр, то не следует ли его немедленно исправить?

Потом Пауэлл с Уолдо Харрисом скандалили в течение целого дня, потому что Пауэлл приказал вырезать в сцене люк и приказ не выполнили. Но если люк прорежут, объяснил Уолдо, он будет вести в оркестровую яму, а не в подвал под сценой. Пауэлл возмутился, что ему не сказали этого раньше. Он хотел, чтобы Мерлин волшебным образом появился на сцене, именно здесь — на авансцене с правой стороны, и мистер Твентимэн уже четыре недели репетирует именно с этим расчетом. Ладно, сказал Уолдо, мы прорежем люк, но тогда придется сократить оркестр на пять человек. Тут вмешалась доктор Даль-Сут, и дело как-то обошлось без кровопролития и без люка.

— Я могу спускаться с колосников на тросе, — предложил Твентимэн. — Мне уже приходилось это делать.

Оливера Твентимэна полюбили все, причем без особых усилий с его стороны. Его преклон-

ный возраст, шарм, а главное — непоколебимая уверенность, что все стараются ему угодить, покорили девиц на побегушках (которым он приносил бельгийский шоколад в хорошеньких пакетиках), убедили Гвен Ларкин, что она обязана грудью защищать его от всяческих невзгод, и заставили Уолдо Харриса принести в гримуборную Твентимэна особое кресло-качалку и маленький обогреватель — на случай внезапных осенних холодов. Взамен мистер Твентимэн снабжал всех советами по наилучшему английскому произношению при пении — Ганс Хольцкнехт слушал его, как прилежный ученик, и даже Клара Интрепиди прислушивалась, хотя старалась не показывать виду. Ей все еще был подозрителен язык, в котором столько гласных.

Дело шло к финальным репетициям, и волнение — тщательно сдерживаемое, как подобает профессионалам, — все росло.

Сцена была почти полностью оккупирована техниками, но Пауэлл выкроил время, чтобы дать актерам привыкнуть к пению в театре. Не всегда в полную силу, как выяснил Даркур: иногда певцы «мазали», то есть пели вполголоса, пропускали высокие ноты или брали на октаву ниже, и вообще звучали так тихо, словно решили

хранить музыку в тайне. Уоткин Бурк творил чудеса на древнем пианино, стоящем на авансцене: он по-прежнему играл с полной оркестровой партитуры и с большой твердостью отражал атаки Эла Крапа, желающего завладеть ею для своих заметок. Гунилла, сильно невзлюбившая Эла, решила, что нот он не увидит, если в ее силах этому помешать. Эл жаловался Пауэллу на трудности, но Пауэлл его не пожалел. Элу так и не удалось заполучить партитуру, и он совсем не обрадовался обещанию, что, может быть, ему что-нибудь дадут, когда начнутся представления.

Группа по связям с общественностью тоже развила бурную деятельность. Она требовала каких-нибудь интересных сплетен для передачи в прессу, которая пока не сильно интересовалась «Артуром». Отчеты из кассы обескураживали: даже на премьеру были проданы не все билеты. Придется раздавать контрамарки. Несколько высокоученых критиков попросили партитуру для ознакомления и обиделись, когда им отказали: Уинтерсен запретил любое распространение нот, пока их не изучат экзаменаторы Шнак. Премьера приближалась, а из кассы сообщали, что на все представления продано лишь около трети билетов. Доктора Даль-Сут это не заботило, но

руководство Стратфордского фестиваля было недовольно.

Даркур, как любитель-энтузиаст, жаждал успеха у публики и страдал, так как успех казался маловероятным. Шла одна из загадочных репетиций вполголоса. Даркур сидел на балконе театра. Вдруг он почувствовал, что за спиной у него кто-то стоит, и уловил знакомый запах. Не то чтобы неприятный, но тяжелый, меховой, как из клетки медведя в зоопарке. Тихий бархатный бас зарокотал ему в ухо:

— Поп Симон, на одно слово.

Он обернулся — над ним склонялся Ерко.

— Поп Симон, я тут все замечал. Смотрел очень внимательно. Все, кажется, идет хорошо, но очень важной части оперы еще не хватает. Вы понимаете, о чем я?

Даркур понятия не имел, о чем говорил цыган, который высился над ним как гора.

— Клака, поп Симон. Где ваша клака? Никто о ней не говорит. Я спрашивал. Я говорил с вашими пиарцами, они и слова такого не знают. Но вы-то, конечно, знаете?

Даркур слыхал слово «клака», но ничего не знал о самом понятии.

— Без клаки — никак. А чего еще вы ждете?

Никто не знает эту оперу. В зале должны быть люди, которые знают оперу сверху донизу. Никто не осмелится хлопать, если не будет знать когда, где и почему. Зрители боятся сделать ошибку, и выглядеть глупо, и опозориться. А теперь слушайте очень внимательно. Я все знаю о том, как устроить клаку. Не я ли годами работал в Венской опере под руководством великого Бончи — он приходился родственником великому тенору с тем же именем, но таким образом, что об этом нельзя было говорить вслух. А я был правой рукой Бончи.

— Ерко, ты говоришь о людях, которые будут хлопать за деньги? Боюсь, нам это совсем не подходит.

— Хлопать за деньги — конечно, не подходит. Это будет не клака, а шумный необученный сброд. Нет, смотрите: клака — это небольшая кучка специалистов; они, конечно, и хлопают тоже, но не как попало; среди них есть *bisseurs*, которые вызывают артистов на бис; *rieurs*, смехачи, которые смеются, когда надо, но не дурацким хохотом, а лишь чуть-чуть, как знающие люди, чтобы и другие начали смеяться; *pleureurs*, плакальщики, которые рыдают, когда нужно; и, конечно, они хлопают — но так, чтобы вдох-

новить других зрителей на аплодисменты, а не просто лупят рука об руку, как пьяные. И все это тщательно организует — и да, дирижирует этим — *capo di claque.* Это я. О деньгах речи нет — это подарок от нас с сестрой нашему дорогому Артуру. Но достаньте мне двенадцать билетов — четыре на балконе, по два с каждой стороны в партере поближе к сцене и четыре в последних двух рядах, посередине. Дело верное. И конечно, два билета для меня и сестры, потому что мы явимся в вечерних костюмах и сядем на лучшие места посреди зала. И дело в шляпе.

— Но, Ерко… Вы, конечно, очень добры, но разве это не обман?

— Разве пиар — обман? Разве стал бы я вас обманывать, друг мой?

— Нет, нет, конечно; но я уверен, что кого-то это да обманет.

— Поп Симон, слушайте. Вы знаете цыганскую пословицу «От лжи зубы белеют»?

— Надо сказать, это очень соблазнительно.

— Вы все устроите.

— Я поговорю с Пауэллом.

— Но ни слова Артуру. Это подарок. Сюрприз.

Даркур поговорил с Пауэллом, и тот был в восторге:

— Точно как в начале девятнадцатого века! Знаешь, он прав. Если зрителям не подсказывать, они в массе своей не будут знать, что им нравится и когда следует хлопать. Клака — именно то, что надо.

Даркур передал Ерко одобрение Пауэлла. Я иду путем Дурака, думал он. И в общем и целом — это весело.

4

А вот в экзамене Шнак не было ничего веселого. Результаты ее экзаменовки влияли на всю труппу — от рабочих сцены, которые считали все мероприятие помпезной нудятиной, до Альберта Гринло, у которого она вызвала, по его словам, мандраж, и Ганса Хольцкнехта с Кларой Интрепиди, которым доктор Гунилла велела выложиться по полной на экзаменационном представлении, не «мазать» и ни в коем случае не беречь голос.

Форма экзамена была необычной. Поторговавшись, экзаменаторы согласились, что экзамен не может проводиться на кафедре музыковедения. Они должны поехать в Стратфорд. Утром в верхнем театральном буфете состоится устный экзамен, а после обеда экзаменационная комиссия увидит представление оперы. «Вам предстоит длинный день», — сказал Уинтерсен. Но ничего не сказал о том, какой день получится у Шнак.

Премьере, назначенной на субботу, должны были предшествовать три генеральные репетиции. Поэтому специально выделенный микроавтобус с семью музыковедами отъехал от здания кафедры музыковедения в среду, без четверти

восемь утра.

— Надо сказать, я нахожу это значительным отступлением от процедуры, — сказал профессор Андреас Пфайфер, «внешний» экзаменатор, важная персона, приглашенная ради такого случая из важного музыкального учебного заведения в Пенсильвании.

— Вы говорите о просмотре представления оперы? — спросил заведующий кафедрой Уинтерсен, который развлекал Пфайфера за ужином накануне вечером и был уже сыт им по горло.

— Об этом я ничего не говорю, — ответил Пфайфер. — Я имею в виду то, что нас подняли в несусветную рань и тащат куда-то в сельскую местность. Я очень плохо спал — думал о том, что нас ждет. Очень трудно сохранять выдержку при таких обстоятельствах.

— Следует признать, что обстоятельства необычные, — заметил Уинтерсен, зажигая первую сигарету за день.

— Возможно, чересчур необычные, — согласился Пфайфер. — Не могли бы вы воздержаться от курения? Это чрезвычайно неприятно в закрытом салоне.

Завкафедрой вышвырнул сигарету в окно.

— Ах, ах! Вы ее не потушили! — воскликнула

профессор Аделаида О'Салливен. — Так и начинаются лесные пожары! Остановите! Я выйду и затопчу ее.

Автобус остановили, профессор О'Салливен выскочила, с риском для жизни пробежала сто метров назад среди потока машин, нашла сигарету, которая сама погасла на асфальте городской улицы, и затоптала ее из принципа. Путешествие начиналось неудачно. Профессор Джордж Купер, плотный англичанин, уже уснул, но профессор Джон Диддир тайно встал на сторону завкафедрой, ибо сам любил курить во время экзаменов, чтобы скоротать время, и понял, что на сей раз ему это не удастся, раз Пфайфер и О'Салливен так явно против. Профессор Франсеско Бергер, экзаменатор с родной кафедры Шнак, попытался сыграть миротворца и рассказал анекдот, но, будучи неумелым рассказчиком, испортил развязку и лишь усугубил положение. Профессор Пенелопа Рейвен, седьмой экзаменатор, засмеялась над скомканным анекдотом. Смех прозвучал чересчур громко; Пфайфер сердито воззрился на Пенелопу и сверлил ее взглядом, пока она не замолчала.

В Стратфорд ехали почти два часа. Все это время водителю пришлось терпеть остерегающие

возгласы Пфайфера, который был пугливым пассажиром.

Наконец экзаменаторы расположились в театральном буфете. Им поставили большой стол, где в изобилии лежали карандаши и блокноты, а также стояли термосы с кофе. Профессор Пфайфер, который кофе не пил, получил бутылку «перье» от Гвен Ларкин, назначившей себя распорядителем мероприятия. Она оставила в буфете трепещущую девицу на побегушках, чтобы та приносила, уносила и выполняла другие приказы экзаменаторов.

Процедура устного экзамена на степень доктора музыковедения не слишком сурова, но может оказаться тяжелой. Шнак, по настоянию Гунилллы напялившая юбку, нервно околачивалась в буфете. Она поздоровалась за руку со всеми экзаменаторами, хотя терпеть не могла рукопожатий. Гунилла представила ее профессору Пфайферу, который четко дал понять, что оказывает Шнак большую честь. Он протянул руку, которой она едва коснулась. Все это походило на ритуал прощения палача перед казнью.

Затем Уинтерсен попросил Шнак спуститься вниз и ждать, пока ее не позовут. Она удалилась под конвоем девицы на побегушках, выступа-

ющей со всей торжественной серьезностью восемнадцати лет. Доктор Гунилла, как научный руководитель, была членом комиссии, а также выполняла функции «друга осужденного» — традиционной должности в военно-полевом суде. Канадцы тепло приветствовали ее, но профессор Пфайфер, у которого было свое мнение о международной репутации доктора, умудрился обдать ее холодом.

Завкафедрой, опытный в такого рода делах, мысленно застонал. Его предупреждали, что Пфайфер — сволочь, но репутация профессора была высока, а значит, приходилось терпеть.

Завкафедрой, в силу своей должности, был председателем экзаменационной комиссии. Он начал по правилам, то есть спросил присутствующих, знакомы ли они друг с другом. Они оказались знакомы (кое-кто — даже слишком хорошо). Он обратил их внимание на три копии партитуры, лежащие на столе перед ними — в справочных целях.

Затем Уинтерсен предоставил слово профессору Андреасу Пфайферу как приглашенному главному экзаменатору.

Профессору Пфайферу понадобился примерно час. Был ясный августовский день, но к тому вре-

мени, как Пфайфер вывалил на слушателей все свое недоверие и отвращение, в комнате воцарился февраль. Профессор Бергер, добродушный человек, симпатизирующий Шнак, воспользовался своей должностью внутреннего главного экзаменатора и умудрился немного сдвинуть календарь обратно, куда-то в конец декабря. Все же в помещении явственно ощущалась послерождественская унылость.

Другие экзаменаторы, вызываемые по очереди, были кратки. Пенни Рейвен заняла не более десяти минут. Она дала понять, что либретто создано ею, и вскользь упомянула о помощи некоего неназванного писателя.

— Я ничего не слышу о Планше, — заметил профессор Пфайфер.

Пенни и Гунилла воззрились на него с холодной ненавистью, но он был непроницаем.

Поскольку шествие пикадоров, приветствие президента, выступление матадоров и прочие церемонии, обычно предшествующие корриде, закончились, настало время привести быка. Уинтерсен кивнул девице на побегушках (уже обратившейся в шекспировского тюремщика), и Шнак снова привели к столу, совершенно убитую двумя часами одиночного беспокойного

ожидания. Ее посадили рядом с завкафедрой и попросили объяснить свой выбор диссертационного проекта и рассказать о методах, которые она применяла, работая над ним. Она рассказала, но очень плохо.

Первым на нее выпустили профессора Пфайфера. Он, невероятно искусный матадор, тридцать пять минут мучил и терзал несчастную Шнак; она, не обладая красноречием и не владея риторикой, по пять минут молчала и собиралась с мыслями перед каждым ответом.

Профессор Пфайфер не скрывал своего разочарования. Бык оказался неуклюжий, не боец, и явно не стоил внимания матадора такого класса.

Но по мере того как пытка продолжалась, Шнак все чаще прибегала к следующему ответу: «Я сделала именно так, потому что я это так услышала». Профессор Пфайфер смотрел на нее с сомнением и раза два презрительно фыркнул, но кое-кто из экзаменаторов, а именно Купер и Диддир, принимались улыбаться и кивать, потому что и сами понемногу сочиняли музыку.

Доктор Даль-Сут время от времени вмешивалась. Но Пфайфер заткнул ей рот словами: «Я не позволю себе думать, что научный руководитель соискателя принимал чересчур активное участие

в собственно работе над композицией: это было бы абсолютно неприемлемо». Доктор Гунилла надулась, но с тех пор тактично хранила молчание.

Наконец завкафедрой, несколько раз подчеркнуто взглянув на часы, дал понять, что Пфайферу пора заканчивать допрос. Настала очередь доктора Франсеско Бергера; он был так добродушен, так старался успокоить Шнак, так обильно хвалил ее работу, что чуть все не испортил. Коллеги доктора Бергера боялись, что он хватит через край. Когда настало их время задавать вопросы, они были кратки и милосердны.

Но Джордж Купер, продремавший почти все время, спросил:

— Я заметил, что в важные моменты оперы вы использовали тональности, которые, скажем так, не первыми приходят в голову композитору. Ля-бемоль мажор, до-бемоль мажор, ми-бемоль мажор — почему именно они?

— Это любимые тональности ЭТАГ, — ответила Шнак. — У него была теория о тональностях и их особом характере, о том, что с ними связано.

— ЭТАГ? Кто такой ЭТАГ? — спросил профессор Пфайфер.

— Извините. Эрнст Теодор Амадей Гофман; я привыкла мысленно называть его ЭТАГ, — объ-

яснила она.

— Вы хотите сказать, что идентифицируете себя с ним?

— Ну, раз я работаю по его заметкам и пытаюсь понять, как он думал…

Профессор Пфайфер помолчал, издав носом презрительный звук. Потом сказал:

— Эти теории о характере тональностей были в большой моде во времена Гофмана. Конечно, все это романтическая чепуха.

— Чепуха или нет, но нам следует узнать об этом поподробнее. Что он думал об этих тональностях?

— Ну… Он писал про ля-бемоль мажор: «Эти аккорды уносят меня в страну тоски по несбыточному». И про до-бемоль мажор: «Он впивается мне в сердце раскаленными когтями». Он называл эту тональность «мрачный призрак с красными горящими очами». А ми-бемоль мажор он часто использовал вместе с рожками: он называл это «тоскующие и сладкие звуки».

— Он ведь принимал наркотики? — осведомился профессор Пфайфер.

— Не думаю. Он много пил, иногда почти до белой горячки.

— Я не удивлен, раз он нес такую чепуху про

характеры тональностей, — заявил Пфайфер и намерен был оставить эту тему.

Но Шнак не успокоилась:

— Но если он так думал, разве мне не следует уважать его идеи? Раз я заканчиваю его оперу и все такое?

Теперь уже профессор Диддир издал носом звук, словно намекая, что профессора Пфайфера застали врасплох.

— Надо полагать, свое избыточное увлечение модуляцией вы объясните тем, что Гофман обожал Бетховена.

— Гофман обожал Бетховена, и Бетховен был высокого мнения о Гофмане.

— Надо полагать, — заметил великий музыковед. — Вам, юная дама, следовало бы помнить, что думал о Гофмане Берлиоз: «писатель, мнящий себя композитором». Но вы решили потратить много сил на эту второстепенную фигуру, отчего мы и собрались сегодня здесь.

— Возможно, для того, чтобы доказать: Берлиоз мог ошибаться, — вмешалась доктор Гунилла. — Он частенько выставлял себя дураком, как это вечно бывает с музыкальными критиками.

Она знала, что доктор Пфайфер написал эссе о Берлиозе, оценив его на семьдесят из ста — боль-

ше Пфайфер не давал никому и никогда. Если Берлиоза можно использовать как палку, чтобы побить Пфайфера, тем лучше.

Был уже час дня.

— Дамы и господа, напоминаю вам, что наша утренняя работа — лишь часть этого необычного экзамена, — произнес завкафедрой. — Мы снова соберемся в два часа в театре, чтобы прослушать закрытое представление оперы с мисс Шнакенбург в качестве дирижера. Ваше решение будет частично основано на результатах этого прослушивания. Как говорится, чтобы доказать, что пудинг съедобен, надо его съесть. А пока что Фонд Корниша пригласил нас на обед, и мы уже опаздываем.

Профессору Пфайферу не понравилась идея обеда за счет Фонда Корниша.

— Ведь они заинтересованы в исходе, — сказал он Уинтерсену. — Разве соискательница не их протеже? Мне неприятно задавать такой вопрос, но не пытаются ли они нас купить?

— Я думаю, они пытаются проявить порядочность и гостеприимство, — ответил завкафедрой. — Как вы знаете, для гостеприимства нужно участие двух сторон. Римляне весьма мудро использовали для понятий «гость» и «хозяин» одно

и то же слово.

Пфайфер его не понял и покачал головой.

Обед проходил в лучшем ресторане Стратфорда — маленьком заведении у реки. Артур и Мария сделали все, чтобы угодить экзаменаторам. С Бергером, Купером, Диддиром и Пенни Рейвен это было легко. То же — с завкафедрой и даже с профессором Аделаидой О'Салливен, которая испытывала предубеждение только против табака. Однако профессор Пфайфер и доктор Даль-Сут отбросили внешнюю учтивость, подобающую на экзамене, и сцепились как кошка с собакой.

— Я совершенно не согласен с процедурой, то есть с прослушиванием представления, — сказал Пфайфер. — Это вносит элементы, излишние для нашего решения.

— Вам все равно, эффектно ли смотрится опера на сцене?

— Меня интересует лишь, насколько эффектно она смотрится на бумаге. Я согласен с покойным Эрнестом Ньюменом: великая партитура полностью проявляется, когда ее читаешь в тишине своего кабинета, а не когда сидишь среди толпы, терпя ошибки оркестра и певцов.

— Вы хотите сказать, что лучше воспроизведете оперу у себя в голове, чем сто музыкантов

высокого класса в театре?

— Я способен прочитать оперную партитуру.

— Лучше, чем, скажем, фон Караян? Чем Хайтинк? Чем Колин Дэвис?

— Я не понимаю цели ваших вопросов.

— Я пытаюсь оценить всю степень вашего величия, чтобы проявить должное уважение. Я тоже способна прочитать оперную партитуру. Я славлюсь этой способностью. Но все равно лучше, когда я взмахиваю палочкой и сто двадцать музыкантов принимаются за работу. Я одна не заменяю оперную труппу и оркестр.

— Да? Вы, возможно, и не заменяете, а я заменяю. Нет, я не пью вина. Стакан «перье», пожалуйста.

Алкоголь, не выпитый профессором Пфайфером, с лихвой компенсировали остальные. За утро у них пересохло в горле. За время обеда все, кроме Пфайфера, пришли в отличное настроение; профессор Джордж Купер обнаружил склонность налетать на столы и смеяться над своей неловкостью. В конце концов, под профессорскими мантиями скрывались музыканты; хорошо накрытый стол был частью их стихии. Все поблагодарили Артура и Марию так горячо, что Пфайфер заподозрил худшее. Но его им не

удалось подкупить! Отнюдь!

5

В ряду грим-уборных на уровне сцены первой шла каморка, предназначенная для дирижера (когда он был) или быстрого переодевания при необходимости. Сейчас тут сидела Шнак, отчаявшаяся и одинокая. Ее и раньше отвергали — например, тот парень, который сказал, что с ней спать все равно что с велосипедом. Ей знакомо было одиночество человека, покинувшего дом и родителей. Она знала, как горько быть одиночкой, никуда не вписываться, — она была еще слишком молода и незначительна, чтобы носить свое одиночество как орден. Но так она еще никогда не страдала — сейчас, когда ей как музыканту предстояло сделать огромный шаг вперед.

Она знала, что не провалится. Франсеско Бергер уже несколько недель как объяснил ей, что экзамен — лишь ритуал, церемония, необходимая в научной среде; факультет музыковедения не допускает соискателей к экзамену, не будучи уверен в успехе как минимум на девяносто пять процентов. Экзамен был либо последним и самым тяжелым испытанием студенческой жизни, либо первым и самым легким из испытаний жизни

профессиональной. Шнак нечего было бояться.

Но она все равно боялась. До этого ей доводилось дирижировать лишь студенческим оркестром, сборищем вздорных неопытных школяров. Профессиональный оркестр — нечто совершенно иное. Мастера своего дела — как старые кони, которые борозды не испортят; они повидали всяких наездников и были намерены делать по возможности то, что считают нужным. О, конечно, они не провалят представление: они — истинные музыканты. Но они будут отставать от темпа, вступать не вовремя, фразировать кое-как; они не потерпят, чтобы ими командовала какая-то соплячка. На всех публичных представлениях должна была дирижировать Гунилла, разве что она смилостивится над Шнак и отдаст ей пару представлений в будни. Гунилла умела добиваться нужного от оркестра, и музыканты уважали ее острый язык — она умела профессионально отчехвостить, не переходя на личности. Как это она вчера сказала арфисту? «Арпеджио должно быть намеренным, как жемчужины, которые одну за другой роняют в вино, а не случайным, будто баба поскользнулась на банановой кожуре». Не Оскар Уайльд, но для репетиции сойдет. Гунилла учила Шнак дирижировать, дала ей провести

полную репетицию оркестра, сама делала пометки а потом целый час разбирала их со Шнак. Но сегодня, взмахнув палочкой, Шнак останется одна. И старый козел Пфайфер будет наблюдать за каждым ее движением.

Сидеть в уборной было невыносимо. Шнак вышла и забрела на сцену, где готовились к увертюре. Сцену озарял лишь свет одной голой лампочки высоко на колосниках; вид был унылый, как всегда бывает с неосвещенной сценой. Снизу, из-под спиральной конструкции из валиков, имитирующих набегающие волны озера, доносились голоса: Уолдо Харрис, Далси и Гвен Ларкин спорили с Герантом.

— Они прекрасно работают, но слишком скрипят, — говорил Уолдо. — Но вы же не согласитесь их совсем убрать? Наверно, мы бы могли что-нибудь придумать, чтобы изобразить волны на озере.

— О нет! — воскликнула Далси. — Я обожаю эту конструкцию, она полностью соответствует тому, как это делали в тысяча восемьсот двадцатом году.

— Они обошлись в целое состояние, — сказал Уолдо. — Просто жалко будет их выбросить.

— Но что делать? — спросил Герант.

— Придется разобрать три валика и покрыть резиной трущиеся части. Этого, наверно, хватит.

— Сколько времени это займет? — спросил Герант.

— Не меньше часа.

— Тогда потратьте час и сделайте. Чтобы сегодня после обеда уже было готово.

— Не можем, — сказала Гвен Ларкин. — Занавес должен подняться ровно в два. Сегодня экзаменовка Шнак, ты забыл?

— И что с того? За час никто не умрет.

— Судя по тому, что было сегодня утром, нельзя, чтобы они ждали целый час. Они разозлятся, особенно этот сварливый старик. Мы не можем осложнять Шнак экзамен.

— Чертова Шнак! Противная малявка. От нее одни проблемы!

— Герант, не вредничай. Дай девочке шанс.

— По-твоему, ее шанс важнее моей постановки?

— Да, Герант, с этой минуты и до половины четвертого ее шанс важнее всего на свете. Ты это сам вчера говорил всей труппе.

— Ты же знаешь, я говорю то, чего требует момент.

— Ну так вот, сейчас момент требует, чтобы мы

оставили эти ролики в покое. Потом все сделаем.

— Это женская солидарность. Господи, как я ненавижу женщин!

— Можешь меня ненавидеть, дело твое, — сказала Гвен. — Но пойди навстречу Шнак. Потом будешь ее ненавидеть сколько хочешь.

— Гвен права, — сказал Уолдо. — Я сказал «час», но вполне может выйти и два. Давайте пока это оставим.

— *O Jesu mawr! O anwy! Crist!*[118] Как хотите!

Судя по звукам, Герант ушел весьма недовольный.

— Не переживайте! Нам только сцену появления меча отыграть! На сегодня сойдет! — крикнул Уолдо, но Герант не ответил, а значит, не смягчился.

Шнак отправилась в туалет и вытошнила в унитаз съеденный сэндвич и выпитый кофе. Обед превратился в желчь у нее в желудке. Она обтерла лицо, умылась холодной водой, вернулась к себе в грим-уборную и стала смотреться в зеркало. Чертова Шнак. Противная малявка. Герант, конечно, прав.

Он меня никогда не полюбит. Не за что. Я люб-

---

[118] Примечания: 118
Господи Исусе! Боже милостивый! *(валл.)*

лю Геранта еще больше, чем Ниллу, а он меня ненавидит. Еще бы! Коротышка. Тощая. Волосы ужасные. Морда крысиная. А ноги! Зачем Нилла велела мне надеть черный жакет и эту белую блузку? Конечно, он меня терпеть не может. Я просто жуткая уродина. Почему я не похожа на Ниллу? Или на эту Марию Корниш? За что Бог меня так не любит?

В дверь постучали, и заглянула девица на побегушках (самая хорошенькая).

— Шнак, пятнадцать минут, — сказала она. — Мы все за тебя болеем. Все девочки будут тебя ругать.

Шнак огрызнулась, и девица исчезла.

Следующие пятнадцать минут Шнак твердила себе, более или менее повторяясь, как она себя ненавидит. Ее опять позвали — на сей раз через дверь, и она пошла вниз, через сценический подвал на сцену и в оркестровую яму. Вот они сидят — тридцать два негодяя, сговорившиеся ее уничтожить. Они ей мило кивали; концертмейстер и Уоткин Бурк, сидевший у клавесина, шепнули: «Ни пуха».

Нилла велела, если при выходе Шнак на дирижерское место будут аплодисменты, развернуться и поклониться. Никто не хлопал, но краем глаза

Шнак увидела, что семь экзаменаторов расположились там и сям в зрительном зале, а в первом ряду, прямо у нее за спиной, с полной партитурой на коленях и фонариком в руке, сидит ненавистный Пфайфер. Ну и место выбрал, подумала она.

Загорелась и погасла красная лампочка сценариуса, и тут же медленно и мрачно моргнула, как глаз морского чудовища, диафрагма телекамеры, стоящей прямо перед дирижерским местом и призванной передавать каждое движение Шнак на мониторы в глубине сцены — для режиссера, хора и разных звуковых эффектов за сценой.

Шнак постучала по пюпитру, подняла палочку — личную палочку Гуниллы, сделанную на заказ и, видимо, врученную ей сегодня в качестве талисмана, — взмахнула, и первый таинственный аккорд увертюры окатил ее как волна.

Оркестр, понимая, что она трусит, но ничего не зная о ее ненависти, играл хорошо. Пятнадцать тактов в медленном темпе, и занавес поднялся, открывая Волшебное озеро. Перед ним стояли Оливер Твентимэн в роскошном одеянии Мерлина и Ганс Хольцкнехт в доспехах и плаще Артура. Мерлин обратился с заклинанием к волнам, и — чуточку не вовремя — великий меч Калибурн поднялся над недвижными водами. Артур схва-

тил его, и магия меча ожила. Все вроде бы шло хорошо, но тут Шнак постучали — почти ударили — по спине, а когда она не отреагировала, раздался громкий свист, и голос профессора Пфайфера завопил:

— Стоп! Стоп! Повторите с буквы «D», пожалуйста!

Шнак уронила палочку, музыка смолкла.

— Что случилось? — спросил голос Уинтерсена.

— Я хочу прослушать заново с буквы «D». Они играют не то, что написано в партитуре.

— Мы внесли небольшое изменение на репетиции, — сказал голос Гуниллы. — Добавление в деревянных духовых.

— Я говорю с дирижером, — отрезал Пфайфер. — Если вы внесли изменение, почему оно не отражено в представленной партитуре? Повторите, пожалуйста, с буквы «D».

Так что музыку повторили с буквы «D». Хольцкнехт, в начале довольный своим выступлением, совсем не обрадовался неожиданному бисированию. Оливер Твентимэн одарил профессора Пфайфера чарующей улыбкой через рампу, словно снисходя к капризу ребенка, и профессору это не понравилось.

Однако спорный кусок повторили, и все шло хорошо до конца увертюры. Ее показывали через сетчатый прозрачный занавес, для таинственности; когда его стали поднимать, он не послушался, но зацепился за переднюю правую кулису, и раздался ужасный треск рвущейся материи. Занавес перестали поднимать, и сбоку сцены появились Гвен Ларкин и крупный мужчина с длинным шестом. Мужчина отцепил занавес от помехи. Это не напугало ни рабочих сцены, ни певцов, привыкших к подобным накладкам, но обдало холодом сердце Шнак, уверенной, что безжалостный враг и это поставит ей в минус.

Когда Герант потом дико кричал, что это представление было подобно «Вечеру в опере»[119] братьев Маркс, он преувеличивал. Конечно, число различных неполадок явно превысило средний уровень. Но больше всего представлению мешал профессор Пфайфер, который потребовал в общей сложности семи повторений на том — вполне истинном — основании, что музыка не совсем соответствует нотам, присланным ему три недели назад. Когда он не свистел сквозь зубы — громко, как полицейский, — требуя остановить

[119] Примечания: 119

«Вечер в опере» — музыкальная кинокомедия 1935 г. с участием знаменитых комиков братьев Маркс.

представление, то слышно бормотал, жалуясь на недостаток света, мешающий делать пометки. В результате опера вместо рассчитанных двух с половиной часов, не считая антракта, заняла много больше четырех; певцы пали духом и пели не лучшим образом. Лишь крепкие профессионалы в оркестре невозмутимо пилили, дудели и теребили струны все четыре часа — и неплохо, учитывая обстоятельства.

Шесть из семи экзаменаторов сдались задолго до конца репетиции. Они услышали вполне достаточно, услышанное им понравилось, они съели вкусный обед и готовы были закруглиться и вернуться домой. Но профессор Пфайфер не отрывался от партитуры; он, кажется, ни разу не поднял глаз на сцену и явно злился, когда действие прерывалось из-за каких-нибудь технических проблем. Поэтому никто не заметил, что последней сценой дирижировала не Шнак, а Уоткин Бурк прямо из-за клавикордов. Шнак пропала; в оркестре подумали, что ей стало плохо, и совершенно не удивились.

Но даже они удивились, когда через пожарный выход с правой стороны зрительного зала донеслась сирена; из двери на просцениуме появилась Гвен Ларкин, соскочила со сцены, ринулась к

пожарному выходу, открыла его и впустила четырех человек с носилками; они пробежали мимо сцены, оттоптав ноги профессору Пфайферу, и исчезли в служебной двери с левой стороны. Музыка продолжала звучать, хоть и запинаясь, пока, еще через несколько секунд, те же четверо не появились снова, таща носилки, на которых лежало накрытое одеялом тело Шнак. Сцена в это время заполнилась людьми — актеры в костюмах, несколько техников, девицы на побегушках, Артур и Мария во главе с Пауэллом сбились в кучу у рампы. Шнак пронесли перед ними — Даркуру, сидящему в темной глубине зала, подумалось, что они смотрят словно со стен артуровской крепости, но их изумление и горе были вовсе не театральными, а настоящими, смешанными с ужасом. Небольшая процессия достигла двери, носилки исчезли, и сирена «скорой помощи» затихла вдали.

Конечно, поднялся шум — такой, как бывает только в театре при непредвиденном повороте событий. Что такое? Почему? Что случилось? Что делать?

Уолдо Харрис призвал всех к порядку и объяснил, что произошло. Когда Шнак не появилась на дирижерском месте в начале последней сце-

ны, одна из девиц на побегушках отправилась посмотреть, что случилось, не нашла Шнак в ее комнате и заглянула в дамский туалет. Шнак лежала там на полу без сознания.

Неужели она пыталась покончить с собой? Никто не знал, и нельзя было так думать, пока врачи не скажут точно, что произошло. Мисс Интрепиди объявила: если это самоубийство, то она лично не удивлена, принимая во внимание, как с бедной девочкой обращались весь день. Вокруг мисс Интрепиди немедленно собрались единомышленники и принялись роптать на профессора Пфайфера, который об этом не знал и не обращал внимания. Ему не терпелось продолжить экзамен.

— Это прискорбно, но, может быть, не критично, — заявил он. — Мы можем удалиться на совещание и потом принять решение. У меня множество вопросов, особенно по либретто. Где мы можем уединиться?

— Но мы не можем продолжать экзамен в отсутствие соискателя, — сказала Пенелопа Рейвен.

— Мы уже наэкзаменовались до тошноты, — вмешался Джордж Купер. — Давайте присвоим ей ученую степень, и дело с концом.

— Присвоим ей ученую степень, когда мы

еще не получили ответов на важнейшие вопросы? — возмутился Пфайфер. — Я отнюдь не удовлетворен.

— Следует признать, что обстоятельства необычные, — сказал Уинтерсен. — Нельзя сказать, что мы подошли к делу безответственно. Мы уже целый день потратили. Я уверен, мы можем прийти к согласию.

— Я согласен! Выдвигаю предложение: счесть представленную работу и обязательное сценическое исполнение достаточными для присвоения степени, — сказал Франсеско Бергер.

— Извините! Это моя привилегия как внешнего экзаменатора! — воскликнул профессор Пфайфер.

— Ну тогда, ради бога, воспользуйтесь ею, — огрызнулся Купер. — Это нелепо! Девушка, может быть, мертва или умирает.

— Я прекрасно понимаю, что соображения гуманности могут кое-кого подталкивать к поспешному решению. Но, по моему опыту, подобные соображения редко бывают рациональными. Мне хотелось бы провести этот экзамен надлежащим образом; я считаю, что следует отложить решение на неделю и за это время прослушать еще как минимум два представления.

— Извините, но я вынужден употребить свою власть, — вмешался Уинтерсен. — Я не могу выполнить ваше требование, профессор. Давайте голосовать. Я буду вызывать по алфавиту. Профессор Бергер?

Шесть экзаменаторов проголосовали за присвоение ученой степени, профессор Пфайфер воздержался, а завкафедрой не воспользовался своим правом голоса. Экзамен кончился. Шнак, живая или мертвая, отныне получала степень доктора музыковедения.

Корниши перехватили бразды правления. Даркура попросили отвести экзаменаторов на ужин, поскольку экзамен так сильно затянулся. Гунилла заявила, что немедленно едет в больницу вместе с Артуром и Марией. Профессор Пфайфер сказал, что не нуждается в ужине, но это никого не обмануло. Певцов, взволнованных трагедией, разогнали по гримерным.

Герант призвал к себе Уолдо и Гвен и принялся разбирать с ними длинный список пометок, которые он сделал сегодня в ходе того, что для него было длинной и полной докучных задержек репетицией. Он сказал, что тоже начнет переживать, но только тогда, когда все будет отлажено до мелочи, как в швейцарских часах.

6

«Что подумал бы первый встречный, окажись он в этой комнате?» — спросил себя Даркур. Красивая молодая мать сидит в тусклом свете единственной лампы и кормит грудью ребенка; надетый на ней длинный халат может относиться к любой эпохе за последние две тысячи лет. В комнате две очень большие кровати; на первой под тяжелым покрывалом лежат две женщины, одна средних лет, с изысканными чертами лица, похожая на хищную птицу, другая — хорошенькая, с озорными темными глазами. Старшая женщина обняла свою спутницу и поглаживает ей шею. На второй кровати лежу я сам, полностью одетый, но без обуви, а рядом со мной — мужчина великой красоты, от которого бьет ощутимой энергией; его рубаха с расстегнутым воротом и длинные темные кудри могут относиться к любой эпохе за последние двести пятьдесят лет. Мы с ним тоже прикрыты покрывалом — августовская ночь прохладна, — но нас не связывает влечение. В комнате есть еще один человек: он стоит у комода, превращенного в импровизированный и весьма хорошо снабженный запасами бар.

А сама комната? Она похожа на фахверковый дом, словно перенесенный из Стратфорда-на-Эйвоне или графства Глостер, но вывернутый наизнанку. Темные балки поддерживают неровную белую штукатурку. Безусловно, такое оформление призвано напоминать о Шекспировском фестивале, главной славе этого города.

Это — номер Артура и Марии в мотеле, где они более или менее жили последние три недели, наблюдая — насколько им позволили — окончательные приготовления к премьере «Артура Британского». В этой комнате они принимают Гуниллу, Далси Рингголд, Геранта и меня. Сейчас десять вечера. Мы собрались, чтобы поговорить о странном поведении Хюльды — отныне и навеки доктора Хюльды — Шнакенбург, которую несколько часов назад увезли в больницу прямо с экзамена.

Пожалуй, случайный прохожий счел бы эту сцену странной. Смесь домашних забот и гостевых развлечений. Или подумал бы, что это люди с вывертами собрались для группового секса.

— Она поправится, — сказал Артур, передавая Гунилле очередной стакан крепкого виски. — Но когда она вернется, ей будет перед нами стыдно. Врачи сказали, что подержат ее еще пару дней.

Ее желудочный тракт подвергся, как они выразились, серьезной атаке. Они промыли ей желудок.

— Дурочка, — заметила Гунилла. — Почти сто таблеток аспирина и полбутылки джина. С чего она взяла, что от этого можно умереть?

— Она не собиралась умирать, — возразил Артур. — Это, как теперь модно говорить, крик о помощи.

— Вы зря не воспринимаете ее всерьез, — сказала Гунилла. — Она, без сомнения, хотела себя убить. Ей, как многим самоубийцам, не хватило знаний.

— Но согласитесь, она устроила очень эффектную сцену, — заметила Далси. — Она меня тронула. Я плакала в три ручья, не стыжусь признаться.

— Она видела себя в роли Элейны, Лилейной девы из Астолата, — сказала Мария. — Умирающей от любви к изменнику Ланселоту. Хюльда очень многому научилась, работая над оперой, даже помимо музыки. Она хотела, чтобы Герант почувствовал себя последним подонком, точно как Элейна поступила с Ланселотом. Дэви, радость моя, давай-ка на другую сторону.

Она переложила ребенка к другой груди.

— А что, все дети так чавкают, когда сосут

грудь? — спросил Герант.

— Это очень приятное чавканье, а ты не задавай нахальных вопросов. Помни, что ты в опале.

— Черт меня побери, если я в опале, — сказал Герант. — Я тут ни при чем. И мириться с этим не собираюсь.

— А придется, — сказала Далси. — Конечно, это несправедливо, но кто ты такой, чтобы избежать вселенской несправедливости? Это как раз один из тех случаев, когда женская партия выигрывает великий поединок. Ты презрел ее любовь — видит бог, достаточно очевидную, — и она пыталась себя убить. Так что ты в опале. Герант Пауэлл, сердцеед, ты покрыл себя позором не менее чем на две недели.

— Херня!

— Грубость не идет мужчине в твоем положении. Ты назначен «надменным, галантным, веселым Лотарио»,[120] и, если у тебя есть хоть какое-то чувство сюжета, ты отыграешь эту роль до конца.

— Неужели все против меня? Сим-бах, скажи

---

[120] Примечания: 120

«Надменный, галантный, веселый Лотарио» — вошедший в поговорку литературный образ бессовестного соблазнителя. Приведена цитата из пьесы английского драматурга Николаса Роу (1674–1718) «Прекрасная грешница» (The Fair Penitent). Соблазнитель по имени Лотарио упоминается также в «Дон Кихоте» Сервантеса.

хоть несколько красноречивых слов в мою защиту. В чем я виноват?

— Ну, если уж совсем по-честному и по справедливости, я видел, как ты ей провокационно улыбался.

— Я всем улыбаюсь, особенно если при этом ничего не имею в виду. Это всего лишь бессмысленная гримаса вежливости. Возможно, я порой улыбался и Шнак, когда она путалась у меня под ногами. Клянусь душой моей дорогой матери, ныне подпевающей прекрасным меццо-сопрано в небесном хоре, что ровным счетом ничего не имел в виду. Я и тебе улыбался, Нилла, и тебе, Далси, и, Бог свидетель, при этом я ничего не добивался от вас, ужасных жеребил.

— Жеребил! — возмутилась Гунилла. — Как ты смеешь меня… нас так обзывать! Ты хам, Герант!

— Да, ужасный хам, правда, Нилла? «Она была чиста, ужасный хам, // Она тебя любила, хам жестокий…»[121] Шекспир, применительно к ситуации.

Далси наслаждалась этим разговором. Ею владели негодование и шотландский виски.

— Она меня не любила, даже если думала, что

---

[121] Примечания: 121

Слегка видоизмененная цитата из пьесы У. Шекспира «Отелло». Пер. Б. Пастернака.

любит.

— Это одно и то же.

— Боюсь, что так, — согласился Даркур. — Бедняжка Шнак впала в великое заблуждение, свойственное влюбленным безумцам. Она думала, что своей любовью может возбудить ответную любовь. Раз в жизни такое бывает с каждым. Я говорю как голос холодного разума.

— И ты жестоко игнорировал ее, — продолжил Артур. — Герант, ты в опале.

— Думаю, мне следует сделать заявление, — сказал Герант. — То, что я сейчас скажу, проистекает не из тщеславия, но из горького опыта. Слушайте меня, все. С тех самых пор, как я был пригожим отроком, женщины в меня упорно влюблялись. Насколько мне известно, к этому имеет какое-то отношение химия. Ну и то, что я абсурдно красив (скажу без ложной скромности). Что мне это дало? Лишь неприятности. Но виноват ли я? Я отказываюсь признать себя виновным. Разве красивые женщины виноваты, что мужчины в них влюбляются? Разве виновата Мария, что все, кто ее видит, влюбляются в нее или по меньшей мере вожделеют? Готов спорить, что даже Сим-бах, старая кочерыжка, влюблен в Марию. Но разве Мария виновата? Это настолько смешно, что

даже слов не стоит. Так чем же виноват я, если Шнак, эмоционально недоразвитая и перекореженная, вбила себе в голову какую-то глупость? Красота помогла мне достичь успеха на сцене, и мне это уже до чертиков надоело. Потому я и хочу перейти из актеров в режиссеры. Мне неприятно, когда на меня пялится, пуская слюни, целый зал голодных самок. Я слишком умен, чтобы ценить подобное поклонение, причина которому — лишь Одеяние Ада, моя физическая оболочка. Я скоро вступлю в средний возраст, когда красота сменится достоинством зрелости. У меня хромая нога. Так что, может быть, я смогу хоть век свой дожить спокойно.

— Я бы на твоем месте на это не рассчитывал, — сказал Артур. — Ты должен нести свой крест. Может, красота твоя и уходит, но химия-то булькает по-прежнему. Но мы отвлеклись от главного. То есть от Шнак. Что ты намерен делать со Шнак?

— А почему я должен с ней что-то делать? Я не собираюсь ее поощрять, если ты об этом. Она противна, как дохлая креветка. И не только потому, что некрасива. Ее голос терзает меня, подобно ржавой пиле, а ее убогий словарь причиняет мне огромные страдания. Пусть меня заставят

обходиться без красоты, но роскошь языка нужна мне как воздух. Мало того, что она безобразна на вид. Она и звучит безобразно, и я не желаю иметь с ней ничего общего.

— Ты придаешь ненормально большое значение голосу, — заметила Мария.

— Потому что голоса очень важны, а про них обычно забывают. Взять хоть тебя, Мария: стоит тебе открыть рот, и раздается музыка. Но большинство женщин даже не знают, что такое возможно. Это одна из трех великих примет красоты. Она полностью меняет лицо. Если Медуза будет говорить как богиня, ее не отличить от Минервы.

— Как это по-валлийски! — сказала Далси.

— Думаю, в этом нет ничего плохого, — отпарировал Герант.

— Ну хватит, пышечка моя, — сказала Мария, приложила маленького Дэви к своему плечу и потерла ему спинку; ребенок громко, прямо-таки по-богатырски рыгнул.

— Похоже, вырастет моряком, — заметил Артур.

— Или великим финансистом, в папочку, — сказала Мария. — Позови няню, дорогой.

Пришла няня — не стереотипная плотно-

краснощекая баба, но девушка лет двадцати с небольшим, в элегантном синем форменном платье: Дэвид был ее первым воспитанником.

— Идем, ягненочек мой, — сказала она с шотландским выговором, при первых звуках которого Герант одобрительно глянул на нее. — Пора в постельку.

Она забрала ребенка, который на сей раз громко, раскатисто пукнул.

— Вот молодец, — сказала няня.

— Дэвид умнее вас всех, — заявил Герант. — Он подытожил весь наш спор одной мастерской репликой. И давайте больше к этой теме не возвращаться.

— Придется, — сказала Мария. — Не отвертишься. Пускай ты и не поощрял Шнак, но ты должен ее утешить. Логика ясна, но объяснять ее словами слишком долго.

— Я раньше прикрою представление, — сказал Герант, выбрался из-под тяжелого покрывала и вышел, громко топая. Хлопать дверью он не стал, видимо избегая банальности.

Остальные долго жевали насущный вопрос, решая, кто прав и кто не прав, пока Даркур не заснул. В полночь они разошлись по своим комнатам. Большой мотель был набит людьми, так

или иначе связанными с постановкой «Артура», и Альберт Гринло упорно именовал его Камелотом. Интересно, в Камелоте ходило много сплетен про Ланселота и Элейну? Мэлори об этом умалчивает.

7

Назавтра, как только в больницу начали пускать, Герант явился к Шнак. Она лежала в палате на двоих, но, по счастью, вторая койка пустовала. Шнак сидела на кровати, измученная и бледная, в больничном халате, когда-то голубом, а теперь — жалко-сером. Она ела желе оранжевого цвета и запивала гоголь-моголем.

— Такое дело, старушка, — сказал Герант. — Не повезло. Ты не виновата, и я тоже. Судьба.

— Я вела себя как эгоистичное говно, и теперь всем за меня стыдно, — сказала Шнак. Слезы ее не красили.

— Неправда. И то и другое неправда. И пожалуйста, перестань ругаться: кто все время грязно ругается, у того и жизнь будет грязная.

— Моя жизнь — говно. Всё против меня.

— Миссис Гаммидж![122]

— Кто это такая?

— Если будешь хорошей девочкой и быстро

---

[122] Примечания: 122

Миссис Гаммидж — персонаж романа Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд». «Все против меня» — ее постоянная жалоба. (Использован перевод А. Кривцовой и Е. Ланна.)

поправишься, я дам тебе книжку про нее.

— О, так она из книжки. Все вы, и Нилла, и Корниши, и этот Даркур, — все вы живете книжками. Как будто там всё есть!

— Понимаешь, там и вправду почти всё есть. Нет, не так. Мы узнаём в книгах то, что уже видели в жизни. Но если будешь читать книги, то сможешь набраться кое-какого опыта и тебе не обязательно будет испытывать каждый удар на собственной шкуре. Ты кое-что сможешь предугадать наперед. Например, в любви. Ты думала, что любишь меня.

Шнак болезненно взвыла.

— Ну хорошо, ты до сих пор так думаешь. Ну-ка, скажи. Скажи: «Я люблю тебя, Герант!»

Шнак опять взвыла.

— Ну-ка, давай. Выкладывай!

— Я скорей умру.

— Вот видишь, что получается, если строить словарный запас на словечках типа «говно»? Большие слова застревают у тебя в горле. Кто не может говорить о любви, тот ее и не чувствует.

— Чувствую, еще как!

— Тогда скажи!

— Меня тошнит.

— Отлично. Вот тазик. Я подержу тебе голову.

Давай-давай! Хм… не так уж плохо, если учесть, что ты с собой сделала. Все почти как новенькое. Сейчас я вылью это в туалет, ты выпьешь воды, и мы продолжим.

— Оставь меня в покое!

— Не оставлю! Тебе еще много чего придется извергнуть, а не только гоголь-моголь, если хочешь по-настоящему выздороветь. Дай я вытру тебе рот. А теперь давай по новой: «Я люблю тебя, Герант».

Побежденная, Шнак зарылась лицом в подушку и среди рыданий едва слышно прошептала: «Я тебя люблю».

— Молодец! Теперь посмотри на меня, и я вытру тебе глаза. Понимаешь, я твой друг, но я не люблю тебя — не так, как ты будто бы любишь меня. Милая, не думай, что я не понимаю! Все проходят через такую безнадежную любовь, и я тоже через нее прошел, и я знаю, что это ужасно больно. Но представь себе, что мы — романтические влюбленные. Как ты думаешь, я бы стал держать тебе голову, пока ты блюешь, вытирать тебе лицо и вправлять мозги? Любовь, о которой мечтаешь ты, происходит на зеленых лугах среди аромата цветов и пения птиц. Или в роскошных чертогах, где ты возлежишь в шезлонге, а я очень

медленно снимаю с тебя одежду и наши тела сливаются в пароксизме невыносимого наслаждения — и все это время ни один из нас не засмеется и не скажет другому ни единого доброго слова. А ведь в долгом пути вдвоем нужен именно смех и добрые слова.

— Я чувствую себя полной дурой.

— И ошибаешься. Ты не дура, и только дурак сочтет тебя дурой. Ты творец. Может быть, даже гениальный. Романтическое искусство — это именно то, чем ты занималась с прошлой осени, — не что иное, как чувство, которому художественная техника придала форму. Техники у тебя навалом. А вот с чувством проблемы.

— Если бы тебя воспитывали как меня, ты бы ненавидел само это слово.

— Меня воспитывали в котле кипящего чувства. Только оно все было увязано с религией. Когда я сказал родителям, что хочу стать актером, они так бушевали, словно уже видели меня в аду. Но отец был прекрасным актером, только на амвоне. И мамка — она работала Сарой Бернар двадцать четыре часа в сутки. Но они все это выплескивали в церкви. А мне нужна была сцена побольше: понимаешь, я тоже знал Бога, но мой Бог воплощался в искусстве. Я не мог запереть

Его в часовне. Художник не стремится запереть Бога в клетку: он хочет жить Богом, дышать Им, и это дьявольски трудная работа — это значит все время падать и снова подниматься.

— Я ненавижу Бога!

— Молодец! Ты не говоришь, как дура, что Его нет. Ты говоришь, что ненавидишь Его. Но вот что. Тебе это не понравится, но все равно. Бог тебя любит. Он сотворил тебя особенной. Нилла, когда ее тянет на откровенность, намекает, что ты, может быть, очень особенная. Я бы так сказал: дай Богу шанс. Он все равно сделает что хочет, но тебе будет проще, если ты не станешь брыкаться и вопить.

— Как вообще можно жить Богом?

— Можно; это значит — жить с собой в меру своих сил. Но извне это не всегда выглядит красиво. Не врать себе — можно и так сказать. Следовать своему чутью. Но не жди от меня объяснений. Мой отец был великим объяснятелем. Он мог до звона в ушах слушателей распространяться о пронизывающем нас Божьем Свете. Да, он был талантливый проповедник! Подлинно опьяненный Богом. Но он думал, что у Бога только один, немигающий свет, единый для всех. Вот тут мы с ним разошлись.

— А теперь, когда я сказала… то, что ты меня заставил… ты тоже что-нибудь скажешь?

— Да. Скажу, что это не пойдет. Допустим, я поймаю тебя на слове. Ты будешь меня любить, а я — пользоваться тобой, пока все не кончится, то есть совсем недолго. Это будет обман. У меня на это нет ни времени, ни желания, а когда все кончится, ты озлобишься, а ты и без того злобная. Вот скажи, а Гуниллу ты любила?

— То было совсем другое.

— Ни одна любовь не похожа на другую. Счастливчикам выпадает настоящая. Ну знаешь — «уз и нитей сочетанье». Но не всем. Это большая ошибка — думать, что все любят одинаково и у каждого в жизни должна быть великая любовь. С тем же успехом можно сказать, что любой может сочинить великую симфонию. В любви много несчастья; это непогода с краткими проблесками солнечного света. Посмотри на нашу оперу: любовь в ней — сплошное горе. Это не лучшая часть жизни Артура, Ланселота, Гвиневры.

— Это лучшая часть жизни Элейны.

— Элейна не была талантливым композитором, так что не примеряй ее на себя. Правда, она страдала тем же, что и ты. «Жар воображенья, что, утолив себя, умрет». Ты положила эти слова на

прекрасную музыку. Неужели ты из них ничему не научилась? Шнак, если мы с тобой сойдемся, тебе это осточертеет через две недели.

— Потому что я уродина! От моей рожи всех тошнит! Это нечестно! Я проклята! Эта стерва Корниш, и Нилла, и Далси — все красавицы и могут вертеть как хотят и тобой, и любым мужиком! Я себя убью!

— Не убьешь. У тебя впереди много дел. Но буду честен: ты не королева красоты, и тебе придется с этим жить. Это не самая большая беда в жизни, честное слово. Как, по-твоему, выглядела Нилла в твои годы? Нелепой орясиной, я уверен. А теперь она прекрасна. Дожив до ее лет, ты будешь не такая, как сейчас. Успех подарит тебе новую внешность. Ты будешь изысканной страшилой.

Шнак опять взвыла и спрятала лицо в подушку.

— Прости, если я тебя обидел. Но, понимаешь, мне тоже сейчас нелегко. Все требуют, чтобы я с тобой поговорил, как бы я ни кричал, что и не подозревал о твоих чувствах. А я ни за что не отвечаю. Я не могу рисковать тем, что наш разговор подогреет твое чувство и ухудшит положение. Поэтому я говорил сугубо против своего желания. Ты меня знаешь: я люблю поговорить цветисто и

пышно, ради удовольствия. Но с тобой я говорю как под присягой. Каждое слово — от чистого сердца. Если бы я отпустил тормоза, я начал бы вещать об Одеянии Ада, дьяволовом гноище и так далее, весь набор. Валлийская риторика у меня в крови, а мое проклятие в том, что мир полон морлоков, не умеющих мыслить метафорически. Они меня не понимают и считают жуликом, потому что их языки обернуты мешковиной, а мой подвешен на золотых петлях. Я был с тобой честен, насколько я это умею. Ты же понимаешь, да?

— Наверно.

— Хорошо. Теперь я пойду. У меня куча дел. Выздоравливай скорей: ты нам нужна на премьере, а это послезавтра. И… Шнак, дай я тебя поцелую. Не романтически, и не братски, боже сохрани! — а дружески. Мы ведь коллеги по ремеслу, правда?

Он ушел. Шнак дремала и думала, дремала и думала, и после обеда, когда Гунилла пришла ее проведать, оказалось, что ей гораздо лучше.

— Наверняка этот разговор ему нелегко дался, — заметила она, когда Шнак пересказала ей беседу Геранта. — Многие так называемые влюбленные не рискнули бы на подобную откровенность. Быть таким, как Герант, — непросто.

8

В пятницу днем был окончательный смотр костюмов перед последней генеральной репетицией, назначенной на вечер. В шестом ряду сидело несколько человек: главным был Герант Пауэлл, при нем Далси Ринголд, как верный оруженосец, с другой стороны — Уолдо Харрис. В ряду перед ними сидели Гвен Ларкин и обе ее ассистентки, а рядом замерла в ожидании девица на побегушках — на случай деликатных сообщений, которые нельзя прокричать во всеуслышание. Актеры в костюме и гриме один за другим поднимались на сцену, проходили в середину, двигались туда-сюда, кланялись, делали реверансы, взмахивали мечом. Иногда Герант выкрикивал какую-нибудь команду: отвечая, актеры прикрывали ладонью глаза от огней рампы, чтобы хоть как-то его видеть. Герант шептал замечания на ухо Далси, которая делала пометки или объясняла, а иногда увещевала, если очередное желание оказывалось невыполнимым за краткое время, оставшееся до премьеры.

Странный момент, подумал Даркур, который сидел еще дальше от сцены, совсем один. Момент,

когда важен только вид певца, а не его пение; когда уже сделано все возможное, чтобы придать певцу сходство с персонажем, а с невозможным приходится смириться. Момент необъяснимого преображения.

Например, два черных рыцаря, Гринло и Лемойн, превосходно смотрелись в доспехах и тюрбанах, которые по замыслу Далси должны были подчеркивать их связь с Востоком. А вот Уилсон Тинни, играющий Гарета Прекраснорукого, походил на мешок, хотя в обычной одежде выглядел вполне прилично. Все из-за коротких ног. Без доспехов, в рубахе, он напоминал пупса. Гримируясь, он сильно накрасил щеки, видимо изображая обветренное лицо человека, проводящего дни в седле, но в итоге лишь усилил сходство с куклой. Оливер Твентимэн в одеяниях Мерлина выглядел вполне убедительным магом, потому что у него-то ноги были длинные; он обожал красиво одеваться и сейчас был счастлив. Джайлс Шиппен — Ланселот — в костюме был меньше обычного похож на сердцееда: на нем как будто было большими буквами написано: «ТЕНОР», и при вполне приличной фигуре он из-за широкой грудной клетки казался ниже своего роста.

— Ты что, не положила ему прокладки в

туфли? — прошипел Герант, обращаясь к Далси.

— Положила, сколько могла; чуть больше — и он бы ходил как в ортопедической обуви. Он просто неказист, что с ним ни делай.

— Никто не поверит, что женщина могла бросить Хольцкнехта ради него. Ганс выглядит великолепно.

— Да, он излучает царственность, — заметила Далси. — Но все знают, что у женщин странные вкусы. Боюсь, тут ничего не поделаешь.

Как и следовало ожидать, Натком Прибах нашел о чем поговорить и фонтанировал жалобами.

— Герант, я совершенно ничего не слышу в этой штуке. — Он говорил о бармице, кольчужной сетке, которая ниспадала с его шутовского шлема на плечи, закрывая уши. — Если я ничего не слышу, я могу выйти на сцену не вовремя и все испортить. Неужели ничего нельзя сделать?

— Натком, вы смотритесь великолепно. Воплощенный образ веселого рыцаря. Далси что-нибудь подложит под шлем, прямо над ушами, и все будет в порядке.

— Мне все время неловко, — пожаловался Наткомм. — Терпеть не могу, когда у меня на сцене уши закрыты.

— Натком, вам, как настоящему профессионалу, такая мелочь не может помешать, — сказал Герант. — Попробуйте сегодня так, а если не получится, мы что-нибудь придумаем.

— Черта с два мы что-нибудь придумаем, — прошептала Далси и сделала пометку в блокнот.

Женщины тоже совершенно преобразились, надев костюмы. Доналда Рош — королева Гвиневра — выглядела красавицей, но явно современной, в то время как Марта Ульман в роли леди Элейны была, безусловно, созданием Средних веков, причем до того аппетитным, что все мужчины не сводили с нее глаз. Клара Интрепиди — Моргана Ле Фэй — в платье переменчивых цветов и головном уборе в виде дракона была, безусловно, волшебницей, но явно сбежавшей из какой-нибудь вагнеровской оперы. Она была выше всех мужчин, кроме Хольцкнехта, и при виде ее казалось, что дома в шкафу у нее висит полный набор доспехов.

— Ничего не поделаешь, — прошептала Далси. — Ну разве что она согласится всю дорогу петь стоя на коленях или сидя. Хорошо, что она сестра Артура: можно считать, что высокий рост — это у них наследственное.

— Да, но погляди на Панизи, — ответил Ге-

рант. — Он предположительно ее сын и при этом сын Артура. Явно же дитя этих двоих должно быть великаном.

— При инцесте всякое бывает. Подключи воображение. Это же ты подбирал певцов на роли.

В целом придворные дамы смотрелись великолепно — кроме Вирджинии Пул, которая в роли леди Клариссаны выглядела как женщина, затаившая обиду, — впрочем, она таковой и была, что на сцене, что вне ее. Кое-кого из женщин помоложе Далси обрядила в *cotehardie*, тугой средневековый корсаж, выставляющий красивую грудь в наилучшем свете.

— Ты дала волю своим наклонностям, да, дорогая? — спросил Герант.

— А то. Погляди на Полли Грейвз: это смертный грех — закрывать одеждой такие роскошные дойки. А Эстер Мосс? Дуновение таинственного Востока, ветерок, прилетевший в Камелот из Багдада.

— На твоих эскизах все это выглядело немного не так.

— Тебе грех жаловаться. Эти девушки усладят взор зрителя, утомленного тяжелым днем в конторе.

— И взор зрительницы тоже, дорогая. Я не

жалуюсь. Просто удивился. Кто же знал, какие богатства скрывались под репетиционными одеждами.

— Примроз Мейбон чудо как аппетитна, прямо так и съела бы ее, — сказала Гвен Ларкин. — У нашего пола есть свои преимущества… когда есть возможность их показать.

— Девочки, подхватите трены через руку, — скомандовала Далси. — Этэйн, через левую. Вот так.

Даркуру все они — даже нудный Прибах — казались великолепными. Далси беззастенчиво брала идеи из «Энциклопедии» Планше и явно изучала работы Берн-Джонса, но то, что получилось в результате, было ее собственным творением. Может, и не все певцы выглядели в костюмах наилучшим образом, но общий эффект был великолепен — в каждой группе цвета перекликались, но не явным образом, а тонко. Об этом элементе оперы Даркур, зеленый новичок, еще не имел понятия.

Просмотрев все костюмы в их окончательном виде, сделав все пометки и выслушав все жалобы, Герант крикнул:

— Сейчас будет перерыв, но до этого давайте порепетируем выход на поклон. Ну-ка, все на

сцену!

Когда все наконец выстроились, к его полному удовлетворению, он скомандовал:

— Когда все поклонятся, вы, Ганс, сойдете со сцены через правую сторону и приведете Ниллу, которая тоже поклонится, а потом жестом позовет Шнак. А ты, Шнак, тогда выйдешь в полном великолепии — ну, сколько сможешь наскрести, — Нилла возьмет тебя за руку, и ты сделаешь реверанс.

— Что я сделаю?

— Реверанс. Тебе не положено кланяться, ты еще слишком молодая. Если ты не знаешь, что такое реверанс, пусть тебе кто-нибудь покажет. Спасибо, пока все свободны. Дрессировщики животных, соберитесь за сценой прямо сейчас.

— Но почему я? — ответил Даркур на непривычные мольбы Шнак, которая сразу по окончании репетиции, как только все разошлись, начала к нему подлизываться.

— Но вы же знаете, как делают реверанс.

— Ну… да. Но почему ты не попросишь кого-нибудь из женщин? Это их епархия.

— Не хочу. Они меня терпеть не могут. Будут злорадствовать.

— Чепуха. Они к тебе очень хорошо относятся.

А те, что помоложе, я думаю, тебя боятся, потому что ты очень умная.

— Ну пожалуйста, ну Симон! Ну я вас очень прошу.

Она впервые назвала его Симоном, и, поскольку сердце не камень, он согласился.

Они нашли темный закоулок за кулисами, у склада декораций.

— Вот. Тут тихо, и нам никто не помешает. Насколько я помню то, чему меня учили в танцевальной школе, это делается вот так. Сначала стань прямо. Ты сутулишься, а это портит весь реверанс. Теперь медленно и с достоинством опиши полукруг правой ступней сзади левой и слегка коснись правым коленом левой подколенной ямки. Теперь начинай медленно, осторожно опускаться, как будто в лифте. Когда дойдешь донизу, склони голову — от шеи. Спина все время должна быть прямая. Ты не корчишься, а благодаришь за любезность. Смотри на меня.

Даркур очень медленно — как пожилая вдова, у которой не гнутся суставы, — присел в реверансе. Шнак попробовала и грохнулась на бок.

— Это непросто. И в какой-то степени отражает характер человека. Не будь слишком игрива, но и не напускай на себя важность. Ты — великий

композитор, благодаришь зрителей за аплодисменты. Ты превосходишь их талантом, но они — твои зрители, и ты оказываешь им высшую любезность артиста. Ну-ка, еще раз.

Шнак попробовала еще раз и уже не упала.

— Куда девать руки, черт бы их побрал?

— Держи их, как ты держала бы их на коленях, если бы сидела. Некоторые взмахивают правой рукой, обводя сцену, но это слишком театрально, а тебе еще и по возрасту не подходит. Вот, уже лучше. Еще раз. И еще. Держи голову прямо и гляди в зал: кланяйся только в самой нижней точке. Еще. Давай, давай. У тебя уже получается.

Даркур несколько раз сделал реверанс ей, а она — ему. Они качались, как поплавки на волне, лицом друг к другу, порой напоминая двух геральдических зверей на гербе. У Даркура стонали колени, зато Шнак освоила маленький, но необходимый для выступающего артиста навык.

Сверху донесся резкий всплеск аплодисментов и крики «браво!». Даркур и Шнак подняли головы: сверху, из люльки для раскрашивания декораций, за ними с нескрываемым восторгом наблюдали трое или четверо рабочих сцены и Далси Рингголд.

Старого упрямца Даркура это не смутило. Он

послал неожиданным зрителям воздушный поцелуй. Но Шнак, залившись жаркой краской стыда, убежала к себе. Ей еще многому предстояло научиться.

9

— Симон, мы слышали о тебе чудесные отзывы, — сказала Мария; они втроем с Артуром сидели в своем любимом ресторане. — Далси говорит, что ты учил Шнак делать реверанс, так что прямо сердце радовалось. По ее словам, ты был настоящей гранд-дамой.

— Кто-то должен был ее научить, а в наши дни мало кто из женщин владеет женским арсеналом, — ответил Даркур. — Я подумываю учредить школу, в которой девушек будут учить искусству очаровывать. От своих эмансипированных сестер они этому точно не научатся.

— Мы живем в эпоху джинсов и футболок, — заметил Артур. — Шарм и хорошие манеры вышли из моды. Но они вернутся. Они всегда возвращаются. Взять эпоху французской революции: прошло одно-два поколения, и французы снова прыгали как блохи, всячески кланяясь Наполеону. Люди обожают этикет. Хорошие манеры — это пропуск в дюжину тайных обществ.

— Нельзя же, чтобы Шнак опозорилась перед зрителями, когда выйдет кланяться, — сказал Даркур. — А я говорил, что мне звонил Клем Хол-

лиер? Он завтра собирается сюда и спрашивал у меня, что ему надеть — фрак или смокинг. Для выхода на сцену, как вы понимаете.

— Клем собирается выходить на поклон? — спросила Мария. — С чего вдруг?

— Вот и я про то. Но он значится в программке как соавтор либретто и, видимо, считает, что публика возжелает его видеть.

— А разве он что-нибудь делал?

— Ни черта он не делал. Даже меньше Пенни, которая только ныла, и критиковала, и злилась на меня за то, что я не сказал ей, откуда беру лучшие стихи. Но Пенни собирается явиться при полном параде, и я не удивлюсь, если она тоже намерена выйти к публике.

— А ты, Симон, выйдешь?

— Меня не просили, и в целом я думаю, что нет. Либреттиста никто не любит. Зрители даже не поймут, кто я такой.

— Ты можешь вместе с нами прятаться в темном углу.

— Артур, на сердитых воду возят, — сказала Мария. И объяснила Даркуру: — Он обиделся, что к нам так холодно относились последние несколько недель.

— Весь последний год, — поправил Артур. — Мы

делали все, о чем нас просили, и много больше. Мы, безусловно, оплачивали все счета, а это не мелочь. Но стоило нам прийти на репетицию и скромно стать в сторонке, Герант смотрел на нас как на врагов, и труппа тоже. Старик Твентимэн нам улыбался, но это потому, что он считает своим долгом изливать свет и радость даже на самых низких тварей.

— Дорогой, ну не обижайся так. Или хотя бы не показывай этого. Надеюсь, нас включили в программку?

Настал миг, которого Даркур страшился.

— Понимаете, вышла накладка. Выражение благодарности Фонду Корниша случайно забыли. Понятно, как это получилось. Фестиваль обычно делает такие вещи собственными силами, а у нас была особая постановка, независимо от фестиваля, хотя и под его эгидой. Вот и просмотрели. А я увидел гранки только сегодня после обеда. Но не расстраивайтесь. Прямо сейчас во все программки добавляют вкладыши с выражением должной благодарности.

— Напечатанные на машинке под копирку?

— Нет, размноженные на ксероксе.

— Это то же самое.

— Вполне естественная ошибка.

— Совершенно естественная, особенно если учесть, как мало отношения имеет Фонд Корниша к этой опере. Можно было и не беспокоиться. Кого это волнует? Главное, чтобы представление продолжалось.

— Артур, я тебя умоляю, не обижайся. Стратфордский фестиваль очень ценит своих благодетелей.

— Надо думать, благодетели вынуждены для этого принимать суровые меры. Мы просто вели себя недостаточно агрессивно. В следующий раз будем сильнее работать локтями. Нам нужно научиться искусству благотворения, хотя, надо сказать, я не в восторге от этой необходимости.

— Ты видишь себя покровителем искусств в старом смысле этого слова — так, как его понимали в девятнадцатом веке. Неудивительно, принимая во внимание природу нашей оперы. Но настанут лучшие времена. «В сражениях и больше мы теряли».

Артур смягчился, но не совсем.

— Артур, мне очень жаль, что ты обиделся, но, честное слово, они не нарочно.

— Симон, позволь, я объясню. Не думай, что Артур ищет повода обидеться. Он совсем не такой. Но он, а точнее, мы с ним считали себя импреса-

рио — мы хотели вдохновлять, питать и все такое. Как Дягилев. Ну, не совсем как Дягилев — он был один в своем роде. Но что-то такое. И ты видел, что получилось. Нам не дали ни вдохновлять, ни питать. С нами даже разговаривать не стали. Так что мы подыграли Геранту и всем остальным. Но мы удивлены и слегка огорчены.

— Вы оба просто золото, — сказал Даркур.

— Вот именно! — воскликнул Артур. — Оно и есть. То самое, которым оплачена вся затея.

— Золото на самом деле неплохая роль, — сказал Даркур. — У тебя, Артур, деньги всегда были, так что ты просто не знаешь, как на них смотрят другие. Дягилева не поминайте — у него всю жизнь гроша ломаного не было. Он вечно выпрашивал деньги у людей вроде тебя. Вы с Марией — золото, чистое золото. Вы очень богаты, у вас талант к финансам, но вы знаете о золоте далеко не все. Вы понятия не имеете, какую зависть и ревность пополам с откровенным, бесстыдным подхалимством оно вызывает у людей даже против их воли. Артур, ты вложил в золото душу, терпи теперь все последствия — и хорошие, и плохие.

— Симон, как ты мог сказать такую гадость? Душу в золото! Я не просил, чтобы меня рожали в

богатой семье, а если у меня способности к финансам, это не значит, что я ставлю деньги превыше всего! Ты не заметил, что мы с Марией питаем подлинную, гигантскую и по большей части самоотверженную любовь к искусству? Мы хотим своими деньгами помочь что-нибудь сотворить! Более того — нет, помолчи, Мария, я ему все скажу, — мы хотим сами творить, насколько можем, и сделать с деньгами дяди Фрэнка что-нибудь такое, что он полностью одобрил бы. А в нас видят только денежных мешков. Тупых хамоватых невежд! Недостойных встать рядом с говнюками типа Прибаха и самовлюбленной плаксивой интриганки Пул! На первой генеральной репетиции я стоял за кулисами совершенно молча, и на меня зашикала — зашикала, честное слово — одна из этих чертовых девиц на побегушках! Альберт Гринло в это время шептался и хихикал, как всегда! Я спросил эту девчонку, что ей надо, и она зашипела: «Сейчас идет экзамен!» Как будто я не знал об этом экзамене за несколько месяцев!

— Да, Артур. Да, да, да. Но позволь мне объяснить. Когда воздух насыщен искусством, всем приходится глотать обиды и забывать о них. Когда я сказал, что ты вложил душу в золото, я просто говорил о природе реальности.

— И моя реальность — золото? И все?

— Именно. Но не в том смысле, в котором ты подумал. Выслушай меня и не вскидывайся все время. Видишь ли, все дело в душе. Душа не может существовать только как газ, который делает нас благородными, когда мы сами позволяем. Душа — это нечто другое: душу нужно вложить во что-нибудь, и люди ищут, куда вложить свои души, энергию, лучшие надежды — зови как хочешь. Два великих вместилища душ — деньги и секс. Есть и другие: власть или стабильность (это плохое вместилище) и еще искусство (а это — хорошее). Погляди на беднягу Геранта. Он хочет вложить душу в искусство, но все считают, что он должен вкладывать ее в секс, потому что он красив и привлекает как женщин, так и мужчин. И это его убивает, потому что он очень хороший человек. Если бы он взял и обратил все свои устремления на секс, он мог бы стать полнейшим негодяем, с его-то данными. Но искусство не может жить без золота. Романтики притворяются, что может, но на самом деле — нет. Они презирают его, как презирали вас, но в глубине души знают, что к чему. Золото — одна из величайших реальностей, и, как любая реальность, оно не сплошь розы. Оно — вещество жизни, а

жизнь порой жестока. Поглядите на вашего дядю Фрэнка: его реальностью было искусство, но оно же и принесло ему больше горя, чем радости. Как по-вашему, отчего он под старость обратился в сварливого скрягу? Он пытался изменить свою душу, превратить ее из предмета искусства в денежную единицу, и у него ничего не вышло. А вы с Марией сейчас сидите на куче денег, которую он нагреб в результате этих попыток. Вы пытаетесь превратить всю кучу обратно в искусство, но не удивляйтесь, если порой это оказывается мучительно больно.

— А ты, Симон, во что вложил душу? — спросила Мария.

Артур ничего не сказал — он задумался.

— Раньше я думал, что в религию. Потому и стал священником. Но религия, которой требовал от меня мир, не работала, и это меня убивало. Не физически, а духовно. Мир полон священников, которых религия убила: сбежать они не смогли или не захотели. Тогда я попробовал науку, и она мне подошла.

— Помню, ты часто повторял нам на семинаре: «Стремление к мудрости — обретение второго рая в сем мире», — сказала Мария. — И я тогда тебе поверила. И до сих пор верю. Это слова Па-

рацельса.

— Действительно. Великого непонятого гения. В общем, я устремился в науку. Точнее, вернулся к ней.

— И она послужила как надо? Точнее, ты ей послужил?

— Странно то, что чем глубже я уходил в науку, тем больше она становилась похожа на религию. В смысле, на настоящую религию. Полная самоотдача самому важному, но не всегда очевидному. Иногда люди находят это в церкви, но у меня так не вышло. Я нашел искомое в чертовски странных местах.

— Я тоже, Симон. Я все еще ищу. И буду искать. Это единственный путь для таких, как мы с тобой. Но…

> *Плоть немощна, и беспощаден Враг:*
>
> *Меня смущает Смерти близкой страх.*[123]

Это ведь правда, да?

— Только не для тебя, Мария. Ты еще молода говорить о страхе смерти. Но насчет Плоти и Врага ты права — хоть это и похоже на проповеди

---

[123] Примечания: 123

Уильям Данбар (1459/1460—?) — шотландский бард.

Геранта.

— Я иногда думаю об этом, глядя на малютку Дэвида.

— Нет-нет, — вмешался Артур. — С тем покончено. Забудь. Дитя изгладило все былое.

— Вот речь истинного Артура! — воскликнул Даркур и поднял бокал. — За Дэвида!

— Простите, что я разнылся, — сказал Артур.

— Ты не ныл. То есть не по-настоящему. Ты просто дал волю вполне законному негодованию. Любой человек имеет право время от времени хорошенько поныть. Это прочищает душу. Очистить грудь от пагубного груза, давящего на сердце,[124] и все такое.

— Шекспир, — сказал Артур. — В кои-то веки я узнал твою цитату.

— Как мы сильно зависим от Шекспира, — заметила Мария. — «Каким питьем из горьких слез Сирен…»[125] Помнишь?

— «Так после всех бесчисленных утрат // Во много раз я более богат», — подхватил Даркур. — Да, это очень подходит. Весьма емко.

— Во много раз я более богат. Точнее, во много

---

[124] Примечания: 124

Шекспир У. Макбет. Акт V, сц. III. Пер. М. Лозинского.

[125] Примечания: 125

Шекспир У. Сонет 119. Пер. С. Я. Маршака. См. также прим. № 116.

раз более, чем был богат дядя Фрэнк, — сказал Артур. — Симон, наверно, ты прав. Я много думаю о золоте. Кому-то ведь надо про него думать. Но это не значит, что я — кот Мурр. Симон, мы все крутили в голове ту задумку, про которую ты тогда рассказал. Она как-то больше в духе дяди Фрэнка, ты не находишь?

— Иначе я бы про нее и не заикнулся.

— Ты сказал, что, по-твоему, эти люди в Нью-Йорке рассмотрят наше предложение.

— Если его правильно преподнести. Я думаю, Артур, они тебе понравятся. Коллекционеры, знатоки, но, конечно, не хотят, чтобы их выставили дураками. Ни в коем случае не хотят оказаться укрывателями подделок. Они тоже не коты Мурры. Просто если выплывет, что они хранили откровенную подделку, это не пойдет им на пользу ни в мире искусства, ни в мире бизнеса.

— А что у них за бизнес?

— Компания князя Макса импортирует в Америку вино в огромных объемах. Хорошее. Не какую-нибудь бормотуху пополам с алжирской ослиной мочой. Никаких подделок. Я видел его бутылки и у тебя на столе. Ты, наверно, не замечал его герб на этикетках, с девизом: «Ты погибнешь прежде, чем я погибну».

— Удачный слоган для вина.

— Да, но на самом деле это родовой девиз, и он означает: не пытайся меня обойти, а то пожалеешь.

— Я встречал таких людей в бизнесе.

— Но имей в виду, что княгиня тоже занимается бизнесом. Ее специальность — косметика, но очень изысканная и достойная.

— А это тут при чем?

— Это не что иное, как стремление преподносить вещи в их лучшем виде. Именно этого захотят князь и княгиня.

— Думаешь, они потребуют безумных денег?

— Мы живем в век безумных цен на живопись.

— Даже поддельную?

— Честное слово, ты меня доведешь и я тресну тебя по голове этой бутылкой! Которая, кстати говоря, не из погребов князя Макса. Сколько раз тебе повторять, что эта картина — не подделка, не задумывалась как подделка и на самом деле она потрясающе важна, уникальна?

— Я знаю. Я слышал, что ты о ней говорил. Но кто убедит в этом весь мир?

— Я, конечно. Ты забыл про мою книгу.

— Симон, я не хочу тебя обижать, но сколько людей, по-твоему, прочитают твою книгу?

— Если ты примешь мое предложение — сотни тысяч, потому что в ней будет описана жизнь Фрэнсиса Корниша как захватывающее приключение в мире искусства. Причем очень канадское приключение.

— По-твоему, эта страна — место для великих приключений в мире искусства? Родина людей, которых заботят вопросы души? Ты с ума сошел.

— Да, я так думаю, и нет, я не сошел с ума. Иногда мне кажется, что я опередил свое время. Ты не читал мою книгу. Она, конечно, еще не закончена, и концовка полностью зависит от твоего решения. У этой книги может быть просто фантастическая развязка — в обоих смыслах этого слова. Ты не знаешь, что пробуждает в умах вроде моего долгое созерцание жизни твоего дяди. Артур, ты должен мне довериться. А в таких вещах ты боишься мне довериться, потому что не доверяешь сам себе.

— Я доверился себе в этой истории с оперой. И втянул Фонд Корниша в провальную затею.

— Ты не знаешь, провальная она или нет, и еще долго не узнаешь. Ты, как дилетант, думаешь, что по премьере можно предсказать всю судьбу пьесы. Ты знаешь, что в Сент-Луисе уже интересуются «Артуром»? Если опера не наделает шуму

здесь, возможно, она понравится там. И в других местах. Конечно, ты нас подталкивал, чтобы мы ввязались в эту затею. И теперь думаешь, что это начало болезни так на тебя повлияло. Но толчком к созданию великих произведений, бывало, служили и более странные вещи, чем свинка.

— Ну хорошо. Давайте попробуем. Только осторожно. Я думаю, будет лучше, если теперь я возьму дело в свои руки и съезжу к князю и княгине.

— А я думаю, что ничего подобного делать не следует. Предоставь действовать Симону, он хитрый стреляный воробей.

— Мария, ты заговорила совсем как жена.

— Да, причем лучшая, какая у тебя когда-либо будет.

— Верно. Очень верно, дорогая. Кстати, я подумываю о том, чтобы впредь именовать тебя Лапулей.

Мария показала ему язык.

— Прежде чем вы окончательно погрузитесь в супружеские нежности, смущая посторонних, позвольте указать вам на то, что репетиция оперы, которую Артур решил возненавидеть, уже подошла к концу первого акта. Нам пора идти в театр, чтобы подвергнуться пренебрежению и

осмеянию, если уж суждено. А что касается того, другого дела — вы мне разрешаете действовать?

— Да, Симон, разрешаем, — сказала Мария.

Артур, как обычно, в это время подзывал официанта, чтобы заплатить по счету.

10

Скоро начнется первое представление «Артура Британского».

Гвен Ларкин по интеркому вещает на все грим-уборные и артистическое фойе: «Леди и джентльмены, занавес поднимется через полчаса. Начало представления через полчаса».

Ранние пташки уже давно готовы. Оливер Твентимэн лежит в кресле-качалке у себя в гримуборной. Он загримирован и полностью одет, за исключением мантии, висящей рядом. Костюмер тактично оставил его одного, давая собраться. А что, если это его последний выход? Кто знает? Конечно, не сам Оливер. Он будет петь, пока его приглашают режиссеры и дирижеры. А его пока приглашают. Но скорее всего, ему больше не доведется воплотить на сцене совсем новую роль. Никто до него не пел Мерлина в «Артуре Британском», и он постарается сделать так, чтобы слушатели его не скоро забыли. И критики тоже — эти летописцы оперной истории, в целом гораздо более правдивые, чем их собратья, имеющие дело с драмой. Когда Твентимэна не станет, они скажут, что роль Мерлина, созданная им на

девятом десятке, — его лучшая работа с тех пор, как он пел Оберона в «Сне» Бриттена. Твентимэну приятно было, что он и в старости остается великим артистом. Преклонный возраст вкупе с великими достижениями — великолепный венец, притупляющий жало смерти.

…преклонных лет очарованье,
Что, словно Севера сиянье,
Тебя к могиле приведет…[126]

Вордсворт знал, о чем говорит. Твентимэн повторил эти строки два-три раза, как молитву. Он часто молился, и порой его молитвы принимали облик цитат.

На сцене Уолдо Харрис вел с Гансом Хольцкнехтом очередную (последнюю, как он надеялся) беседу на тему «волос на полу». Много лет назад — Хольцкнехт не сказал, сколько именно, и названия оперного театра тоже не открыл, только сказал, что это был один из крупнейших, — в последнем акте «Бориса Годунова» он начал задыхаться. Да так, что едва мог издать звук. Что-то попало ему в горло и душило его. Вместо пения его едва не стошнило. В таком положении лучшее

---

[126] Примечания: 126
У. Вордсворт, из стихотворения «К юной даме».

в артисте объединяется с лучшим в человеке, чтобы преодолеть препятствие, еще более зловещее оттого, что причина его непонятна. Каким-то образом — по временам Ганс думал, что лишь милостью Провидения, — он спел свою партию, спел хорошо, не фальшивя. Он продержался до конца акта, а потом рванулся в грим-уборную и позвал театрального доктора, который пинцетом извлек у него из горла двадцатидюймовый человеческий волос! Из парика? Из шевелюры какой-нибудь линяющей хористки-сопрано? Но откуда бы ни взялся этот волос, он повел себя со злобой одушевленной твари! Видимо, Ганс вдохнул его, когда, лежа на полу и втягивая воздух могучей грудью, изображал простертого в отчаянии царя. Он до сих пор хранил волос в полиэтиленовом пакетике и показывал его каждому помрежу в каждом театре, где пел, предупреждая о том, что может случиться, если сцену не подметать — и не раз в день, а несколько раз за представление, при каждом удобном случае. Он не хотел показаться надоедливым или невротиком, но певцу грозят опасности, неведомые публике. Ганс выпрашивал у Харриса — со всей весомостью своей немаловажной роли в труппе — обещание, что сцену будут как следует подметать каждый

раз после того, как опустят занавес. Уолдо сочувственно пообещал, мысленно мечтая, чтобы Хольцкнехт раз и навсегда удовлетворился и перестал его дергать.

В суфлерском углу суетилась Гвен Ларкин. Она бы это так не назвала, но сейчас она занималась тем, что переделывала и приглаживала вещи, которые давно уже были сделаны и доведены до совершенства. Сама Гвен была идеальным сценариусом — это значит, что она обладала идеальным вниманием к деталям, была начеку на случай любой накладки и могла ее устранить, а также служила великой утешительницей нервных артистов. Но сама под личиной спокойствия нервничала больше всех.

Сегодня она была одета в дорогой брючный костюм и блузку обманчиво простого фасона. Своих двух ассистенток и трех девиц на побегушках она заставляла одеваться так же — настолько, насколько они были способны приблизиться к ее элегантной простоте. Искусство заслуживает уважения, а уважение выражается в достойном костюме. И пусть некоторые зрители являются в театр в таком виде, словно только что выгребали навоз из коровника, — это их дело. Но работники театра одеваются с уважением к своей работе.

Девиц на побегушках пришлось предупредить насчет звякающих серег и цепочек: конечно, на сцене звяканья не слышно, но оно может отвлекать тех, кто стоит за кулисами.

Суфлерский угол назывался так по традиции: из него, конечно, никак нельзя было подсказывать людям, стоящим на сцене. С него и сцены-то видно не было, разве что совсем маленький кусочек. Но на столе Гвен Ларкин, точной копии стола самого дирижера, лежала полная партитура оперы с мельчайшими деталями постановки — вдруг понадобится быстро что-нибудь проверить. Эл Кран отдал бы ухо за эту партитуру, но Гвен охраняла ее ревностно, как и полную партитуру для дирижера, которая хранилась в сейфе в кабинете Уолдо Харриса.

Гвен Ларкин покрутила кольцо-талисман на безымянном пальце левой руки. Она бы даже под страхом смерти не созналась, что это талисман. Она — Сценариус, ее дело — организованность, а не удача. Но кольцо и в самом деле было талисманом — камея эпохи Возрождения, подарок бывшего возлюбленного. Все девицы на побегушках об этом знали и где-то разжились собственными кольцами-талисманами, ибо Гвен была их идеалом.

Даркур не слышал, как объявляли полчаса до начала, — в это время он в своем любимом ресторане развлекал двух сиятельных критиков. Артур и Мария начисто отказались делать что-либо подобное, но грань между сиятельным критиком из Нью-Йорка и почетным высоким гостем столь тонка, что Даркур решил все же принять гостей как следует. Сиятельнейшие критики могут съесть и выпить сколько угодно и остаться совершенно беспристрастными. Известны даже случаи, когда такие критики кусали накормившую руку, сами того не замечая. Даркур знал об этом, но решил, что за скромным ужином сможет преподнести критикам кое-какую информацию.

В отношении Клода Эпплгарта, несомненно самого популярного и читаемого из нью-йоркских критиков, семена, безусловно, падали на каменистую почву,[127] ибо мистера Эпплгарта, театрального критика с огромным стажем, никакая информация не волновала. Он был по специальности остряк. Именно острот ожидали от него читатели — разве его задача не в том, чтобы веселить публику? Он бы не пошел на «Артура», но премьера совпала с его ежегодным

[127] Примечания: 127
Мф. 13:5.

визитом на шекспировскую часть Стратфордского фестиваля, и не пойти было бы неприлично. Хотя опера была не его епархией; он был наиболее влиятелен и обычно губителен в жанре мюзикла.

Иное дело был Робин Эдэр, чье слово в отношении оперы было… не то чтобы законом, скорее окончательным суждением ангела-регистратора. Видный музыковед, переводчик либретто, человек потрясающей эрудиции и — редчайшее качество — подлинный любитель оперы, он с интересом выслушал Даркура и принялся его допрашивать, как на суде.

— То, что мне сообщили, настолько туманно, что вызывает еще тысячу вопросов. Если Гофман оставил лишь наброски, насколько полным было либретто? Участвовал ли в его создании Планше? Надеюсь, что нет. Он погубил «Оберона» своей шутливой чепухой. У вас есть связное либретто?

— По словам доктора Даль-Сут, Гофман оставил много больше, чем «наброски». В его записях было много музыки, и вся она вошла в партитуру оперы. Легла в ее основу.

— Да, но что с либретто? Не может быть, чтобы Гофман оставил готовое либретто. Кто его создал?

— Я, как вы увидите из программки.

— Да? А на какой основе? Ваша собственная, оригинальная работа? Вы, конечно, понимаете, что, если эту оперу считать завершением работы Гофмана — когда он там умер, в тысяча восемьсот двадцать втором? — либретто чрезвычайно важно. Оно должно соответствовать самой опере, а это не так просто. Думаете, у вас получилось?

— Не могу об этом судить. Вот что я могу сказать: большая часть либретто заимствована — либо в точности, либо с небольшими изменениями — у поэта, несомненного гения, современника Гофмана и его пылкого единоверца-романтика.

— И это?..

— Я уверен, что вы, с вашей непревзойденной широтой небанальных познаний, немедленно узнаете автора.

— Загадка? Восхитительно! Обожаю загадки. Я подойду к вам после представления и скажу имя поэта, а вы скажете, угадал я или нет.

— А нельзя ли нам еще шампанского? — спросил мистер Эпплгарт. — Слушайте: кто бы ни написал это чертово либретто, на свете не было еще ни одной хорошей пьесы или мюзикла про короля Артура. Взять хоть «Камелот». Полный провал.

— Ну, теперь это уже заслуженный провал, почти классика, — ответил мистер Эдэр.

— Все равно провал. Я и тогда говорил, и сейчас скажу. Убожество.

— Расскажите мне еще про этот Фонд Корниша, — продолжал мистер Эдэр. — Я так понимаю, это мужчина и женщина с подставным советом директоров. И они желают меценатствовать с большим размахом.

— Не может у них быть денег на действительно грандиозный замысел, — вмешался мистер Эпплгарт, у которого после второй бутылки шампанского несколько улучшилось настроение. — Медичи наших дней! На это все замахиваются. Но в современном мире так уже не бывает.

— Но ведь даже в этом году на деньги меценатов были созданы прекрасные вещи, — возразил мистер Эдэр.

— Слушайте, — сказал мистер Эпплгарт. — Меценатство хорошо работало, когда артисты знали свое место. Некоторые ходили в ливреях. Нынешний меценат — жертва. Артисты распнут его, будут издеваться над ним, пародировать его и разденут догола, если он с самого начала не поставит себя как следует. Когда Медичи или Эстергази попирали артистов, результаты были

прекрасные. Стоит меценатам встать с артистами на равную ногу, и все пропало, потому что артисты не верят в равенство. Они верят только в свое превосходство. Сукины сыны!

И он мрачно наполнил стакан.

— Корниши очень старались оставить артистов в покое во время работы над оперой, — сказал Даркур. — Должен признаться, у них осталось впечатление, что артисты в какой-то степени тяготились их присутствием.

— Меня это совершенно не удивляет, — буркнул мистер Эпплгарт.

— Что поделаешь — артистический темперамент. С творцами порой бывает нелегко, — объяснил мистер Эдэр.

Это прозвучало так, будто он не сомневался: онто занял прочные позиции в мире творчества.

— Уже половина седьмого, — заметил Даркур. — Наверное, пора выдвигаться в театр. Занавес поднимут в семь.

— Терпеть не могу, когда спектакли начинаются рано, — сказал мистер Эпплгарт. — Ужин, считай, испорчен.

— Клод, не ворчи. Как будто ты не знаешь, что это для нашего же блага. Чтобы критики успевали сдать материал в завтрашние газеты.

— Только не в субботу вечером, — отпарировал мистер Эпплгарт, который уже прошел через стадии мрачности и сардонического веселья и теперь, готовясь к работе, вступал в воинственную стадию. — Чертов Артур! Он уже умер, что ж ему даже в могиле не дают покоя?

— Никто не знает, где его могила, — сообщил мистер Эдэр, кладезь информации.

— Сегодня вечером она будет на этой сцене, — сказал мистер Эпплгарт с очевидной уверенностью.

Гвен объявила четверть часа до поднятия занавеса. Из грим-уборных доносился гул, жужжание, иногда — взятая в полный голос нота: это певцы распевались. Слышно было, как с той стороны занавеса прибывает публика — ранние пташки из числа любителей заранее усесться на место и как следует изучить программку. По коридорам мимо дверей грим-уборных ходил Ганс Хольцкнехт, желая артистам удачи. «Hals- und Beinbruch!»[128] — кричал он, а подвернувшиеся артисты-мужчины к тому же получали от него на счастье коленом под зад.

---

[128] Примечания: 128
«Ни пуха ни пера!» *(нем.)*

За кулисами — где не услышит Гвен Ларкин — Альберт Гринло предавался своей любимой забаве: обучал девиц на побегушках театральному фольклору и традициям. Они стояли вокруг него, пожирая бельгийский шоколад, подаренный чуть раньше Твентимэном, — у того был обычай дарить подарки на премьеру, особенно более скромным членам театральной семьи.

— Не знаю даже, можно ли вам такое слушать, потому что маленьким девочкам не положено знать таких вещей. Но если вы по правде хотите работать в театре…

— Честно, Альберт! Ну расскажи. Ну пожалуйста.

— Ну тогда, конфеточки мои, вам надо знать про критиков. Сегодня в зале присутствуют очень-очень важные люди из этой очень важной профессии. Их, настоящих, можно отличить от обыкновенных простых людей из местных газет. Есть одна верная примета. — Он понизил голос до шепота. — Они никогда не ходят в туалет.

— Во время представления? — спросила самая хорошенькая девица.

— *Вообще никогда.* От колыбели до могилы — никогда. Никогда ни один человек не видал критика в сортире.

— Альберт, не может быть такого, — недоверчиво сказала девица. Но по голосу было ясно: ей безумно хочется, чтобы это оказалось правдой. Она жаждала чудес.

— Неужели я буду вас обманывать? Я вас хоть раз обманул? Я вам еще кое-что скажу, очень важное, это вам пригодится, когда вы будете женами и матерями. Ну или просто матерями, по нынешней моде. Когда у вас родится ребенок, загляните ему в попку, где должна быть дырочка. Если дырочки нет, значит у вас родился критик.

— Альберт, этого не может быть!

— Факт. Медицинский факт. По-научному это называется неперфорированный анус. И это верная примета критика. Настоящего критика, высокого полета. В университете Джонса Хопкинса есть медицинский музей, и там несколько таких хранятся в банках. Там можно на них посмотреть, и эта их особенность видна так же ясно, как табличка «Нет выхода» над дверью. Мелкие критики, они такие же, как вы и я, — у них выход так же устроен, как и у всех людей. А крупные — нет. Нет, нет и нет. Попомните слова дядюшки Альберта.

— Говорят, Клод Эпплгарт сегодня в зале, — сказала Шнак.

Они с доктором Гуниллой сидели в маленькой гримуборной для дирижеров. Было очень душно, так как доктор курила свои любимые черные сигары.

— Кто это? — спросила она.

— Его считают самым влиятельным музыкальным критиком в Нью-Йорке. А значит, во всем мире, — сказала Шнак, которая, как все канадцы, благоговела перед Нью-Йорком.

— Я не знаю его имени, — сказала доктор. — И я сморкаюсь ему в волосы, — добавила она, чтобы подбодрить Шнак, охваченную ужасом.

Конечно, сегодня в оркестровой яме стоит Гунилла, но Шнак предстоит дирижировать за сценой. Когда хор запоет за кулисами, именно Шнак будет управлять им, сверяя темп по монитору, где движется серый призрак Гуниллы. Придется размахивать специальной, неудобной штукой — по сути, металлическим стержнем с красной лампочкой на конце. Шнак подумала, что и без того дирижирует не слишком элегантно и уж совсем дурацкий вид принимает, когда машет этой штуковиной, которую хор прозвал волшебной палочкой феи.

Дирижирование! О, это дирижирование! Освоит ли она его хоть когда-нибудь? «Дирижируй

либретто, а не музыкой» — так всегда говорит Гунилла. Легко ей говорить. Она высокая, элегантная — романтическая фигура. Шнак чувствовала себя вороньим пугалом в вечернем платье, которое сотворила для нее Далси. Шнак кое-как соскребла бритвой волосы в подмышках, а теперь в произведении Далси подмышек было не видно. Но они болели. Сейчас Шнак с радостью пообещала бы никогда в жизни больше не выступать перед публикой.

— Пять минут, леди и джентльмены. Увертюра и начало представления через пять минут. — Тихий, но отчетливый голос Гвен раздался из громкоговорителя на стене.

— Пожалуйста, пройди на свое место, — сказала доктор.

— Мне нечего делать до конца увертюры.

— Зато мне есть что делать. И я хочу побыть одна.

Даркур стоял в фойе. После объявления о том, что представление начнется через пять минут (Даркур его не слышал, но знал, что оно было), явились необычные зрители — группой, тут же рассыпавшейся на пары и тройки. Они не то чтобы резали глаз, но были чересчур парадно одеты. Конечно, многие зрители надели сего-

дня смокинги и фраки, но особо торжественные одеяния новоприбывших напоминали о давно ушедших эпохах. Дамы были в платьях из роскошных материй, впрочем несколько пострадавших от времени и носки. Одну даму украшало перо в волосах, другую — металлическая диадема, усаженная впечатляющими, но не очень убедительными драгоценными камнями. Это была клака Ерко, среди которой возвышался сам Ерко, — его манишка и галстук пожелтели от времени, хвосты фрака свисали до икр. Рядом с ним красовалась мамуся в поддельных драгоценностях и лайковых перчатках, некогда белых, длиной выше локтя. Члены группы держались и двигались с величавостью, какую редко увидишь на североамериканском континенте и никогда — в Стратфорде.

Ерко скользнул по Даркуру равнодушным, неузнающим взглядом.

«Ну что ж, поехали. Помоги нам Господь», — подумал Даркур и пошел на свое место в зале.

АРТУР БРИТАНСКИЙ

ОПЕРА В ТРЕХ АКТАХ,

по
плану и наброскам Э. Т. А. ГОФМАНА,

завершенная на основе его заметок Хюльдой Шнакенбург

под руководством доктора Гуниллы Даль-Сут

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Артур, король Британии — Ганс Хольцкнехт

Мордред, племянник короля — Гаэтано Панизи

Сэр Ланселот — Джайлз Шиппен

Мерлин Оливер — Твентимэн

Сэр Кей, сенешаль — Джордж Садлоу

Сэр Гавейн — Жан Моран

Сэр Бедивир — Юрий Вольмер

Сэр Гарет Прекраснорукий — Уилсон Тинни

Сэр Лукас, дворецкий — Марк Хорребоу

Сэр Ульфиус, распорядитель двора — Чарльз Блэнд

Сэр Динадан — Марк Люппино

Сэр Дагонет, шут — Натком Прибах

Сэр Пеллинор — Альберт Гринло

Сэр Паломид — Винсент Лемойн

Королева Гвиневра — Дональда Рош

Моргана Ле Фэй, сестра короля — Клара

Интрепиди
Леди Элейна — Марта Ульман
Леди Клариссана — Вирджиния Пул

Придворные дамы: Ада Боскауэн, Лючия Поцци, Маргарет Кэлнан, Люси-Эллен Озье, Апполин Грейвз, Этейн О'Хара, Эстер Мосс, Мириам Дауни, Хозанна Маркс, Карен Эдей, Минни Сейнсбери

Глашатаи: Джеймс Митчелл, Улик Карман

Свита: Бесси Лаут, Джейн Холланд, Примроз Мейбон, Нобль Гранди, Эллис Кронин, Иден Уигглсворт

Костюмы и декорации — Далси Рингголд, исполнение — мастерские Стратфордского фестиваля
Художник сцены — Уилли Грив
Главный машинист сцены — Дикки Плонт
Осветитель — Уолдо Харрис
Сценариус — Гвенллиан Ларкин
Концертмейстер — Отто Клафски
Répétiteur и игра на клавикордах — Уоткин Бурк

Режиссер-постановщик — Герант Пауэлл

Дирижер — Гунилла Даль-Сут

Либретто — Симон Даркур при содействии Пенелопы Рейвен и Клемента Холлиера.

Пиарщики блестяще справились со своим делом. Зал был заполнен на приличном уровне, и явно не за счет раздачи контрамарок по общежитиям медсестер и домам престарелых, как иногда приходится делать. Место Даркура оказалось рядом с Клементом Холлиером. Даркуру пришло в голову, что он первый раз видит сего ученого мужа в смокинге. От Холлиера резко пахло каким-то пряным одеколоном или водой после бритья. «Придется весь вечер этим дышать», — подумал Даркур, но тут же отвлекся, ибо свет потускнел и в оркестровую яму прошествовала доктор Даль-Сут. Она пожала руку концертмейстеру и элегантно поклонилась залу.

Зал отреагировал живо. Зрители никогда не видели ничего похожего на Гуниллу — ее мужеподобную красоту, роскошный зеленый сюртук, пышный белый шейный платок. Вечер явно обещал быть интересным. Можно считать, что

представление уже началось.

Гунилла взмахнула палочкой, и раздались первые тяжелые аккорды темы Калибурна. Они уступили твердой, но печальной теме рыцарства, которая развивалась минуты три, пока не дошла до точки, обозначенной в партитуре буквой «D». На этом месте роскошные красные занавеси поехали вверх и назад, открывая короля Артура и Мерлина, стоящих на берегу Волшебного озера.

Тут зрителей ждал сюрприз, к которому они были совершенно не подготовлены. Герант, Уолдо Харрис и Далси Рингголд потрудились на славу, воспроизводя сценические декорации, какими они были в начале девятнадцатого века, то есть во времена Гофмана. От самых огней рампы — ибо на рампе были огни — сцена плавно поднималась на протяжении всех сорока футов сценического пространства. По сторонам стояли шесть пар кулис, изображающих британский лес по весне, каким его мог написать, например, Фюзели;[129] в самой глубине сцены, перед роскошным нарисованным задником, бесшумно крутились ролики,

---

[129] Примечания: 129

Иоганн Генрих Фюссли, или *Генри Фюзели* (1741–1825) — швейцарский и английский живописец, график, историк и теоретик искусства. Фюзели считается одним из главных новаторов живописи рубежа XVIII–XIX вв., а его творчество — ранним проявлением романтизма в английском искусстве.

наделавшие беды всего несколько дней назад; они создавали эффект тихо колышущихся волн. Сцена была решена в перспективе, на манер девятнадцатого века: не столько в расчете убедить кого-нибудь, что она изображает реальный мир, сколько с желанием, чтобы вышло красиво и хорошо дополняло действие.

«Это объективный коррелят к музыке», — подумал Эл Кран и принялся царапать в блокноте. Он сам был не очень уверен, что значит «объективный коррелят», но предполагал, что это значит что-то такое, что помогает понять что-то другое. Такое объяснение его вполне удовлетворяло.

Зрители, которые никогда не видели ничего подобного, разразились громкими аплодисментами. Канадцы обожают аплодировать декорациям. Но Гунилла, незнакомая с этим национальным обычаем, обернула к зрителям лик горгоны. Она угрожающе зашипела и замахала рукой, чтобы они перестали. Ей неожиданно помогли: там и сям в зале раздалось шиканье, не сердитое, но звучащее мягким упреком. В бой вступила клака Ерко. Отныне и до конца представления она управляла аплодисментами — со знанием дела и со вкусом. Хлопки затихли, и послышался голос Оливера Твентимэна, высокий и чистый,

как серебряный рожок. Он произнес заклинание, пробуждающее силы Калибурна, — они должны были очистить и возвысить жизнь королевского двора, придав новое значение рыцарству. Даркур выдохнул. Опасный поворот пройден удачно. Даркур отдался музыке. Через несколько минут занавес опустился, и увертюра — подлинно гофмановская увертюра, с участием певцов — завершилась.

Занавес тут же поднялся, знаменуя начало первого акта. Сцена представляла зал во дворце короля Артура. Это было прекрасное зрелище, но не особенно наводящее на мысли о рыцарстве: у персонажей не было вида пришибленной святости, характерного для сценических рыцарей. Натком Прибах по приказу Геранта «скакал по сцене и валял дурака» с бильбоке в руках, не слишком бросаясь в глаза. Рыцари не обращали на него внимания. Дамы — «роскошные дойки» Полли Грейвз красовались на сцене, и бюст Примроз Мейбон им не уступал — спели о себе и своем положении в наилучшей оперной манере. Даркур был очень доволен старинной балладой, которую он приладил к гофмановской теме: она подчеркивала, что корни этой оперы — в английском фольклоре.

Вот дивный замок Камелот,
Веселый Карлеон,
В нем наш король Артур живет
И нами правит он.
Гвиневры мудрость и краса
И царственная стать —
Спасибо вам, о Небеса,
За эту благодать!

Так поют рыцари.

— Кем стать? — прошипел Холлиер на ухо Даркуру.

— Стать! Ну что вы, слова «стать» не знаете? С-т-а-т-ь! Тсс!

Песню подхватывают дамы:

Благословен будь их дворец
Где каждый рыцарь — смел.
Пусть всех убережет Творец
От копий и от стрел.

Польщенные рыцари в ответ поют нечто вроде программного заявления, и дамы присоединяются к ним:

За нас ты умер, Иисус,

Поправши смертью смерть,
Наш знатный род благослови,
Нас не оставь и впредь.

Но им недолго наслаждаться подобной идеологией в духе кота Мурра. Входят король Артур и королева — перед ними шествуют четыре пажа, ведя четырех огромных ирландских волкодавов. Артур рассказывает об откровении, полученном на Волшебном озере:

Как будто бы читая свиток древний
В пещере, под охраною драконов,
Под стражею деревьев молчаливых,
Я разверну свой план…

Артур связывает придворных рыцарскими законами, по которым благородству крови должны сопутствовать благородные деяния. Рыцарям подобает быть *bons, sages et cortois, preux et vaillans.*[130] В знак своих благородных устремлений Артур дает обет — служить Христу Рыцарства, а после него, уступая лишь на йоту, — своей королеве как сосуду своей чести и ножнам Калибурна. Все рыцари приносят подобные обе-

[130] Примечания: 130
Добрыми, мудрыми, учтивыми, доблестными и храбрыми *(фр., устар.).*

ты своим дамам, и сцена заканчивается.

Зрители встретили ее с горячим одобрением, и Даркур начал понемногу успокаиваться. Но что это? Даркур был готов, а зрители нет, и Даркур не предвидел их ошеломления, когда — безо всякого занавеса и почти без механических звуков — большой зал дворца мгновенно преобразился в часовню по соседству, где Моргана Ле Фэй и ее сын Мордред строили ковы, желая похитить ножны Калибурна. Даркур знал, что произошло: рабочие бесшумно оттянули назад шесть пар боковых кулис дворцового зала, открывая кулисы, изображающие развалины часовни. В тот же миг в глубине сцены опустился новый задник, и огромный зал как будто растаял на глазах публики.

— Да, в девятнадцатом веке кое-что умели, — шепнул Холлиер.

Действительно, подумал Даркур, но ничего не сказал, потому что обожатели декораций опять захлопали, а клака Ерко принялась их утихомиривать. Моргана Ле Фэй с сыном обсуждали свои коварные замыслы. Хорошо излагает, подумал Даркур, когда Мордред — Гаэтано Панизи, роскошный бас, но не слишком импозантная фигура — выразил презрение к Артуру и его идеалу рыцарства:

Пусть обопрется он
На жизнь свою:
На хрупкий промежуток
Меж нами и Ничем.
На скользкой почве
Своего дыханья
Рисует он бесцветные мечты
И наблюдает стылые надежды.

Сцена снова мгновенно преобразилась — на сей раз обратно в чертог. Артур заклинает рыцарей отправиться в священный поход на поиски Грааля, который станет сердцем и красой нового, артуровского рыцарства. Артур вздымает великий меч, испрашивая благословения Господня, а Моргана Ле Фэй тем временем крадет ножны. Великолепная сцена, в которой нарастает сила и доблесть, завершается великим «Граалевым хором», почти вагнеровским по широте замысла.

— Все идет хорошо, — сказал Холлиер, пока они с Даркуром выбирались со своих мест.

Но, войдя в комнатку за кабинетом директора театра, они обнаружили там Геранта, который был в ярости и глотал виски, как воду.

— Эти морлоки что, совсем рехнулись? Какого

черта они аплодируют декорациям?

— Это очень красивые декорации, — объяснил Даркур. — Зрители в большинстве своем никогда таких не видели. Подобные декорации были объявлены вне закона лет шестьдесят назад, когда вошла в моду вся эта чепуха, «зрители должны задействовать воображение». Можно подумать, от этого кому-то стало лучше!

— А я думаю, им нравится игра актеров, — не согласился Холлиер. — Помнишь у Байрона? «Я не знаю нематериальной чувственности более прекрасной, чем хорошая актерская игра». Пауэлл, вы наверняка помните: вы ведь обожаете Байрона. Этот коротышка Панизи просто великолепен. И Хольцкнехт, конечно, тоже, но негодяями всегда восхищаешься больше.

У Холлиера явно что-то было на уме. По приглашению Пауэлла он выпил и наконец превозмог застенчивость:

— Герант, насчет выхода на поклон — я полагаю, те, кто работал над либретто, должны будут показаться публике? Не то что мне очень хочется. Я терпеть не могу всякие такие вещи. Но если это обязательно…

— Когда опустится последний занавес, зайдите в служебную дверь, — сказал Герант. — Гвен по-

кажет вам, что делать; времени хватит, потому что хлопать будут долго, я точно знаю. Когда Гвен вытолкнет вас на сцену, вас ослепят огни рампы, так что будьте осторожны и не свалитесь в оркестровую яму. Старайтесь не выглядеть полным болваном, как обычно выглядят либреттисты на сцене, полной актеров. Просто кланяйтесь. Никаких вывертов. И не уходите со сцены, пока все не стихнет.

— Но вы сами там, конечно, будете?

— Может, буду, а может, и нет.

— Но вы режиссер!

— Да, я режиссер. И начиная с сегодняшнего дня, с четырех часов пополудни, я — самый ненужный человек из всех, имеющих отношение к опере. Во мне никто не нуждается. Мое дело сделано. Я совершенно излишен.

— Не может быть!

— Еще как может. Если я прямо сейчас перережу себе горло, действие не остановится и все намеченные представления состоятся без сучка и задоринки.

— Но ведь это ты создал оперу!

— Нет, не я. Ее создали Гофман, Гунилла и Шнак и все эти певцы и музыканты. И даже вы двое. Я лишь добавил театральные штучки, проституи-

руя искусство. Завлекалово для людей, далеких от музыки.

— Чепуха! — сказал Даркур, который прекрасно видел, что у Пауэлла очередной приступ капризов. — Ты был душой и энергией всей этой затеи. Мы все грелись у твоего огня. Не думай, что мы этого не знаем. Ты незаменим. Так что приободрись.

— Сим-бах, я тебя знаю. Еще минута — и ты начнешь меня ругать за жалость к себе.

— Может быть.

— Ты милый, разумный человек, умеющий держать себя в руках. Тебе не понять душу художника. Ты не знаешь, какая тень за ним тащится: все просеивающий фильтр тщеславия, желчь зависти, узы неправды, ледяными цепями скованной со всем светом, и всей радостью, и всеми хвалебными одами, которые достаются оперному режиссеру. Я истощен и никому не нужен. Я погружаюсь в трясину отчаяния, какую знает лишь художник, закончивший работу. Идите, вы оба! Идите обратно в зал. Плавайте в теплых водах гарантированного успеха. Оставьте меня! Оставьте!

Он уже пил большими глотками прямо из горла.

— Да, пожалуй, нам надо идти, — сказал Даркур. — Я не могу пропустить то, что сейчас будет. Но ты, Герант-бах, постарайся взять себя в руки. Ты же знаешь, мы все тебя любим.

То, что не мог пропустить Даркур, было сценой майского гуляния королевы в начале второго акта. Над этой сценой Пауэлл, Уолдо и Далси трудились много месяцев с немалой изобретательностью. Когда занавес поднялся после краткой, благозвучной прелюдии, зрителям показалось, что они заглядывают в невообразимую глубь рощи боярышника в белоснежном цвету, как в метели. Далеко-далеко в тумане белых цветов появилась королева Гвиневра на вороном коне. Она сидела боком в седле, коня вел в поводу паж. Одна за другой на авансцену выходили придворные дамы в белых плащах, не закрывая приближающейся королевы. Они не пели; казалось, они заколдованы, ибо вся сцена казалась колдовской; музыка то нарастала, то спадала, а дамы в ожидании королевы образовали живописные группы. На дамах были венки из майских цветов. Творилось подлинное волшебство.

Даркур знал, как достигается эффект. Он был на большинстве репетиций и слышал все обсуждения этой удивительной сцены. Но и его захватила

магия. Он понял то, чего не понимал раньше: великое волшебство театра во многом творится самими зрителями; оно неосязаемо, но несомненно; магия начинается обманом зрения, игрой света и краски, но растет и крепнет в отклике аудитории. Не бывает великого представления без великого зрительного зала; и этого барьера не перейти ни кино, ни телевизору, как ни старайся, ибо в них не может быть связи между действием и теми, на кого направлено это действие. Великий театр, великая музыкальная драма творятся каждый раз заново — людьми по обе стороны огней рампы.

Даркур особенно наслаждался волшебной сценой оттого, что знал ее секрет. Уолдо Харрис, в котором с первого взгляда никак нельзя было заподозрить человека с воображением, предложил увеличить глубину сцены, открыв огромные раздвижные двери, которые вели в хранилище и далее в мастерскую. В итоге получилась глубина около ста футов. Не очень много, но умелым применением перспективы это расстояние удалось увеличить. И еще — Уолдо и Далси были так счастливы своей придумкой, что хихикали несколько дней подряд, — первой королевой Гвиневрой, видимой издалека, была не высокая,

статная Дональда Рош, а шестилетняя девочка на пони размером едва ли больше сенбернара. Футах в шестидесяти от рампы карликовая Гвиневра скрывалась в рощице, и вместо нее оттуда появлялась девочка побольше на пони побольше, которого вел паж повыше ростом. Эта Гвиневра, оказавшись в сорока футах от рампы, тоже на миг исчезала в кустах, и вместо нее появлялась уже сама Дональда Рош на вороном коне нормального размера. За ней пажи вели двух великолепных белых козлов с позолоченными рогами. Уолдо и Далси отрабатывали эту иллюзию, утончали ее, пока она не превратилась из простого трюка с перспективой в нечто великое и прекрасное.

Конечно, волшебство было бы неполным без лучших страниц оперы, сотворенной Шнак. В сцене использовались три родственные темы, которые по наброскам Гофмана предназначались для большого музыкального фрагмента. Шнак и Гунилла решили, что эти темы следует развить в прелюдию ко второму акту: они предвосхищали сцены любви и измены, в которых Гвиневра и Ланселот под зловещим влиянием Морганы Ле Фэй вкушают свою любовь и страдают от раскаяния — двойного, ибо Ланселот, околдованный, также возлег с девой Элейной. Но

Герант, услышав первые варианты прелюдии, заявил, что она должна стать фоном к майскому гулянию королевы, и сломил сопротивление композиторы, которые, конечно, хотели создать из нее чистую музыку. Именно этот фрагмент на экзамене убедил экзаменаторов (всех, кроме сварливого Пфайфера), что Шнак заслуживает ученой степени доктора музыковедения, а может быть, и много большего.

И вот эти темы стали не симфонической музыкой, но аккомпанементом дивному обману зрения, или, если вам так больше нравится, шедевру сценической магии.

На репетициях кое-кто из певцов роптал, что эта — возможно, лучшая — часть оперы не использует их голоса. Натком Прибах даже назвал музыку «молчаливой», а Ганс Хольцкнехт сказал какую-то колкость про пантомиму. Но представление стало истинным шедевром.

Зрители сидели тихо, как мышки, до самого конца этой сцены — и потому, что клака Ерко потихонечку приучала их не хлопать без подсказки, и потому, что действие и музыка зачаровали их. Когда королева и особые рыцари из ее свиты, носители белых щитов, тихо сошли со сцены туда, где Гвен высвободила особое пространство для

всей процессии — королевы, ее коня, рыцарей и дам, то есть немалой толпы, которая тем не менее должна была двигаться без задержек, — зрители разразились трехминутной несмолкающей овацией. Три минуты — это долго для яростных аплодисментов; когда первая минута прошла, Ерко пустил в ход своих людей во всех уголках зала, и их крики «браво!» были так заразительны, что к ним присоединились и посторонние зрители. Но так как эти последние не обучались в европейских оперных театрах, им было не тягаться с профессионалами.

Кажется, кто-то закричал: «Браво, Гофман!»? Да, действительно; это был Даркур.

Гунилла, не привыкшая отвечать на восторги зрителей иначе как ледяным кивком, кланялась и кланялась. Ведь она была великим художником, а подобное признание публики сладостно артисту.

— Ну мы им показали! — крикнул Холлиер на ухо Даркуру. — Теперь они от нас никуда не денутся!

«Мы? — подумал Даркур, хлопая до боли в ладонях. — Кто это „мы“? Ты-то тут при чем?» Музыку создали Гофман и Шнак, и она прекрасна. Но магия принадлежит Геранту Пауэллу, а еще

— Далси и Уолдо, которых он зажег и вдохновил своим чувством театра.

И Гофману. Даркур возвысил голос в честь Гофмана.

Не только Гофмана-композитора, который, может быть, уступал Шнак как музыкант. Но Гофмана, который жил и умер в эпоху, когда романтизм процветал во всех искусствах. В честь истинного духа Гофмана. Именно Гофман был тем «маленьким человечком», которого разбудил Фонд Корниша и иже с ним.

Второй акт шел своим чередом. Сцена у пещеры Мерлина, в которой колдунья Моргана обманом заставляет старика проговориться: Артура уничтожит лишь человек, рожденный в мае. Моргана торжествует, ибо в мае родился ее сын, который приходится сыном также и Артуру, — плод кровосмешения, хотя Артур этого не знает. Роковые слова Морганы:

Неверный луч
Грядущей страшной мысли,
Тебя я жду.
Приди же. Озари мое сознанье!

И ответ Мордреда:

Я чувствую, оно растет, растет:
Как тень злодея под луною полной.
Луна плывет неспешно, прикрываясь
Вуалью облака.
Оно
Сгущается внезапно и зловеще…

Соблазнение Гвиневры Ланселотом. Его признание в любви и ее горестный крик:

О нет! Тебе не верю я.
Когда ж поверю —
То сердце тотчас обратится в пепел.

Влюбленным Гвиневре и Ланселоту открывается, что дева Элейна, соблазненная Ланселотом под действием чар Морганы, должна умереть от любви, но умереть с радостью:

О, мыслей, взглядов сладкое влиянье!
О, перемена бытия! Для всех живущих
Она как жизнь, что в нас вдохнул Всевышний,
В свои несовершенные творенья!
Люблю ли я? Люблю?
Я шествую в сиянье Всех помыслов лю-

бимого,

Как будто

Окутана божественною славой.

Ланселот осознает всю глубину предательства, скрытую в его любви, и с горечью принимает неумолимую судьбу:

О, горький час! Я чувствую, как никогда,

Величье своего паденья и бесчестья.

Опера уже полностью захватила зрителей, от которых никто не ожидал восприимчивости к романтике артуровских легенд. Оживленный гул разговоров в антракте радовал сердце.

Но Даркура что-то беспокоило. Он вышел в фойе и поймал Пенни:

— Ты не поменяешься местами с Клемом на третий акт? Мне хочется, чтобы ты хоть часть вечера посидела рядом со мной.

— Красиво говоришь, но я знаю, что у тебя на уме. Я успела пообщаться с Клемом. Уж не знаю, чем он себя полил, но он явно перестарался. Я чуть не задохнулась. Представляю, каково было тебе. «Мирровый пучок — возлюбленный мой у

меня, всю ночь у грудей моих пребывает».[131] Но я тебя спасу. С радостью. А у нас неплохо вышло, ты не находишь?

«Опять „мы“. Ты-то что сделала? — подумал Даркур. — Несколько часов ныла и критиковала мою работу, и больше ничего».

— Я рискну предположить, что наш Снарк все же чистокровный Снарк, без примеси Буджума. Ты когда-нибудь слыхал, чтобы хлопали с таким энтузиазмом? И это в Канаде, на Родине Умеренных Восторгов.

— Да, пока все идет неплохо, — ответил Даркур, глядя, как Ерко со слоновьей элегантностью нависает над маленькой, но очень восторженной дамой с оранжевыми волосами. — Пойдем в зал. Третий акт сейчас начнется.

Третий акт был очень похож на то, как его описывал когда-то Герант на неудачном артуровском ужине, устроенном Марией. Только акценты слегка сместились, — видимо, это неизбежно. Ария Мерлина, обличающего негодяя Мордреда, завораживала:

Твои черты мрачны, как час ночной,
Твой взгляд кромешный предвещает

---

[131] Примечания: 131
Песн. 1: 12.

ужас.

И еще:

Тебя насквозь я вижу! Так несчастный,
Что пьет вино, внезапно замечает
Убийцу сквозь отравленный бокал.

Мордред умирает нераскаянным, как подобает истинному злодею:

Что время есть и что — сей бренный мир?
Всего лишь мысль, мелькнувшая в пространстве,
Лишь краткий миг средь хаоса и мрака.

Но прекраснейшая часть досталась Гансу Хольцкнехту в роли короля. Прекрасный актер и прекрасный певец, он как нельзя лучше сыграл потрясенного Артура, узнающего о кровосмешении, о ненависти своего озлобленного сына Мордреда и — самое страшное для него — об измене любимой жены и любимого друга. Но он взывает к Любви, которая для него превыше радости плотского обладания. Это миг подлинного величия. Последние слова Артура:

В нем душ сродство и пониманье,

В нем уз и нитей сочетанье,
В нем сердце с сердцем, ум с умом,
Душа и тело — все в одном —

тронули многих зрителей, к их собственному смущению, до слез.

«Вальтер Скотт очень хорош, но Шнак подняла его на новый уровень, — подумал Даркур. — Интересно, понимала ли она сама, что кладет на музыку? Если да, то для нее, израненного ребенка, есть надежда. Но с музыкантами никогда не скажешь».

По смерти Артура обстановка дворца снова магически растаяла, и зрители перенеслись на берега Волшебного озера, которого не видели со времени увертюры. Но озеро изменилось: теперь над ним царила поздняя осень; желтые листья и редкие снежинки, кружась, падали на сцену, где стояли рыцари, опираясь на мечи. Рыцари пели:

Несет снежинки ветер злой
И мертвые листы.
И вдруг родится день златой
Из серой темноты.
Пробудят духи мертвецов,
Что спят в земле сырой,

И вот тогда в конце концов
Воскреснет наш король.

Тело Артура — но не живого Хольцкнехта — положили в неглубокий челн, и оно отплыло по водам. Когда челн исчез из виду, Мерлин швырнул ему вслед Калибурн, отныне и вовек надежно вложенный в ножны. Из волн поднялась рука, закованная в доспех, и схватила меч. Снова раздались торжественные аккорды темы, открывшей оперу, и занавес опустился.

После того как все артисты вышли на поклон, Гвен вытолкнула на сцену Пенни, Холлиера и Даркура. Зрители не знали, кто это и почему они на сцене, но после каждой оперной премьеры на поклон выходит несколько никому не известных людей, и зал по широте душевной хлопает и им тоже.

Геранта, на удивление твердо стоящего на ногах, встретили громовыми аплодисментами. Он, кажется, был в превосходном настроении, а во фраке выглядел потрясающе романтично. Он и Гунилла приковывали взгляд в пестрой и, надо сказать, несколько растрепанной толпе на сцене.

Даркур с удовлетворением отметил, что Шнак

сделала несколько реверансов и даже не пошатнулась.

11
ЭТАГ в чистилище

Шампанское! Столько шампанского, но ни капли для меня. Одно из неудобств жизни в чистилище — то, что все плотские аппетиты сохраняются, но без малейшей надежды их утолить. Незримо двигаясь меж людьми на празднестве в честь премьеры моего «Артура», я вижу полнящиеся бокалы и полные бутылки. В силу своего чисто духовного состояния — мы, обитатели чистилища, весьма непорочны, о да, весьма, — я лишен даже слабого утешения, возможности толкнуть кое-кого под руку, опрокидывая бокал на крахмальную манишку или в пышное декольте. И это я, который когда-то хлебал шампанское из пинтовых горшков! Но насколько я понимаю, с тех пор шампанское сделало карьеру в свете, и эти люди пригубливают его с благоговением.

Наверно, это ночь моего торжества. Опера, лишь задуманная мною, теперь по-настоящему закончена, и в целом удовлетворительно. Неужели я самую малость завидую девочке

Шнакенбург? Бесспорно, у нее легкая рука в оркестровке и, как мне кажется, пробуждающийся дар к мелодике. Но я не вижу в ней истинно романтического пыла. Пока не вижу. Может быть, он и не придет больше к ней, как пришел к нам, первым восприемникам даруемых им страданий и красоты; к нам, людям, среди которых мне посчастливилось стать предтечей.

Понравилось ли мне представление? О, здесь я чувствую, что не могу ответить с уверенностью. Музыканты играли и певцы пели много лучше, чем в мои дрезденские дни. Оркестр был неизмеримо лучше той кучки сброда, с которой мне приходилось мириться, а в этой Даль-Сут есть нечто от даймонического духа, владевшего моим собственным капельмейстером Крейслером. Сценические картины просто завораживали. Певцы — о чудо! — умели играть на сцене и играли, даже когда не пели! Что сказало бы на это семейство Ойнике, трое членов которого участвовали в моей «Ундине»? «Артур» — истинная музыкальная драма, исполненная в единстве стиля и намерения, совершенно невозможном в мое время.

Но увы, каждый из нас — создание своего времени. В этой постановке мне не хватало привычных (это не обязательно значит хороших) элемен-

тов.

Взять, например, суфлера. О, эти суфлеры моего времени, родившиеся, кажется, уже стариками, простуженными, имеющими пристрастие к бренди и нюхательному табаку! Все они отличались сварливым характером, все были от макушки до пяток ожесточены тем, что из них не вышло композиторов, певцов, дирижеров! Они сидели скрюченные в своей будке у края сцены, прикрытые от публики изогнутой крышей наподобие ракушки. Над сценой торчала лишь голова, поджариваемая керосиновыми светильниками рампы. Все остальное тело пронизывали ледяные сквозняки, гуляющие под сценой. Каждый раз, когда рабочие открывали люк, чтобы какой-нибудь бог или демон мог возникнуть на сцене, суфлера душила поднятая ими пыль веков. В таком аду суфлер шепотом подсказывал певцам слова и часто задавал тон, нередко — чахоточным голосом, которому отнюдь не помогали нюхательный табак и сценическая пыль, иногда намеренно пинаемая особо злобными актерами прямо в лицо суфлеру!

Отчего же я скучаю по суфлерам? Поверьте, иной раз по хворям и лишениям прошлого тоскуешь так же искренне, как по его блеску. Я знавал

немало суфлеров и побывал на похоронах многих из них; а эти певцы, столь прекрасные музыканты, что прекрасно управляются без суфлера, кажутся мне поэтому слегка неестественными.

И еще мне не хватает жизни за кулисами. «Зеленой комнаты», где проводят время артисты, когда они не нужны на сцене, и где положение артиста в театре можно точнейшим образом вычислить по тому, как далеко он располагается от печки. Но еще более мне не хватает гримуборных, крохотных, пропитанных характерным запахом любимых духов актера, не вполне маскирующим вонь из ночного горшка. Ночной горшок прятался в тумбочке, на крышке которой стояли кувшин и таз, чтобы певец мог помыть руки, если уговорит слугу принести горячей воды из единственно возможного источника — мастерской плотника, расположенной под сценой. Печь в «зеленой комнате» была столь мила бедным обитателям театра, потому что грим-уборные не отапливались, — в лучшем случае там стояла крохотная жаровня для углей, но уголь был дорог, и его приносили слуги, которым нужно было давать на чай.

Что за романтические сюжеты и восхитительные интриги разворачивались тут! В самых

роскошных грим-уборных была кушетка или даже кровать на одного, которая при некоторой изобретательности могла стать кроватью для двоих!

Этот красивый театр гораздо лучше любого из виденных мною. Зрители — гораздо вежливее, да, вежливее и лучше воспитаны, чем любые зрители моей эпохи, и, я клянусь, они так восприимчивы к музыке, как я и не ожидал. Им даже и клака не нужна, хотя клака была, и прекрасная. Дух кота Мурра витал в зале — ну конечно, когда же этот сверхреспектабельный филистер отказывался побывать на публичном представлении? — но кот Мурр тоже многому научился за прошедшие века. Его мех обрел новый лоск. Да, да: времена меняются, и кое в чем к лучшему.

Но... каждый из нас — создание своего времени. Порой я спрашиваю себя: смотрит ли когда-нибудь божественный Моцарт бесчисленные современные представления своих опер, напичканные психологией и философией? Ощущает ли он странное томление, которое ощутил я, видя свершение своего «Артура»?

Услышу ли я «Артура» еще раз?

Надо полагать, я мог бы попробовать тут зацепиться, но думаю, что не следует этого делать.

Я видел воплощение моего «Артура» и сложности, привнесенные им в жизнь столь многих людей. Мне, как художнику, следует иметь чувство меры, даже в отношении собственных творений. Кроме того, мне шепнули — не знаю кто, но я слишком тактичен, чтобы спрашивать, — что мое время в чистилище подошло к концу. Ведь я попал сюда из-за незавершенной работы, а теперь она завершена. «Артур» обрел жизнь, и весьма удовлетворительную, а мне пора прочь отсюда.

Прощайте, кто бы вы ни были! Помните Гофмана!

VIII

1

Завершение хитроумной схемы Даркура заняло около трех лет с момента, когда упал финальный занавес «Артура Британского». Правительственные структуры, крупнейшие галереи, искусствоведы, издатели и большие суммы денег движутся очень медленно и думают долго; чтобы убедить их двигаться согласованно, нужны величайшие дипломатия и такт. Но Даркур добился своего и не обзавелся в результате ни язвой желудка, ни тахикардией; ему даже не часто пришлось уединяться, чтобы побиться головой об стену. Он говорил самому себе, что добился своего, идя путем Дурака — весело шагая, доверяясь своему умному носу и покусываниям маленькой собачки-интуиции, указывающим путь, пускай заросший и извилистый.

И вот однажды в декабре, в присутствии высоких гостей, генерал-губернатор Канады официально открыл Мемориальную галерею Фрэнсиса Корниша. По всеобщему — или почти всеобщему — мнению, она стала весьма значительным дополнением к Канадской национальной галерее, увековечившим высокие заслуги всех основате-

лей, и особенно Артура и Марии Корнишей, чьи имена как инициаторов и главных организаторов публике не давали забыть. Вклад Корнишей в создание оперы был недооценен, что их вполне объяснимо обидело. Возможно, обида еще не совсем прошла. Но за основание Мемориальной галереи Фрэнсиса Корниша их благодарили — даже слишком сильно, к их смущению.

Конечно, они протестовали. Конечно, их скромность возмущалась, их протесты и негодование были совершенно искренни. Но все же очень приятно, когда тебя чествуют как благодетеля общества, приятно, когда тебя заставляют протестовать. Гораздо приятнее, чем оставаться забытым и недооцененным, а то и слушать обвинения, что ты путаешься под ногами, когда ты всего лишь пытаешься сделать что-то для развития культуры и искусства, ибо нельзя просто так отмахнуться от ненавистного слова, которое так старательно зализывает и приглаживает кот Мурр. Артур и Мария были скромны, и им было приятно лишний раз убедить мир в своей скромности.

Даркур тоже был скромен, но впервые в жизни он вызвал интерес публики, позволяющий проявить эту скромность. Его книга, так давно

вынашиваемая биография Фрэнсиса Корниша, вышла в свет годом раньше; ее заметили не только в Канаде, но во всем англоговорящем мире, да и везде, где читают книги о необычных художниках. Не все внимание было лестным, но издатели заверили Даркура, что нападки и презрительные отзывы тоже полезны. Критики не станут биться в эстетической истерике, если предмет истерики не стоит внимания. Не все эти критики специализировались на изобразительном искусстве: некоторые были культурологами, то есть критиками вообще, а кое-кого мазнула миром новомодная юнгианская кисть; они даже читали что-то из Юнга. Этих привело в восторг, а многих искусствоведов — в ярость предисловие к книге, написанное Клементом Холлиером, специалистом высочайшей репутации в области, где сливаются в объятиях время, искусство и древняя, многослойная человеческая душа. Клем, совершенно бесполезный при работе над оперным либретто, был большой шишкой в мире, где существовал биографический труд Даркура. Знающие люди называли эту область палеопсихологией и историей культуры, и не всякий угнался бы за Клемом на ее непроторенных дорогах. Так Даркур нашел себе надежного толмача в нескольких

важных для него мирах, и его все чаще звали в разные места прочитать лекцию — иногда такое приглашение было повесткой в суд, где ему предлагалось произнести речь в свою защиту.

Но все эти приглашения должны были ждать создания, организации и торжественного открытия Мемориальной галереи Фрэнсиса Корниша. А вот тогда, подсказывала Даркуру старая онтарийская поговорка, настанет время и дохлую собаку пополам разрубить.

Ему пришлось нелегко. Сперва нужно было убедить князя и княгиню продать «Брак в Кане» Канадской национальной галерее. Князь и княгиня хотели полной уверенности в том, что их никогда, ни при каких обстоятельствах не обвинят в хранении фальшивки или в том, что они демонстрировали миру фальшивку как подлинное полотно шестнадцатого века. Они не предлагали картину на продажу, сообщая о ней ложные сведения, но, с другой стороны, они и не опровергали интересную интерпретацию, предложенную в убедительной статье Эйлвина Росса на авторитетных страницах «Аполло». Именно в свете блестящих умозаключений Росса они позволили выставить картину в крупнейшей американской картинной галерее, которая одно

время рассматривала возможность ее покупки. Князь и княгиня должны показаться не хитрецами, а нелюбителями говорить лишнее. Это можно было устроить, и это было устроено — силами известнейшего критика Аддисона Трешера, который обелил князя и княгиню, отмыл картину — хотя отвратительное слово «отмывание» не прозвучало ни разу — и установил цену, за которую Фонд Корниша ее приобрел. Возможно, процент от этой внушительной суммы позже перешел в руки Трешера, но, конечно, только справедливо, что он получил награду за свою работу и за свою великую репутацию, устранившую все, или почти все, сомнения.

Но все эти деликатные переговоры меркли перед усилиями, затраченными на то, чтобы убедить Канадскую национальную галерею принять картину сомнительного происхождения и выставить ее в особом зале, хоть и совершенно бесплатно для самой галереи.

Руководители крупных галерей далеко не глупы, но не привыкли думать о живописи в психологическом аспекте. Они охотно признавали красоту картины, но если это работа канадца, созданная менее полусотни лет назад, почему она написана в стиле шестнадцатого века, на аутен-

тичном старинном триптихе, красками, которые невозможно отличить химическим анализом? Да, да, это мастерская работа — в старинном смысле этого слова, то есть работа подмастерья на звание мастера. Но мастера чего? Фрэнсис был учеником — несомненно, лучшим — Танкреда Сарацини, непревзойденного мастера реставрации картин; настолько талантливого, что его подозревали в восстановлении или даже преображении некоторых старинных картин до состояния, намного превосходящего оригинальную работу. У людей, посвятивших свою жизнь и репутацию живописи, одна мысль о подделке вызывает конвульсии. Подделка — сифилис искусства, но ужасная правда заключается в том, что сифилис, случалось, сподвигал на создание прекраснейших произведений. Ни один искусствовед, ни один директор крупной галереи не осмелится сказать: «Вот прекрасная, духоподъемная, кишащая спирохетами картина — безусловно, шедевр, но двусмысленный, не из тех, что можно спокойно предложить коту Мурру». Для кота Мурра и его единомышленников все должно быть чисто и ясно, чтобы комар носа не подточил. А кот Мурр — весьма популярная персона среди искусствоведов и галерейщиков.

Именно тут веское слово Клемента Холлиера оказалось незаменимым. Если некто хочет написать картину с целью тренировки особых навыков в определенной области, он сделает это стилем, которым владеет лучше всего. Если он хочет создать картину, которая особым образом воплощает его жизненный опыт, исследует миф его жизни в его собственном понимании и, как сказали бы в старину, «образует его душу», он вынужден это делать в стиле, позволяющем подобные аллегорические откровения. После Ренессанса и уж точно после протестантской Реформации художники уже не рисовали подобные картины с откровенностью, характерной для доренессансной эпохи. Новое время отняло у них словарь веры и мифа. Но Фрэнсис Корниш, желая сотворить свою душу, обратился к стилю живописи и концепциям визуального искусства, которые были ему наиболее созвучны. Он не считал, что обязан быть современным. Более того, в беседах с Холлиером и Даркуром он часто высмеивал понятие современности как глупые цепи, сковывающие фантазию и вдохновение художника.

Следует помнить, добавлял Даркур, что Фрэнсиса вырастили католиком, или почти католиком,

и он относился к своей вере настолько серьезно, что положил ее в основание своего искусства. Если Бог — един и вечен, Христос — здесь и сейчас, то различные течения в искусстве — лишь глупые причуды рабов Времени.

Все эти мысли Даркур подробно развил в своей книге, но ему пришлось много раз повторять их лично перед серьезными и недоверчивыми членами разных комитетов.

Большие шишки из Национальной галереи, не без основания считавшие себя хранителями официального художественного вкуса Канады, бекали и мекали. Они выслушали Даркура, поняли его, восхитились ловкостью его аргументов, но он их не убедил. Они не могли просто так смириться с существованием человека, пишущего в старинном стиле и притом имеющего наглость делать это с мастерством и фантазией, до которых далеко лучшим современным канадским художникам. Он валяет дурака с одной из самых священных идей, еще оставшихся в мире, которому ненавистно само понятие святыни, — с идеей Времени. Он посмел не принадлежать своей эпохе. Такой человек наверняка либо не в своем уме, либо — что гораздо сильнее пугало членов комиссии — издевается над ними. Прави-

тельства и искусствоведы боятся шутников, как Сатана — святой воды. А если шутка затрагивает большие деньги, то есть само сердце и основание современного искусства и культуры, страх быстро перерастает в панику, а кот Мурр злобно шипит и плюется.

Но все же Даркур при поддержке верного союзника Холлиера и неизменной помощи Артура и Марии наконец победил. Мемориальная галерея Фрэнсиса Корниша открылась.

Это был один большой зал, посвященный исключительно триптиху «Брак в Кане». На прочих стенах висели материалы, показывающие канадское происхождение картины. Солнечные картины дедушки Макрори, увеличенные, чтобы можно было разглядеть каждую деталь; жители Блэрлогги; домочадцы дедушки; средневековая изоляция городка, затерянного в лесах. Все это было ясно видно любому заинтересованному зрителю. На одной стене висели аккуратные эскизы Фрэнсиса в стиле старых мастеров — по ним видно было, как он приобретал необыкновенное умение рисовать, нужное для создания большой картины. На третьей стене располагались самые личные рисунки Фрэнсиса — наброски из мертвецкой, торопливые зарисовки Танкреда

Сарацини и дедушкиного кучера, несомненно — Иуды и *huissier* с большой картины; приковывающие взгляд, нарисованные с огромной любовью изображения Исмэй Глассон, одетой и раздетой — явной невесты из «Брака». Не все фигуры с большой картины удалось найти на рисунках и в набросках, но большую часть удалось; среди них сильнее всего потрясали фотография Ф. Кс. Бушара, карлика-портного, запечатленного дедушкой, и жалкая фигура голого карлика на бальзамировочном столе, изображенная Фрэнсисом. Даже самый рассеянный зритель не мог не заметить, что это — гордый карлик в парадных доспехах, глядящий с картины.

Артур, Мария и Даркур согласились, что наброски, по которым можно опознать уродливого ангела как Фрэнсиса Первого, выставлять не следует. Не все тайны следует раскрывать.

К выставке прилагался путеводитель с объяснениями, написанный Даркуром, так как творение Холлиера оказалось бы непонятно широкой публике. Но только посетителям, понявшим, о чем говорит весь этот зал, были ясны слова, написанные прекрасным каллиграфическим почерком на стене над великой картиной:

Жизнь любого Человека, который хоть чего-нибудь стоит, — непрерывная аллегория, и лишь немногие прозревают Тайну его жизни, которая, как Писание, метафорична.[132]

Джон Китс

[132] Примечания: 132
Джон Китс, письмо к Джорджу и Джорджиане Китс, февраль 1819 г.

2

— Симон, ты счастлив? — спросила Мария. — Надеюсь, что да. Ты столько труда вложил.

Мария, Артур и Даркур ужинали вместе после торжественного открытия мемориальной галереи. Генерал-губернатора и его свиту с поклонами и благодарностями усадили в машины: князя, княгиню и Аддисона Трешера отвезли в аэропорт и посадили на самолет с обильными заверениями во всяческом почтении (княгиня успела еще раз шепотом поблагодарить Даркура за тактичное умолчание о рисунке старого мастера, сделанном рукой Фрэнсиса и ныне служащем рекламой ее косметических товаров). Клемента Холлиера и Пенни Рейвен проводили до рукава, через который шла посадка на другой самолет, в Торонто. Все правители, короли и мудрецы разъехались, и трое друзей наслаждались уединением.

— Настолько, насколько я вообще способен быть счастливым, — ответил Даркур. — Это что-то вроде золотой дымки. Надеюсь, вы тоже счастливы.

— Отчего же нам не быть счастливыми? — сказал Артур. — Нас хвалили, нас превозносили и

чесали за ушком совершенно не по заслугам. Я чувствую себя самозванцем.

— Это всё деньги, — сказала Мария. — Наверно, не стоит недооценивать деньги.

— В основном не наши, а дяди Фрэнка, — уточнил Артур. — Сундуки почти опустели. Теперь нужно несколько лет, чтобы резервуар наполнился снова и фонд мог сделать что-нибудь еще.

— О, это ненадолго, — заверила Мария. — В банке говорят, года три. Тогда мы сможем еще что-нибудь сделать.

— А какую роль вы на этот раз выберете? Меч Рассудительности или Млекоточащую Грудь Сострадания?

— Меч, конечно, — сказал Артур. — Грудь только подставь — обязательно кто-нибудь укусит. Не попробовав, не узнаешь, как трудно раздавать деньги. То есть разумно раздавать. Посмотри на нашу галерею. Сколько нам пришлось драться!

— Да, но драться очень интеллигентно, возвышенно. Ловко жонглируя самолюбием разных людей и их разнообразными интересами, причем иногда приходится делать вид, что ты об этих интересах понятия не имеешь. Приходится вертеться ужом, чтобы никому не пришлось из-за выражения благодарности потерять лицо. Спо-

рю на что угодно: если старина Фрэнсис все это видел, он сейчас катается со смеху. Старый черт ценил иронию. А его большая тайна — ангел-идиот, первая попытка его родителей, — осталась тайной, хотя почти наверняка ее рано или поздно разнюхает какой-нибудь любопытный. Эти всё объясняющие стены на деле объясняют далеко не все.

— Это было приключение, а я всегда жаждал приключений, — сказал Артур. — И опера тоже была приключением. И всем этим мы обязаны дяде Фрэнку, не забывайте.

— Как мы можем об этом забыть? — воскликнула Мария. — Ведь ничего не кончилось. И у Шнак дела идут потихоньку.

— Не так уж и потихоньку, — возразил Даркур. — Да, оперу больше не ставили; пока не ставили, но кое-какой интерес есть. Зато большой главный фрагмент — майское гуляние королевы — уже несколько раз исполняли очень хорошие оркестры, и всегда с упоминанием, что это из оперы. Шнак идет в гору, а Нилла говорит, что возродился даже интерес к Гофману-композитору.

— Знаете, при первой встрече Нилла мне страшно не понравилась, — сказала Мария. — Она так ужасно себя вела на том артуровском ужине.

Но она идеальная крестная мать… розовенькая фея-крестная. Она посылает Дэви замечательные деревянные игрушки: поезда, тележки и все такое, и все время просит, чтобы мы привезли его в Париж, повидаться с ней. Не то что этот вонючка Пауэлл. Он пишет иногда, но о мальчике вообще не упоминает. Только о себе, любимом. Надо сказать, что у него дела идут хорошо. Последняя новость была, что он поставил отличного «Орфея»[133] в Милане. Клем и тот лучше как крестный отец. Он подарил Дэви книгу артуровских легенд с чудными иллюстрациями — Дэви сможет ее читать лет с десяти. А Пенни подарила первоиздание «Охоты на Снарка». По-моему, эти профессора вообще не понимают, что такое трехлетний ребенок.

— Может быть, эти подарки на самом деле для тебя, — сказал Даркур. — «Снарк» — отличная аллегория нашей затеи с оперой, и наш Снарк в конце оказался только наполовину Буджумом.

— У меня так руки и не дошли до этой поэмы, — вмешался Артур. — Симон, я тебя умоляю — просвети меня, темного. Кто такой Снарк? А

[133] Примечания: 133

«Орфей и Эвридика» — опера австрийского композитора Кристофа Виллибальда Глюка (1714–1787), созданная в 1762 г. на сюжет греческого мифа об Орфее.

Буджум? Наверно, мне следует это знать.

— Но если не прочитаешь, так и не узнаешь. Краткая справка: Снарк — это очень привлекательный объект поиска, который, будучи найденным, может оказаться неожиданно опасным — то есть Буджумом. Для неуемных романтических душ, одержимых изыскательством, любой Снарк может оказаться Буджумом. Это великолепная аллегория всех приключений в мире искусства.

— Аллегория, аллегория… Да, я знаю, что такое аллегория. Симон, это ведь ты повесил ту цитату из Китса прямо над картиной дяди Фрэнка. «Жизнь любого человека, который хоть чего-нибудь стоит, — непрерывная аллегория». Ты на самом деле в это веришь?

— Неужели я тебя не убедил? Это одно из великолепных озарений, какие часты у Китса в письмах. Оно — из обычного письма к брату и сестре о самых заурядных вещах. Всего лишь кусок письма, но какая в нем мудрость!

— Ты меня уже несколько раз убедил, но я каждый раз почему-то разубеждаюсь. Это очень пугающая мысль.

— Не пугающая, а возвышающая, — поправила Мария. — «Жизнь любого человека, который хоть чего-нибудь стоит…» — это заставляет задумать-

ся, стоит ли чего-нибудь твоя жизнь, а если да, то в чем ее невидимая тебе тайна.

— Я лучше соглашусь, что моя жизнь ничего не стоит. Мне не нравится думать, что в ней есть какой-то узор, которого я не вижу и, скорее всего, никогда не увижу.

— Не смей говорить, что твоя жизнь ничего не стоит, дорогой, — сказала Мария. — Я лучше знаю.

— Заявлять свои права на аллегорию — это как-то несообразно. Все равно что заказать статую себя самого в обнаженном виде со свитком в руке.

— Китс писал второпях, — сказал Даркур. — Он мог бы с тем же успехом сказать, что в основе жизни человека лежит скрытый миф.

— По-моему, от этого ничуть не легче.

— Артур, ты иногда бываешь страшно ненаблюдателен, чтоб не сказать туп, — заметил Даркур. — По-моему, мы уже достаточно накачались этим превосходным бургундским, чтобы я мог задать тебе очень личный вопрос. После всей этой истории с оперой неужели ты даже не догадываешься, каким может быть твой миф? И Марии, и Пауэлла? Это прекрасный миф, и я, как сторонний наблюдатель, могу подтвердить, что

вы его очень элегантно воплотили.

— Ну, если считать, что я играю роль Артура… но это же глупо, только из-за имени?.. Тогда Мария должна быть Гвиневрой, а Пауэлл, наверно, Ланселотом. Но мы совсем не похожи на персонажей артуровской эпохи. И где же твой миф?

Даркур хотел заговорить, но Мария его остановила:

— Конечно, ты его не видишь. Ни один герой мифа не видит себя героем мифа. Они не возглашают направо и налево: «Я — герой мифа!» Миф и его героев видят только внешние наблюдатели, вроде Симона и меня. А сами герои думают, что они простые, обыкновенные парни, которые стараются вести себя как следует в любых обстоятельствах.

— Я просто отказываюсь быть героем, — заявил Артур. — Как можно жить, зная, что ты — герой?

— А у тебя нет выбора, — объяснил Даркур. — Ты вылавливаешь миф из глубин, и он тобой завладевает. Может, он на тебя уже давно глаз положил. Подумай про оперу. Как там говорил Гофман? Мария, ты тогда раскопала цитату.

— «Лира Орфея открывает двери подземного мира».

— Он, наверно, был удивительный и необыч-

ный человек, — сказал Артур. — Я всегда так думал, хотя, конечно, не мог бы так хорошо сформулировать. Но я по-прежнему не вижу мифа.

— Это миф великодушного рогоносца, — объяснил Даркур. — И жить в нем можно только любовью и милосердием.

Они долго молчали и задумчиво потягивали вино. Наконец заговорил Артур:

— Я предпочитаю не использовать в отношении себя слово «великодушный».

— Зато я предпочитаю, — сказала Мария.